ISSN 0130-6545

1. 1995

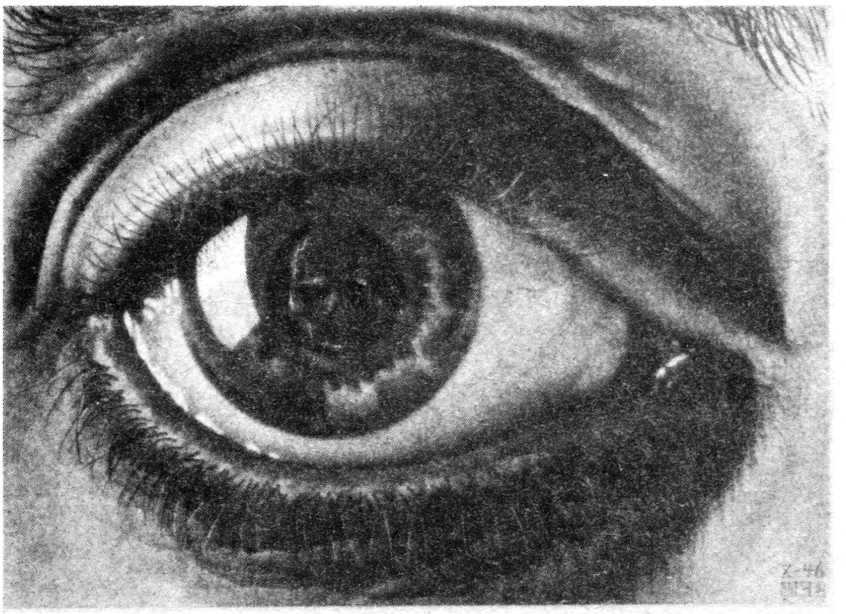
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ
Профессор Криминале

ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ
Хорхе Луис Борхес

Конец века, конец тысячелетия



«Конец века» как понятие культуры существует в течение семи с лишним столетий. Французское выражение «fin de siècle» возникло в 1886 году и, надо думать, к 2000 году будет понятно обитателям Земли без перевода.

Человечество уже переживало испытание тремя магическими нулями — 1000 лет назад. Как и тогда, оно во власти страха и надежды, сопутствующих грозному рубежу. Все мы, живущие сегодня, интересны уже хотя бы тем, что каждый из нас — творец и герой исторической легенды о 2000 годе. Самое время оглянуться и оценить результаты.

Этим номером «ИЛ» хотела бы внести посильный вклад в подведение итогов уходящей эпохи.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А. О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О. Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Я. КАЗАРЦЕВА — заведующая отделом критики и публицистики
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, С. К. АПТ, П. Л. ВАЙЛЬ,
Е. Ю. ГЕНИЕВА, А. А. ГЕНИС, В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, А. М. ЗВЕРЕВ, Вяч. Вс. ИВАНОВ,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, А. С. МУЛЯРЧИК,
Д. Б. РЮРИКОВ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ,
М. А. ФЕДОТОВ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

1 январь 1995

СОДЕРЖАНИЕ

КОНЕЦ ВЕКА, КОНЕЦ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ — Профессор Криминале *(Роман. Перевод с английского Б. Кузьминского, Г. Чхартишвили, Н. Ставровской)* . 5

АНТИЭЛЕГИИ СЕРЕДИНЫ ВЕКА. Луис Сернуда, Октавио Пас, Чеслав Милош *(Переводы с испанского, польского и вступление Бориса Дубина)* 188

Литературное наследие

ЭЛИНАН ИЗ ФРУАМОНА — Стихи о Смерти *(Перевод со старофранцузского и вступление Сергея Бунтмана)* 195

Портрет в зеркалах

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Б. ДУБИН — Несколько слов в предуведомление к рубрике 201

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — Воспоминание и три сна. МОРИС БЛАНШО — Литературная бесконечность: «Алеф». ПОЛ ДЕ МЭН — Мастер наших дней: Хорхе Луис Борхес. ДЖОРДЖ СТАЙНЕР — Тигры в зеркале. МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР — Борхес, или Ясновидец. ЛЕОНАРДО ШАША — Несуществующий Борхес. ЭРНЕСТО САБАТО — Рассказы Хорхе Луиса Борхеса. ДЖОН АПДАЙК — Писатель-библиотекарь *(Переводы Б. Дубина, Е. Солоновича, В. Кулагиной-Ярцевой)* 202

Публицистика

НОРМАН О. БРАУН — Дионис в 1990 году *(Перевод с английского Н. Кигай)* 231

Ю. КАГРАМАНОВ — Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе? . . 240

А. ЯКИМОВИЧ — Культура и преступление (О чем говорят и о чем стараются не говорить в конце XX века) 245

К нашим иллюстрациям

Н. КАЗАРЦЕВА — Серьезные игры со временем и пространством . . 251

Курьер «ИЛ» 252

Авторы этого номера 255

© Иностранная литература, 1995

В следующем номере «ИЛ»

Февральский номер журнала посвящен литературе Ирландии, маленькой страны, давшей миру больших писателей — Свифта и Уайльда, Йейтса и Шоу, Джойса и Беккета, Биэна и Тревора...

В номере публикуются:

Роман одного из крупнейших современных англоязычных писателей ДЖОНА БЭНВИЛЛА **«Улики»** — криминально-психологическая драма, исповедь главного свидетеля собственного преступления.

«Жертвы» североирландца ЮДЖИНА МАККЕЙБА — повесть о терроре, жертвами которого становятся не только заложники, но и сами террористы.

Трагикомедия БРЕНДАНА БИЭНА **«Говоря о веревке»** в переводе Иосифа Бродского.

Стихотворная пьеса УИЛЬЯМА БАТЛЕРА ЙЕЙТСА **«Единственная ревность Эмер».**

Стихи ДЕСМОНДА ИГАНА, ЭНТОНИ КРОНИНА, БРЕНДАНА КЕННЕЛЛИ, МАРТИНА О'ДИРАНА.

Первое эссе ПЕТРА ВАЙЛЯ из авторского цикла **«Гений места»,** рассказывающее о Дублине Джеймса Джойса и Лондоне Артура Конан Дойла.

На обложке — работы голландского художника МОРИСА ЭШЕРА:
На 1-й стр. — «Сон».
На 2-й стр. — «Лента Мёбиуса II».
На 3-й стр. — «Автопортрет» и «Рептилии».
На титульном листе — «Глаз».

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**

Технический редактор **С. В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47, факс 233-50-61

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 18.10.94. Подписано в печать 13.12.94. Формат 70x108 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,45. Заказ № 207.

Тираж 26 500 экз. Цена по подписке 4500 р.

Полиграфическая фирма **«Красный пролетарий».** 103473, Москва, Краснопролетарская, 16

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ

Профессор Криминале

РОМАН

Перевод с английского Б. КУЗЬМИНСКОГО, Г. ЧХАРТИШВИЛИ, Н. СТАВРОВСКОЙ

Посвящается Доминику, типичному девятидесятнику. И еще — посвящается Мэтью.

Что мне история?

Людвиг Витгенштейн

Имеющий глаза и уши да удостоверится в том, что смертные не умеют хранить своих тайн. Тот, на чьих губах печать немоты, проговаривается прикосновеньями пальцев; мы выдаем себя каждой каплей собственного пота.

Зигмунд Фрейд

Всё, всё едино
И все заедино.
Что мул, что профессор — оба скотина.

Аргентинское танго

1

Мы познакомились на церемонии Букера...

Вышло так (а почти все, о чем я тут напишу, будем считать, вышло), что мы с ней познакомились на финальной церемонии Букера. В лондонский Гилдхолл, где каждую осень торжественно ужинают и вручают премию за лучший роман года, мы попали по долгу службы: ей полагалось отснять сюжет, мне — сочинить материал. Она — ассистент режиссера в группе прямой трансляции программы Би-би-си «После полуночи», которая ради сегодняшнего случая выходила в эфир до полуночи; я — сотрудник Крупной Воскресной газеты, которая планировала дать мой репортаж о важнейшем культурном событии на новостной странице, но, к несчастью, с почти недельным опозданием: Букер-то созывался во вторник вечером. Кстати, и через неделю материал света не увидел, ибо за это время Крупная Воскресная, по примеру большинства крупных воскресных газет, умудрилась обанкротиться.

© Malcolm Bradbury, 1992

Итак, она: вся в механике; разъемы, провода, прожекторы, тележки-долли, наплечники и бетакамы, с помощью коих мы претворяем жизнь в технотронный мираж, чтобы воспринимать ее как жизнь настоящую. И я: с шариковой ручкой и пружинным блокнотом в кармане. Она: рыжая, в черном балахоне до пят, изукрашенном ремешками и косичками, словно участница некой эрогенно-похоронной процессии. Я: так как в Крупной Воскресной меня не предупредили, что на Букера принято наряжаться в пух и прах,— в поношенной зеленой ветровке и кроссовках «Рибок»; вы ведь знаете, сейчас в моде разнобой. Она подкатила к сверкающему огнями фасаду (и, что я позднее испытал на собственной шкуре, укатила тоже) в длинном, низко стелющемся лимузине телекомпании; я пристегнул свой мопед к фонарному столбу на ближайшей муниципальной стоянке и спрятал мотоциклетный шлем в роскошной, облицованной мрамором кабинке гилдхолловского туалета. Она, вооруженная хлопушкой и микрофоном, мгновенно заняла выгодную позицию в застекленном вестибюле и принялась выцеживать из потока гостей самые сливки искусства и власти, требуя от каждого выцеженного, чтоб тот сделал краткий прогноз: какой финалист удостоится премии. А я к тому времени единственное что выцедил — так это разовый пропуск из железобетонных сотрудниц местного пресс-бюро. И, согласно древнему правилу своей древнейшей профессии, направился через вестибюль в фойе — сомкнуть иззябшие пальцы на бокале с горячительным.

Она — молния голубого экрана, я — мямля газетных полос; казалось, наши гороскопы враждебны, полярны друг другу, и любая их линия начисто исключает самую возможность встречи лицом к лицу. Так вот на ж тебе — встреча состоялась! «Вы вроде симпатичный, культурный парень,— проговорила она, подцепив меня хлопушкой за шиворот.— Давайте мы вас покажем по телевизору». По сей день, да-да, по сей день (я разумею здесь день, когда пишу этот текст, а вовсе не день, когда вы его читаете — я вас знаю, вы еще годы, десятилетия можете проспать, прежде чем раскроете мою книжку) не возьму в толк, отчего она выбрала именно меня, какая черная сила заставила ее предположить, что заурядный, никому не известный журналист (она ведь явно слыхом обо мне не слыхала) горазд на остроумные экспромты, которые расшевелят телезрителей, вконец вымотанных после трудовой смены. Смешней всего, что я действительно был горазд; я действительно был симпатичным, культурным парнем (и остаюсь им по сей день, да-да, по сей день, поняли?), а сливки искусства и власти, обтекавшие нас пышными, заскорузлыми клубами винных паров, в массе своей никоим образом не являлись ни симпатичными, ни культурными.

Не возьму также в толк, зачем я согласился. Нет, в том, что я действительно был горазд,— никаких сомнений; распоследний дебил и тот сумеет выдать в объектив фразу-другую, воспользуется шансом мелькнуть на телеэкране: ведь экранные слепки наших лиц нагнетают под кожу лиц свежие порции настоящей жизни. Мне бы поостеречься; но, честное слово, ничто в мире не пробуждает столь страстного к себе влеченья, как неугомонная, будто медом намазанная линза телекамеры. А если чары линзы подкреплены соблазнительным патронажем рыжеволосой улыбчивой женщины в балахоне с ремешками и косичками? Она широко улыбнулась — я радостно согласился; она взяла меня за локоть, потянула на импровизированную съемочную площадку и представила ведущей. Ведущая — а «После полуночи» в том году вели грудастые, крашенные хною дамы, все как на подбор на восьмом месяце беременности — зафиксировала меня перед яростным смуглым объективом и смуглым яростным оператором, запрокинула мне лицо, взбила челку, замазала пудрой какие-то прыщики, чуть раздвинула мои колени и бросила на произвол судьбы.

По сей день, да-да, по сей день вообразить не могу, зачем я стал говорить то, что тогда сказал. Ведь я действительно был горазд. Еще как горазд: та букеровская церемония состоялась в самый разлив мутного оцепенения, имя которому — стык 80-х и 90-х. Планета пребывала в зазоре эпох: ушедшей, Предпринимательской, и грядущей — Кризисной, Грозо-

вой, Неврастеничной. Далеко-далеко от нас — от нарядного Гилдхолла, от новеньких постмодерновых банков-небоскребов лондонского Сити — рвано поползли вкось исторические залежи последних четырех десятилетий. Только что рухнула Берлинская стена, и ее обломки уже вовсю набирали рыночную стоимость как предметы искусства (особенно если на них отыскивались подлинные автографы Хонеккера). Теперь над штатовскими гольф-клубами и дефицитами бюджета президентствовал не Рейган, а Буш; но Маргарет Тэтчер прочно сидела на британском престоле, и Михаил Горбачев, великий зодчий перестройки и гласности, цеплялся за власть в СССР. По всей Восточной Европе памятники валились с пьедесталов, бюсты — с постаментов, Ленин и Сталин, Чаушеску и Ходжа стали простым металлоломом, рухлядью времен. Открывались границы, половина населения Албании ринулась вверх по корабельным сходням, республики провозглашали свою независимость, Германия, воссоединяясь, пожимала руку самой себе, и все кому не лень восклицали, что мир непоправимо изменился.

Историки-популисты объявили Конец Истории, журнецы вроде меня констатировали Затухание Холодной Войны, политики различных государств — по большей части государств Нового Света — толковали о Новом Мировом Порядке. Марксизм и командная экономика демонстративно дышали на ладан. Либеральный капитализм, со своей стороны, тоже мало чем мог похвастать. В Вашингтоне буйствовал бюджетный кризис, в Британии — торговый спад, в Токио — налоговый невроз, везде и всюду — банковские аферы. Кое-кто в Брюсселе вынашивал наполеоновские планы реорганизации Европы — вот только уточнить бы, где Европа начинается и где заканчивается. В Югославии — конфликты, в странах Балтии — борьба за отделение, везде и всюду — этнические и территориальные разногласия. Под боком у Европы Саддам Хусейн (в прошлом — такритский уличный боевик; Мировая служба Би-би-си как-то признала его человеком года), геройски отстаивая право на корону и триумфальный марш по стогнам Персеполя, натравил на соседний дружественный Кувейт шовинистическое воинство убийц, насильников и мародеров. Тихой сапой надвигался 2000 год, таяли полярные льды, тончал озоновый слой. Тут и там наличествовали чума XX века, наводнения, засухи, Царь Голод, землетрясения, выбросы нефти и прожорливая саранча. Симпатичный и культурный парень, такой, как я, в зеленой ветровке и кроссовках «Рибок», чувствовал: эпоха ему выпала беспокойная. И все же то была моя родная эпоха.

А в британской литературе между тем настал час ностальгии. Едва ли не все шесть романов, вошедших в финальный список Букера (под прицельным огнем телекамеры я их сдуру обозвал «бабуськиными»), принадлежали перу авторов более чем восьмидесятилетнего возраста. И едва ли не во всех описывалась девическая любовь, пресекшаяся теплой летней ночью 1913 года на пляжном топчане Довиля или Ле Туке (ну, в крайнем случае — на дне лодчонки, пришвартованной к кембриджским мосткам), но не пересекшая рубежей девичества. Нет, вы вдумайтесь. Я человек молодой, родился всего за год до высадки на Луну и все, что произошло раньше изобретения текстового редактора «Уорд перфект», воспринимаю как глухую древность. Неудивительно, что эти романы казались мне историческими — хотя сами убеленные сединами писательницы с полным основанием утверждали, что их творенья посвящены современности. Правда, я англичанин новой формации, какие селятся в Камдене (вообще-то нам больше нравится называть свой район Айлингтоном). Попробуйте обвинить меня в сексизме и расизме, попробуйте ославить меня эйджистом, то бишь геронтофобом. Я не спорю: старикам, да и любой другой социально ущербной прослойке должны быть предоставлены все права. Но кроме того, я лондонец. На излете унылого столетья я живу в столице, зараженной мусором и упадком; бомжи здесь ночуют в картонной таре, на тротуарах смердят груды отбросов, спускаясь в подземку, чувствуешь, что быт этого надломленного мегалополиса скоро сравнится с бытом истерзанного бомбежкой Бейрута, а мир, описанный в подобных романах, тебе удивителен и чужд.

Теперь я стал старше и опытней. Задним числом я понимаю, что держался чересчур развязно, чуток пережал, маленько зарвался — словом, перегнул палку. Я говорил о книгах, которые в лучшем случае успел пролистать, в худшем — прочесть аннотацию на обложке (если честно, позже, на досуге, я ознакомился с некоторыми из них подробнее, и они меня приятно поразили). Авторы божились, что замыслы романов вызревали в средоточии мудрости, годами копившейся в авторском естестве, и закалялись в горниле творческого воображения — и не зря божились. Теперь я знаю: тоска по минувшему (по тому, что еще не состоялось для нее как минувшее) —удел юности, а не зрелости; именно юность вслепую отличает прошлое-подлинник от прошлого-подделки. Я усвоил (какой ценой — вы потом узнаете, если захотите читать дальше): доля тех, кто старше тебя, порой сложнее и извилистей, чем твоя, и они тоже умеют спорить с судьбой, и случившееся до твоего появленья на свет вовсе не целиком заслуживает забвения. И все же — поставьте себя на мое тогдашнее место, не осуждайте, проникнитесь. Вот он я, дурак дураком, и вот камера — в лоб, встык. Загвоздка в том, что взгляд линзы гипнотизирует вас: внушает, что ваш собеседник — она сама или же, по крайности, смазливая девица с нею рядом, но никак не вся орава британских телезрителей. Людям моего поколения свойственна спонтанность реакций; мы соображаем, жуем и страждем наскоро. Би-би-си требовала от меня импровизации на тему букеровских финалистов. Что требовала, то и получила.

Я молол языком как одержимый. Эпитеты «сентиментальный», «невежественный», «клишированный», точно воробьи, спархивали с моих уст. Минуты через две хнойная дама меня прервала (что за хамство, подумал я), оператор проверил качество записи, особа в балахоне воскликнула: «Ну, блеск!» (впоследствии выяснилось, что она говорит это по всякому поводу, и хорошему, и плохому). Кто-то уже волок к площадке очередную жертву, Джона Мортимера (или мужчину, сходного с Дж. Мортимером статью, лицом и повадкой); а я, тупо ликуя — причастился-таки голубизны экрана, урвал кусок видеобессмертия,— побрел восвояси через громадный, тесный, украшенный масляными портретами видных лондонских богатеев вестибюль за вожделенной подачкой, за понюшкой спиртного. Пологая каменная лестница была уставлена девушками в оборчатых фартуках, и каждая с казенным радушием протягивала мне серебряный поднос, где теснились напитки, приличествующие событию: шампанское или полноценный эрзац шампанского, апельсиновый сок, экологически чистая вода, искристый джин с тоником, в котором, словно айсберги у побережья Антарктиды, истаивали кубики льда. Я цапнул сразу два фужера с шампанским — один для себя, другой якобы для спутницы; надо заметить, чудесное поколение, к коему я принадлежу, беззастенчиво набрасывается на любую халяву. Мне предстояло общаться с прозаиками, а настоящая проза давным-давно учит нас: первый глоток алкоголя — первый шаг к запретным усладам. Я протиснулся в фойе, забитое публикой в парадных костюмах.

И быстро понял, что финальная церемония Букера — совсем не то, чего я ожидал. Литература как таковая тут сбоку припека. Первый же гость, с которым я заговорил, назвался Нилом Киннoком; впоследствии я решил, что это, скорей всего, и вправду был Киннок, ибо на мои глубокомысленные соображения о литературном новаторстве в культуре постпостмодерна он отвечал невпопад. Второй собеседник представился Ричардом Роджерсом; с ним-то, по идее, и надо было обсудить проблемы постпостмодернизма, а вовсе не кинозвезд, увлекающихся верховой ездой. Третий отрекомендовался главным управляющим Английским банком; четвертый уверял, что владеет едва ли не всеми пахотными землями Западной Англии. Пятый, седьмой, двенадцатый: банкиры, бизнесмены, политики, послы разных стран, чьи народы не мыслят себя вне литературного процесса. Картина получалась парадоксальная: сливки искусства и власти в черных фраках, белоснежных сорочках, в орденах и лентах, нежно голубеющих под галстуками,— и я в зеленой ветровке и кроссовках «Рибок». Я угодил в гущу профессиональных трепачей, но сегодня вечером они трепались о том, о чем

треплются профессиональные трепачи, когда хотят просто потрепаться между собой: о котировках валют, о твердых экю и мягких посадках, об отпусках и здравницах, о своих шикарных виллах в Дордони и своей неизбывной неприязни к французам.

Потеряв терпение, я остановил какого-то фрачника (выяснилось, что это Джон Мейджор; впрочем, в ту осень он и сам еще как следует не понимал, кто он, собственно, такой) и спросил, где же скрываются писатели. Он помедлил, любезно улыбнулся и указал в глубь фойе, на увешанную портретами стену. Указание Мейджора (в данном, конкретном случае) было на редкость точным. Вплотную к стене жалась перепуганная стайка финалистов — тех, к чьим романам жюри так и сяк примеряло заветную премию. Они переминались с ноги на ногу и прихлебывали апельсиновый сок в плотном кольце угрюмых литагентов и дамочек из издательских пресс-бюро, причем всех дамочек звали Фионами. Как я и полагал, стайку в основном составляли престарелые леди — за исключением невероятно юной девушки, только осваивающей бабулькино ремесло, и автора мужеска пола родом из южного полушария, который преодолел несколько часовых поясов и оттого клевал носом. Лишь одна из четырех леди удосужилась сделать перманент — седые шевелюры остальных пребывали в кокетливом беспорядке. Две зачем-то прихватили с собой пластиковые пакеты для продуктов; одна уже всхлипывала; другая жаловалась, что выпила слишком много сока и у нее неладно с животом. Все романисты растерянно озирались по сторонам, будто так толком и не поняли, какого, собственно, рожна им тут делать. Догадаться, что перед вами литераторы, можно было лишь по косвенным приметам: брюзгливые, зловредные физиономии, взаимная неприязнь. К этому времени члены жюри как раз кончили совещаться и смешались с толпой, на ушко поверяя родным и близким имя лауреата. Однако по букеровским правилам героев дня держат в неведении до самого что ни на есть последнего момента, чтобы момент получился воистину волнующий; и финалисты тщетно пытались угадать счастливчика, достойного уже не какой-то там хилой неприязни, а могучей и праведной ненависти.

Я собрал в кулак все наличное обаяние (не сочтите за похвальбу — определенное обаяние мне порой присуще) и стал подъезжать к Фионам с тем, чтобы они позволили задать своим подопечным парочку вопросов о влиянии черного реализма на их творчество. Но Фионы, все как одна, отказали наотрез: дескать, никаких интервью, пока не будет объявлен результат, победителя отдадут на растерзание прессе, а побежденные, соответственно, повлекутся прочь тернистой дорогой, каждый — своей. До сих пор не пойму: может, Фионы лукавили? может, нутром чувствовали, что подобострастной статьи от меня не дождешься? И правильно чувствовали; я намеревался писать не о финалистах, но о культурной дистанции меж собой и финалистами. Для них жанр романа выполнял метафорическую функцию, и женственность их оставалась кособокой, будто амазонка с урезанной грудью; а для меня, газетчика, метафора была необязательной роскошью, запутывала голую логику факта, и женская грудь упругой рогаткой, жаркой двойною вершиной скользила по моей коже. Они закоснели в пуританском единомыслии; а меня воспитала беззубая вседозволенность. Вспоминая тот вечер, я отдаю должное интуиции Фион.

Раз уж вы добрались до этого места, вам, верно, хочется (или не хочется, кто вас разберет) побольше узнать о моей жизни, литературных пристрастиях, о мировоззрении в конце концов. Я мог бы заморочить вам голову нескладным автобиографическим очерком (семья, школа, успехи в спорте, ранние несмелые соития), но составлять его что-то лень. Короче: в самой середине загадочных, навсегда канувших 80-х я перешел на последний курс Сассекского университета, славного стойким шестидесятническим духом. Тут я хватал звезды с неба, тут получил специальность литературоведа. В тогдашнем искусствознании безраздельно властвовала теория деконструкции, и, гуляя по известковым увалам Сассекса, мы отдавались этой

теории телом и душой. Детективы-подмастерья, обличители словесности, мы деконструировали все, что попадалось под руку: автора, произведение, читателя, язык, речь, самое действительность. Ни одна улика не ускользала от нашего взора, всякий текст подозревался в преступном умысле. Мы демифологизировали, мы демистифицировали. Мы раздраконивали авторитеты, мы разрушали каноны. Мы немилосердно обличали фаллическую символику и патриархальные атавизмы; мы расшифровывали, развагинировали, разоблачали, расчеловечивали. В преддипломные дни я навестил руководителя своего семинара (то был еще не старый, но изверившийся и потасканный неомарксист, над которым вечно висел дамоклов меч сокращения штатов, неуклонно осуществлявшегося в академической среде с подачи Маргарет Тэтчер) и сообщил ему, что выбрал занятие по вкусу. И что же вам по вкусу? — насмешливо спросил он. Банковское дело? бухгалтерия? юриспруденция? должность преподавателя менеджмента в Гарварде? или писательского мастерства в каком-либо ином университете, из самых престижных и прогрессивных? Да нет, отвечал я, мне по примеру многих моих приятелей хочется завербоваться в армию. Военных действий, к счастью, не предвидится, и я до пенсии прокантуюсь в Баварии, всласть накушаюсь пива — мечта!

Помню, он побелел как простыня и окинул меня взглядом затравленного бронтозавра. Чего-чего, а подобных заявлений от выпускника Сассекса он не чаял услышать. Но затем, в нежданном припадке добродушия, дал мне совет, за который я благодарен ему по сей день, да-да, по сей день. Если вы склонны к силовым методам, сказал он, почему бы вам не заделаться критиком? После ваших лекций писатели и литература мне опротивели, возразил я. Вы твердо убедили меня, что все без исключения художественные тексты созданы людьми, которым создавать тексты противопоказано, ибо это сплошь люди с дурным воспитанием, дурной кровью, дурными манерами и дурными ориентирами. Великолепно, воскликнул он, такая позиция обеспечит вам головокружительную журналистскую карьеру. Снял трубку, набрал номер одного из многочисленных своих друзей-газетчиков. И так расписал ему мои достоинства, что через пару недель мне предложили испытательный срок в Крупной Воскресной, которая в те дни шла в гору и нащупывала свежий, нетрадиционный стиль, в меру эпатажный, но и в меру доходчивый. Никогда не забуду, как на выпускном вечере руководитель семинара (глаза полнятся слезами, бокал — белым вином) прощально стиснул мое предплечье и наказал нести знамя герменевтики сквозь невзгоды внешнего мира и не жалея сил трудиться во имя персонализма. С того самого мига и до букеровского торжества я только и делал, что претворял в жизнь его заветы.

Крупная Воскресная, как и прочие таблоиды новой формации, версталась на компьютерном комплексе в смерчеобразном постмодернистском небоскребе — они, как грибы, растут вдоль южного берега Темзы. На ее броских, пышущих энергией страницах политика и секс, миллионные барыши и миллионные траты, оперные спектакли и номера угнанных автомашин, садоводство и рэп, изысканные парадоксы и грязные сплетни, откровения и инсинуации складывались в пестрый узор, расцвечивающий выходные подписчиков отдохновением и отрадой. Высоколобая аудитория (а первое, о чем мы уведомляли потенциальных рекламодателей,— это что наша аудитория *поголовно* высоколоба) сразу оценила мои оригинальные, интеллектуальные, радикальные, хаотические, афористические, ну и, конечно, поколенчески симптоматичные статьи. Вслед за первопроходцами журналистики будущего, что интервьюируют лишь тех знаменитостей, которых в глубине души презирают, я требовал от текущей словесности прямо-таки неземных совершенств. Мои тексты были адресованы девятидесятникам — людям осмотрительным, но терпимым, общительным, но прижимистым, начитанным, но незанудливым. Меня прозвали панк-критиком, хотя я так и не уяснил, чем мои глубокомысленные обзоры похожи на композиции подзаборных групп, чьи компакт-диски я и на плейер-то ставить брезговал.

Так я шлифовал мастерство — талантливый журнец, летописец бесфор-

менной литературы. Быт свой я обустроил безупречно. Судите сами: снял в Камдене (в Айлингтоне) полуподвальную квартиру, до того скромную, что верней было бы назвать ее полутораподвальной. Мой рацион состоял из полуфабрикатов; чтоб разогревать их, я приобрел микроволновую печь, а чтоб ездить за ними в магазины — мопед. Девушки, с которыми я знался, охотно соглашались на интимные встречи в доклендских меблированных комнатах — расходы пополам; я внушал им, что моя стихия — непостоянство, что я вечный странник без цели и упрека. Я сочинял, но не книги (сочинять книги — чересчур трудоемкая штука). Я сочинял некие, что ли, отрывки; да чего я только не сочинял: серьезные рецензии для «Таймс литерари сапплмент», эссе о южноамериканской прозе для «Лондон ревью ов букс», текстовки для поп-музыкантов, рекламу для радио. Я обозревал, колумнировал, выпаливал такие сарказмы в адрес несчастных авторов, что уши вяли. Я интервьюировал, анализировал. Я вовсю хамил, изощрял стиль, резвился как дитя, парил как ястреб. Кроме того, я подрабатывал официантом в одной ковент-гарденской рюмочной и стрингером — в «Нью мьюзикл экспресс». Так я шлифовал мастерство, пока не настал вечер Букера, резко переменивший мою участь.

Давайте вернемся в фойе Гилдхолла, где, перекрывая гомон толпы, раздался глас церемониймейстера: внимание! прошу в банкетный зал! Финалисты, как обезумевшие овцы, ринулись прямо на меня, через меня; Фионам еле удалось согнать их в гурт и направить к нужным дверям. Элегантные гости тоже засуетились: близился час кормежки. Я с трудом протолкался к листочку с нумерацией мест, чтобы посмотреть, кто будет моими сотрапезниками на решающем этапе празднества. Выяснилось, что за центральным столом мне сидеть не судьба; туда определили едоков позаметнее: бывшего премьер-министра, лидера оппозиции, двух нобелевских лауреатов, корифея французского «нового романа» (оба — и роман, и корифей — порядком состарились) и председателя жюри — видного экс-лейбориста, ныне слывущего книголюбом. По сходным причинам мне не нашлось места и за другими столами. «А ты рассчитывал, что тебя усадят вместе с этими шишками? — сказал некто и отобрал у меня пустой фужер.— Вот там, сбоку, комната для прессы, ступай туда и скушай бутерброд. Если ты его с собой захватил». Я обернулся и увидел наглый прищур той самой особы в ремешках и косичках, с хлопушкой в охапке.

«Это опять вы»,— пробормотал я. «А это снова ты»,— ответила она. «Я вам хоть представился, а вы мне...» «Меня зовут Роз. Уменьшительное от Дианы». «Как вам мой экспромт?» «Ну, блеск!» «Что, правда удачно?» «Ужасно. Даже Хауард Джейкобсон говорил лучше». «Бросьте, на букеровских церемониях хуже, чем Хауард Джейкобсон, никто еще не выступал». «Теперь вот выступил». «А можно конкретнее?» «Ты порол плоскую, напыщенную ерунду». «Да я растерялся. По неопытности». «Мягко говоря. Хочешь, отведу тебя к монитору, и ты полюбуешься на себя в прямом эфире?» «В эфире? — переспросил я.— Вы собираетесь включить меня в программу, несмотря на то что я нес ахинею?» «Ты нес такую откровенную ахинею, что не включить тебя в программу — преступление». «Эй-эй, погодите. Может, не стоит? Я ведь ахинею нес». «Куда там годить! Ты — настоящий гвоздь. Шедевр идиотизма. Ты сам будешь в восторге, то есть был бы, если б сумел взглянуть на себя как на телеперсонаж. Ну что, пошли? Перед уходом поручаю тебе свистнуть у той вон девушки бутылку шампанского, да скорей, пока она их не унесла».

И мы с Роз покинули гостеприимный Гилдхолл, блистающий огнями и сливками. Снаружи, в лондонском Сити, моросил дождь; порывистый ветер посвистывал меж банковских цитаделей, олицетворяющих экономические достижения Британии 80-х. Не доходя до центра этой антиналоговой зоны, мы свернули в невзрачный тупичок, где под сенью закопченных деревьев прятался зеленый автофургон без каких-либо надписей на кузове. Высоко над нашими головами в просторных офисах башен-небоскребов безотрывно глядели на экраны компьютеров денежные воротилы, впитывая мимолетные колебания параметров, от коих зависит здоровье призрачного

финансового чудовища. Но и здесь, внизу, в передвижной телестудии, мы, по сути, действовали им в унисон, мы вперивались в ячейки мониторов, отслеживая мимолетные ракурсы, целебные для финансового благосостояния чудовищного экранного призрака. Здесь, в битом-перебитом зеленом фургоне, припаркованном у обочины невзрачного переулочка, я увидел финальную церемонию Букера так, словно сидел дома перед телевизором. Правда, дома я вольготно расположился бы на кушетке, а тут меня с обеих сторон зажали особа в ремешках и косичках и звукооператор — втроем нам пришлось довольствоваться одним стулом и одной бутылкой шампанского.

И еще: дома мне не показали бы то, чего рядовому зрителю не показывают,— крупицы повседневности, налипшие на букеровскую ритуальную позолоту. Выдающиеся деятели современности на фоне портретного иконостаса выдающихся деятелей прошлого, давясь, пожирают выдающиеся (с виду) яства. Министр нынешнего кабинета зевает в лицо приветливо квохчущей соседке. Чья-то ладонь ныряет под стол, а затем появляется вновь — на ближайшем женском бедре, обтянутом вельветовой юбочкой. Внезапно меня посетила странная мысль — из тех, что иногда посещают бывалых журналистов: «Может, вам и лауреат заранее известен?» «Конечно, известен,— ответила Роз.— Мы ж должны загодя установить камеры где полагается». «А ты не скажешь, кто он, по-свойски, как журнец журнецу? Я б тогда помчался и первым взял у него интервью». «Дудки,— сказала Роз.— Информация — это власть». «Мне казалось, журнецы должны держаться заодно». «Балканские страны тоже, по идее, должны держаться заодно, а что на деле творится? Мы не в детском саду. Репортер репортеру волк. Кстати, истинный ас на твоем месте понаблюдал бы за тем, как расположены камеры, и вычислил победителя».

Взгляд мой заметался по экранам. Вот! Стоп-кадр: нечесаная писательница раззявилась с полным ртом, оторопела, точно оператор прыгнул на нее прямо из-под жаркого по-веллингтоновски. «Эта?» «Не угадал.— Камера плавно спанорамировала прочь и запечатлела официантку, спотыкающуюся о кабель.— Осталось пять попыток». Крупный план: некая дама пристраивает микрофон в выемке меж грудями. «Она?» «Да это Джермина Грир в студии, готовится к «круглому столу». Смекаешь, в чем твоя беда? Ты теленепригоден. Дай-ка хлебнуть». «Слушай, насчет моего экспромта. Я городил чушь, согласен. Так, может, ты его выкинешь? Или переснимешь». «А ты бы выкинул?» «Сию же минуту! Журнецы обязаны держаться заодно». «Фига с два бы выкинул,— отрезала Роз.— И не обзывай меня журнецом. Я киношница». «Ну, разница невелика». «Велика. Ты бумагу мараешь, а я продуцирую искусство. И вообще, не думай, что я всегда в этой группе работаю, меня сегодня подружка попросила им помочь. Я, между прочим, с независимой студии».

«Знаю я вас, независимых. В Айлингтоне таких что тараканов. Положат пять фунтов на счет, откроют компанию, замахнутся на сериал стоимостью в восемь миллионов и до посинения обхаживают Четвертый канал, чтоб тот оплатил им съемки. Я с ними каждый вечер вижусь в баре — они у меня клянчат на выпивку». «Эти онанисты мне не чета. У меня хватка крепкая. За что ни примусь, все в лучшем виде выходит. Ой, смотри, куда это они все?» Действительно, на экранах творилось нечто необъяснимое. По знаку председателя букеровского комитета ужинающие, как один человек, вскочили из-за столов и ринулись в сторону туалета. «Еще пять минут потерпи,— сказала Роз.— Удобно сидишь, не падаешь?» «Да, удобно, спасибо». «Ничего, дай срок. Сейчас упадешь». Гости уже рассаживались по прежним местам, но физиономии их сделались какими-то пластмассовыми. Авторы стиснули челюсти, Фионы поправили складчатые шляпки, литагенты отодвинули бутылки с вином подальше от себя, министры приосанились. Освещение вдруг усилилось, издалека донесся волчий вой, снизу вверх проползли титры, ведущая улыбнулась в объектив и оповестила, что мы присутствуем на историческом событии. Если принять во внимание выкрутасы, на которые история пустилась впоследствии, ведущая, пожалуй, не так уж и преувеличивала.

Роз ущипнула меня за ягодицу: «Ну вот он наконец, наш маленький-удаленький». И впрямь. Я неожиданно возник на центральном мониторе, как миссис Дэллоуэй — на пороге людной гостиной. Только то был не совсем я; то был вылепленный с бесовским тщанием отвратный симулякр. Современная технология превратила меня в щуплого зеленоватого недоросля, вихляющего бедрами и выкрикивающего всякую невыносимую чушь. Пропорции мои исказились, мысль оболванилась, повадка испохабилась; словом, на мой вкус, все выглядело не так, как должно было выглядеть в... хм... реальности. «Ну, что скажешь?» — спросила Роз, едва наваждение сгинуло. «Это пародия». «Нет, это ты». «Значит, ты права. Я действительно выступил хуже, чем Хауард Джейкобсон». Монитор стал показывать другие экспромты: Джона Мортимера, Бена Элтона, Гора Видала. Все они выступали гораздо, гораздо лучше меня. Что бы ни появлялось на экране в последующие полчаса — я был гораздо хуже всего, что там появлялось. «Зачем ты пустила меня в эфир? Почему не вырезала из программы?» «Потому что остальную программу публика к утру забудет, а тебя запомнит непременно,— объяснила Роз.— Вчера на Букере один такой бредятины навякал! Кто он, этот козел?» «Но я вовсе не собирался остаться в памяти людской как козел с Букера!» «Сам виноват, тебя ж не заставляли быть козлом»,— примирительно сказала Роз.

А передачу о величайшем литературном празднике тем временем продолжили экранизированные фрагменты романов, вышедших в финал. Все шесть роликов снимались на одном и том же пляже-лягушатнике близ Шепардс-Буш-Грин, но реквизитный цех сотворил чудеса: парочка старомодных топчанов — и перед вами уже довильское побережье, безоблачный 1913-й. Засим шел «круглый стол» с участием Джермины Грир и прочих; все без исключения выступили гораздо лучше, чем я. Председатель букеровского комитета стоя представил собравшимся председателя букеровского жюри. Тот завладел микрофоном, весьма уничижительно (однако куда более убедительно, чем я) отозвался о текущей романистике и перескочил на творчество Тома Пейна — знаменитого тетфордского кутюрье и стойкого радикала. Логика развития темы вынудила оратора к пространным рассуждениям об американской Войне за независимость — похоже, ее он изучил досконально. Я слегка отвлекся, воображая разнообразные катаклизмы, вмиг стирающие мой экранный слепок из памяти миллионов, и не сразу ощутил, что атмосфера в фургоне накаляется. «Давай заканчивай, гос-споди,— твердила Роз.— Вся программа затевалась ради трехсекундного эпизода, а мы его вот-вот упустим». «Какого эпизода?» — спросил я. «Когда объявят победителя». «Эфирное время истекает через пятьдесят секунд»,— сообщил звукооператор. «Хренов кобель, он не уложится, не уложится»,— застонала Роз. «Имя, имя, дундук ты долбаный!» — возопили все, кто находился в фургоне. «Эй, там, шандарахните его по томапейнсу, заткните ему пасть, в харю, в харю вмажьте!» — проорала Роз в радиомикрофон.

И вот в самый разгар сражения при Саратоге председатель схлопотал порядочный тумак промеж лопаток, поперхнулся и на вдохе высипел имя лауреатши. Наиболее дряхлая, неряшливая и сумчатая из сумчатых леди подскочила как ужаленная, шагнула куда-то вбок, но персональная Фиона ее шустро перепрограммировала, и леди с горем пополам взобралась на подиум. Председатель опасливо ее поцеловал и вручил премиальный чек. «Улыбнись в объектив, ласточка»,— прошептала Роз. Победительница повернулась к камере анфас, сглотнула литровую слезу и поблагодарила своего издателя и свою маму. «Маму?! — изумилась Роз.— Бьюсь об заклад, ее мама сейчас дописывает роман, чтоб получить следующего Букера». «Итак,— из последних сил застрекотала ведущая,— очередной прозаик стал на двадцать тысяч фунтов богаче. Интересно, на что они будут потрачены?» «На мотороллер,— буркнула Роз.— Шевелись, задай этот вопрос ей, а не нам». «Время истекло»,— сказал звукооператор. «Свершилось.— Ведущая комкала фразы, чувствуя затылком дыхание девятичасового выпуска новостей.— Ежегодное пиршество в честь современной словесности закончено».

Снизу вверх поползли финальные титры, а Роз в сердцах саданула кулаком по пульту: «Боже мой, интервью не влезло, да и фамилию мы толком не расслышали! Хоть кто-нибудь расслышал ее фамилию? Или название романа?» «Большое тебе спасибо,— вклинился я.— Мне, пожалуй, пора». «Это тебе, миленький, спасибо. Кабы не ты, вся программа пошла бы коту под хвост. Ты ее, считай, вытянул собственным дебилизмом». Омываемый ливнем, я поспешил обратно в жаркий Гилдхолл. И на бегу зарекся: хватит с меня телекамер, зароюсь в книжки и гранки так, что они и следа моего не разыщут. Но в банкетном зале меня ожидало новое потрясение: трапеза длилась как ни в чем не бывало, технотронный симулякр явно опередил действительность. Мало того: подготовив убедительный симулякр, компания «Букер», похоже, выдохлась, ослабила тиски регламента. Гости жевали не переставая, председатель вновь воздвигся над столом и досказал-таки историю битвы при Саратоге. Лауреатша подскочила вторично, однако на сей раз, наученная опытом, сразу взяла курс на подиум. Ей вручили другой (или тот же самый) чек, она сумела помянуть не только маму, но и всю родню — и вернулась на место. Затем на помост гуськом вскарабкались пятеро неудачников. На лбу у них было написано: к чертям собачьим такие игры, из грязи не протыришься в князи. Каждого одарили книгой в кожаном переплете, и каждый принял сей дар с нескрываемым отвращением: это ж мой роман, я его уже читал, причем неоднократно.

Гримасничали они зря. На них никто не смотрел, публика гонялась за победительницей. Лично я настиг ее в одном из служебных помещений. Сквозь частокол диктофонов в глаза мне ударили лучи непрошеной славы. Какой-то репортер спросил, на что будет истрачена премия. «Куплю виллу на Сейшелах»,— ответила счастливица. Я вынул блокнот и протолкался поближе, но путь заступила персональная Фиона, проникшаяся воистину царственным высокомерием. «Всего один вопрос»,— взмолился я. «И речи быть не может,— сказала Фиона.— Пока я жива, мои клиенты вам интервью не дадут, так и знайте». «Но почему?» «Вам объяснить почему?» — мрачно осведомилась Фиона. Я в панике метнулся назад, к аутсайдерам, чтоб хоть из них чего-нибудь выжать. Они окопались в подвальном баре Гилдхолла: сидели за стойкой, точно пять мумий, и быстро-быстро заливали духовный пожар джином и виски. Но и тут меня приняли более чем холодно. Отвечать на мои вопросы отказались наотрез. Литагенты, что еще утром выбалтывали мне по телефону свежайшие сплетни, издатели, что еще вчера завлекали меня на гурманский обед в «Рул» или «Уилер»,— все воротили нос, все пренебрегали мной.

Наконец некая Фиона, самая занюханная, смилостивилась: «В фойе есть телевизор, и мы видели ваше выступление. После этого с вами никто не хочет знаться». «Вот дьявол»,— ругнулся я. «В литературных кругах у вас не осталось ни одного доброжелателя». «Ни одного?» «Ни одного». «Ну, один-то, может, остался»,— сказал кто-то за нашими спинами. Я обернулся: снова Роз. «Гляди, что ты натворила!» — заорал я. «Я натворила? Это ты натворил. Телевидение отражает действительность, а не конструирует ее». «Не пудри мозги. Ты меня подставила». «Кончай на меня наезжать. Какая букеровская церемония обходится без скандала? Литература — нудная вещь. Зрителю не жвачка нужна, а приправа. Да успокойся, Фрэнсис, когда ты им понадобишься, они к тебе на пузе приползут. Поехали в «Граучо», спрыснем это дело».

И вот я на заднем сиденье стелющегося студийного лимузина, куда, кроме нас с Роз, загрузилась уйма телевизионщиков. Голова раскалывается от тяжких дум, мопед брошен у фонарной стоянки — наверно, он и посейчас там скучает. Что именно происходило той ночью в «Граучо» — самом безалаберном и суматошном литклубе Лондона,— припоминаю смутно. Там было мало закуски, но много выпивки, причем последняя, скорей всего, пришлась в основном на мою долю. Туда заглядывали Мелвин Брэгг, Умберто Эко и Гор Видал, но Мелвина и Умберто я упустил, а Гор, к сожалению, всю дорогу двоился и даже троился. Говорят, на почве своего

экспромта я вдрызг разругался с феминистками, накачавшимися не только спиртным в клубе, но и непримиримостью спозаранку. Я дрался с ними как лев, защищая убеждения теле-Фрэнсиса; впоследствии мне пересказали нашу дискуссию, и я понял, что мои аргументы феминисткам были что об стенку горох. Просвет: полная луна над Лондонградом, мы едем куда-то еще, но уже далеко не в лимузине. Новый просвет: я наклонно стою под душем в чужой ванной. Меня заворачивают в полотенце, вытирают досуха, и мир погружается в бессвязную неразличимую тьму. Реальность исподволь вытесняет фикцию, фикция — реальность; руки и ноги не повинуются мне, их точно дергают за ниточку, как кукловоды Би-би-си дергали мой экранный слепок.

Вдруг — утро, настырное, словно будильник. Я всегда просыпаюсь с трудом, но сегодня труд непомерен. Какая-то каморка; окна наполовину зашторены; за окнами зычно переговариваются на бенгали. Не успел я примириться с этим фактом, за стеклом явилась группа мужчин в металлических касках. Мужчины, балансируя, шли друг за другом по длинной, укрепленной высоко над землей железяке и приветственно мне помахивали. Тут я зарылся в плед и наскоро оценил ситуацию. В Лондоне случаи киднэппинга, захвата заложников, продажи юношей в публичные дома редки, но вполне вероятны. В горле печет. В животе зудит. Я абсолютно гол, шмотки исчезли. Открылась дверь, и я высунулся из-под пледа, чтобы взглянуть в лицо своим похитителям. На пороге стояла Роз в обрезанных по колено джинсах и майке с надписью «Гавайский секс!». Я сразу смекнул, что после вчерашнего она переоделась.

Приблизилась, села на кушетку, пощупала мой пульс. С собой она принесла радиотелефон и чашку кофе; я выхлебал вторую, она поболтала по первому. Смазав голосовые связки кофеином, я спросил о координатах нашего местопребывания — временных и географических. Позднота, ответила Роз, жуткая позднота. Мы находимся в ее скромной, но уютной квартире близ Бишопсгейта. Квартал населен портными из Бангладеш, станция «Ливерпуль-стрит» в двух минутах ходьбы. Бенгальцы за окном обсуждали возмутительную дешевизну кожаных курток б/у, мужчины на железяке реконструируют (а может, деконструируют) станционное здание. Мои белье и верхняя одежда утрачены ночью, в чисто приятельской потасовке, однако Роз их сейчас мне отдаст. В ее отсутствие я схватил радиотелефон и набрал номер Крупной Воскресной: дескать, по экстраординарным и не зависящим от меня обстоятельствам я не смог написать репортаж о букеровской церемонии. Завотделом на это сказал: не страшно, его бы все равно не напечатали — газета накрылась.

Роз я встретил словами: «В голове не укладывается. Моя газетенка обанкротилась, загнулась, прогорела». «Ну, блеск!» — воскликнула Роз, протягивая мне мое тряпье. «Ничего себе блеск! Я тут лежу с перепоя, двадцатишестилетний...» «Нашел чем хвастать». «Ох, я не хвастаю. Со мной покончено. К двадцати семи я все проиграл. Типичная жертва посттэтчеризма». «Тоже мне, разнылся. Ты что, раньше не знал, что журналист — профессия рисковая?» «И на что я теперь буду жить? Он говорит, не только выходного пособия не жди, но и зарплаты за прошлый месяц». «Хочешь — оставайся у меня. Во будет блеск». «Заладила: блеск, блеск. Совсем не блеск. Никаких видов на будущее». «Виды — блеск. Почему б тебе не поработать на меня?»

Я выпучил глаза: «На тебя?» «Ну, на мою компанию, «Нада продакшнз», мы ее совместно основали с моей доброй подружкой Лавинией и делаем арт-программу для канала «Эльдорадо» — „Выдающиеся мыслители эпохи гласности“». «Звучит». «Нам требуется сценарист и ведущий». «Нетушки». «Ты как раз годишься — образованный, начитанный, не урод». «Вчера вечером я превратился в невежественного, безграмотного урода». «Именно вчера вечером я и поняла, что ты нам подходишь». Я напрягся: «Рано или поздно вечером?» «И рано, и поздно. И на ринге, и в нокауте». «Ты ведь сказала, я выступил хуже, чем Хауард Джейкобсон». «Гораздо

хуже». «Рано вечером или поздно?» «И рано, и поздно,— повторила Роз.— Но Хауард нашей компании не по зубам. Выше нос, Фрэнсис! Смотри, сколько про тебя лестного сегодня понаписали».

И она вывалила на кушетку ворох свежих газет. Прежде всего я развернул «Индепендент», ибо принадлежу к тем, кто каждое утро начинает с чтения «Индепендент». Заголовок: «Остолоп». Первый абзац: «Вчерашний прямой телерепортаж о букеровской церемонии засвидетельствовал бы полную профнепригодность сотрудников Би-би-си, если б не участие одного из амбициознейших журналистов Британии, неописуемого Фрэнсиса Джея...» «Это, по-твоему, лестное?» — ужаснулся я. «Твое имя попало во все газеты. Я ж предупреждала: тебя запомнят. Ты просто рожден для голубого экрана». Скажите этакое любому понимающему, здравомыслящему гражданину — он смертельно обидится. Вот и я попытался: «Сыт я голубыми экранами. Я человек вербальный, а не визуальный, уж поверь». «Да брось, я читала твои статьи. Самодовольная гиль, грудничковые слюни. Нет, едва ты оказался тет-а-тет с камерой, меня осенило: вот он, твой хлеб!»

«Уволь». «Хлеба не хочешь? Ну естественно, ты так назюзькался в «Граучо», что кусок в горло не лезет. Ладно, сейчас позавтракаем, и все будет в норме». «Не могу я завтракать». «А что тебе еще остается? На службу идти, что ль?» Я в упор посмотрел на нее; и она не отвела глаз. «Это тебе небось пора на службу»,— заметил я. «Я служу в независимой компании и на работу хожу когда вздумается. Вздумается что другое — другим и занимаюсь». И мы, так сказать, занялись другим — в весьма изощренной и изнурительной форме. А в итоге вышло (и все, о чем я напишу, можно считать, выходило именно так), что я посвятил несколько месяцев своей беспутной молодости заграничным поездкам, в итоге вышло, что я ввязался в охоту на профессора Басло Криминале.

2

И чего я связался с профессором Криминале?

По сей день, да-да, по сей день не возьму в толк, какие такие закономерности столь тесно и столь быстро — всего за несколько послебукеровских недель, тяжких недель, в течение коих я, задаром прислуживая Роз на кухне (и в постели), понемногу хоронил себя как журналиста — связали мою планиду и фортуну, жизнь и надежду с судьбой профессора Басло Криминале. Естественно, я услыхал о нем не впервые; кто ж не знает Криминале? Его имя давным-давно обмусолили все кому не лень. Вчера статью о нем напечатал журнал «Вэнити фейр», а завтра напечатают «Виц» и «Мари-Клер». Но я воспринимал Криминале лишь в том ключе, в каком большинство из нас воспринимает подобные культовые фигуры: они, пожалуй, подогревают наше любопытство, подстегивают тщеславие, но между ними и нами — интерфейс типографского набора, хитрая механика, с помощью которой мы входим в контакт с людьми, к чьим мыслям и поступкам неравнодушны, но неравнодушны вчуже; а видеть их лицом к лицу? участвовать в строительстве их биографий? — вот еще!

Одним словом, так: Криминале — текст, я — дешифровщик. Он автор, я читатель. Причем читатель, живущий в эру Смерти автора, обрисованную мной выше. В университете я крепко затвердил: сами писатели ничего не сочиняют. Их рукою водят язык, среда — но прежде всего их рукой водим мы, востроглазые читатели. Покажите мне слово «Криминале», покажите означающее «Криминале», подпись «Криминале» на четвертой странице обложки — и этого вполне достаточно. Вот он весь передо мной, в виде текста, и нет ни малейшего желания высматривать что-то между строк. Так чего ради, повторяю вопрос, чего ради я стал ковыряться в судьбе профессора Басло Криминале?

По здравой логике, между нами не было ничего общего. Он — философ мирового значения, известный как «великий аналитик современности», «Лукач 90-х»; я — безработный щелкопер с периферии. Он — интеллектуальный супергигант; я — патагонский пигмей. Он — предисловие; я — примечание, приложение. Никакой международный литературный форум, никакая конференция разноязыких интеллектуалов, чему б она ни была посвящена (миру во всем мире, правам человека, сохранению экосферы, тенденциям фотоискусства), никакой дипломатический раут в честь свежезаключенного пакта о культурных дружбе и сотрудничестве не могли обойтись без его присутствия; а меня на них хоть бы раз позвали. Его жизнь была расчислена академическими конференциями, приемами у министров, регламентами конгрессов, вылетами «Конкордов»; а я если и отваживался проехать пару перегонов по расхлюстанной Северной ветке, то с нулевым результатом: меня и в сельской местности на работу не брали. Колеся по свету в интересах современной науки, он останавливался в гранд-отелях, до того изысканных — «Вилла д'Эсте» в Северной Италии, «Бадрутт-палас» в Сен-Морисе,— что горничных туда выписывают исключительно из Швейцарии, а портье — из Сорбонны; мне же и лосьон после бритья, подаренный кем-нибудь на Рождество, казался немыслимой роскошью. Нет, наши с Криминале пути, куда ни кинь, никак не должны были пересечься.

И все же стоило мне вплотную заняться этим человеком по заказу «Нада продакшнз» (крохотной независимой компании, возглавляемой Роз на паях с ее — цитирую — «доброй подружкой Лавинией» и поставлявшей «Эльдорадо телевижн» часовые передачи из художественно-публицистической серии «Выдающиеся мыслители эпохи гласности»),— я за считанные дни с ним чуть не сроднился. То были печальные дни, смею вас уверить. От экс-газеты я не получил ни шиша. Государственная комиссия, на чьи благосклонные плечи лег ворох неоплатных счетов Крупной Воскресной, не только не выдала мне пособия, но и не выразила сочувствия. Хлеб и ложе, к счастью, предоставила мне Роз — правда, я скоро уяснил, что количество поглощаемого мною хлеба пропорционально износу проминаемого мною ложа. Еженощно Роз взимала с меня квартплату на колоссальном стадионе спальни. В области совокупленческого ревизионизма и новых концепций оргазма она достигла поистине впечатляющих результатов. Роз из тех, кто беззаветно верит: рубежи сексуальности еще как следует не определены. Просыпалась она освеженной, поливала цветы, кормила броненосца и, сияя, как «БМВ» после капремонта, мчалась в Сохо, в однокомнатные апартаментики «Нада продакшнз».

А я просыпался все более измотанным — то, что так освежало ее, обессиливало меня,— усаживался за стол для загородных пикников в городском доме у «Ливерпуль-стрит», в бангладешском квартале, и брался за непривычное дело: читал и конспектировал, выискивал и подшивал, копал и кумекал — тщился нащупать слабое место в окутывающей персону Басло Криминале ауре недоговоренностей и мифов, нащупать и проникнуть внутрь. Вечерами Роз, порывистая и пронизывающая, словно ветер Заполярья, притаскивала мне очередную груду книг и журналов, снимков и вырезок, файлов и факсов, имеющих то или иное (чаще — иное) касательство к объекту нашего изучения. Мы разогревали в духовке вегетарианские пасты с пониженным содержанием холестерина — это я покупал их днем, урвав полчаса от работы,— наспех ужинали и удалялись на второй этаж, в лабораторию, улучшать показатели экспериментов Роз.

А наутро я просыпался с чувством, что от меня отгрызли еще кусочек, и возвращался ко второй обязанности — шарил, рылся, фантазировал, со всех сторон подступался к таинственному миру Басло Криминале. Как и следовало ожидать, вскоре я уподобился безымянным антигероям романов Сэмюэла Беккета, стал этаким ментальным затворником, загнанным писцом, всякое слово которого вырывают прямо из-под пера и отчуждают на потребу сверхъестественного властителя, дряхлой, выморочной тварью, чьи воспоминания и выделения отсасываются без остатка и используются в технологических процессах. День за днем — неделя? две? три? Нас только трое: я, Роз и умозрительный профессор Криминале.

Кстати, коль уж вы читаете книгу — а вы ее, похоже, читаете, раз дошли до этого места,— вы тоже наверняка слышали о Криминале. Ибо вы умеете читать, а он — сочинять; ох, до чего ж бойко он умеет сочинять, точнее — язык умеет водить его рукою. Честно говоря, слово «сочинения» как-то даже съеживается, когда окидываешь взглядом весь объем писанины, выплеснутой Криминале на бумагу в течение сорока лет, как-то блекнет рядом с непомерной мощью его мысли и неохватным размахом интеллектуальных запросов, удерживающими творческий накал на самом пределе возможностей, как-то дуреет в применении к шеренгам томов, заполняющих университетские книжные лавки от Пекина до Беркли, к шеренгам, которые вот-вот одержат верх над десятичной классификацией Дьюи и заменят ее классификацией Криминале. Ничто не могло снизить производительность его пера. Сколько бы он ни ездил, сколько бы лекций ни читал, в скольких бы форумах ни участвовал — строчил без передышки. По легенде, с тех пор как ему исполнилось семнадцать, он сочиняет в день по стихотворению (и, вероятно, по журнальной статье). За это время, успев почтить присутствием едва ли не все земные государства, он почтил вниманием едва ли не все жанры словесности: роман и философский трактат, пьесу и путевые записки, эпическую поэму и экономическую монографию. Мало? Вот вам еще: его новаторские ню признаны выдающимся явлением фотоискусства (см. каталог недавней дрезденской выставки с предисловием Сузан Сонтаг). В общем, в его лице мы сталкиваемся со всесторонне одаренным человеком.

Если вы театрал, вам, конечно, известна его многоплановая историческая драма «Женщины из-под Мартина Лютера» — ее, как правило, сравнивают с шедеврами Брехта, и, как правило, не в пользу Брехта. А какой любитель беллетристики не ронял непрошеную слезу (впрочем, какой-нибудь, может, и не ронял) на его лаконичный, но потрясающий роман «Бездомье. Притча XX века» — Грэм Грин назвал эту книгу вершиной художественной прозы второй половины XX века. Приверженцы биографий читали его трехтомник об Иоганне Вольфганге Гёте («Гёте: немецкий Шекспир?») — там не просто воссоздана неуязвимая целостность выдающейся личности, но и доказано как дважды два, что без Гёте германский рейх немедля бы рухнул. Кто-то вспомнит его основополагающий экономический труд «Так ли уж нужны нам деньги?», наделавший столько шуму в СССР, кто-то — итоговое исследование «Психопатология масс в эпоху постмодерна», настольную книгу социопсихологов и полицейских. Добавьте сюда громоздкие, обильно иллюстрированные фолианты «Эллинско-римской цивилизации» — под их тяжестью дрогнет и крякнет любой кофейный столик Манхэттена, а «Цивилизация» на него неотвратимо обрушится, дайте срок! — и тонкий сборничек статей о философии марксизма — некогда его лохматыми обложками полнились книжные витрины Москвы и Ленинграда, в пионерлагерях планеты его вручали победителям соревнований по плаванию. Добавили? Видите, какая глыбища? Криминале действительно перепробовал все существующие жанры. И при этом подправил все существующие режимы.

Но я рассказываю вам общеизвестные вещи; поверьте, вышеизложенное — лишь дальние подступы к человеку по имени Басло Криминале. Допустим, вы сиживали в партере, наслаждаясь эпической поступью «Женщин из-под Лютера», и леживали на кушетке (а то и на бортике собственного бассейна), рыдая над упоительно соразмерным «Бездомьем». Но доводилось ли вам читать — именно читать, а не перелистывать — его блистательную критику феноменологии? Его ошеломляющее и отчаянное отрицание Марксова техноцентризма? Его дерзкий вызов ницшеанскому пониманию современности? Его хрестоматийную полемику с Адорно насчет интерпретаций истории? Яростный диспут с Хайдеггером об иронии (победил Криминале, ибо оказался ироничней соперника)? Не доводилось? А мне довелось. Ведь Криминале не рядовой сочинитель. В отличие от прочих он не только сочинять, но и соображать умеет.

Стоило какому-нибудь немецкому философу зазеваться — глядь, Кри-

минале уже прокусил ему яремную вену; стоило какому-нибудь модному канону замешкаться — Криминале уже обглодал канон дочиста. В подшивке американских журналов, которую притащила Роз, я нашел статью «Король философии». Ее автор утверждал, что Б. К.— единственный философ как таковой, уцелевший в условиях постфилософской культуры, что он в одиночку спел любомудрию отходную и тем спас его от верной погибели. Никакая свежая концепция не имела права называться концепцией, никакая современная идеология не тянула на статус идеологии, пока Криминале не попробует их на зуб, не пропустит их сквозь тяжелые жернова полушарий, не сровняет их с землей, не удостоит их визой (или откажет в визе). С начала 80-х имя Криминале значило для любой теории, грубо говоря, то же, что значит имя Наполеона для коньячной этикетки. Да кто бы взял в рот эту бурду, если б ее не продегустировал столь видный и уважаемый деятель!

Короче, в те надсадные, надрывные послебукеровские дни я вполне осознал, что Б. К.— чистой воды Классик Нашего Времени. Осознать сие с должной полнотой вам поможет хотя бы книжечка Роджера Скрэтона о Басло Криминале из серии «Классики нашего времени», выпускаемой издательством «Фонтана букс» под редакцией Фрэнка Кермоуда. В проспекте издательства Криминале упомянут рядом с Хомским и Дерридой; справедливости ради замечу, что такую компанию он не сам себе выбрал — ее подгадала шальная рулетка английского алфавита. Перед нами «разящее наповал исследование творчества Криминале», гласит аннотация, и аннотация не врет. Скрэтон любезно сопоставляет своего героя с Марксом и Ницше, с Лукачем и Розой Люксембург, с Горьким и Адамом Смитом (Скрэтон каждого рад сопоставить с Адамом Смитом), а в конце заявляет, что Криминале — это второй Гёте. По отдельности Скрэтоновы сопоставления говорят не в пользу Криминале, но в целом эффект обратный, ибо перечисленные имена принадлежат сплошь мертвецам. А Криминале живехонек, и живет он... а правда, где он живет? Подчас кажется, что его адрес — Тихий океан, восходящий поток, салон аэробуса. Ибо Криминале — знаменитость нового типа, перелетный интеллектуал, накрутивший в воздухе больше миль, чем накрутил Дэн Куэйл. Увы, составляя и переписывая сценарий часовой программы из цикла «Великие мыслители эпохи гласности», я скоро понял, что адаптировать для телевидения судьбу всесторонне одаренного человека по плечу лишь всесторонне одаренному человеку. Ипостаси Криминале дробились, множились, и не было им конца.

Как-то нас посетила Лавиния, добрая подружка Роз. На вид она была не доброй, а раздобревшей: могучие плечи, монументальные телеса, одета а-ля диванная подушка, но ведет себя вдесятеро назойливей. Я сразу догадался, что у Роз бурные разногласия с партнершей, а предмет разногласий, к сожалению, я. Похоже, Лавиния сильно сомневалась, можно ли доверить такому неопытному в телевизионном ремесле молокососу ключевую программу, от которой зависит будущее «Нада продакшнз». Хорошо помню: она не однажды употребила слово «хмырь» и в моем присутствии («Так это и есть тот хмырь, лапуля?»), и за неплотно прикрытой дверью комнаты, к которой меня черт дернул подсесть поближе.

«Он просто прелесть, клянусь»,— непрестанно твердила Роз. «В постели он, наверно, прелесть, лапулечка. Но сама посуди. Он целыми днями протирает штаны на своей смазливой попке, читает, читает, читает. Разве так гвоздевую программу подготовишь? Или ты беднягу вконец заездила, и на остальное у него силенок нету?» «Брось, Лав, он как огурчик, по утрам бегает трусцой»,— погрешила против истины Роз. «Н-да, устроила ты ему житуху. Интересно знать, чем он нас с тобой отблагодарит?» «Он кучу всего законспектировал». «Лапа, я, когда разрабатывала Эндрю Ллойд-Уэббера, хоть строчку законспектировала? Мне бы что-нибудь этакое, жареное. Чтоб в «Эльдорадо» клюнули и отслюнили побольше бабок, сечешь? Траханье траханьем, а денежки денежками. Ну, где он там, а?»

Дверь распахнулась настежь, и Лавиния увесисто воздвиглась передо мной: «Ладно, Фрэнсис, слушай сюда. Растолкуй-ка мне, в чем проблема.

Ты уже восемь дней корпишь, а пользы, насколько мне известно, чуть». «По-моему, пользы много,— начал я.— Полемика с Адорно, склока с Хайдеггером...» «Хайдеггером-шмайдеггером.— Лавиния посмотрела на меня с жалостью.— Лапуся, ты не докторскую пишешь и не статью в «Таймс литерари сапплмент», а сценарий телепрограммы. Нам плевать, о чем этот старый хрыч *думает*. Если понадобится мыслительный процесс, мы сядем перед камерой и сами его изобразим. Ты мне сюжет подавай, фактуру. Личность, елки-моталки. Распиши, какой он из себя, с кем знается, с кем перепихивается, где клюкает, на что влияет. Где находится в данный момент». «Это не так легко. Большую часть жизни он проводит в салонах межконтинентальных аэробусов. А сейчас, видимо, затаился, очередную книжку сочиняет». «Хорош мне тут: книжки, книжки! Иди ко мне, лапенция, сядь на диванчик. А теперь внимание: выкинь из головы всякие философские палиндромии. Кончай заливать про символику нижних конечностей в романе «Бездомье». Мне важен тепленький, трепетный, грешный человечишка, такой, как ты, Фрэнсис, и такой, как я, только еще грешнее и трепетней. Впитал?»

Я строго посмотрел на нее: «Лавиния, Басло Криминале — Классик Нашего Времени». «Правильно, лапушка, а у каждого классика под одеялом лежит клася. Мне важны любовь и боль, солнце мое. Друзья и враги. Мясо и жилы. Взлеты и падения, успехи и провалы. Страны, города, улицы, соборы, скверы. Аппетитные лица. А споры со Шмайдеггером о бытии-небытии — херня. Я знаю, лапа, он много чего написал. Да ведь от тебя столько не требуется. Десять страниц, и точка: образ жизни, имена возлюбленных, семья, постель, деньги, политика. Даю тебе два дня, а потом сама приду и проверю. Откопай что-нибудь телегеничное. Телевизор смотрят ради жареного, чтоб увлечься и забыть о себе. Что, такси подъехало? Кошмар, обалдеть, пока, мои лапочки». «Сука,— сказала Роз, глядя, как Лавиния загружается в такси, еле развернувшееся на узкой мостовой.— Ишь ты, возревновала. Как она тебе?» «Да как-то не очень»,— признался я. «Ура. Она всегда этак выпендривается, когда хочет увести у меня мужика». «Неясно только, что мне теперь-то делать?» «Пошли наверх, я покажу». «Да нет, что мне делать с Криминале?» «Делай, что она говорит. Что Лавиния говорит, то все и делают. Накропай простенький сценарий на десять страниц. Разбери его по косточкам». «Устроить ему житуху?» «Да. Пошли наверх».

И вот (в часы, когда Роз не устраивала мне житуху) я навалился на Криминале. Это только звучит лихо. С произведениями и идеями все шло как по маслу — старина Скрэтон их расклассифицировал. Зато в биографической канве и Пинкертон сломал бы ногу. С одной стороны, Б. К. непрерывно вертелся на виду. Портреты в сотнях журналов — чуть тронутая сединой грива с годами белеет, комплекция тяжеловеса, напряженно-давящий взгляд. Где он только не фотографировался. И, судя по сообщениям «Пипл», который писал о Криминале дважды и помногу, с кем только не завтракал, не обедал. Он делил вечерние трапезы с греческими судовладельцами и нобелевскими лауреатами (законный вопрос: что помешало академикам из Стокгольма отметить премией его самого?), с буддийскими мудрецами и звездами мирового тенниса, с Умберто Эко и далай-ламой, с Гленном Клоузом и Пол Потом, с Арнольдом Шварценеггером и Хансом-Дитрихом Геншером. Его узнавали в лицо стюардессы крупнейших авиакомпаний — и в салонах первого класса ему были готовы любимый напиток (ликер «Амаретто») и нагретые шлепанцы с вышивкой «Б. К.». Шикарные международные экспрессы тормозили на захудалых полустанках, коли ему взбредало там сойти. Говорят, в аэропорту Кеннеди его сняли с трапа, под локотки протащили мимо таможни, заправили в трехспальный лимузин и с ветерком домчали до Гарвард-клуба, где он, будучи в Нью-Йорке, предпочитал расслабляться. Когда он спикировал на Москву, его возили в «ЗИЛах» по правительственным трассам. А на верхнем этаже штабквартиры ЮНЕСКО, по слухам, оборудованы личные апартаменты на случай, если он заскочит в Париж и не найдет иного пристанища.

Да, державный Криминале; но из какой державы он происходит? Мнилось — отовсюду и ниоткуда. Он знает всех, его все знают; он — профессор Криминале. Но задайтесь вопросами: где его родина? на чьи деньги он кормится? почему так роскошествует? к какой организации приписан? — и ответов вы не сыщете. Расплывчатое кочевое существо: европейский интеллектуал. Возьмем хоть год и место рождения. В зависимости от справочника, к которому вы обратитесь, даты будут различны: 1921, 1926, 1929. Один источник («Словарь новейшей философии») укажет вам, что Криминале выходец из Литвы; другой (журнал «Рампартс») — что из Молдавии. Теперешнее гражданство — то венгерское, то германское, то австрийское, то болгарское, а то и вовсе американское. Есть и другие серьезные разночтения. К примеру, энный выпуск «Современной герменевтики» характеризует его как жесткого марксиста, а «Критический процесс» — как диссидента и ревизиониста, побывавшего в заключении (где именно?). Его труды издавались в городах с полярными идеологиями: в Будапеште, Москве, Штутгарте, Нью-Йорке. Добравшись до «Нового мира» за такой-то месяц такого-то года и обнаружив в нем статью Криминале о соцреализме, вы доберетесь и до «Нью-Йорк таймс» за тот же месяц того же года и обнаружите там статью Криминале о «кулинарной прозе». Словом, чем упорней вы силитесь проникнуть в тайну его личности, тем плотнее туман, эту личность окутывающий.

Звонок в лондонское издательство, печатавшее Криминале по-английски, тоже ничего не дал. На расспросы об их всемирно известном авторе, об их супердоходном клиенте девушка из пресс-бюро (звали ее, естественно, Фиона) отвечала уклончиво. Криминале — темная лошадка вроде Сэлинджера или Пинчона, заявила она и вспомнила дежурную издательскую шутку («Чем Басло Криминале отличается от Господа Бога? — Тем, что Господь все время и повсюду пребывает, а Криминале вовремя и отовсюду удирает»), которая меня не рассмешила. Спасибо Роджеру Скрэтону, он и на сей раз указал мне верную дорогу. В тексте Скрэтон почти не касался жизненных реалий, но в список использованной литературы включил критическую биографию светоча, написанную — увы, по-немецки — неким профессором Венского университета Отто Кодичилом. По моему наущению Роз повисла на телефоне, и скоро затребованный ею томик с оказией прибыл из Австрии. Телевизионщики, доложу я вам, ни перед чем не останавливаются; при нужде они горы свернут — за ближайшие недели и месяцы я в этом убедился. Если честно, в немецком я слабоват, но кое-что вроде бы понимаю, особенно под влиянием алкоголя или луны. В полупьяном виде даже философию способен читать. Автор привезенной из Вены тощей книженции в бурой бумажной обложке пользовался языком намеренно вычурным, философски насыщенным. В основном речь шла об идеях Криминале — по большей части Кодичил относился к ним с явной антипатией. Однако природная смекалка, немецко-английский словарь и блиц-консультации с Роз, которая в прошлом посещала курсы, но мало чему выучилась, помогли мне соскрести напластования идей и восстановить краткую, связную цепочку дат и топонимов.

По Кодичилу (а он утверждает, что его герой оказывал ему посильную помощь в работе, несмотря на то, что книга обещала быть весьма и весьма нелицеприятной), Криминале родился не в Литве и не в Молдавии. Родился он в 1927 году в Велико-Тырнове. Обложившись атласами и географическими словарями, я выяснил, что́ это за Велико-Тырново: древняя столица Болгарии, знаменитая своими старым университетом и монастырями, аистами и фресками, крепостью и реликтовыми торговыми палатами в арабском стиле. Город возник близ реки Дунай, на сплетении торговых путей, ведущих с Востока на Запад (и с Запада на Восток, конечно), а сейчас считается крупнейшим научным центром. Любопытна и указанная Кодичилом дата рождения, 1927 год: выходит, Криминале достиг студенческого возраста в самом конце второй мировой. Как раз в это время Георгий Димитров, к чьему мавзолею на центральной площади Софии в мрачную эпоху холодной войны стремились потоки паломников (теперь-то задули

ветры перемен, усыпальница, вероятно, вычищена и используется в коммерческих целях — скорей всего, ее приспособили под «Макдональдс»),— Димитров, как говорится, «освободил Болгарию для русских». А значит, в этом краю розового масла и изысканных росписей (но и отравленных зонтиков, впрочем) вольная, пытливая натура не должна была прийтись ко двору. Словом, по мере того как надвигался Сталин, хитрый Криминале, кажется, отодвигался, хоть и неизвестно, куда именно он успел отодвинуться.

Известно одно (и то благодаря Кодичилу): в послевоенные годы Криминале грыз гранит науки — вперемешку с хлебом изгнания. В Берлине грыз философию (в каком из двух Берлинов, он не уточнял). В Вене грыз педагогику; долго ли, коротко ли — венский биограф счел нужным умолчать. В Москве грыз политологию — похоже, отсюда его пресловутый марксизм. Эстетику же грыз, напротив, в Гарварде — похоже, отсюда его разногласия с марксизмом. Моему дилетантскому взгляду образ жизни Б. К. представлялся переусложненным; а уж в тех, кого Лавиния называла «возлюбленными», я и вовсе заплутал. По-видимому, Криминале был женат не менее трех раз (в Праге, Будапеште и Москве) — а разводился, по-видимому, лишь однажды; пусть для него это была элементарная арифметика, но для меня-то — непостижимая алгебра! Послужной список — принцип тот же: переезды из города в город, из страны в страну, фактические разночтения. Криминале занимал должности (хронологический порядок нарушен): доцента университета им. Лоранда Этвеша (Будапешт); завлита Народного театра (Вроцлав); газетного арт-обозревателя (Лейпциг). Попутно он умудрился ввязаться в свару с Хайдеггером, врасплох атаковать Адорно, тщательно ревизовать Маркса. Каждому из этих сюжетов Кодичил посвятил множество едких страниц, однако читать их было муторно, усваивать — нелегко, тронуть ими суровую душу Лавинии, если таковая душа вообще существует,— попросту невозможно.

Я надеялся, что с момента, когда Криминале начнет набирать известность, картина станет яснее. Вынужден вас огорчить: не стала. Б. К. удостоили членства сразу несколько академий; он выступал на конгрессах, посвященных разнообразнейшим темам — от мира во всем мире до авангардного кино; его кооптировали в оргкомитет международных писательских союзов «прогрессивной ориентации». Именно тогда он принялся колесить по миру, познакомился с Сартром и Симоной де Бовуар, был представлен Кастро и вдове Мао. На него посыпались многоязыкие премии — за достижения в области философии, экономики, художественной литературы. Порой то или иное правительство предлагало ему высокий пост, раз даже портфель министра; он неизменно отказывался. Без сомнения, он предпочитал портфелю письменный стол, и его книги и статьи, кое-где запрещавшиеся, все равно прорывались на свет в самых неожиданных местах. Кодичил, чья биография Криминале издана за четыре года до падения Берлинской стены, пишет, что некоторые рукописи до сих пор-де «дожидаются лучших времен». Запад корил его за излишнюю радикальность, в марксистских логовах шельмовали за вольномыслие, но в итоге репутация Криминале только укреплялась. На лекциях яблоку негде было упасть; посыпались приглашения зарубежных университетов. Он выступал в Болонье, читал курс в Йейле, срывал аншлаги в Бразилии, заработал почетную степень в Токио. Невозбранно критиковал все и всякие политические системы — но и наставлял Вальтера Ульбрихта в вопросах прав человека, а Николае Чаушеску в вопросах архитектуры; эти два эпизода резко диссонируют с его теперешним имиджем.

Так Криминале шел к мировой славе; его имя, его труды проникали в самые дальние уголки планеты. По количеству проданных экземпляров он, говорят, опередил Ленина — в СССР, Конфуция — в Китае, Жаклин Сьюзен — в США. В конце 70-х, когда идеологические контры приутихли и позиции левых сил пошатнулись, Криминале нисколько не утратил влияния — напротив. Повсюду разъезжал, со всеми беседовал. Если человечеству (ну, или какому-нибудь философскому конгрессу) требовался прогрессив-

ный марксист или синтетический материалист-субъективист-деконструктивист, человечество тащилось на поклон к Криминале. Он пересекал границы с такой легкостью, точно границы давно отменены; его книги проникали за железный занавес и обратно, точно занавеса и не было никогда. Он стал искусником академических регламентов, виртуозом пленарных заседаний. Консультантом крупнейших международных организаций — Комкона и ЮНЕСКО, комитета по Сталинским премиям мира и комитета по Нобелевским премиям мира, Всемирного банка и Европейского сообщества. Другом президентов. Отдыхал на море с Горбачевым, посещал оперу с Миттераном, играл в гольф с Рейганом, пил пиво с Хельмутом Колем, поглощал чай и хлебцы с Маргарет Тэтчер. В Станфордском университете на его узкоспециальную лекцию о фракталах Мандельброта нежданно явились три тысячи слушателей. Что ни день, он получал почетную степень или иной знак отличия; фамилию «Криминале» уже употребляли как синоним слова «знаменитость». Вчера фотограф щелкает его в Большом театре рядом с Шеварднадзе, сегодня — на Браун-дерби рядом с Мадонной, а завтра — на палубе дизельной яхты, принадлежащей некоему итальянскому плейбою: аргонавтский кепарик, гологрудая нимфа под мышкой, эгейское небо над головой.

Он превратился в философа 90-х, в харизматического метафизика эпохи Келвина Кляйна и теории хаоса — в философа, который пережил традиционные методы познания. И вот как-то вечером я отложил заумную книгу Кодичила и призадумался: что ж я там, в сущности, вычитал, и вычитал ли что-нибудь вообще? Мне вдруг открылось: чем дольше размышляешь о Басло Криминале, тем туманней и загадочней его фигура. Роз, сидя в ванне наверху, наслаждалась любительскими видеозаписями. Я повлекся на второй этаж — поговорить. «Представь, что тобой все и всегда довольны. Разве такое возможно?» «Возможно, солнышко, возможно, сейчас я тебе покажу». «Да я о Криминале. Его всю дорогу превозносят за склонность к леденящему ранжиру, за мощную логику. Но его биография выбивается из любых ранжиров и логик». «Давай на полчасика забудем про Криминале. Залезай ко мне, места хватит». «Не выйдет у меня забыть про Криминале,— вздохнул я, усаживаясь на стульчак.— Я с ним уже пятьсот лет цацкаюсь, и конца-краю не видно». «Не пятьсот лет, а десять дней». «Чем больше я о нем думаю, чем больше о нем узнаю, тем сложней определить, что он за птица». «Тоже мне проблема. Он всемирно известный интеллектуал, матерый мыслитель эпохи гласности».

«Ну хорошо, а до гласности? Он выходец из стран ортодоксального марксизма, а с ними, будь покойна, шутки плохи. Либо твои убеждения верны, либо неверны, черное — белое. А если неверны, их отсекают. Как правило, вместе с головой». «Не так там все было просто. Наряду с начетчиками всегда существовали диссиденты». «И кем же был Криминале? Начетчиком или диссидентом? Представь себе человека, который дружит с Брежневым, приятельствует с Хонеккером, но при этом открыто встречается с Киссинджером и читает на Западе публичные лекции». «Видимо, он приносил пользу и тем, и другим». «Но каким образом? Он секретный эмиссар или шпион, что ли?» «Фрэнсис, смотри не перемудри. Все знаменитые философы выше политики. Жан-Поль Сартр, к примеру, мог приехать в любую страну». «Криминале ведь купается в роскоши. На Западе останавливается в лучших отелях. Слыхала про «Бадрутт-палас» в Сен-Морисе? Входная дверь у них в виде вертушки, рядом топчется дрессированная обезьяна и крутит вертушку, едва ты захочешь пройти».

«А ты б там не останавливался, если б у тебя были деньги?» «Останавливался бы. Но в том-то и штука, что денег у меня нет. Криминале родом из нищих краев, а шикует как принц. Словно его расходы целый валютный фонд оплачивает». «Гонорары за лекции и переиздания его книг». «Кстати, о его книгах. Половина их официально запрещена в СССР — и, несмотря на это, стоит на каждой советской полке». «Он вынужден был переправлять рукописи за рубеж». «Но коли его книги им не нравились, почему они не заморозили его счета, не лишили его гражданства, не посадили?» «Скорей

всего, он был слишком хорошо известен на Западе». «Известность на Западе можно быстро свести на нет. Прежде всего — сделать человека невыездным. А они хоть бы раз попытались». «Или у него была рука наверху. Или они снимали пенки с его заграничной славы, а дома присматривали, чтоб не наболтал лишнего. Когда идет холодная война, такие шалости — обычное дело. Или его объявляли невыездным и сажали, а ты этого просто не раскопал».

«Но Кодичил ничего подобного не пишет». «А Кодичилу-то откуда знать? Он всего-навсего австрийский проф. Да ты небось путем и не врубился, чего он пишет. Ты ведь в немецком полный нуль». «Был нуль, а теперь вот поднатаскался. И все-таки есть в этой истории нечто чертовски странное». «Вспомни Брехта, Манна, Лукача. Корифеев, которые угождали и нашим и вашим. Они спасали свою шкуру, Фрэнсис. Навострились подыгрывать политикам, подыгрывать на равных. Наверное, сегодняшняя гениальность и заключается в том, чтоб плыть по течению, колебаться вместе с генеральной линией — но и удерживаться на самом стрежне потока, питаться его энергией. Я тоже не прочь подпитаться. Пошли в постель». «Извини, Роз, житуха еще не готова, а завтра за ней приедет Лавиния. Всю ночь придется сидеть». «Ты мне нужен в постели». «Роз, я правда жутко извиняюсь. Ну подумаешь, одна ночь. У нас вся жизнь впереди». «Гад ты, вот ты кто»,— сказала Роз.

До третьих петухов я выстраивал связный сюжет, я олитературивал биографию Басло Криминале, пока он у меня из ушей не полез. Сверху то и дело слышался злобный топ, но я мужественно перебарывал плотское искушение. Я постарался учесть все претензии Лавинии: насытил текст фактурой, возлюбленными, друзьями, недругами, взлетами, паденьями, мясом, жилами, человеческим трепетом, что задает такт рассудку. Я вдоволь нафантазировал, извертелся юлой, скроил, пристрочил, пропихнул через редактор и принтер, сброшюровал, переплел. И куда б я ни сунулся, куда б ни кинул взгляд — туман, затягивающий личность Криминале, клубился все гуще. Наконец я выпрямил спину, наклеил на скоросшиватель ярлычок с надписью «Загадка профессора Криминале» и вручил готовый сценарий Роз, которая спустилась завтракать в крайне задиристом расположении духа.

«Ты вообще в мою постель не ложился». «Зато работу закончил». «Это, что ль, работа? — она прикинула скоросшиватель на вес.— Многовато будет». «Житуха у него насыщенная». «Больше тридцати страниц.— Роз их перелистала не глядя.— А Лавиния просила не больше десяти». «Сама такого замечательного человека в десять впихивай. Может, прочтешь все-таки?» «Некогда мне читать. Будем надеяться, здесь одни факты, без болтологии. Редакция культурных программ в науках не особо петрит, их конек — музыкальное сопровождение и изобразительный ряд. Там в основном слушают поп-записи и ходят на вернисажи». «Болтологию я свел к минимуму. Сосредоточился на его удивительной судьбе». «У него разве удивительная судьба?» «Удивительная. Я ж вечером рассказывал. Противоречивая, потайная, обманная». «Ладно, Фрэнсис, спорить с тобой мне недосуг. Вызывай такси, я отвезу сценарий этой стервозе. А ты к моему возвращению нашинкуй кабачков, раз тебе сегодня делать нечего».

За трое суток кабачки зачерствели как керамзит, броненосец слег в голодном бреду. Но тут Роз вернулась — с похотливой гримасой на лице и двумя бутылками фраскати. «Ну, блеск!» «Что, наша взяла?» «Твоя взяла, и моя взяла, но главное — Лавиньина взяла. Лавиния раскачала культурного редактора «Эльдорадо» на двухчасовую программу». «На двухчасовую? А мне казалось, в нашем распоряжении только час». «Да они в восторг пришли, Фрэнсис». «Пришли в восторг от моего сценария?» «Насчет сценария не скажу. Они его вряд ли читали, уж больно он длинный. От заголовка, «Загадка профессора Криминале» — все прямо на стенку полезли». «Какой кошмар»,— сказал я.

«Почему кошмар? Они согласны финансировать две серии вместо одной, заключили контракт с Пи-би-эс на показ в США и надеются толк-

нуть программу и на Европу. Я им сказала, что Криминале европеец, он ведь европеец?» «Европеец. До мозга костей. Значит, все в порядке?» «Блеск! Ну блеск, да и только! И эфирное время, и бюджет, и гонорары — по высшему разряду. А теперь начинаем праздновать. Пойдем-ка, Фрэнсис, наверх». «Фраскати можно и внизу выпить». «Я его не для того принесла, чтоб *пить*. Да, Лавиния тебе передает, что ты — просто блеск». Звонок радиотелефона застиг нас в ванной — мы стояли там голые, зачем-то поливая друг друга фраскати. «Это она, больше некому,— Роз, оскальзываясь, потянулась к трубке.— Лавиния, жопа такая. Слушаю тебя, моя радость! — И после кратких переговоров сообщила: — Эта жопа тоже хочет отпраздновать. Сейчас приедет». «Не надо, не надо Лавинии!» «От нее все равно не отвяжешься, так что давай теперь, солнышко, в темпе».

Профессионалы художественно-публицистического ТВ — самые напористые и стремительные люди на свете. Не успели мы вытереться и одеться, как в дверь позвонили: явилась толстуха Лавиния — с умильной гримасой на лице и портфелем-дипломатом. «А почему вы не празднуете?» «Мы только что отпраздновали, Лав,— сказала Роз.— Но выпить оставили». «Я, собственно, не к тебе, а к Фрэнсису,— заявила Лавиния.— Фрэнсис, слушай сюда, я тебя покупаю с потрохами, согласен?» «В каком смысле?» — спросил я. «Вот в каком.— Пощелкав цифровым замочком, Лавиния достала из дипломата внушительный контракт на нескольких страницах, подколотых к бланку с размашисто-неразборчивым логотипом «Нада продакшнз».— Распишись, пожалуйста, в конце». «Что это?» «Пустая формальность. Ты, лапундер, передаешь нам права на свой вдохновенный сценарий. Я просто забочусь о том, чтоб все было по закону, и хочу четко определить твой юридический статус. Ты ж ничего не имеешь против юридического статуса?»

«Не знаю. Я им пока ни разу не обладал. Надо бы посоветоваться с моим агентом». Лавиния повернулась к Роз: «У него что, есть агент? В его-то возрасте?» «Нет у него никакого агента,— сказала Роз.— Фрэнсис, считай, что я — твой агент. Расписывайся». «Может, я сперва проконсультируюсь с юристом?» «Неслыханно! — возмутилась Лавиния, с чмоканьем оторвавшись от бутылочного горлышка.— Безработному журнецу, ничтожному альфонсу предлагают золотые горы, контракт, за который весь Лондон удавится, а он...» «Правда удавится?» «Сам посмотри, лапа. Не сюда, вот сюда. Аванс за фактическую разработку. Аванс за сценарий. Аванс за ведение в кадре. Три аванса на одну программу». «А деньги-то где?» «Я ему про аванс, а он мне про деньги. Если сляпаем передачу — а телевидение, учти, штука коварная,— ты, лапуся, получишь денежки. После того как мы с Роз получим, и ты свое получишь. Расписывайся, Фрэнсис». Я посмотрел на Роз. «Расписывайся,— сказала та.— Что Лавиния дает на подпись, под тем все и расписываются». Я перевел взгляд на Лавинию. Она сейчас выглядела куда грознее, рыхлее и толще обычного. Я расписался.

«Офигеть.— Лавиния шустро спрятала контракт и достала из дипломата пластиковый бумажник.— Получи теперь вот это». «А что это такое?» «Это, лапочка, билет на самолет. Австрийский гражданский флот, третий класс, регистрация завтра в семь утра, аэропорт Хитроу, пункт контроля номер два, рейс Лондон — Вена. Превышение веса багажа, кстати, запрещено». «Зачем мне этот билет, Лавиния?» «Сядь ко мне, лапуля, я объясню. Сценарий у тебя, наверно, потрясающий, черт его разберет, я не дочитала, он для меня длинноват». «Тридцать страниц»,— вставил я. «Но состоит он из сплошных вопросов. Ответов нет, а нам надо передачу снимать, не жук чихнул. Работы непочатый край. Писанину побоку, пора на разведку. Сечешь?» «Не секу. Что я в Вене-то потерял?» «А то, что в Вене, зайчик, живет главный свидетель, Отто Кодичил. Потолкуй с ним. Прицепись как банный лист. Вытяни из него все загадочные секреты таинственного нашего Криминале».

«Кто сказал, что у Криминале есть какие-то секреты?» «Ты сам о них написал в сценарии, лапулечка. Иначе б его не купили. "Загадка профессора Криминале"». «Я имел в виду, что лично для меня он — сплошная загадка».

«Я тебе сейчас зачитаю кусочек, если найду.— Лавиния нацепила очки и открыла мой скоросшиватель.— Зубодробительный такой кусочек. «Со стороны жизнь Криминале сплошь состоит из противоречий и недомолвок, умолчаний и подлогов, разрывов и ухищрений, переверсток и...» Что это, лапушка, за слово?» «Лакун. Переверсток и лакун». «Это как же понимать? Он болен чем-то, что ли?» «Да нет, «лакуна» значит «прореха». Мне, читателю, его авторское «я» представляется расплывчатым, манера — уклончивой. Он труден для усвоения и интерпретации». Лавиния выпучила глаза: «Как это — труден для усвоения?» «Криминале — текст без начала и конца, который почти невозможно и в силу этого, однако ж, необходимо деконструировать».

«И вся твоя «Загадка Криминале» в этом заключается? Слава богу, что они не стали читать сценарий. Слушай сюда, Фрэнсис, нам бы надо расчухать загадку покруче. Они уже оплатили товар, и товар у них будет. Политическое двурушничество, адюльтеры, финансовые махинации — ну, ты понял». «Вряд ли Криминале в таких вещах замешан». «Надеюсь, замешан. И тебе это предстоит выяснить». «У кого?» «У Кодичила». «С какой стати профессор Кодичил должен делиться со мной подобной информацией? Он считает Криминале крупнейшим философом современности, флагманом мировой науки». «Поделится,'лапа. Все делятся. Соври, что планируешь взять у него телеинтервью. И он с тобой последней рубашкой поделится».

«Ты хочешь сказать, что на самом деле он не примет участия в передаче?» «Не знаю, посмотрим еще, что за гусь. Вдруг он по-английски ни бе ни ме». «А субтитры использовать нельзя?» «Может, у него харя нетелегеничная. Поди сочини английские субтитры для австрийской рожи. Нет, ты езжай, поговори с ним, прощупай, найди слабое место и расколи. А еще лучше — пусть выдаст, где прячется сам Криминале». «Так я и с самим Криминале должен беседовать?» «Если бюджет позволит — почему бы и нет? Бюджет у нас, учти, не разгуляешься. Так что в первую очередь просеиваем натуру. Выяснишь, где Криминале, а Роз будет ждать твоего звонка». «Звонка? — переспросила Роз.— Мы ж условились, что я тоже полечу в Вену!» «Вот уж пардон, лапунчик. Ты мне тут нужна, на монтаже. Ой-ой, такси подъехало. Счастливого пути, Фрэнсис, ауфвидерзеен, шалуны вы мои ненаглядные».

«Жопа, ну и жопа! — сказала Роз.— Ублажаешь ее две ночи подряд, и вот благодарность. Фрэнсис, наверх. Меня не пускают с тобой в разведку — что ж, на чужбине ты попомнишь, как я любила тебя сегодня!» «Роз, я и без сегодня буду тебя вспоминать, честное-пречестное. Пойми, я улетаю за границу, мне бы наведаться домой и собрать кой-какие вещички». «Перетопчешься. Все, что тебе нужно, купишь с утра в аэропорту. Там уйма магазинов». «А я, дурак, гадал, почему их там такая уйма. Ведь мало кто едет в аэропорт в чем мать родила». «Век живи — век учись, правда, Фрэнсис? Пошли, перед разлукой грех тратить время на разговоры. Фраскати ни капельки не осталось?» «Нет, Роз, не осталось,— выдавил я.— Только апельсиновый сок». «Отлично. Попробуем апельсиновым соком».

В общем, прощальную ночь в Лондоне я провел без сна — по многим причинам. Роз добросовестно нагрузила меня целым ворохом сладких воспоминаний; однако и после того, как она забылась в нежных объятьях Морфея, я не сомкнул глаз. С улицы до меня изредка долетал бенгальский ропот; Роз периодически постанывала во сне. Нет, ну зачем, зачем мне мотаться в такую даль ради загадок Басло Криминале? Треволнения минувшего вечера направили мои мысли в новое, странное русло. Криминале повернулся оборотной стороной: он был уже не текстом, который я должен расшифровать, а человеком, которого мне предстоит выслеживать. С чего? ведь нас с ним ничто не связывает. Он — колосс, реактивный двигатель знания; я — патагонский пигмей. Он — Лукач 90-х; я — безработный журнец. Он — классик эры модернизма; я — клякса постмодернистской смуты. Он вращался среди сливок искусства и власти (хотя, пожалуй, точнее — штукарства и грязи), дружил с Бушем и Хонеккером, с Гор-

бачевым и Кастро, с Колем и Мао. Его чтили выдающиеся философы — Сартр, Фуко, Рорти; его чествовали главы сверхдержав; даже сам Сталин (убежденный мизантроп, ненавистник случайных сувениров), говорят, попросил у него фотографию на память. Он запутан, замысловат, противоречив. Но почему я обязан разгадывать его секреты, которые, скорей всего, существуют исключительно в моем воображении?

В то недавнее время я был чист душой (как, смею надеяться, чист и по сей день, да-да, по сей день). Но не настолько, чтобы не понять: всякий, кто выжил и возвысился в горестном пекле второй половины века, сходился врукопашную с логикой истории, с террором, двоемыслием и бессмыслицей — и одолел. Немота, чужбина, притворство — вот панацея, изобретенная Джеймсом Джойсом и дающая творцу и мыслителю иммунитет против насилия и неразумия, бомбардировок и боен, идеологий и геноцидов, против интеллектуального бандитизма в эпоху, которую Канетти назвал эпохой горелого мяса и которая гробит твой рассудок на прокрустовом ложе полицейских циркуляров. По законам немоты, чужбины, притворства отдельные художники и интеллектуалы опасно заигрывали с бесовскими режимами. Паунд — с фашизмом, Хайдеггер — с нацизмом, Брехт — со сталинизмом, Сартр — с марксизмом и тому подобное. Страшная игра длится до сих пор и будет длиться, пока разум лоб в лоб сталкивается с властью, тоталитарностью и фундаментализмом любых мастей.

А я — я укрылся от сапожищ истории на затерянном островке, забился в уютную с виду берлогу у края столетия. Выбравшись из нее, я, несомненно, что-нибудь да обнаружу, стоит лишь поискать постарательней и понаблюдать попридирчивей. Криминале пришлось перемогать тропы мрака, развилки кривды; в его прошлом обязательно найдутся позорные метки, мерзкие пятна, именные клейма немоты, притворства, чужбины. Если ты продрался сквозь бредовую, жестокую сутолоку XX века, сквозь ужасы и муки ГУЛАГов, ты наверняка замаран. Похоже, в загадках, которые мне мерещились, нет ничего загадочного: обретший широкую известность просто вынужден петлять, дабы уцелеть. А я, новоявленный разоблачитель,— я-то кто такой? Разве не пятнает себя еще большим позором шакал-журналист, беспечный охотник за тайнами, коллекционер смертных грехов, что копается в чужом белье в интересах собственной карьеры, собственного брюха, собственной телепрограммы? Нужна ли мне сомнительная слава человека, который обесценил, обестекстил, обескровил Басло Криминале, кумира постсовременной философии?

Занялся рассвет, но и он не сулил мне облегчения. Я выбрался из-под одеяла и тихо-тихо, страшась разбудить в Роз зверя, коснулся губами ее лба. С пустыми руками вышел на улицу; преодолевая духовную и физическую оскомину, поймал такси до «Хитроу». Восторженной стопой прошествовал по тамошним специализированным магазинам. В «Носках» купил носки, в «Галстуках» — галстуки, в «Слаксах» — слаксы, в «Мужских сорочках» — сорочки, в «Парфюмерии» — шампунь и умывальные принадлежности. Крайней в ряду оказалась «Кожгалантерея». Я приобрел здесь легкий чемоданчик и, усевшись на скамью у стойки контроля, аккуратно уложил туда свой новый гардероб. «Вы сами упаковывали багаж?» — осведомилась девушка у стойки, регистрируя мой билет на рейс Австрийского гражданского флота. «Сам, конечно, вы же видели»,— сказал я, но она, конечно, опять распаковала чемодан, разворошила все, что я укладывал, подпорола подкладки — нет ли где двойного дна — и только после этого отслюнила мне посадочный талон.

И тотчас служба безопасности принялась ворошить-подпарывать, но уже не багаж, а мои жизненно важные сочленения. Охранники немилосердно трепали меня и выкручивали, точно им мало было издевательств, которым я подвергся ночью в постели Роз. Вырвавшись из их лап, я устремился в дьюти-фри покупать бритву, но меня перехватила девица в трехцветных сатиновых панталонах и с ног до головы опрыскала чем-то пахучим. «Новинка фирма «Шанель» — мужской духи «Эгоист»! — рявкнула она.— Это парфюм для вас!» «„Эгоист“? — огрызнулся я.—

Передайте фирме «Шанель», что в аэропортах куда выгодней торговать одеколоном „Безумие транзитника“». Все сидячие места в баре были заняты пассажирами, не сводящими глаз с табло «Вылет задерживается». Я прислонился к стене, отхлебнул из пластмассового стаканчика стремительно теплеющий джин с тоником и завертел головой: может, где-нибудь светится надпись «Лондон — Вена». Но тут по интеркому объявили, что вылет в Вену тоже откладывается на два часа в связи с отсутствием свободной посадочной полосы для самолета, прибывшего рейсом из Вены,— диспетчер решил помариновать его между небом и землей, пока не развиднеется как следует.

От меня разило духами. Любимая одежда осталась на лондонской квартире. Кости ломило. Пассажирский отстойник заполнился до отказа. И тут мне впервые пришло в голову, что жизнь неутомимого путешественника Басло Криминале, сигающего со встречи на высшем уровне на международный конгресс, из крупного аэропорта в крупный аэропорт, из комнаты почетного пассажира в трехспальный лимузин, из салона первого класса в аскетичный гальюн, превратившего бездомье в особую постмодернистскую стилистику и нигде не задерживающегося не только надолго, но и ненадолго, тоже по-своему тяжела. Ну и нахлебался же он отсрочек, толкотни, духоты, ворошенья-подпарыванья, потерянных чемоданов и вынужденных посадок; и ему довелось полной чашей испить Безумие транзитника.

Посадку на самолет Австрийского гражданского флота Лондон — Вена перенесли не на два часа, а на три. Я побрел по бесконечным коридорам «Хитроу», меж зеленых кресел зала ожидания, через сумрачный пешеходный модуль, переступил порог лайнера — и угодил в царство бюргерской лепоты. «Грюс готт, майн герр» — голос красно-белой стюардессы в тирольской юбке заглушил льющиеся из динамиков щебет и чириканье развеселых Папагено и Папагены. Пассажиры, путаясь в полах прорезиненных плащ-палаток защитного цвета, пихали харродсовские саквояжи того же цвета в отделения для ручной клади или, запихнув, самозабвенно вперивались в разграфленные котировками и тарифами простыни австрийских газет, в широком ассортименте лежавших у дверей. Мы взлетели, и сразу по проходам задребезжали роликовые тележки: кофе со сливками, и если бы только кофе! Даже щеки пухлой, одетой а-ля диванная подушка особы, что с улыбкой направилась ко мне из переднего конца салона, едва под крылом поплыли игрушечные, нехоженые снежные вершины Альп,— даже ее щеки были приправлены взбитыми сливками.

«Лавиния, что ты тут делаешь?» «Привет, дорогой, я пришла посмотреть, все ли у тебя в порядке. Сама-то я бизнесом лечу, понял меня?» «Понял, Лавиния. Ты сидишь в салоне бизнес-класса. Но с какой стати ты там сидишь?» «А с такой, что я исполнительный продюсер. Денег, правда, хватило всего на один бизнес-класс, бюджет у нас — не разгуляешься. Хочешь, пришлю тебе оттуда бутылку шампанского?» Я все разыгрывал недоумение: «Да нет, Лавиния, я спрашиваю, куда ты летишь?» «В Вену, миленький. На родину вальса и цукерторта, это такие пирожные с кремом, объедение, ты их не пробовал? Ну не смогла я удержаться. Извини, мне пора в мой салон, там сейчас ликеры разносят». «Значит, в Вене увидимся?» «А как же, милок! То-то мы с тобой повеселимся, то-то прищучим хрыча Криминале!»

3

Вена благоухала имбирем и кофе...

На изломе морозного ноябрьского дня (а самолет, естественно, и приземлился на три часа позже положенного) Вена встречала сходящих с трапа ароматами свежеподжаренного кофе и терпкой имбирной выпечки, что

отдавали далеким детством и близким Рождеством. Аэропорт здесь сверхсовременный, международный, вместительный и нарядный, но, покинув автобус для перевозок по летному полю, вы сразу чуете крепкий и неповторимый дух минувшей Австрии, специфическую атмосферу кожаных камзолов и золотых времен. Что ни говори, австрийцев трудно упрекнуть в небрежении к великим соотечественникам — особенно к тем, кто окончательно и бесповоротно мертв. И уж ни у кого не повернулся бы язык обвинить их в том, что они недостаточно ревностно чтят память человека, которого 199 — пока еще не двести — лет назад вывезли из города на телеге, присыпали известью и наспех забросали землей, не укрепив на сирой могиле даже таблички с именем погребенного.

Дело вот в чем: мы прибыли в Вену как раз накануне очередного пышного юбилея, которыми так богат конец века и которые в Австрии, да и во всем мире принято отмечать с неимоверным усердием. Малютка Вольфганг Амадей глядел на нас отовсюду — с плакатов, транспарантов, эмблем. Стойка таможни была увешана ладными гирляндами его портретиков — кудлатый парик, ребячий задор. В такт льющимся из-под потолка чистым чарующим звукам «Дай руку мне, красотка» мы с Лавинией, обремененные ручной кладью, но не сбиваясь с ноги, дружно зашагали вдоль роскошных витрин к центральному залу. Чего только не было на этих витринах. Деликатесная «Моцарт» торговала пастилками «Моцарт» («сладкое завещание Амадея»), слоеными тортами «Моцарт», оливковым маслом «Царица ночи» и майонезом «Моцарт». Рядом, в парфюмерной, вы могли отовариться духами «Сераль»; у входа в коктейль-бар «Дон Жуан» кис шоколадный бюст композитора. До годовщины, собственно, оставалось еще месяца два, но уже сейчас не было никаких сомнений: двухсотлетие смерти Моцарта в январе 1991-го Вена встретит во всеоружии.

Столь же трудно упрекнуть венцев и в том, что они пренебрегают нуждами тысяч и тысяч туристов — несмотря на скверные времена, возможные теракты, военную угрозу в Персидском заливе и неразбериху в СССР, их орды, как прежде, наводняли город Амадея, Иоганна, Людвига и Франца. Спустившись в зал выдачи багажа, где вился и гудел в поисках саквояжей, которые, будь западная цивилизация правильно устроена, обязаны были прилететь из Токио вместе с хозяевами, целый аэробус японцев, мы с Лавинией наткнулись на универсальный механизм европейской экономической интеграции — прелестный электроаппарат с подмигивающими кнопочками, нажми — и он охотно превратит твою валюту в любую другую: осовремененный полупроводниковый инвариант извечного обменного ритуала. «Смотри, Лавиния, машинка для денег!» — притормозил я. «Пойдем, лапа, дальше, это не про твою честь». «Да ты просто вытряхни все из кошелька, запихни сюда — конвертация начнется о-го-го. Фунты — в шиллинги, доллары — в злотые, японские иены — в чучмекские мурены».

Но, не успел я достать собственный кошелек, Лавиния потащила меня назад, сквозь рулады «Дай руку мне, красотка», и выставила на австрийский мороз. «Слушай сюда, Фрэнсис. Не стану ходить вокруг да около. Бюджет у нас не разгуляешься. И деньгами заведую лично я. Каждая лишняя трата для нас катастрофа. Поэтому отныне катастрофы я беру на себя. К банкам не приближайся, валютных автоматов избегай, обменные пункты выкинь из головы. Рылом не вышел. Я сама распоряжусь. Твоя забота — художественная форма и идейное содержание, не больше. Вот ими и займись. Если тебе чего захочется, ставь меня в известность. Чеки сохраняй, расходы записывай в блокнотик. Где тут автобусная остановка?» «Нас же двое, такси дешевле обойдется». «Нет, Фрэнсис! Ставлю тебе кол по телебухучету. Одна я поехала бы в такси. А с тобой — сяду в автобус».

Но машинка для денег преподала мне и другой урок: Вена — это город стремительных трансформаций. Едва автобус выехал на скоростное шоссе, бирюзовое небо мигом затянула черная тучища, сползшая с ближайших отрогов Альп, и столица миражей и подвохов занавесилась хрустально-бесплотным пологом мерцающего снега. По мановению волшебной палочки некоего зодчего четыре обшарпанных газгольдера

у обочины прикинулись монументальными скульптурами в манере ар нуво. Мы въехали в город; в каждом квартале разыгрывалось новое архитектурное действо. Мрачная готика соседствовала с бодрческим югендштилем, бело-золотое барокко сверху вниз поглядывало на розовый постмодерн. Остроумие тягалось со здравомыслием. Справа над жилой застройкой возвышалось красное, остановленное на зиму колесо обозрения парка Пратер, слева — шпили и зазубренная драконья кровля кафедрального собора Св. Стефана. К собору-то мы и направились, сойдя с автобуса близ Рингштрассе — широкого бульвара, опоясывающего центр Вены; перетащили чемоданы на ту сторону и окунулись в царство тепла и уюта.

Родина вальсов и цукерторта до странности походила на Чикаго 20-х годов; чуть не всякий прохожий нес под мышкой скрипку в футляре. Со всех сторон наяривала музыка. В подворотнях топтались шарманщики с обезьянками; в переулках, закрытых для транспорта, стеной стояли струнные квартеты во фраках, лабающие Людвига, Франца, Иоганна Себастьяна и Густава, не говоря уж о Вольфганге Амадее. Мимо дребезжали ландо, под завязку набитые японцами, чьи круглые щеки выпирали из-за угластых фотоаппаратов. За каждым ландо тянулся трассирующий след лошадиного навоза — его густой запах органически вплетался в благовонную симфонию зимней Вены. У соблазнительных витрин кафе и деликатесных витал горький аромат кофе и приторный — горячих пирожных. А внутри этих кафе и деликатесных лакомились тортом со взбитыми сливками и кофе со взбитыми сливками взбитые сливки венской буржуазии.

«Ой, «Демель»! — воскликнула Лавиния, остановившись у какой-то нарядной кондитерской.— Тут собираются сливки тех сливок, что сняты с обыкновенных сливок. Зайдем-ка». «Что ж, Лавиния, пожалуй, зайдем». «Обалдеть,— промямлила Лавиния через минуту, роняя куски изо рта и широким жестом обводя здешнюю выставку физиономий.— Обожаю Вену, сил нет. Спасибо старперу Басло, я снова здесь». Подождав, пока она смахнет с губ крошки, я задал вопрос, мучивший меня с того момента, как Лавиния появилась в дальнем конце самолетного салона. «Послушай,— небрежно сказал я,— а где ты собираешься ночевать?» «Пршу прщенья? — она наконец утерлась.— Ночевать? А, ночевать! В «Отеле де Франс» на Шоттенринг. Престижное, доложу тебе, местечко». Я вынул из кармана пластиковый бумажник, который Лавиния вручила мне вечером у Роз, и с видом простака открыл нужное отделение: «Надо же, а моя гостиница иначе называется, „Отель фон Трапп“». «Угу, это, по-моему, в пригороде, за дворцом Бельведер. В Вене сейчас яблоку негде упасть. Оперный сезон, сам понимаешь». «Понимаю, понимаю»,— с немалым облегчением заверил я.

«Твой отель подешевле. Но мне как продюсеру следует держаться ближе к центру событий». «Каких событий?» «Ближе к банкам и государственным учреждениям. И еще к ресторанам и к театрам. А ты вплотную займешься расследованием. Усек?» «Усек, Лавиния, усек, ты только не волнуйся». «Я знаю, ты рассчитывал, что мы остановимся в одной гостинице,— разулыбалась Лавиния.— В смежных номерах, ну правда же, Фрэнсис?» «Нет-нет, неправда». «Это все чертов бюджет, он у нас не разгуляешься, мне потом отчитываться предстоит.— Лавиния потрепала меня по плечу.— Но ничего, завтра мы с тобой, пожалуй, сходим в оперу, а на обратном пути ты ко мне заскочишь, и мы выпьем шампанского, ночью, вдвоем. Делу время, потехе час, да, Фрэнсис?» «Да. Я полагаю, да. Но меня тревожит, сумею ли я справиться с...» «Положись на меня, я человек опытный,— захихикала Лавиния.— Хорошо б еще немного шлага. Это ведь «шлаг» называется, лапочка?» «Что называется, Лавиния?» «Да сливки, густые такие, вкуснючие сливки.— Она поманила к себе официантку в черном костюме и белом переднике: — Еще кусок торта мит шлаг». «Шлаг, майне даме, битте?» «Сливки. Густые сливки, гу-сты-е». «Ах, мит зане!» — и официантка ринулась выполнять заказ. «А я думала, ты говоришь по-немецки»,— неодобрительно сказала Лавиния. «Не то чтоб сам говорю,

зато когда со мной говорят, вроде кое-что понимаю». «О господи. Вдруг старый Кодичил по-английски ни в зуб ногой?» «Вдвоем мы с ним как-нибудь разберемся». «Вдвоем? Лично я с ним разбираться не намерена. Персоналии — твоя печаль, а я ограничусь натурой». «В каком смысле — ограничишься натурой?» «Выберу места для натурных съемок. Начну с Шёнбрунна и с Музея искусств. Ой, и еще ж на завтра два билета в театр добывать! Но не дрейфь, билеты я возьму на себя: нам, продюсерам, вечно достается черная работа. А ты, будь добр, обеспечь журналистское расследование по высшему классу. Помни: захватывающая интрига, любовницы, адюльтеры и подобное прочее. Пусть дедушка Кодичил всю душу тебе изольет. Ага, отлично, торт мит шлаг. Эй, фройляйн, нельзя ли сюда шоколадо подбавить?» «Шоколадо, майне даме?» «Мне бы, лапонька, побольше вот этой коричневой херни,— нашлась Лавиния.— Блин, вот за что я обожаю Вену. Тут все до того культурные, жуть».

Чуть погодя я простился с Лавинией, смакующей прелести венской культуры, поймал «мерседес» цвета взбитых сливок и поехал в «Отель фон Трапп». Такси устремилось к дворцу Бельведер, миновало дворец Бельведер и долго плутало по окраинам. Несмотря на соседство железнодорожной сортировочной, «Трапп» оказался не какой-то там захудалой гостиницей, а, хм, настоящим отелем. По мнению Генри Джеймса (в университете я все-таки читал классику, хоть и урывками), Англия всегда страдала от переизбытка ненужного и недостатка необходимого. Автору «Писем Асперна» явно не доводилось бывать в «Отеле фон Трапп». За конторкой в глубине просторного, раззолоченного вестибюля, где, словно стая папагено и папаген, щебетали и чирикали японские туристы, вычерпывая из багажников автобуса и передавая по цепочке свои бесчисленные саквояжи, за конторкой меня приветствовали сразу четверо деловитых портье в черных тужурках. Следуя лучшим бюрократическим традициям эпохи Габсбургов, они битый час обменивались регистрационными книгами, квитанциями, паспортами и ключами, но наконец благословили меня на паломничество к решетчатому лифту времен «Сецессиона» и на вознесение под небеса — именно там, похоже, находился выделенный мне номер. Во всяком случае, царственная роскошь вестибюльной юдоли на эти высоты не распространялась: каморка, в которой я очутился, при Габсбургах наверняка служила пристанищем какому-нибудь заваляющему лакею. Чердачная, тесная, со скошенным потолком и узкой лежанкой в углу. У косяка наскоро оштукатуренной двери висела табличка: «При возгорании нажмите кнопку аварийного сигнала под подоконником. Эвакуация в лифте запрещена». Я сел на кровать (кресла тут не было) и распаковал свой скудный аэрогардероб — носки из «Носков», сорочки из «Сорочек»; дня на два хватит. Ополоснулся под душем (дабы залезть в душевую, пришлось скрючиться в три погибели), сменил одежду и заметался в поисках телефонного справочника. А вот и он — стыдливо прячется под матерчатым переплетом, на котором вышит портрет Людвига ван Бетховена, прославившегося отнюдь не благодаря телефону и вообще глухого как пень.

Я открыл справочник на букве «К», надеясь обнаружить номер профессора, доктора наук Отто Кодичила. Но не обнаружил: очевидно, профессор слишком значительная фигура, чтоб числиться в массовом справочнике. Тогда я позвонил в городское адресное бюро, и там меня утешили: ни один уважающий себя венский профессор, естественно, не разрешит справочной службе делиться тайной его домашнего телефона с каждым встречным и поперечным, но, если я отрекомендуюсь по всей форме и сообщу, чего мне, собственно, надо, оператор с профессором свяжется, а профессор мне сам перезвонит. Коли захочет. Я стал ждать; телефон безмолвствовал. Мне пришло в голову, что сейчас, в середине дня, уважающий себя профессор никак не может сидеть дома. Он отправляет педагогические обязанности в университете: читает лекции, принимает экзамены, проверяет курсовые работы, просматривает специальную периодику — в чем бишь еще заключается профессия уважающего себя профессора? Дома он окажется лишь поздно вечером, а я пока имею полное право погулять. Я выбрался из

гостиницы и зашагал по пригородным улицам, вопрошая туземцев, как пройти к знаменитому кладбищу Св. Марка. На кладбище я, точно завзятый турист, постоял над могилой Моцарта, которая, к сожалению, не являлась могилой Моцарта в буквальном смысле этих слов. Едва смерклось, я вернулся в «Отель фон Трапп», съел в гигантской обеденной зале под названием «Файншмекер» — гулкое пространство, где на одного посетителя приходилось около трех официантов,— ранний ужин под названием «Тафельшпиц ан Вишикароттен унд Петерзилиенкартоффельн» и вновь поднялся в свою заоблачную светлицу стеречь, когда позвонит профессор, д. н. Отто Кодичил.

Мертвая тишина. Прождав больше часа, я повторно набрал номер адресного бюро и уломал дежурную еще раз связаться с Кодичилом — похоже, первая попытка не дала требуемого результата. Не прошло и пяти минут, как телефон у моего изголовья заверещал. Голос на том конце провода, впрочем, принадлежал явно не Кодичилу. То была, скорей всего, профессорская служанка или до крайности услужливая супруга — короче, парламентерша. Она спросила по-немецки, кто я такой; я, по слогам выговаривая английские слова, объяснил, что хочу побеседовать с профессором по неотложному философскому делу. Пауза. Досадливое шарканье подошв по паркету. Потом другие шаги, потверже. Глубокий бас: «Профессор, доктор Отто Кодичил, ja, битте?» Я торопливо представился и произнес краткую продуманную речь: дескать, я представляю крупнейшую британскую телекомпанию, которая собирается делать подробную передачу о судьбе, идеях, эпохе, своеобразии, ну и, конечно, мировом значении выдающегося мыслителя, профессора Басло Криминале. Повисла очередная пауза. Я уж было решил, что профессор, д. н. Отто Кодичил совсем не понимает по-английски.

Но секунду спустя сия ошибка предстала во всей своей очевидности. «Милостивый государь, вправду ли вы намерены предпринять подобную телепрограмму? — осведомился Кодичил.— О нет, я отказываюсь вам верить». «А мы таки намерены»,— сказал я. «Так позвольте же заявить вам с наиоткровеннейшей прямотою, что затея ваша представляется мне вопиющей бессмыслицей». «Ну, вы зря беспокоитесь — английское телевидение такие программы снимает по высшему классу. Мы стараемся своевременно информировать аудиторию о новейших тенденциях европейской мысли». «Смею заметить, сударь мой: все, что должно сказать или изъяснить относительно дражайшего нашего профессора Криминале, уже сказано или изъяснено устами самого профессора Криминале». «Да я не спорю. Мы хотим всего лишь приблизить его жизнь и творчество к интересам и чаяниям человека толпы». «Человек толпы Криминале никогда не постигнет,— отрезал Кодичил.— Взор слепца темен и тускл. Так было, есть и пребудет вовеки. Замечу, что тревожить меня телефонными звонками с вашей стороны неучтиво. Этак нахрапом, без предуведомлений, без рекомендательных писем. Не согласитесь ли вы пресечь наш разговор, который я же, обратите внимание, и оплачиваю?»

«Одну минуту,— зачастил я.— Мы рассчитывали на вашу помощь». «На мою помощь? Чем же я могу быть полезен?» «Вы ведь признанный специалист по Криминале». «Неправда. Если и существует признанный специалист по Криминале — сожалею, что приходится разъяснять вам самоочевидные вещи,— то специалист этот — сам Криминале. Его-то вы поставили в известность?» «Нет еще. А к вам я обратился потому, что вы написали о нем основополагающую книгу». Вновь затяжное молчание. «Я, любезный, без посторонней помощи способен оценить, какую книгу написал — основополагающую или нет. Несомненно, основополагающую. В противном случае я бы ее не писал. Одну минуту.— Кодичил, судя по эху, высунулся в длиннейший коридор и выкрикнул несколько категорических фраз; по паркету опять зашаркали.— Ja, битте?» — буркнул он в трубку. «Профессор Кодичил, мы возлагаем на эту программу большие надежды. И убедительно просим вас принять в ней участие». «Участие, какое именно участие?» «Думается, вы могли бы рассказать о Криминале нашим телезри-

телям». «Вам угодно, чтоб я появился на экране собственной персоной?» «Угодно. Ваше сотрудничество поднимет передачу на недосягаемую высоту». «Нет, знаете ли, это никак невозможно,— помолчав, ответил Кодичил.— Уж не путаете ли вы меня с какой-нибудь легковесной профурсеткой, которая распускает свой хвост, завидя поблизости видеокамеру?»

«Ну что вы, профессор Кодичил. Кстати, почему бы нам не обсудить этот вопрос как следует?» «С моей точки зрения, мы его в данный момент и обсуждаем». «Я имел в виду — обсудить при личной встрече». «Милейший, от вашего внимания, вероятно, ускользнул тот факт, что я весьма значительная фигура. Досуг мой без остатка отдан общественной деятельности и светским визитам. Кроме того, не в австрийских обычаях допускать мимоезжих чужаков под священный кров частного жилища. Да, в вашем родном краю церемониться не привыкли, однако мы и в самые нелегкие времена предпочитаем цивилизованные ритуалы — рекомендательные письма, например». «Все это хорошо, но я к вам в гости и не напрашивался». «Рад слышать. Вам был бы оказан холодный прием». «А на службу к вам тоже нельзя прийти?» «Я вижу, вы, по примеру большинства газетчиков, понятия не имеете о том, сколь жесткие и беспощадные требования предъявляет своим жрецам академическая наука. Возьму на себя смелость и посоветую вам забыть о вашей телепередаче навсегда. А я наконец завершу свою вечернюю трапезу». «Не могу я о ней забыть. Программа уже в работе. Будущей осенью выйдет в эфир. Я думал, вы заинтересованы в том, чтобы в ней ничего не искажалось и не передергивалось».

На другом конце провода опять воцарилось молчание, нарушаемое лишь утробным сопеньем Кодичила. Вдруг он откашлялся: «Ах, эти льстивые уловки продажных щелкоперов. Что ж, коли вы решаетесь пренебречь моими добрыми советами и стряпать свою передачку дальше, я, пожалуй, уделю вам несколько минут завтра утром. Встретимся в кафе «Карл Краус» неподалеку от университета и Вотивкирхе. Если, конечно, вы, как это по-английски, раскачаетесь явиться туда ровно в одиннадцать». «Раскачаюсь, будьте покойны. А как я вас узнаю?» «Узнать меня немудрено. Спросите у персонала, они-то меня знают, прекрасно знают, коли на то пошло. И примите к сведению: потом вас ждет расплата». «Было б за что расплачиваться,— улыбнулся я.— До скорой встречи». «О нет, вы неверно поняли мой умеренно отвратимый английский. Я хотел сказать, что покормлю вас в «Краусе» за свой счет». «Большое спасибо». «Не стоит благодарности. Вы удовлетворены? Тогда видерзеен, майн герр».

Я положил трубку и принял сидячее положение. Разве так с телевизионщиками разговаривают? По крайней мере, напутственные инструкции Лавинии подобного отпора не предусматривали. Вероятно, австрийские профессора относятся к средствам массовой информации немного иначе, нежели их британские собратья; теперь ясно, что из Кодичила не вытянешь ничего существенного. А без Кодичиловой помощи и Криминале, скорей всего, недосягаем, и вся передача под угрозой. Пожалуй, стоит проконсультироваться с дельфийским оракулом; я набрал номер суперлюкса Лавинии в «Отеле де Франс». Она подняла трубку минут через десять: «Я в ванне грелась, ела ромовую бабу. В твоей гостинице японцев много?» «Сотни и сотни». «А твои японцы тоже круглые сутки катаются на лифте вверх-вниз и кудахчут?» «Выслушай меня, Лавиния. Я только что беседовал с Кодичилом». «Умничка». «Телефоны венской профессуры строго засекречены. Но, на наше счастье, профессора используют в качестве автоответчика барышень из адресного бюро». «Он по-английски-то говорит?» «По-английски? Да он стрекочет куда бойчее и глаже, чем я». «Ну и чудненько». «Ничего не чудненько. Кодичил как-то сразу недружелюбно ко мне настроился. Верней, он по натуре настолько недружелюбен, что ему и настраиваться особо не надо».

«Фрэнсис, не раскисай! Хватай быка за рога! Мы тебе за это кучу денег платим. Будь настойчив, но вежлив». «Я и был настойчив, но вежлив». «Тогда почему он недружелюбно настроился?» «У него-де есть дела поважнее, он плевать хотел на уловки щелкоперов». «Знакомая песенка. Он,

видно, из тех старорежимных профов, которые на словах презирают телевизор и божатся, что в жизни его не включали. Но пообещай им интервью — они тебе все туфли оближут». «В Англии, может, и оближут, а в Австрии — черта с два. У здешних профессоров сильно развито чувство собственного достоинства». «Это смотря с какого боку зайти. Уговори его с тобой встретиться». «Уже уговорил. Он пригласил меня выпить кофе, завтра утром. Неплохо б и тебе, Лавиния, пойти».

«Извини, Фрэнсис, завтра я жутко занята, все расписано по минутам. Ты, главное, не кисни. Пристань к его жопе как банный лист». «Меня томит предчувствие, что Кодичилова жопа — не та часть тела, к которой легко пристать». «Зато ты свободно можешь пристать к моей. В любой момент. Ой, кстати, с билетами в оперу полный завал. Японцы вовремя подсуетились и все расхватали». «Жаль, Лавиния, жаль. Значит, шампанское отменяется?» «Нет. Я забронировала ложу на послезавтра. Страшно выговорить, во сколько это влетело — чуть не в половину разведочного бюджета. А после спектакля ты заедешь и посмотришь мой номер — просто хоромы. У тебя тоже хоромы?» «Не совсем, Лавиния. Больше на курятник смахивает». «И слава богу. Теперь, когда мы купили билеты, приходится экономить каждый грош. Но в моем номере тебе будет лафа». «Жду не дождусь. Спасибо, Лавиния, ты мне очень помогла». «И помни: как банный лист. Спокойной ночи, лапушка».

Наутро я преодолел гастрономическую феерию, которую в европейских гостиницах называют завтраком (не перепутать бы: ветчина, сыр, салями, клубника, дыня, йогурт, отруби и пахтанье), и отправился к месту встречи с профессором, д. н. Отто Кодичилом. Время я рассчитал с порядочным запасом и уже к половине одиннадцатого добрался до хлипкой, траурной Вотивкирхе. Выше я имел возможность защитить венцев от беспочвенных упреков в небрежении к великим (и особенно — почившим в бозе) соотечественникам. Так вот, представьте себе: здесь не забыли даже того почившего, что потревожил сокровеннейшие грезы столицы грез, заветнейшие вожделения столицы вожделений, был изгнан нацистами и угас в городе Хампстеде сорок девять — пока еще не пятьдесят — лет назад. Я сопоставил данные планов и путеводителей, каковые таскал с собой в богатом ассортименте, и выяснил, что церковная площадь сменила множество псевдонимов и эпонимов. Изначально она звалась Дольфус-плац, затем, предположительно — Гитлер-плац, затем, несомненно — Рузвельт-плац. А сейчас площадь носила имя Зигмунд-Фрейд-парк, и посреди нее возвышался памятник признанному виртуозу удобной кушетки, поверху засиженный голубями, понизу украшенный пессимистичным изречением об участи человеческого рассудка. Фрейд Вену не жаловал; и Вена отвечала ему взаимностью. Впрочем, сегодня и он, вслед за Моцартом, вроде бы пошел в гору. Если верить развешанным повсюду афишам, в Вене вот-вот должна была состояться премьера рок-оперы «Фрейдиана» «по мотивам открытий Зигмунда Фрейда и причудливых сновидений, положенных на ангелическую (я не выдумываю! — *Ф. Дж.*) музыку». Вскоре, смекнул я, кондитерские наполнятся пастилками «Фрейд» («сладкое завещание Зигмунда») и шоколадными бюстами человека-волка. Такова жизнь.

Я остановился у паперти и огляделся. С одной стороны площадь ограничивали приветливые корпуса Венского университета, построенные в конце прошлого века и, подобно всем университетским корпусам, щедро испещренные новейшими модификациями студенческих листовок-«молний» — граффити. С другой — разнородный комплекс величественных зданий, в ряды коих, как я внезапно приметил, затесался «Отель де Франс». Приметил я и Лавинию — уверен, это она появилась под сенью флагов у парадного подъезда, сопровождаемая швейцаром, который подсадил ее в ландо, и Лавиния затрюхала прочь, спеша исполнить дневной продюсерский долг. Методом проб и ошибок я отловил среди аборигенов, выходивших из метро «Шоттенринг», того, кто говорил по-английски и знал дорогу к кафе «Карл Краус». Оказалось, оно находится в ближайшем

переулке — стильный ресторанчик в духе «Сецессиона», каких в Вене по сей день полно. Сквозь стекло витрины я рассмотрел уйму столиков, увенчанных изящными медными светильниками в форме лилии. А отодвинув тяжелую портьеру при входе, рассмотрел сидящих за столиками дородных, немолодых, преуспевающих клиентов: на мужчинах прорезиненные шерстяные пальто, на женщинах вышитые кацавейки и старомодные шляпки с пером. На тех и других — неуклюжие зимние боты, те и другие пьют кофе и читают газеты, прикнопленные к длиннейшим деревянным рейкам.

Ко мне приблизился пожилой величавый метр. «Грюс готт, майн герр»,— сказал он, окинув меня наметанным взглядом. «Доброе утро,— поздоровался я.— Мне нужен профессор». Его лицо вытянулось; да и некоторые посетители отодвинули блюдца с пирожными, отложили газеты и воззрились на меня в упор. «Вам нужен профессор?» «С вашего разрешения, нужен». «Но, майн герр, здесь все — профессора. Вон герр профессор, доктор медиции Штубль, вон герр профессор, доктор экономистики магистр Климт. А вон герр профессор гофрат Кёгль, а вон профессор, доктор логофилии Циглер. Битте, майн герр, какой профессор вам нужен?» Перечисленные профессора разом приняли въедливый вид, точно я был нерадивым студентом, явившимся в «Карл Краус», чтобы пересдать им экзамен на троечку. «Профессор, доктор философии Отто Кодичил!» — возвестил я. «Ах, профессор! Ну как же, он на своем обычном месте. Я вас провожу». И он провел меня прямо сквозь скопище титулованных ученых в отдельный, занавешенный шторками кабинет, где сидели за кофе, пирожными и беседой двое незнакомцев.

Один — в расцвете занимающейся старости, седой, корпулентный, крепко-крепко сбитый, в вышитой прорезиненной тужурке великанского размера, которая тем не менее узила ему в плечах. Другой — гораздо моложе, совсем еще мальчик. Метр придержал меня за локоть, подошел к тому, что постарше и покрупнее, склонился к его уху, зашептал. Седой выпустил из пальцев вилку, обернулся и тщательно меня осмотрел. Завершив наблюдения, выпрямился во весь свой гигантский рост, шагнул ко мне и протянул гигантскую ладонь: «Милостивый государь, не вы ли мой давешний искуситель, вестник эфира?» «Я вчерашний телевизионщик из Англии». «Так я не ошибся! Профессор, доктор наук Отто Кодичил». «Очень рад. Фрэнсис Джей». «Что ж, прошу покорно к столу. Но прежде чем усесться, познакомьтесь с моим аспирантом герром Герстенбаккером. Достойнейший наш юный Герстенбаккер пишет под моим руководством диссертацию и оказывает мне формальную помощь во всяческих второстепенных мероприятиях».

Теперь, в свою очередь, поднялся Герстенбаккер, и его крохотное личико вспыхнуло отраженным светом Кодичиловой лучезарной улыбки. На первый взгляд ему было не больше восемнадцати, однако вел он себя совсем как взрослый — плоды усиленных тренировок, не иначе. Очки в идеально круглой оправе, усики, черный пиджак, стоячий воротничок, черный галстук-бабочка. Герстенбаккер учтиво поклонился, стоя вдвинул под меня стул и сказал: «Угощайтесь. Попробуйте вот пирожное». «Герстенбаккер присматривает или, вернее, прислушивает за моим английским»,— хохотнул Кодичил. «Присматривать совершенно излишне,— вскинулся Герстенбаккер.— Профессор Кодичил владеет английским в совершенстве. Он экс-председатель Общества австрийско-британской дружбы». «Грешен, грешен,— сознался Кодичил.— Непременно, батенька, с ними свяжитесь. Я замолвлю за вас словечко британскому послу, мы с ним на короткой ноге». «Боюсь, времени не хватит. Я тут всего на пару дней». «Я не ослышался? — с нескрываемым облегчением переспросил Кодичил.— Значит, визит ваш, как говорится, весьма и весьма неофициален. Пришел, увидел, победил». «В общем, да». «В таком случае не гневайтесь, я признаюсь напрямик, без экивоков,— Кодичил вновь смерил меня оценивающим взглядом.— По мне, вы совсем не тот, кого я ожидал встретить в вашем лице». «Не тот? — удивился я.— Кого ж вы ожидали встретить?»

Кодичил навалился на столик: «Я уповал на то, что пытливый

исследователь столь неординарной фигуры, как Криминале, не примите сие за насмешку,— человек зрелый и представительный. Повторяю: не примите за насмешку. Вы же прискорбно молоды, чуть ли не Герстенбаккеровых лет, вы лишь неофит священных таинств. Ну-с, приступим. Вы это пирожное хотите или вон то? Или скушаете оба? Или еще какое-нибудь третье пожелаете? Разговляйтесь, я ведь уведомил вас, что оплачу счет». «Если вы не против, я бы просто выпил чашечку кофе»,— сказал я тоном строптивого первоклассника. Кодичил откинулся на спинку стула и властно помахал официанту, а Герстенбаккер ввернул: «Я так и знал, что вы обожаете наш кофе. Его все англичане обожают. Я там бывал, в вашей Англии».

«Да, тема диссертации нашего юного друга Герстенбаккера прелюбопытна: «Эмпирическая философия и английская загородная усадьба»,— заметил Кодичил.— Вы-то с молоком матери впитали заветы британского лингвистического эмпиризма. Актуальные заветы, хотя традиция немецкого идеализма, конечно, в сотню раз актуальнее». «Но и британские заветы все-таки актуальны, вы не находите?» — забеспокоился Герстенбаккер. «Крайне актуальны»,— заверил я. Герстенбаккер просиял. «Гипотеза Герстенбаккера следующая: эти заветы не вписываются в русло европейской теоретической мысли оттого, что все ваши философы были либо аристократами, либо блумсберийцами и наукой занимались исключительно на досуге»,— сказал Кодичил. «А загородная усадьба — излюбленное прибежище дилетантов,— добавил Герстенбаккер.— Потому я и избрал ее темой диссертации. Ну и еще потому, что гулять там одно удовольствие». «Само собой, я давно сообщил Герстенбаккеру, что он, как и вы,— лишь неофит священных таинств,— сказал Кодичил.— Ему предстоит учиться по меньшей мере лет десять, прежде чем он овладеет элементарными азами философии. Его рассудок пребывает в зародышевом состоянии. Герстенбаккер, почему вы молчите?» «Совершенно верно, герр профессор»,— поддакнул Герстенбаккер.

И Кодичил немедля переключился на меня: «Помнится, вы утверждали, что прочли мою книгу?» «Можно считать, прочел. Увы, я не настолько хорошо владею немецким, как вы — английским». Кодичил сверкнул зубами, погрузился в живописное размышление, сдвинул брови: «В таком случае вы моей книги не читали. Прочесть книгу означает постичь сердце, душу и в первую очередь — язык ее сочинившего». «Из-за этого я к вам и приехал». «Дабы причаститься моих души, сердца и языка?! — возмутился Кодичил.— Смею вас уверить, сии накопления непродажны. Они приобретаются не с кондачка, но ценою пожизненного самоотреченья. Вы еще скажете, что и Криминале читали?» «Самую малость». «Например, полемику с Мартином Хайдеггером?» «Их спор об иронии?» — не растерялся я. «Так ответьте, внятен ли вам тот факт, что Криминале счастливо избежал обоих ответвлений хайдеггеровской логической рогатки?» «Одного ответвления избежал, а на второе чуть не напоролся». Кодичил на секунду оторопел, но затем одобрительно похлопал меня по спине: «Хо-хо-хо! Вы правы! Старого хитрована Хайдеггера так просто к стенке не прижмешь. К вашему сведению, я был с ним на короткой ноге». «Да-да, профессор со всеми на короткой ноге»,— вставил Герстенбаккер.

«В том числе и с Криминале»,— подхватил я. Кодичил сразу насупился: «С ним я знаком шапочно. Приятелями нас не назовешь». «Разве он у вас не учился?» «У меня? Нет. Никогда, никогда не учился,— с нажимом проговорил Кодичил.— Видно, вы по невежеству преувеличиваете нашу с ним разницу в возрасте. Мы ведь почти одногодки. Но даже не однокашники: в бытность свою в Вене после войны он занимался педагогикой, а не философией. Я с ним общаюсь только как ученый с ученым. Раскланиваюсь на конференциях, не более того». «Но он, кажется, частенько наезжает в Вену». «Вена — лишь промежуточный пункт его перевалочных кочевий, один из многих. Или правильней будет — перевалочный пункт промежуточных кочевий?» «Может, кочевой промежуток перевальных пунктуаций?» — предположил Герстенбаккер. «Если он каждый раз прокочевывал мимо,

когда вы успели вытянуть из него материалы для биографии?» «Биография — громко звучит. Определим ее как скромный оммаж. Дань уважения товарищу по наклонностям. Не самое значительное из моих творений». «Однако для понимания Криминале — фундаментальное, насыщенное бесценной фактологической информацией. Такое ощущение, что он рассказал вам все как было».

Кодичил рассмеялся мне в лицо: «Все как было? А что значит «все как было»? Кому, кроме Господа нашего на небеси, ведомо, как все было? Такой вещи, как «всё», попросту не существует. Разве мы способны осознать и усвоить все, что происходит с нами самими? Вспомните Витгенштейна — вы же в Вену приехали, не куда-нибудь. Что Витгенштейн говорил? «Могу ли я надеяться, что вы поймете меня, если я и сам себя не вполне понимаю?» А Криминале выразился еще точнее: „Укажите мне человека, который сумеет назвать себя по имени и не ошибется при этом"»,— и Кодичил ласково ощерился. Хорошо зная, сколь обиходна в кругах любомудров личина каверзного парадоксалиста, я решил не поддаваться на провокации и гнуть свою линию, пока силенок хватит: «Но факты, которые вы приводите, вам Криминале сообщил или нет?» «Факт? Объясните мне, что такое факт!» — опять завел свою философскую волынку Кодичил. «Под фактами я разумею даты, фамилии, адреса — в общем, конкретные детали. Положим, подлинное место рождения, имена мамы и папы, университеты, в которых Криминале обучался, жены, преподаватели, духовные наставники». «Подобные детали доступны любому заурядному исследователю». «Не любому. Похоже, вокруг обстоятельств жизни Криминале наворочено порядочно вранья».

«Вокруг каких обстоятельств?» «Не вполне ясно, к примеру, как ему удалось просочиться из Болгарии сюда, в Вену, сразу после войны. Каковы были его тогдашние взаимоотношения с марксистским истеблишментом и политические пристрастия. Один источник противоречит другому, другой — третьему». Кодичил скорчил гримасу: «Все это, к вашему сведению, не факты, все это интерпретации. Если вам угодно предаваться буквоедству — разбирайтесь на здоровье, где правда, где ложь. Но сличать фактики и детальки можно и у себя дома. А ехать для этого в Вену, в колыбель лингвистической философии,— напрасная трата времени». «Мне всегда казалось, вы не только философ, но и историк выдающийся». «Ну и что из этого?» «А то, что у вас наверняка имеются точные сведения о роли профессора Криминале в политической истории XX века». «О его роли в истории современной науки у меня сведения точные. А именно: тут ему нет равных. Он величайший мыслитель нашей эпохи». «Но ведь некоторые его теоретические положения туманны и непоследовательны, да или нет?» «Не знаю ни одного прозрачного и последовательного теоретического положения». Гнутые ножки Кодичилова стула угрожающе скрипнули.

Но я не отставал: «Речь идет о его связях с коммунистами и иже с ними». «Милостивый государь, выслушайте меня внимательно,— взорвался Кодичил.— Чтобы осмыслить ту или иную теорию, необходимо прежде осмыслить ее внутренние закономерности и параметры их формирования. Таких параметров два: творческий метод теоретика и специфика момента. Последнюю вы осмыслить не в состоянии, ибо не испытали обсуждаемый момент на собственном опыте. Должен признаться, что, по моим наблюдениям, вы не в состоянии осмыслить и первый. Недаром подмечено: великие ошибки торят дорогу великим прозрениям. Этим я ни в коей мере не хочу сказать, что Криминале наделал много ошибок. Впрочем, мы с вами толкуем о грандиозном мыслителе, о втором Ницше нашего долгого, смутного, умирающего века. Кто осмелится судить и рядить, верно или неверно этот человек, этот надчеловек понимает и интерпретирует историю? Мы вправе лишь принимать его понимание истории как высшую данность. Вы следите за моей мыслью?» «Слежу». «И согласны с нею?» «Да нет, не совсем. По-моему, всякая теория подлежит критическому анализу».

«Так-так, понятно. Герстенбаккер, который час?» Герстенбаккер

ошеломленно уставился на Кодичила и выдавил: «О господи, герр профессор, у вас ведь лекция. Видимо, студенты уже заждались». «Ну-с, вот вам и факт из разряда тех, что наш молоденький гость называет конкретными. Тысяча извинений, сударь, мне пора вернуться к моим обязанностям педагога». Кодичил поднялся, чуть не пробив макушкой потолок, и махнул официанту. На лбу у него было написано, что он сыт мной по горло, до икоты. «Последний вопрос»,— крикнул я, догадавшись, что мы с профессором вряд ли еще когда-нибудь увидимся.— Вы не соблаговолите выступить в нашей передаче — просто повторить то, что вы сейчас сказали?» «Опять эти льстивые щелкоперьи уловки.— Кодичил настежь распахнул бумажник и расплатился. – Нет, не соблаговолю. Я человек занятой. Я с министрами на короткой ноге. Весьма сожалею, но мне действительно недосуг цацкаться с разными там телеоднодневками». «А за советом мы сможем к вам обратиться? — наподдал я.— Если у нас возникнут сложности — сможем или нет?»

«Сложности свои поверяйте мне через Герстенбаккера.— Кодичил натянул пальто.— Герстенбаккера я вам отдаю на потребу». «Что-что?» — ошалело переспросил я. «Мой юный аспирант любезно согласился сопроводить вас по памятным местам Вены, ибо мнится мне, что они вам будут в новинку. По мере сил он и вашим разысканиям, простите за выражение, посодействует. Хотя, боюсь, вы скоро убедитесь, что венцы не выносят чужого любопытства. И убедитесь, что у Криминале с нашим городом немногое связано. Судьба его вершилась в иных краях, в других столицах. Но Герстенбаккер — отличный помощник и добрый малый. Вдобавок он, как вы уже слышали, бывал в Англии и знаком с вашей повадкой. Видерзеен, молодой человек». Кодичил потрепал меня по плечу, крепко пожал руку и пошел восвояси. Так уходят восвояси выдающиеся профессора — сквозь кофейную залу, набитую выдающимися коллегами-профессорами, сдержанно приветствуя выдающихся коллег-профессоров. Затем его фигура обозначилась в раме витрины, вырулила на простор церковной площади и горделиво, истово, размашисто (а от себя добавлю — гневно) почесала к университетским корпусам. Увы и ах: я позорно провалил первый тур охоты на Басло Криминале.

4

Лишь Герстенбаккер сидел напротив...

Добыча ускользнула. Остался лишь юный Герстенбаккер. Он сидел напротив, в стоячем своем, накрахмаленном воротничке, и преданно заглядывал мне в глаза — судя по всему, ждал, когда я с ним заговорю. И я заговорил: «Английский язык профессора Кодичила и вправду безупречен». «О да, считается, что лучше его английским в наши дни никто не владеет,— с щенячьим восторгом ярко выраженного германского аспиранта ответил Герстенбаккер.— А у вас — у вас есть на сегодня какие-нибудь планы? Вена вам, наверное, в новинку?» «Я тут первый раз». «Превосходно. Значит, для затравки я вам покажу достопримечательности, которые полагается осматривать, а потом— те, которые вам на самом деле хотелось бы осмотреть. Предупреждаю, Испанская школа верховой езды на ремонте и Бельведер покамест закрыт. Но в Вене, знаете ли, еще много всякой всячины.— он вынул из нагрудного кармашка малюсенькую шпаргалку.— Начнем, если вы не против, с Хофбурга, а дальше последуем этому списку. Уверен, наша шальная Вена придется вам по душе. Ну что, тронулись?»

Я понимал, что прогулка по шальной Вене ни на шаг не приблизит меня к Басло Криминале. С другой стороны, если даже Лавиния столь бесстыдно предалась туризму, мне-то какой смысл упираться? И опять-таки: неспроста ведь профессор Кодичил, демонстративно отказавшись

сотрудничать со мной, тем не менее велел своему младому аспиранту всячески меня обихаживать. Коль скоро Герстенбаккер еще околачивается поблизости, и на Кодичиле, похоже, рановато ставить крест. «А, была не была! — воскликнул я.— Тронулись». «Видерзеен, майне геррен»,— напутствовал нас метрдотель, и мы, два неофита священных таинств, покинули тайный слет академической элиты и вышли из кафе на зимнюю улицу. Герстенбаккер сразу поднял воротник пальто, круто развернулся и, чеканя шаг, двинулся по Рингштрассе, вдоль парадных архитектурных шеренг, выстроенных в конце XIX века, при Габсбургах, для государственных и частных, научных и политических, театральных и музыкальных нужд.

Не сбавляя хода, Герстенбаккер включил звуковое сопровождение: «Когда-то здесь высились крепостные стены, защитившие Европу от турецкого ига. И посему именно здесь венценосные Габсбурги, монархи большинства мировых держав, утвердили престол своей империи. Прямо перед вами — университет. Советую как-нибудь его посетить, и особенно актовый зал с портретами великих профессоров прошлого». «Посещу как только смогу». «Вот Бургтеатр, вот Дом парламента, вот Ратуша. Такова наша Вена». У стен Ратуши шумел рождественский базар, где неистовствовали продавцы печеных каштанов и жареных сосисок; прилавки ломились от витых разноцветных свечей, резной народной утвари, серебристо-золоченых елочных игрушек, пакетов с бисквитным печеньем. Я притормозил, чтоб полюбоваться апофеозом кича — лотком, обитым розовой материей, на котором расположилось целое полчище розовых игрушечных зайцев. Рядом стояла светловолосая красотка в костюме розового зайца и томно поглаживала предплечье куклой-варежкой в виде зайца, выманивая деньги у глазеющих на нее детишек. «Прелесть какая!» Я обернулся к Герстенбаккеру, но тот куда-то исчез — оказалось, ушел далеко вперед своей чеканной поступью. Я догнал его. «Прямо — Музей естественной истории, за ним Музей истории искусств, напротив — Хельденплац...» — упорно бубнил Герстенбаккер, не смущаясь тем, что его никто не слушает.

Последнее название пробудило во мне неясные ассоциации. Хельденплац, просторная площадь у дворца Хофбург; не тут ли толпы ликующих австрийцев внимали Адольфу Гитлеру в 1938-м, когда страну заполонили его молодчики в монашеских одеяньях? А теперь сюда со всех концов города стекались приезжие, в основном из Японии и США. У тротуара выстроились по струнке вместительные автобусы новейших марок, оснащенные центральным отоплением, туалетами, кухнями, телевизорами,— дома на колесах. Кучера ландо обмахивали хлыстиками лошадиные крупы, зазывая прокатиться. По площади шарахались крупные поголовья туристов, погоняемые зонтиками породистых экскурсоводш в тирольских юбках. «Хэллоу, хэллоу, меня зовут Анжелика, красивое имя, не так ли? — голосила одна из них по-английски, обращаясь к отаре измученных штатовских пенсионеров. *(Бурные аплодисменты.)* — Да, красивое, очень красивое. Посмотрите, пожалуйста, на мою юбку. Фольклорная юбка, не так ли? *(Аплодисменты.)* Да, фольклорная, очень фольклорная».

Я стал слушать дальше: «Нам с вами предстоит увлекательная поездка по маршруту Хофбург—Шёнбрунн—Голубой Дунай, очень увлекательная, ja? *(Аплодисменты.)* Вы, конечно, знаете, кто такие Габсбурги, помните императрицу Марию-Терезию? Даром что она была женщина, при ней империя процветала и усиливалась. *(Возгласы одобрения.)* Но потом начались всякие неприятности. Помните восемьсот восемьдесят девятый, трагедию Майерлинга? *(«Помним! Как сейчас помним!»)* Ну еще б вам не помнить молодого эрцгерцога Рудольфа и его нежную малютку баронессу Марию, которые покончили с собой в охотничьем домике, покончили, ja? *(Возгласы соболезнования.)* И с тех пор мы перестали усиливаться. Но продолжали процветать, еще как продолжали! Отсюда мораль: пусть у австрийцев перспективы паршивые, зато нация самая шальная и передовая!» *(Аплодисменты, переходящие в овацию.)*

Кто-то изо всех сил дернул меня за рукав: Герстенбаккер, который вовсе не выглядел ни передовым, ни тем более шальным. «Да уж, в восемь-

десят девятом перспективы открылись такие, что мы мигом ошалели и передвинулись,— сказал он, буксируя меня к Хофбургу.— Но и отрезвели, и поумнели при этом, надеюсь. Быть передовым — не столь уж завидная участь.— Мы вошли во дворец и принялись кружить по запутанному лабиринту актовых залов, присутственных палат, орденских хранилищ и имперских сокровищниц.— Франца-Иосифа, к примеру, не назовешь передовым государем. Он запретил устанавливать в Хофбурге телефоны и унитазы, проводить электричество. Пока он и его эпоха не отправились к праотцам, освещение тут было сугубо факельное. Давайте спустимся в склеп Капуцинов — в усыпальницу Габсбургов, где покоятся их останки за исключением сердец; сердца вынимали из тел и погребали отдельно.

Да и шальным Франца-Иосифа не назовешь,— продолжал Герстенбаккер, едва мы очутились в склепе.— Он жил во дворце аскетом, в одной-единственной комнате, и бессильно наблюдал, как идет прахом его империя. Ибо карточный домик вековечной Европы спроектирован именно в этих стенах. Вы и сами знаете — когда-то мы были Европой, Европа — нами. Нам подчинялись Испания, Голландия, Италия, Балканы. Их судьбы вершились здесь. Нет, не в склепе, естественно,— наверху, где теперь обосновался Вальдхайм». «Вот как? Гений забывчивости?» «Что-то забывается, а что-то помнится до сих пор. Канувший император, эрцгерцоги, вельможи, дипломаты. Бюрократия, полиция, чиновничество, личные дела, кодексы уголовные, торговые, цензурные». «Вроде нынешнего Брюсселя?» «Не вроде, а один к одному. Европейское сообщество — мы в него, кстати, вот-вот вступим, а значит, опыт минувшего еще пригодится». «Пригодится, пригодится». «Ну что ж, я дал вам ощутить атмосферу прошлого, а теперь дам ощутить атмосферу настоящего,— Герстенбаккер сверился со шпаргалкой.— Я вам все-все дам ощутить, не волнуйтесь».

И всего за несколько часов Герстенбаккер ухитрился выполнить обещание: дал мне ощутить все-все, причем с такой полнотой, что мои чувства еле выдержали. Сумрачный, мистический алтарь готики и светоносный, отрадный алтарь барокко. Бидермайер, искусство буржуа, и югендштиль, искусство нонконформистов. Дал ощутить кальвинизм; дал ощутить новый эротизм. Дал ощутить Эгона Шиле и Густава Климта; дал ощутить Саломею и Юдифь. Он показал мне кафе «Централь», где сиживал в задумчивости Троцкий; показал излюбленный столик Крафт-Эбинга; показал дом Густава Малера. Показал разграбленную временем амбулаторию Зигмунда Фрейда на Берггассе, 19, где, бывало, возлежали сексуально недужные, рассматривая изображения Минервы и городские пейзажи Трои. Прокомментировал доступное взору ныне, доступное взору когда-то и не доступное взору, но оттого не менее насущное: вытащил меня на минутку за городскую черту, в Венский лес, где давно изгладился случайный след Фрейдова велосипеда, однако маячила среди деревьев табличка с незамысловатой надписью: «На этом месте 24 июля 1895 года д-ру Зигм. Фрейду открылась тайна сновидений».

Мы метались от одной достопримечательности к другой, от другой — к пятнадцатой, ждали трамваев, ловили такси, а я все тщился завязать с милейшим, расчудесным младым Герстенбаккером откровенный разговор о Басло Криминале. И он не противился, он готов был ответить на любые вопросы, но, к несчастью, всякий раз отвлекался и перескакивал на другую, гораздо более существенную тему. «Слушайте, вы не в курсе, где Криминале останавливается, будучи в Вене, и с кем общается?» — спрашивал, например, я. «Он разве бывает в Вене?» «Профессор Кодичил сказал, что бывает. Вена — перевальный пункт его кочевий, помните?» «Пункт кочевий или промежуток пунктуаций, как правильней? Да, коль скоро мы заговорили о кочевьях — хотите увидеть дом с кочаном на крыше?» «Правильней — пункт кочевий. В каком смысле — с кочаном на крыше?»

«В том смысле, что у него на крыше кочан». «А почему у него на крыше кочан?» «А потому у него на крыше кочан, что так задумал Йозеф-Мария Ольбрих». «Кто-кто задумал?» «Ольбриха не знаете? Друга Отто Вагнера? По отдельности им бы ни в жизнь не выстроить „Сецессион"». «Как же, как

же. И все-таки где останавливается Криминале, когда приезжает в Вену?» «Понятия не имею». «А с кем общается»? «Разве он с кем-нибудь общается?» «Думаю, что да. Вы сами с ним не знакомы?» «Я сам? Незнаком, конечно. На мой взгляд, именно «Сецессион» является переходным звеном между венским барокко и венским модерном». «Вы опять про кочан, что ли?» «Хотите его увидеть? Знаменитый дом». «Ваша взяла, Герстенбаккер,— сломался я.— Показывайте ваш дом с кочаном на крыше».

Здание, к которому доставил меня Герстенбаккер, собственно, и оказалось прославленным выставочным залом «Сецессион» (девиз: «Мое искусство — веку, моя свобода — искусству»), чей металлический купол действительно напоминал формой кочан капусты. Мы вошли внутрь, туда, где в 1890-е годы венское барокко плавно перетекло в венский модерн, туда, где зарождалось искусство юных, ныне плавно перетекающее в искусство престарелых. Выдержав уважительную паузу, я спросил: «А профессор Кодичил? Он-то с Криминале общается?» «Не-а, по-моему, уже не общается. По-моему, тот теперь нечасто к нам приезжает. А знаете, кто оплатил эту постройку?» «Ну и кто же оплатил эту постройку?» «Отец Витгенштейна!» «Хорошо, теперь он к вам нечасто приезжает. Тогда где его можно отыскать?» «На мой взгляд, в могиле. Он ведь умер».

«Бросьте, Герстенбаккер, я не о Витгенштейне-старшем толкую,— разозлился я,— а о профессоре Криминале, и хватит юлить!» «Что вам на это ответить, ума не приложу,— с видом оскорбленной невинности сказал Герстенбаккер.— А вы знаете, что Людвиг Витгенштейн и Адольф Гитлер учились в одной школе?» «Ах, ума не приложу? Что-что? Витгенштейн и Гитлер учились *в одной школе*?» «Да, в городе Линце. И если бы Гитлер в школе получше успевал, сейчас он мог бы быть профессором философии в вашем Кембриджском университете». «Оригинальная мысль. Значит, если бы Витгенштейн успевал похуже, ему пришлось бы развивать свои концепции о мире человека и мире языка на нюрнбергской скамье подсудимых?» «Теоретически это вполне вероятно,— сказал Герстенбаккер после недолгих, но мрачных раздумий,— однако фактологически не слишком правдоподобно. А вот в Кембридж он наверняка не попал бы, и венский философский кружок никогда бы не собрался».

Едва мы покинули «Сецессион», Герстенбаккер взялся за свое: «Теперь, если вы не против, мы отправимся к театру, в котором представляют кошек». «Что еще за театр, в котором представляют кошек?» «Вы не слыхали про кошек? Кошек сочинил Эндрю Ллойд-Уэббер». Наконец я догадался, что происходит. Герстенбаккер, несомненно, сам по себе славный малый, но он явно получил от Кодичила строжайший наказ любой ценой воспрепятствовать моему расследованию обстоятельств жизни Криминале. «Вы очень любезны, господин Герстенбаккер. Но на сегодня с меня довольно Вены имперской, Вены барочной, Вены сецессионной, Вены фрейдистской. А наслаждаться Веной Эндрю Ллойд-Уэббера мне не с руки. Единственное, на что я посмотрел бы с удовольствием,— это Вена Криминале». «Вены Криминале не существует». «Не существует?» «Он жил здесь после второй мировой войны, я не отрицаю. Но целостной Вены тогда не существовало». «Хоть не отрицаете, что жил, и на том спасибо. А почему тогда не существовало целостной Вены?» «Потому что вместо одной Вены было четыре. Четыре зоны — советская, американская, британская и французская, ага? Теперь нам с вами необходимо отправиться к Голубому Дунаю». «Не чувствую такой необходимости». «Позвольте! — обиделся Герстенбаккер.— Кто не видел Голубого Дуная, тот не был в Вене. За мной, в Нусдорф».

И мы сели в трамвай до Нусдорфа, вылезли из трамвая, дошли до самого конца обветшалой дамбы, но Голубого Дуная так и не обнаружили. Ибо (о чем вы, наверно, и без меня знаете: на дворе эпоха путешествий) цвет у Голубого Дуная нисколечко не голубой. Может, потому-то предусмотрительные предки нынешних венцев и выдворили Дунай из города, отведя его в окраинное бетонное русло,— там его окрас не мозолил глаза и позволял распевать песни о Дунае, не вступая

в ежесекундные конфликты с очевидностью. Мимо дамбы безучастно текла бурая, замусоренная вода; обманутые японские туристы, высадившиеся на берег неподалеку от нас, даже не стали расчехлять фотоаппараты, невзирая на понуканья юбчатой экскурсоводши. «Он же рыжий,— сказал я.— Он рыжий и грязный». «Да,— согласился Герстенбаккер.— Зато при определенном освещении сразу голубеет». Мы повернулись и побрели к берегу. «Герстенбаккер,— окликнул я.— Вы сами-то хоть раз видели, как голубеет Голубой Дунай?» «Я не видел, потому что родился и вырос в Граце». «А кто-нибудь из ваших друзей и родных видел?» «Нет, никто не видел. Но все жители Вены знают, что Голубой Дунай голубой».

«Так это он для приезжих голубой?» — сообразил я. «Для местных тоже. Теперь, если вы не против, приглашаю отведать молодого вина, хойриге. В Хайлигене есть одно местечко, куда его поставляют с лучших виноградников». «Герстенбаккер,— окликнул я, когда мы уселись в такси.— Я правильно догадался, что вы как безвестный аспирант выдающегося профессора обязаны заботиться, чтоб я ни шиша не выведал о Басло Криминале?» «Возможно, возможно. Уверен, местечко вам понравится. Мы выпьем по бокалу-другому, и я, если хотите, объясню вам, почему Голубой Дунай голубой». «Конечно, хочу». «Ой, кстати, это вино очень хмельное. Его полагается закусывать поросятиной. Вам вероисповедание разрешает?» Я уставился на него: «Вероисповедание? Вы имеете в виду «рацион Джейн Фонды»? Ничего, поросятина не повредит». «Отлично. Впереди упоительный ужин».

И Герстенбаккер не соврал. Местечко в Хайлигене оказалось двухэтажным трактиром — из тех, чьи хозяева извещают, что к ним поступила новая партия молодого вина, вывешивая у двери вязанку хвороста. Мы уселись на жесткие деревянные скамейки посреди громадной харчевни; интерьер был выдержан в крестьянском духе, фольклорный ансамбль в кожаных портках наигрывал на разнокалиберных трубах, дудках, поленьях и лобзиках. Герстенбаккер поманил наливную подавальщицу (под ее передником круглился кошель в интересном финансовом положении) и заказал ей целую обойму вин; мне открылось, что младой Герстенбаккер — ходячая энциклопедия в вопросах виноделия, как и в иных вопросах, не касающихся Басло Криминале: фужерами и полубутылками вливая в меня всевозможные марки и урожаи, он, точно одержимый, сыпал названиями виноградных делянок, давилен и сортов, и чем дольше мы дегустировали, тем одержимей стрекотал Герстенбаккер. «Ах да: почему Голубой Дунай голубой? — спохватился он.— Надо заметить, Штраус написал вальс «Голубой Дунай» после того, как германцы нас разгромили и австрийская мощь пошла на ущерб. Тут-то Дунай и заголубел по-настоящему». «Вот оно что». «Затем Принцип застрелил эрцгерцога в Сараеве, затем, в восемнадцатом, у нас отняли корону, земли, славу. Вы англичанин, вам эти чувства должны быть понятны». «Да, пожалуй, нас многое роднит». «Но и разделяет многое. Мы потеряли все — цель, смысл, прошлое, настоящее. Остались лишь музыка, грезы, мечтанья». «И Голубой Дунай заголубел с удвоенной силой?» Герстенбаккер кивнул. «А потом, в сорок пятом, мы потерпели очередное поражение. Превратились в нуль без палочки, в оккупированную страну. Из наших душ выгравили память о войне и память о мире. Голубой Дунай голубой потому только, что мы по привычке зовем его голубым. Нет теперь города Вены, есть красивые фразы о городе Вене. Давайте-ка еще вот этот сорт попробуем».

Не прошло и получаса, как стоячий воротничок Герстенбаккера решил придечь, очки скособочились, а язык распоясался. «Скажите на милость, вы не бывали в поместье Хауард?» «Бывал». «Правда, живописное поместье? Я б туда с удовольствием съездил, мне диссертацию нужно писать. Ну и в Пенсхерст бы съездил, и в Гарсингтон, и в Чарлстон, и в Кливден. Для комплекта». «Добро пожаловать. Тема, конечно, благодатная». «Поймите вы, все ваши крупные мыслители в основном дворяне — граф Рассел, Дж. Э. Мур. И так далее. От избытка свободного времени они ставили перед

собой нестандартные проблемы: думаю ли я, о чем говорю, когда говорю о том, что думаю, не является ли луна головкой сыра рокфор. И так далее. Витгенштейн был от них без ума». «Я смотрю, вы тоже. Коли вам потребуется помощь в оформлении командировки, я...» «Вы считаете, это реально? — Герстенбаккер заискивающе уставился на меня сквозь перекошенные очки.— Вы сможете переговорить с британским послом на ближайшем рауте?» «С послом-то навряд ли, дипломатов я не больно жалую. А в телекомпании замолвлю словечко. Мы вам оплатим проезд, вы с нами поделитесь парочкой сенсаций относительно Басло Криминале — и гуляйте по английским поместьям сколько влезет».

Герстенбаккер заметно скукожился. «Поверьте, я вас не обманываю. Даже если б Кодичил позволил... мне о Криминале ничего не известно». Кажется, клюнуло, обрадовался я. «Вы как аспирант выдающегося профессора...» «Скромный аспирант, безвестный!» «...Непосредственно участвуете в его штудиях». «Посредственно, посредственно!» «Хорошо, в чем заключаются ваши аспирантские обязанности?» «Ну, я принимаю экзамены у студентов Кодичила и проверяю их семестровые работы. Когда он в отъезде, веду семинар». «И часто вы ведете семинар?» «Часто, ведь он часто бывает в отъезде. Профессору его уровня много приходится разъезжать, судьба такая. А я тем временем вместо него лекции читаю, книги пишу...» Я выпучил глаза: «Пишете *книги?* Вместо него?» Герстенбаккер тоже по-совиному вылупился на меня поверх очков, изумляясь моему изумлению: «Профессор Кодичил человек занятой, он консультирует министров, посещает конгрессы, заседает в ответственных комиссиях. Еще и книги самому писать — времени не напасешься».

В этот момент фольклорные игрецы, достигнув высшей стадии экстаза, выхватили топоры и изрубили поленья в щепу, после чего принялись отвешивать затрещины сперва себе, потом друг другу: рапсодия тяжких телесных повреждений в темпе аллегретто. «Ух и характерная музыка, вы только послушайте,— сказал Герстенбаккер.— Моцарт и Штраус — это лицевая сторона медали». «Да уж чувствую,— я и сам был на грани экстаза.— Значит, вы утверждаете, что сочиняете книги вместо Кодичила, а профессор под ними подписывается?» «Подписывается, если у него нет принципиальных замечаний по тексту. Если есть, я обязан переделать книгу заново. А когда она выходит, подчас рецензирую ее в какой-нибудь газете». «Ну и порядочки у вас, жуть. Вы надрываетесь, а он стрижет купоны?» «Не так все просто. В один прекрасный день я удостоюсь степени, стану выдающимся профессором, заведу кучу аспирантов, и они будут писать книги вместо меня». «Тогда-то вы и отыграетесь?» «Конечно.— Он завертел головой, высматривая подавальщицу.— Вы далеко не все сорта попробовали, например...» «Потерпите минуточку. У меня принципиальный вопрос. Биографию Басло Криминале тоже вы написали?»

«Я? — удивился Герстенбаккер.— Да нет, что вы! Я ведь сказал — про Криминале мне ничего не известно. Я пишу книгу Кодичила о британской...» «Эмпирической философии и английской загородной усадьбе. Понятно. Кто в таком случае истинный автор биографии Криминале?» «Ума не приложу». «А вы приложите, не стесняйтесь. Сам Кодичил?» «Да нет, непохоже что-то. Не таков Кодичил, чтоб писать свои книги собственноручно». «Другой аспирант? У Кодичила много аспирантов?» «Совсем немного. Но эта книга — пятилетней давности. Пять лет назад я еще мужал в родном Граце». И ходил в коротких штанишках, добавил я про себя; младой Герстенбаккер, чей парадный костюм изнашивался до состояния маскарадного, на глазах утрачивал жалкие остатки взрослости. «Вот она, разгадка! — сказал я вслух.— Книгу Кодичила сочинил вовсе не Кодичил. Потому он и открещивается от участия в передаче о Криминале — боится, что подлог выплывет наружу».

Герстенбаккер сжал виски ладонями. «Какой еще подлог? Это действительно книга Кодичила. На обложке проставлена его фамилия. Аспирант писал ее за Кодичиловым столом, следуя Кодичиловым указаниям, пользуясь Кодичиловой картотекой, Кодичиловыми подходами и методикой,

руководствуясь Кодичиловыми советами и поправками. Профессор открещивается по другим причинам». «По каким?» «А по таким, что вы человек чересчур молодой и чересчур иностранный. По его мнению, вы не способны должным образом осмыслить столь масштабную фигуру, как Криминале. Вдобавок он с недоверием относится к средствам массовой информации вообще. На Австрию возводят много напраслины. Укоряют нашего президента в старых грешках и тому подобное». «Неудивительно. Я вот до сих пор не способен должным образом осмыслить, почему Голубой Дунай голубой». Герстенбаккер посмотрел на меня, усмехнулся и кивнул: «Вы не способны осмыслить, что тут у нас творится, ибо мы вам чужие. Вам, англичанам, повезло с отечеством, вы развивались по прямой, вы не мыкались с нашими историей, философией, политикой. Кодичил в толк не возьмет, чем Криминале может заинтересовать британских телезрителей. Кодичилу ваши думаю-что-говорю-говорю-что-думаю до лампочки».

«Но ведь в последнее время англичане не противопоставляют себя европейцам». «А проку? Выройте под Ла-Маншем хоть пять туннелей, к Европе вы ни на шаг не приблизитесь. К той Европе, которая прошла огонь, воду и медные трубы, которая отлично помнит, что у нее было, и отлично сознает, что ей осталось». «Валяйте дальше»,— сказал я. «Мы почитаем тех, на чью долю выпали тяжелые испытания. Тех, кто старше, чем мы, тех, чья молодость была сплошным кошмаром. Вы никогда не постигнете, что значит жить в мире с неустойчивой историей, в мире, где твой опыт и убеждения сегодня верны, а завтра неугодны, где любая мысль, любой поступок — смертельный риск, где изменники ходят в патриотах, а патриоты — в изменниках». «Допустим, я этого никогда не постигну. А вы? Вы настолько умнее меня?» «Умнее. Я вырос в стране хамелеонов. Мы меняли национальности как перчатки: австрийская перчатка, германская, русская, американская, французская, британская. Реальность расслаивалась, и мы привыкали к каждому слою в отдельности и ко всем вместе. Представьте себе Вену сорок седьмого, страшный, слоистый город». «Сорок седьмого? В сорок седьмом Криминале сбежал сюда из Восточной Европы».

Герстенбаккер окинул меня долгим взглядом. «Нет, из Восточной Европы ему сбежать не удалось». «Как не удалось? Вы сами говорили...» «Не удалось, потому что Вена входила в состав Восточной Европы, помните?» «Не помню. Я тогда еще не родился». «Если б вы родились здесь, а не в Англии, помнили бы. Криминале приехал в Вену легально, с Востока на Восток не сбежишь». «Однако отсюда и до Запада было рукой подать». «Вы правы. К примеру, в центральном районе, где расположен университет, власть менялась ежемесячно. И едва она переходила к русским, многие бросали свои дома и переезжали в гостиницы других оккупационных зон. Сами знаете, что за люди русские: при них особо не разгуляешься». «Словом, из зоны в зону можно было перемещаться свободно?» «Вот именно. Ты входил в парадную дверь на русской территории, но если у тебя имелся ключ от задней двери, ты мог открыть ее и очутиться в Америке». «Видимо, Криминале заполучил этот ключ. И входил то через парадную дверь, то через заднюю». «Не он один. Как я уже сказал, жители Вены на собственной шкуре выучились нырять из одного слоя в другой. Теперь ясно, отчего нам не по нутру ваши расспросы? Мы выучились помнить, но забывать выучились тоже».

«А профессор Кодичил? Он, как и прочие, наловчился забывать и помнить?» Герстенбаккер по-совиному посмотрел на меня сквозь стекла очков: «Наловчился. За профессором Кодичилом, как и за всеми прочими, в те времена водились делишки, о которых лучше бы не вспоминать никогда. И он с этой задачей справляется мастерски». «Бог ты мой! И за Кодичилом?» «Он жил в эпоху Гитлера». «Конечно, конечно. Забывчивость малопомалу входит в привычку. Сомнительные делишки лучше б похоронить в прошлом, и вся недолга». «Вам так кажется?» Герстенбаккер зачем-то расправил плечи. «Нет, мне так не кажется, но я вырос в бесхитростной стране, что с меня возьмешь? А вам так не кажется?» «Так кажется профессору Кодичилу. А я, как ни крути, его аспирант». «И пользуетесь

Кодичиловыми подходами и методикой?» «Да, пользуюсь». «А самостоятельно вы думать умеете?» «Умею ли я думать? — Герстенбаккер опешил.— Умею. Я думаю... я думаю, вы изрядно устали. И крестьяне что-то расшумелись не в меру, или я не прав?» «Бросьте, Герстенбаккер. Нам с вами еще расспрашивать и расспрашивать, иначе прошлое настигнет и нас». «Простите,— перебил Герстенбаккер.— Я должен расплатиться, вызвать такси и отвезти вас в гостиницу. А завтра осмотрим остальные венские достопримечательности. Вы ведь даже дворца Шёнбрунн не видели».

Часа через два я ощутил подошвой альпийскую кручу, протиснулся меж увалов, продрался сквозь карликовый перелесок и ухнул в глубокую кустистую теснину. За мною гнался милостивый герр профессор, доктор наук Кодичил в зеленой плащ-палатке, с охотничьим ружьем на изготовку и со сворой легавых на поводке. Несмотря на его тучную комплекцию, расстояние меж нами сокращалось, ибо профессор, знающий местный рельеф как свои пять пальцев, выбирал короткие пути, а я — обходные. Легавые захрипели прямо за спиной, ружейный выстрел оттяпал ветку с ближайшего дерева. Я стал как вкопанный, обернулся и крупным планом увидел разгоряченную, злобную физиономию преследователя. В меня вдруг вселилась удаль Джеймса Бонда: я солдатиком сиганул в стремительную пенистую реку, сбегавшую по склону под углом сорок четыре — сорок шесть градусов. Поток подхватил меня и потащил прочь; Кодичил, оставшийся на берегу, бессильно сучил кулаками. Ледяную стремнину вспарывали каменные перекаты, которым вздумалось поиграть мною в расшибалочку. Но радость чудесного избавления нимало от этого не померкла. Внезапно скала рванулась вверх и назад. Огромный водопад низверг меня в горное озеро, в центре коего, точно над сливом ванны, вихрилась воронка. Я забарахтался, заорал: «Помогите!», но добрая волна обняла меня и вынесла из опасной зоны. Стуча зубами и обливаясь потом, я отчаянно погреб к берегу. Схватился за нависшую над озером ветку, кое-как выкарабкался на песчаную отмель и рухнул без сил. «Присаживайтесь, скушайте пирожное»,— надо мной учтиво склонился невесть откуда взявшийся Герстенбаккер в двухметровом стоячем воротничке. «Меня преследует профессор Кодичил»,— пожаловался я. Герстенбаккер преклонил колена, снял с меня плащ, чуть-чуть встряхнул его и вернул абсолютно сухим. «Так-то лучше. А теперь мы с вами отправимся на Берггассе, 19». «Что мы забыли на Берггассе, 19?» «Вас желает осмотреть профессор, доктор наук Зигмунд Фрейд». «Зато я никакого профессора, доктора наук Зигмунда Фрейда не желаю осматривать!» «Полегче на поворотах. Из-за вас профессор, доктор наук Фрейд отменил сеансы с Дорой и человеком-волком. Он любезно пригласил вас под священный кров своего частного жилища, дабы попользовать во все тяжкие». «Попользовать, что такое попользовать?» «Он поможет вам вспомнить все, о чем вы навострились забывать». «Нет уж, увольте, не хочу я в гости к профессору, доктору наук Зигмунду Фрейду!» — выкрикнул я в Герстенбаккерово ухо.

«Нет уж, увольте, не хочу я в гости к профессору, доктору наук Зигмунду Фрейду!» — выкрикнул я в кромешную тьму, жару и духоту незнакомой комнаты. На оконном стекле трепетал отблеск оранжевого зарева, точно где-то совсем рядом сиял неоном столичный город. Где я? Ах да, я в Вене, на родине вальсов и цукерторта, розовых зайцев и Голубого Дуная; именно здесь почти сотню лет назад д-ру Зигм. Фрейду открылась тайна сновидений. Я обливался потом и стучал зубами под перекрученным казенным одеялом в заоблачной светелке «Отеля фон Трапп». Я сразу понял, что делать. Нажать на аварийный подоконник под кнопкой. И эвакуироваться, избегая лифта. На родине профессора, доктора наук Зигмунда Фрейда и в таких простых вещах немудрено запутаться.

Забрезжило долгожданное утро; я встал, побрился, оделся и спустился на первый этаж, к буфетному столу. Наложив на тарелку фруктов, ветчины и салата, я направился к столику, но тут заметил, что в одном из кресел

вестибюля сидит какой-то человек — тихо и недвижно, как если бы провел всю ночь в терпеливом ожидании. Я узнал младого герра Герстенбаккера; после вчерашнего он освежил воротничок и нафуфырил «бабочку». «Давно ждете?» — спросил я, приблизившись. Герстенбаккер вскинул лицо: «Я только что вошел, но посовестился тревожить вас в такую рань». «Выпьете со мной кофе?» «Спасибо, я тороплюсь. Я заехал сказать, что, к сожалению, не смогу составить вам компанию. Я бы с радостью и сегодня с вами погулял, но профессору Кодичилу вдруг понадобилась моя помощь в очень важном деле». «Чашечку выпить недолго, Кодичил перебьется». «Я также вынужден передать вам его устное послание. Он велел сообщить, что накладывает строжайшее вето на съемки программы о Криминале». «Накладывает *вето*?» «Он тщательно изучил ваш проект и нашел его неприемлемым»,— затравленно пояснил Герстенбаккер.

«Присядьте,— я отвел его к столику, на котором дымилась моя чашка, и указал на высокий табурет рядом.— Может, все-таки кофейку?» «Нет, спасибо. Он говорит, вы рассматриваете этого титана не с тех позиций. Если Криминале вообще стоит популяризировать, то, во всяком случае, не вашими руками». «Вам не трудно передать профессору Кодичилу ответное послание? Сообщить, что передача состоится вне зависимости от его согласий или несогласий?» «Он важная фигура, знаменитый профессор. К нему прислушиваются в правительстве. Он всех законников знает, с Вальдхаймом на короткой ноге...» «Да будь он хоть государем всея Руси, передача состоится». «Он намерен подать официальный протест вашему послу, а посол уж вам наставит палок в колеса, ведь Кодичил — экс-председатель Общества австрийско-британской дружбы». «Фу-ты ну-ты! Даже если его придется переименовать в общество австрийско-британской вражды, передача все равно состоится. Наших дипломатов на испуг не возьмешь. Надеюсь, что не возьмешь».

Герстенбаккер помолчал, как бы собираясь с мыслями. «Пожалуй, я все же выпил бы немножко кофе, полчашечки. Я ни при чем, поверьте. Я всего лишь его аспирант. Я не имею на него морального влияния». «Верю. И ни в чем вас не виню». «Очевидно, «Нада продакшнз» — богатая телекомпания». Герстенбаккер опасливо наливал себе в чашку сливки. «Богатейшая!» «И вы, несмотря ни на что, готовы устроить мне поездку в Англию?» «Сегодня же переговорю с продюсером. В Британии эта дама пользуется огромным авторитетом. У нее все схвачено». Поколебавшись, Герстенбаккер залез во внутренний карман черного пиджака и вынул оттуда запечатанный конверт: «Это вам». Я надорвал конверт. В нем лежала обычная каталожная карточка. На ней были записаны имя, фамилия — Шандор Холло — и невразумительный адрес без всяких комментариев. «Что это? Кто такой Шандор Холло?» «Пять лет назад он учился в аспирантуре под руководством Кодичила. Я спозаранку наведался на кафедру и отыскал эту карточку в архиве».

Я взглянул на нее повнимательней: «Вы хотите сказать, он и есть автор книги о Криминале?» «Судя по всему, да. Заметьте, он из Будапешта. И Криминале оттуда же». «Так адрес будапештский?» «Этот человек венгр. Он позанимался у нас несколько семестров и вернулся домой. Будапешт, конечно, не ближний свет, но, коли вы не поленитесь и съездите туда, Холло, возможно, ответит на все ваши вопросы относительно Криминале. А в Вене вы ничего не добьетесь». Я посмотрел на карточку с благодарностью и положил ее в карман. «Вы отличный парень, Герстенбаккер. Что называется, свой в доску. Ваше здоровье!» «Зовите меня Францем-Йозефом, — вспыхнул Герстенбаккер.— А что означает „свой в доску"?» «Малый хоть куда. Желаю приятно провести время в поместье Хауард». «И я себе того же желаю,— Герстенбаккер принялся записывать что-то на обороте меню.— Возьмите и мой адрес. Если с поездкой выгорит, а я надеюсь, что выгорит, ни в коем случае не сообщайте на кафедру. Пишите мне домой. И остерегайтесь мерзавца Кодичила. Он ничего не забывает и ничего не прощает. Грозный соперник, у него везде дружки. До свидания. Пойду на него пахать».

Тех, кому не терпится выяснить, побывал ли я в венской опере, извещаю: не побывал. Едва Герстенбаккер, как пристало послушному аспиранту, повлекся на заклание к Кодичилу, я набрал номер люкса Лавинии в «Отеле де Франс». «Я в постели нежилась, пила кофе с пампушками. Слушай сюда, на вилле Гермеса открыта изумительная выставка «Эротизм: предвкушение любви». Я взяла два билета. Валяй ко мне, поглядим, с чем этот эротизм едят». «Мне сегодня только эротизма недоставало. У меня важные новости». И я поведал ей о Кодичиле и Кодичиловом чудаковатом аспиранте. «Глупости,— отвечала Лавиния.— Что ж, старпер Кодичил не сам свои книжки пишет?» «Похоже, в Европе так исстари повелось. Вспомни школу Рембрандта». «Ты хочешь сказать, «Божественную комедию» на самом деле сочинил помощник Данте? А «Фауста» — ученик Гёте?» «Именно. Больше того, Кодичил клянется, что ни черта не знает. И никто ни черта не знает. Им так удобней». «Я в курсе. Здесь это называется болезнью Вальдхайма. Дело пахнет керосином, Фрэнсис».

«И что теперь? Кодичил был единственной зацепкой». «Предоставь это мне. Эротизм денечек поскучает. Сейчас позвоню в Лондон, свяжусь с трансагентством, сгоняю в банк за наличными. Что толку ходить в продюсерах, когда продуцируешь сплошной кукиш с маслом?» И, надо отдать ей должное, на сей раз Лавиния кукишем не ограничилась. Добыла деньги, билеты, заказала гостиницу — спродуцировала все необходимое. Вскоре (утренняя свежесть еще не успела отхлынуть) я очутился на платформе одного из венских вокзалов, где стоял трансъевропейский экспресс «Сальери» — гигантский пассажирский состав, из тех, что непрерывно отращивают хвост, распадаются на звенья, удваиваются и уполовиниваются: тот вагон следует в Брюгге или в Альтону, этот — в Бригенцу или в Таллин. Вагон, у которого я очутился, следовал в Будапешт, а Лавиния почему-то опаздывала. За три минуты до отправления она грузно подбежала ко мне, размахивая очередным пластиковым бумажником.

«Держи, этого надолго хватит. Главное, не упускай сверхзадачу, придерживайся собственного сценария: непостоянство в политике, непостоянство в любви». «В Лондоне мне казалось, что Криминале и вправду таков. Будем считать, что я не ошибся». «Не мог ты ошибиться! Мы с тобой телевизионщики или кто? А доберешься до этого Холло — прилипни к его жопе как банный лист!» «Верно ли я заключил, что ты со мной не поедешь?» «Лапа, не сердись, у меня и в Вене хлопот полон рот». «Какие тут-то могут быть хлопоты?» «С местным колоритом и натурными съемками знаешь сколько мороки? Ах я дурында! Мне ж так хотелось сходить с тобой в оперу, а потом шампунчику хлебнуть». «Не казнись, Лавиния. Ты себе кавалера непременно найдешь». «Непременно найду»,— согласилась Лавиния. «И будь добра, позаботься о юном Герстенбаккере. Без него б мы пропали». «Спокойно, спокойно. Я ему звякну и привечу как умею»,— пообещала Лавиния.

В дальнем конце платформы засвистел, замахал жезлом кондуктор; я поднялся в вагон, следующий до Будапешта. «Лапушка, ну до чего обидно,— Лавиния подпрыгнула и оглоушила меня поцелуем.— Вот так всегда: оттягиваешь самый приятный момент, оттягиваешь — и упускаешь навсегда». «Очень обидно». «Ну, лапуля, пока, я понеслась, у меня деловая встреча в «Захере». Ни пуха ни пера, и заруби себе на носу, повторяй перед сном, как молитву: бюджет у нас не разгуляешься». «Хорошо, Лавиния». Двери тамбура с шипеньем захлопнулись. Я отыскал свое купе второго класса и сел, провожая глазами рекламные щиты с надписями МЕЛКА и МИНОЛТА, БАУХАУЗ и БРИТИШ ПЕТРОЛЕУМ, СПАР и ВАН, мелькавшие за окном. А затем поезд помчал меня к самому сердцу Европы, к самому порогу профессора Басло Криминале.

5

Где вас застиг конец 80-х?

Так где же, в какой точке планеты, застиг вас конец 80-х? Не знаю, как вы, а я могу ответить на этот вопрос почти исчерпывающе, будто старожил, который доподлинно помнит, чем занимался в тот самый миг, когда убили Джона Ф. Кеннеди. Я ехал в прославленном трансъевропейском экспрессе «Сальери» из Вены в столицу Венгрии Будапешт с кратковременным (впрочем, жизнь распорядилась иначе) визитом. Один-одинешенек в сером интерьере купе; на багажной полке — тощий кейс, на одежном крючке — легкий анорак. У колена — карманное издание «Волшебной горы», прекрасной книги Томаса Манна об упадке Европы накануне первой мировой. Начав читать, я почему-то не продвинулся дальше четвертого абзаца и отложил роман в сторону. Я увидел «Волшебную гору» в роскошном венском магазине «Британская книга» близ собора Св. Стефана и недолго думая купил. Ведь это, в сущности, путеводитель по сумрачному лесу рубежа эпох, вдоль опушки коего только что любезно провел меня младой Герстенбаккер. Была и другая причина. Прототипом манновского персонажа Нафты, олицетворяющего философию XX века, явился венгерский марксист Дёрдь Лукач. А считается, что именно авторитет и методология Лукача (р. в 1885 году в Будапеште, среди соч.: «К истории реализма», «Теория романа»), которого Манн характеризует так: «Он прав до тех пор, пока не закроет рот»,— именно они оказали наибольшее влияние на того, за кем я охотился, на Басло Криминале.

С первых же строк я почувствовал себя не в своей тарелке. Ибо роман начинается так: милый юноша Ханс Касторп — доброжелательный, прямой, застенчивый (словом, такой, как я) — сидит один в обитом серым сукном купе трансъевропейского поезда, на полке — чемоданчик, на крючке — пальто, рядом — книга в бумажной обложке. Он отправился по следу судьбы на восемьдесят лет раньше, он покинул низины, где царила неразбериха, и поднимался по склонам гор, думая, что скоро вернется, но жизнь распорядилась иначе. Ему предстояло кардинально пересмотреть свое отношение к реальности, а реальности — кардинально перемениться. Я поспешно захлопнул книгу и взглянул в окошко на Бургенланд, еще не так давно подконтрольный советским войскам. Слева тянулась пойма Дуная: топи, лоскутья лугов, миниатюрные тракторы, деревушки с луковичными церквами (теперь дом с кочаном на крыше уже не казался диковинкой). Справа, за высокими холмами, громоздились бурые зазубрины и белые пики Восточных Альп. Мутный влажный ветер овевал равнину; горы клубились черными вьюжными тучами. Позади была барочная, капризная Вена; впереди — венгерская граница, Хедьешхалом; в 56-м и 89-м тут пролегали скорбные маршруты беженцев, но сейчас все спокойно, все, дескать, чудненько.

Дабы расслабиться, я задвинул Манна в дальний угол сиденья и повнимательней осмотрел уютное купе. На мусорном баке, чья крышка могла служить также столиком или полочкой, лежали два малоформатных издания: администрация поезда всемерно заботилась о том, чтоб привередливые иностранцы вроде меня не заскучали ни на минуту. Расписание на голубой бумаге, настырно-педантично знакомящее пассажира с хронометражем всяческих прибытий и убытий экспресса «Сальери». И захудалая австрийская газетенка «Курир», помеченная пятницей 23 ноября 1990 года (вот вам, кстати, и дата моего железнодорожного путешествия). Я уже говорил, что с немецким не в ладах, но при благоприятном стечении обстоятельств — после двух ночи, после двух рюмок, после двух суток в германоязычной среде — понимаю почти все. Длинный заголовок под логотипом гласил: «Die Eiserne Lady gibt auf: Rücktritt nach 11 Jahren. Eine Ära ist zu Ende».

Я сразу смекнул, что редакция «Курир» почти наверняка имеет в виду премьер-министра Великобритании г-жу Маргарет Тэтчер, при чьем прав-

лении я сформировался как личность,— если только в мире без моего ведома не проклюнулись еще какие-нибудь железные леди. Перейдя в билингвистический режим, я приступил к анализу заголовка. Похоже, так: «Железная леди уходит со сцены: одиннадцати лет ей хватило с лихвой. Заканчивается целая эпоха». Не может быть, одернул я себя, ты перевел эту фразу неправильно. Должен подчеркнуть, что принадлежу к славному поколению «детей Маргарет Тэтчер». В 1979-м, когда мой лоб еще пятнали отроческие угри, ее чеканная поступь сотрясла своды дома на Даунинг-стрит, 10, и зазвенел под сводами ее пронзительный клич: «Что ж, за дело!» Труд свой и быт я гнул по ее лекалу. Взлеты и провалы, подъемы и спуски, расцветы и упадки, бабахи и хрупики трех ее должностных сроков диктовали сюжет моей личной взрослости. Мечты и кредиты, работа с огоньком и мопед с моторчиком — все во мне обличало птенца эпохи, которую газета на купейном столике определяла термином Der Thatcherismus, и по-немецки это слово, как ни странно, звучало внушительней, чем по-английски.

Сошла со сцены, удалилась в тень, прикусила язычок? Что ее заставило? Мыслимо ли это, почему, зачем? Я перелистал газету и отыскал огромную, на разворот, статью «Das Ringen um die Nachfolge». Заголовок напоминал названия вагнеровских опер, которыми Лавиния истерзала меня в Вене; но как же он переводится? «Битва ночных птиц»? И, если речь о спектакле, кто исполнители главных ролей? Ах, вот они, в газетном подвале: портреты и краткие характеристики, будто на театральной программке. Посмотрим: Майкл Хезлтайн, der Opportunist; ну, это понятно без перевода. Затем — Дуглас Херд, der alte Routinier (старый кто? маршрутник?), сэр Джеффри Хау, der Totengraber (кладбищенский вор?) и Джон Мейджор, der Senkrechtstarter (что бы это значило? высокий старт?). Наскоро сверившись со словарем, я выяснил, что мои догадки не вполне верны. Опера называлась «Борьба за наследство», а персонажей звали Оппортунист, Стреляный Воробей, Могильщик и Самолет с вертикальным взлетом — он-то, судя по всему, и вышел победителем. Пусть Мартин Эмис сочинит либретто, Эндрю Ллойд-Уэббер — ангелическую партитурку; добавьте несколько фрейдистских сновидений, хоровые распевы типа «Не плачь обо мне, Аргентина» — и музыкальная феерия готова к постановке на любой из венских сцен.

Да, австрийцам хорошо; а я-то, молодой человек в сером купе, что приобрел в результате этих спектаклей и апофеозов? Еще вчера я был ничтожным юнцом без прошлого, неофитом священных таинств, как с присущей ему выспренностью выразился профессор Кодичил. Зеленым простачком, которому невдомек, почему Голубому Дунаю положено быть голубым. И вдруг благодаря одной-единственной бессонной ночи (а я почти уверен, что этой ночью многие не сомкнули глаз) у меня наконец появилось какое-никакое прошлое. Скромное, не спорю; куда ему до событий, что лихорадили Европу год назад: демонтаж Берлинской стены, финал холодной войны, открытие восточных границ, кои я вот-вот пересеку. В Англии историю вообще не любят пришпоривать, но перемены и у нас неизбежны. Ведь железная леди, несомненно, из тех, кто прямо влияет на исторический процесс. Ее возвышение, а теперь и падение — увлекательный праздник интриг и гордынь, амбиций и вероломств, благодатная тема для газетной трепотни, в которую и я внес посильный вклад. Да, и для меня айне эра ист цу энде, иссякла целая эпоха.

Что же идет на смену тэтчеризмусу? Я вновь заглянул в австрийскую газету и немедля отыскал ответ. На смену тэтчеризмусу, натурально, идет посттэтчеризмус — развеселый новый мир, куда таких, как я, пускают без дополнительной платы. На заре его меня охватило смешанное чувство. Что ни говорите, а при Тэтчер жизнь была, в общем, устойчивей; теперь же в ней проступала некая безалаберность, привычные гарантии покоя растворялись в небытии. Опять вспоминая вчерашнюю прогулку по Вене с милейшим юным Герстенбаккером, из кожи вон лезшим, чтоб потрафить своему шефу и отвлечь меня от мыслей о Басло Криминале путем демонстрации картин fin de siécle, я заподозрил, что на исходе каждого столетия старый уклад

склонен к катаклизмам и распаду. Скажу больше: мы как следует уясняем грозный и возвышенный смысл слова «перемена» лишь тогда, когда нам представляется случай понаблюдать за мгновенным исчезновением былого и стремительным усилением грядущего на сломе времен.

Я сидел в обитом серым сукном купе и думал о том, как заканчивались различные европейские столетья. К примеру, в 1889 году, ровно за сто лет до падения Берлинской стены, в Париже возвели Эйфелеву башню. А возвели ее потому, что ровно за сто лет до того, на бурном исходе предыдущего века, разразилась Французская революция, мир вывернулся наизнанку, и даже календарь на малый срок пришлось перелицевать. И вот в годину трагедии Майерлинга, когда Вена сделалась передовым и шальным городом, французы задумали отметить юбилей революции на свой французский манер: что-нибудь соорудить. А для этого прибегли к услугам месье Гюстава Эйфеля. К чьим же еще? Он был крупнейшим в стране строителем мостов, деянья его гремели повсеместно. Он спроектировал уникальный виадук через реку Дуэро близ Опорто, придумал шлюзовые конструкции для Лессепсова Суэцкого канала, построил обсерваторию в Ницце, да и прелестный будапештский вокзал, который я вскоре надеялся узреть воочию. Ожидалось, что он украсит территорию Всемирной выставки парочкой зданий в новом стиле, а может, и перекинет через Сену ажурный металлический мост, что открыл бы парижанам удобную дорогу к излюбленным кафе, лавкам древностей, музеям и мастерским. И Эйфелю выплатили задаток.

Парижане не подозревали, что его архитектурные идеи уже двинулись в ином направлении — не в горизонтальном, а в вертикальном. За считанные месяцы Эйфель выковал и отгрохал башню. В одно прекрасное утро 1889 года жители города проснулись и, гос-споди, заметили ее. Не заметить ее нельзя было; но и толку от нее было не больше, чем от домика с кочаном на крыше. Башня, несомненно, являлась монументом в честь чего-то, но, увы, на ней не оказалось надписи, поясняющей, в честь чего. Она походила на шпиль кафедрального собора, однако сам собор отсутствовал, не было алтаря, чтоб преклонить колена, не было божества, чтоб окликнуть по имени. Она напоминала деловые небоскребы, выраставшие, как грибы, в Нью-Йорке и в Чикаго, но внутреннее диссонировала с внешним, и деловыми операциями в башне заниматься не тянуло: накладно будет. Тринадцатью годами раньше в ознаменование столетия чужой революции — американской Войны за независимость — французы сплавили через Атлантику другой гигантский монумент, статую Свободы, скульптор Бартольди, арматура Гюстава Эйфеля. Вот от нее прок имелся прямой, ее смысл был абсолютно внятен ордам эмигрантов, разевавших рты в предвкушении вольного ветра. А на сей раз Эйфель словно бы что-то упустил, да все упустил. Всучил Парижу каркас без фигуры, арматуру без статуи, факел без свободы, скелет без мяса.

Сегодня-то мы искушены в постмодернизме и отлично понимаем, чего Гюстав добивался. Эйфелева башня задумывалась как памятник единственной вещи на свете: самой себе. Все ее эффекты сводились к оптическому, и вам оставалось лишь постепенно оглядывать ее с ног до головы или карабкаться вверх-вниз по ее лесенкам, любуясь панорамой Парижа, которую башня многосторонне выявляет и структурирует. Естественно, она травила душу классицистам, оскорбляла чувства романтиков, сердила реалистов, бесила натуралистов, допекала всех остальных, за исключением Таможенника Руссо. Ее терпеть не могли выдающиеся писатели, в том числе Ги де Мопассан; впоследствии он пристрастился обедать в ресторане Эйфелевой башни, ибо оттуда, и только оттуда, башня не просматривалась. Лавочники требовали повалить ее, пока она сама не свалилась им на голову; такова судьба всех монументов в честь чего-либо, а в данном случае — в честь ничего. Через пару лет, когда вспыхнул некий запутанный и чисто французский денежный скандал, а Эйфеля обвинили в том, что он злонамеренно продырявил суэцкие шлюзы, и чуть не посадили, большинство сограждан сочло, что он получил по заслугам.

Еще лет через десять французы внезапно нашли Эйфелевой башне полезное применение. Из нее получился превосходный радиотранслятор, что обличало в Гюставе дерзкого провидца: когда он строил башню, радио еще не было изобретено. Эйфеля перестали пихать за решетку, обласкали и наградили орденом Почетного легиона. А башня, символизировавшая ничто, стала символизировать всё, превратилась в эмблему нового, устремленного в будущее Парижа. И вот через сто лет, в 1989-м, вновь настал черед ритуалов скончания века, и двухсотлетний юбилей Французской революции счастливо совпал со столетним юбилеем Эйфелевой башни. Архитектурный шедевр, подвергавшийся столь резким нападкам, нежно отреставрировали (по-моему, фирма Эйфеля — она и теперь цела). Кроме того, по случаю юбилея французы, как всегда, решили что-нибудь соорудить. И прибегли к услугам И. М. Пэя, зодчего-постмодерниста китайско-американского происхождения,— мы ведь живем в эпоху культурных конгломератов. Пэевы идеи тоже развивались по вертикали, однако не вверх, а вглубь: ему не давали покоя подземные лабиринты и катакомбы Лувра. Пэй расчистил сложнейший узор темниц, галерей, казематов и увенчал сей заповедник ушедших времен пирамидой вроде верхушки кварцевого кристалла.

И правильно! На дворе уж не модерн, а постмодерн — разностилье, формальные пересмешки, цитаты-аллюзии, искусство-барахолка. Берлинская стена им. Хонеккера уронила себя до состояния артефакта. Политики и художники всё активнее устраивают хэппенинги и инсталляции. Возьмите тот же июль 1989 года: пока звезда мировой оперы (сопрано) пела «Марсельезу», окатываемая вспышками лазеров и (благодаря трансляционным возможностям Эйфелевой башни) обожанием слушателей из всех уголков планеты,— пока она пела, на Елисейских полях мастерицы танца живота из Египта соревновались с карибскими плясунами лимбо, гомосексуалисты вальсировали с лесбиянками, философы-структуралисты выкаблучивали под носом у феминистских ультракритикесс, венгерские гебисты приглашали на танго французских оппозиционеров; мнимости, стилистики, культуры, жанры раскручивались стремительным калейдоскопом, и всё сразу равнялось всему сразу — и не равнялось ничему, уж поверьте: я там присутствовал, готовил крутой деконструктивный комментарий для Крупной Воскресной. Феерические перемены, феерические: народ меняет виртуальные реальности запросто, будто перчатки, я так и написал в комментарии. А для обоснования феерических перемен потребна своя оригинальная философия, указал я далее и перечислил современных мыслителей-новаторов: Лакан, Фуко, Делёз, Бодрийар, Деррида, Лиотар и — как сейчас помню — Басло Криминале.

Впрочем, сама идея, что новые времена требуют новых идей, по правде говоря, вовсе не нова. Мне пришло в голову, что в 1889-м, например, когда Гюстав укоренял в центре Парижа фаллическую громаду, молодой ученый Анри Бергсон выпустил книгу «Время и свобода воли», где доказывал, что сознание человека имеет внутреннюю, нестандартную хронологию, существенно отличную от внешней, исторической. Смелая концепция, близко к сердцу принятая младшим современником Бергсона и родственником его жены Марселем Прустом. А в Вене, что как раз делалась передовым и шальным городом, схожие мысли посещали молодого врача Зигмунда Фрейда. Он не стал еще величайшим профессором, еще не вселился в прославленную квартиру-приемную на Берггассе, 19, от визита куда я так красноречиво отбрыкивался вчера ночью во сне, и тайна сновидений еще не раскрылась пред ним, едущим на велосипеде по Венскому лесу. Но в 1889-м он уже начал практиковать, уже применял метод свободных ассоциаций (впоследствии известный как речевая терапия) к фрау Эмми фон Н. с ее изломанной душевной арматурой и узорными психическими казематами.

Да в 1889-м повсюду творилось одно и то же. На другой легендарной реке Европы, на Рейне, в швейцарском городе Базеле, другой величайший профессор, д. н. Фридрих Ницше задался целью приблизить будущее. Выяснилось, что задача эта — нелегкая; именно в 1889-м он всерьез

надорвался и начал сходить с ума. Гуляя, рассеянно напевал и гримасничал, прилюдно тискал в объятиях ломовых лошадей, повадился предрекать (без должной точности) эпидемии, землетрясения, засухи, парниковые эффекты, мировые войны и иные вселенские напасти. Папе и прочим сильным мира сего посылал письма с перечнями лиц и даже народов, подлежащих расстрелу, и подписывался «Государь Ницше». Как императору и помазаннику ему вменялось в обязанность привнести в мир судьбоносное грядущее — именно это он втолковывал академическим коллегам («Уважаемый д. н., в глубине души я куда больше желал бы быть базельским профессором, нежели Богом. Однако я не намерен попустительствовать своему эгоизму, ибо творимый мир не обязан страдать из-за эгоизма Творца»). Наконец величайшего профессора отвели к врачу. Врач осмотрел его, пометив в истории болезни: «Выдает себя за знаменитость и непрерывно требует женщину». Ну и что ж? Ведь Фридрих был герр профессор, доктор наук, создатель будущего и как таковой заслуживал простой человеческой ласки.

Несмотря на препоны, под занавес 1889 года Ницше выпустил книгу «Götzendämmerung», или «Сумерки идолов». Речь там шла исключительно о землетрясениях, апокалипсисе и скором пришествии будущего. Подзаголовок гласил: «Как философствуют молотом», и сему новому философскому методу предстояло заинтересовать собою ряд людей, в 1889 году родившихся. Один из них появился на свет на германо-австрийской границе, в Браунау, в семье таможенника, учился в школе вместе с Людвигом Витгенштейном, а затем устремился в Вену, мечтая стать художником. И стал — работал, правда, исключительно широким мазком и по штукатурке. В отместку он завербовался в германскую армию, уцелел в большой передряге 1918-го, а затем выплыл с философским молотом наперевес под именем Адольфа Гитлера и вколачивал гвозди в новый мировой порядок аж до 1939 года (50-летний юбилей «Сумерек»; через 50 лет падет Берлинская стена).

Так что, если вдуматься, 1889-й — это был тот еще год, причем для всей Европы. Год Фрейда и Ницше, Ибсена и Золя, Макса Нордау и Макса Вебера. А в Британии в 1889-м... ну, в Британии британцы, как водится, на шажок запаздывали. Книгой года (это я выяснил, готовясь к помянутому комментарию) стала «Трое в лодке» Джерома К. Джерома, хитом оперного сезона — «Гондольеры» Гилберта и Салливана: причудливые грезы и ангелическая партитура. Впрочем, бастующие докеры сочинили гимн «Красное знамя», а Джордж Бернард Шоу — «Заметки фабианца», и публика уже поговаривала о декадансе. Оскар Уайльд взмыл на гребень славы, а британского издателя книг Эмиля Золя посадили за безнравственность. Шестью годами позже, напротив, Эмиль Золя взмыл на гребень, а за безнравственность сажали Оскара Уайльда. Но ведь никто, даже Гюстав Эйфель, не обещал, что пути будущего вычерчены по линейке.

Тем не менее эти пути существуют. Через четверть века после 1889 года в Сараеве, к югу от мест, что я проезжал, застрелили пресловутого эрцгерцога. Империя Габсбургов пала, карта Европы поползла по швам, а Голубой Дунай, если верить глубокомысленным объяснениям Герстенбаккера, невиданно заголубел. Еще через двадцать пять лет пагуба прорвалась на новый этап. В Лондоне скончался Фрейд, в Париже вышел итоговый текст модернизма — «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса, над Польшей занес философский молоток Гитлер, началась вторая мировая война. Кровь и будущее стервенели, хлестали фонтаном, Голубой Дунай голубел почем зря. Еще через двадцать пять лет год выдался потише, но не без памятных вех. Пик холодной войны, эхо выстрела в Кеннеди, карьерный триумф Л. И. Брежнева, Гарольда Вильсона и Линдона Б. Джонсона, мой первый младенческий крик. А еще через двадцать пять лет... да вы и сами знаете, что было через двадцать пять лет. Земля, так благодарно льнувшая к моим мальчишеским подошвам, задрожала и разверзлась у оснований монументов сто-, пятидесяти- и двадцатипятилетней давности. Венгерская граница, которую я в этот самый момент пересекал — по вагонам уже шныряли

военные,— открылась. Открылась Западу и вся Восточная Европа. Это ее пейзаж теперь за моим окном.

Восточная Европа, родина Басло Криминале, по чьему следу вез меня экспресс, неспешно подбиравшийся к Будапешту. Каким боком коснулись его все эти превратности, каким опытом отяготили? Он-то, в отличие от меня,— птенец предыдущей эпохи, выходец из межевой траншеи меж модернизмом и тем, что нынче называют постмодерном, и не зря называют, ибо надломы, тревоги, непотребства модерна, собственно, никуда не делись. Спасибо Герстенбаккеру, теперь я понимаю — Криминале соприкоснулся с наихудшим, что мне и вообразить-то трудно: холокост и Хиросима, Сталин и Эйзенхауэр, Хрущев и Кеннеди, Кастро и Мао, Андропов и Хомейни, Горбачев и Рейган. Кризисы на его глазах сменялись войнами, войны — кризисами: Суэцкий канал, венгерская революция, берлинский напряг, ракеты на Кубе, война во Вьетнаме, Пражская весна, парижские волнения 68-го, Уотергейт, Афганистан, заложники в Иране — а тут еще постоянным фоном погромыхивает Персидский залив. Он последовательно перемог оттепель, заморозки, террор, проблеск надежды и реванш террора. Он ходил по улицам оккупированных городов, пересекал границы-капканы, затылком чувствовал взгляды с вышек, ухом — сипение телефонных жучков, позвоночником — рокот казенных моторов, кожей — ножницы цензоров, душою — пальцы ГУЛАГа и прочие беды, таящиеся в оврагах и чащах, мимо коих стукотал экспресс. Его опутывали теории и концепции, авторы которых тщились впихнуть всю громаду актуального будущего в рамки одной отдельно взятой страны. Его ежедневный опыт состоял из забвений, уверток, умолчаний, подножек, торопливого пламени в пепельнице ночью, его будни пульсировали жутью и ложью, пленной мыслью, запретной строкою, залепленным ртом, пылью безликих душ, прахом уничтоженных сословий.

Но, однако ж, Криминале выжил — как, не понимаю — и сделался интеллектуальным титаном. Он ухитрялся — как, я пойму гораздо позже — пребывать с обеих сторон стены одновременно, отпирать черный ход собственным ключом, прокладывать научные пути вперед и вспять, вбок и вверх, мостить гати через саднящее, изломанное время. Мы не были ровесниками, и я не чувствовал, кто он, зачем. Кодичил прав: я просто любознательный невежда, а Б. К.— клубок конфликтов и несчастий, причаститься к которым мне не дано. Вчера, когда вино развязало Герстенбаккеру язык, он намекнул, что Криминале замешан в тайных делах, что он ловко пользовался неразберихой, жестокостью, неправдой и фальшью своего времени. Он явно замаран, его репутация под угрозой; и разобраться во всем этом — увлекательнейшая задача. Именно теперь, угодив в переходный период, постигнув незрелым своим умишком, что любая эпоха когда-нибудь да заканчивается, что любая арматура распадается ржой, что даже само это «теперь» продлится не вечно, я обнаружил вдруг, что гонка по чужому следу вовсе не так беспредметна, как казалось сперва.

Я выглянул в окно экспресса «Сальери». Вопреки общему мнению, европейские поезда неповоротливы, раздумчивы, медлительны. Они вчувствуются в каждый изгиб пересеченного ландшафта,ознобно перескакивают мосты, очертя голову кидаются в теснины, никак не предназначенные для укладки шпал. Бригады проводников сменяются в них внезапно и полностью, пассажиры спешно переходят от маниакала к депрессии и вновь впадают в маниакал. Предо мною тянулся восточноевропейский пейзаж, который ни с чем не спутаешь. Бетонные башни пригородов, спальные дома и угрюмые универмаги, дробные квадраты кварталов и битком набитые трамваи. Блеснула в очи река, промаячили шпили церквей, раскинулся во всей своей долгой красе каменный виадук. Сверясь с расписанием, я понял, что экспресс с шизофренической пунктуальностью близится к вокзалу Будапешта, схватил с сиденья «Волшебную гору», сунул в карман анорака, висевшего на одежном крючке, сдернул с багажной полки кейс и положил в него газету «Курир», достиг тамбура в тот момент, когда двери автоматически распахнулись, и шагнул на платформу.

Вокруг метались и пихали друг друга локтями люди в серых плащах и кепках из искусственной кожи; носильщики, облаченные в комбинезоны, толкали перед собою багажные тележки. Стены пестрели рекламными плакатами, где на специфически восточном языке описывались прелести специфически западных товаров: колы, джинсов, телевизоров, колготок. Вокзал до потолка был выложен бурым, зверски практичным кафелем. Я озирался в поисках Эйфелева ажурного литья, Эйфелевых стеклянных ячей, но ничто здесь не напоминало о строителе уникальных мостов. Похоже, судьба сыграла со мною очередную шутку: я прибыл в Будапешт, но прибыл на совершенно другой вокзал. Пройдя по обитому линолеумом коридору, я очутился на площади, поймал карликовое зловонное такси и назвал водителю адрес гостиницы, из которой должен был позвонить Шандору Холло — единственному и последнему свидетелю, способному сообщить что-либо о профессоре Басло Криминале.

6

Будапешт — это два города в одном...

Будапешт — ни в коей мере не один город, а два. Венский Дунай прячется в кульвертах окраин; Будапешт же великая, бурая, широкая, стремительная в восточном своем течении река властно режет пополам, разделяя его на симметричные столицы, сметанные громадными мостами, глядящиеся друг в друга через ленту воды. Сверху вниз, с крутых левобережных высот, древняя Буда смотрит на низменный, построенный в XIX веке Пешт; а пойменный Пешт снизу вверх взирает на башни, крепостные стены, седловые холмы и узкие овраги старинной Буды. Но как только такси притормозило у подъезда гостиницы, где Лавиния утром заказала мне номер по телефону из Вены, я понял, что мне не суждено пожить ни в Буде, ни в Пеште. Гостиница помещалась прямо посреди реки, на острове Маргит, куда ведет зигзагообразный мост; на мирном зеленом острове, на тайной явке влюбленных и бегунов трусцой, играющих детишек и гуляющих взрослых, а в давние, мрачные, только что канувшие времена — разведчиков, контрразведчиков и международных эмиссаров.

Наверно, при австро-венгерской монархии, в разгар belle époque квелые, зажравшиеся аристократы Центральной Европы ехали сюда, в знаменитый «Гранд-отель», и принимали горячие серные ванны, дабы смягчить последствия застарелых своих гастрономических и любовных излишеств и сразу удариться в излишества новые. Францу Шуберту здесь, говорят, полегчало, зато Францу Кафке, пишут, изрядно поплохело. После войны в Венгрии установился иной режим, и в «Гранд-отеле» исцелялись цекисты и шишки, мелкие госслужащие и почтовые экспедиторы, советские туристы и восточногерманские атташе. Именно они тогда напяливали на голову дурацкие резиновые шапочки, именно они плескались в фонтанах, нежились в серных парах, изваливались в грязях. Нынче же «Гранд-отель» не вполне соответствует своему названию, хотя гордый фасад почти не обветшал. На ухабах и виражах современности отель обрел очередное воплощение: целиком перестроился внутри и превратился в гостиницу «Рамада», чья серная вонь и неимоверная грязь услаждают носы и тела пришибленных немецких чинуш и разбитных американских путешественников.

В ловко изукрашенном вестибюле я зарегистрировался, получил ключ, поменял австрийские шиллинги на венгерские форинты. Сонный, медлительный лифт доставил меня к началу длинного коридора: двери, двери, двери, запах серы и хлорки. Мой номер обнаружился в самом конце — настоящая каморка; Лавиния сделала все, чтоб даже в бывшем будапештском «Гранд-отеле» я не больно-то кунался в роскошь. Был там, правда, балкончик с видом на быстрый Дунай, на легендарные крепостные стены правобережья, подернутые пленительной дымкой. За такое благодарить

надо, а не жаловаться. Разворошив чемодан, я сел к столу, поднял телефонную трубку и набрал полученный от Герстенбаккера номер Шандора Холло. Мембрана тихонько заныла, автоответчик прошкворчал что-то по-венгерски (самый невнятный язык на планете, не считая африканских щелчковых диалектов), вякнул несколько помпезных тактов из Бартока, финально заныла мембрана.

Я накручивал диск до вечера. Судя по Герстенбаккеровым рассказам, Шандор Холло преподает в университете философию, и я живо воображал, как он сейчас консультирует студентов, читает лекцию, горбится в библиотеке — что там еще полагается преподавателю, если он не профессор Кодичил? И все равно я звонил каждые полчаса, пока над рекою не простерлись ноябрьские сумерки, а на крутом склоне Буды не засияли окна домов и подсветка руин. Только тогда я оторвался от телефона, спустился на первый этаж и завернул в бар. У стойки по обе стороны от меня сидели сплошь мадьярские красотки в мини и кожаных ботфортах выше колен. Сидели, потягивали коктейль и с нескрываемым интересом меня рассматривали. Я спешно допил вино, подошел к дверям ресторана и сказал метрдотелю, что намерен поужинать.

Тот сверился со списком, что лежал перед ним на аналое конторки. «Вы ведь, сэр, кино к нам приехали снимать?» «Н-ну да, кино». Он кивнул: «Так, сэр, сегодня ужинают: телегруппа Би-би-си — фильм «Эшенден», группа «Гранада ти-ви» — фильм «Мегрэ», Четвертый канал — хроникальный сериал о Европейском сообществе, отличный, по-моему. Вы с кем?» «А ни с кем,— ответил я.— Я тут сам по себе». «Ох, как плохо, как плохо,— проговорила одна из мадьярских красоток, надвигаясь со стороны бара с бокалом кампари с содовой и становясь вплотную.— Сам по себе — нехорошо. Если ты милый и есть двадцать доллар, я ужинать с тобой». «Столик на двоих, сэр?» — спросил метр, и в глазах его блеснуло неподдельное сострадание. «Спасибо, нет. Мне как раз нравится, когда я сам по себе». «Не хочешь? — воскликнула мадьярская красотка.— Совсем нехорошо. Двадцать доллар у всех бывает». «Извините, в другой раз. Мне еще работать вечером». «Ах, работать,— сказала девушка.— Жалко, ладно, завтра, когда у тебя есть много-много доллар. По себе нельзя, неправильно. Я всегда в баре, засеки».

Я лег в постель посреди широкого Дуная и уснул — как дитя, как перст. Проснулся рано, выглянул в окошко. Бегуны в тренировочных уже трусили по дорожкам, купальщики с полотенцами направлялись к серным отрадам. Рыбаки рыбачили, птицы взмывали и порхали, огромные, утлые русские теплоходы скользили мимо острова — к Черному морю, с Черного моря. Я набрал вчерашний номер, и на сей раз мне ответили: «Холло Шандор». «Будьте добры, мне нужна ваша помощь». «Вы ее получите». «Но я даже не объяснил, в чем дело». «Все равно получите»,— заверил Холло Шандор. Слегка опешив, я сказал, что я британский телевизионщик, делаю фильм о Басло Криминале и хотел бы проконсультироваться. «Фильм? — переспросил он.— Все кому не лень снимают кино в Будапеште. Тут дешевле. То из нас корчат Париж, то Москву, то Ниццу, то Лондон, то Сидней — это в Австралии. Но из Будапешта никогда не корчат Будапешт. Кино о Будапеште снимают в Праге. Что ж, вы хотите поговорить со мной о вашем фильме?» «Если у вас найдется минутка,— ответил я.— Я так понял, вы человек занятой».

«Для вас — найдется,— сказал Холло.— Встречаемся в двенадцать у памятника Петёфи на Дунайском проспекте. Петёфи, видите ли, наш великий поэт, и вам любой укажет к нему дорогу. Кстати, вы на командировочных?» «Да». «Это хорошо. Посидим в приличной обстановке. Я много таких мест знаю. До встречи у Петёфи». Вестибюль кишел молодыми людьми из разнообразных (и конкурирующих) киногрупп. Они набивали фургоны и трейлеры актерами, массовкой, синхронизаторами, камерами, блондинками и рыжими — эти-то, как я усвоил, в любой киногруппе найдутся непременно. Не за горами день, когда в Будапешт прибудет и наша команда. Проект «Криминале» — всего лишь один из многих. Холло ведь сказал, что в Будапеште снимают все кому не лень.

Я позавтракал, сел на трамвай, сошел в Пеште и быстро понял, что в этом городе очень легко отслеживать, как с времени слазит кожа. Почти все таблички с названиями улиц были перечеркнуты красной краской, а сбоку или повыше написаны новые названия. Площадь Карла Маркса, где я сошел с трамвая, явно утратила имя Карла Маркса. Но некий реликт все-таки уцелел. На площади возвышалось чудесное зданьице Западного вокзала, чье изящество вполне оправдало мои предчувствия. Я прибыл на другой вокзал просто потому, что здешние поезда шли на восток, в пушту и очарованную Трансильванию. Скорей всего, именно отсюда герой Брэма Стокера, наивный Джонатан Харкер, пустился в роковое каникулярное странствие по землям Влада-господаря; столетний юбилей этого романа вот-вот предстоит праздновать наряду с иными столетними юбилеями. Увы, Джонатану не привелось увидеть, чем дополнил творенье Гюстава Эйфеля архитектор новейших времен. На стену вокзала налег «Макдональдс», конвейер гамбургеров. Сие практичное мясное кушанье, пожалуй, избавило бы графа Дракулу от множества хлопот.

Налюбовавшись, я зашагал по живописному бульвару кольца Ленина, которое утратило имя Ленина и стало кольцом Терез. Лепка и перила балконов изъязвлены пулями — то ли след войны, то ли мета венгерского возрождения; магазины торгуют плейерами «Сони», компьютерами «Маннерсман», а также марками, марципанами, слоеными пирожными. В стильном кафе (красное дерево, мрамор), где все, вплоть до содержимого сахарниц, казалось, пребывает неизменным аж с начала века, посиживали влюбленные и бабуси в пышных меховых шапках. Я выпил ядреного кофе, съел мороженое; духу Маркса и Ленина со товарищи вокруг не чуялось. Пора на Дунайский, к памятнику Петёфи — одному из немногих памятников Восточной Европы, не сброшенных с пьедестала.

Шандор Холло оказался не таким, каким я его представлял. Я искал глазами хрупкого, зацикленного философа с какой-нибудь потертой конволюткой и с неотвязной думой на челе. А рядом петлял парень в пижонском белом плаще, и темная его шевелюра пестрела искусственной сединой. Раза три он глянул со значением, словно не прочь был за мной приударить, а затем подошел и протянул руку: «Вы Франц Кей?» «Не совсем. Фрэнсис Джей будет точнее». «Джей, Кей — какая разница? — сказал он.— Вы ж не Кафка. А я Холло Шандор по-нашему, Шандор Холло по-вашему. Разницы опять-таки никакой. Имена ничего не решают. Итак, вы хотите обсудить сюжет вашего фильма». «Я ехал сюда специально, чтоб разыскать вас». «Тут, на улице, по душам не побеседуешь,— сказал он.— Национальное гостеприимство штука живучая. В Буде есть шикарный ресторан, вам понравится. У меня, кстати, импортная машина, мигом докатим». «Ладно, идемте к вашей машине»,— согласился я.

«Минуточку,— сказал он.— Прежде чем проститься с несравненным Петёфи — маленький урок венгерского. Видите две горы на том берегу? — Конечно, я видел.— А видите на горе Геллерт, слева, монумент с крылатой Победой на вершине? Он символизирует нашу глубокую признательность советским солдатам, которые столь великодушно нас освободили. И сооружен, естественно, теми же советскими солдатами. Зато справа, на горе, где крепость,— высокое белое здание, видите?— Я видел.— Оно символизирует нашу глубокую признательность американцам, которые столь щедро одарили нас упоительной кока-колой. И сооружено, естественно, этими самыми американцами. Отель «Хилтон». Венгры твердо усвоили, что их историческая судьба то и дело сигает с левого холма на правый, с правого на левый. Нынче наша участь — «Хилтон». Ну и чудненько. Койка с минибаром вольготней, чем танк. Или нет?»

Мрачно кивнув сам себе, Холло направился к машине — глянцевому красному «БМВ» с гоночным орнаментом на капоте и разлапистыми крыльями, нагло перегородившему тротуар. «Суперавтомобиль. Залезайте, прошу. Кстати, можно курить. Тут вам не Запад, тут свободная страна». Я погрузился в недра переднего сиденья, Холло рванул с места, развернулся и помчался по мосту Эржебет, распихивая дребезжащие желтые трамваи

и одышливые неуклюжие «трабанты». На правом берегу мост упирался в скверик, в центре которого была установлена заляпанная краской глыба бетона. «Фрагмент Берлинской стены,— ткнул пальцем Холло.— Нам его презентовали за то, что мы открыли границу и отпустили своих немцев на все четыре стороны. Вы должны знать, что великий перелом начался именно тут. Немцы его называют Wende — поворот. Да, кстати, не нужен кусочек на память? Я вам достану первоклассный обломок, настоящий, а то многие приторговывают поддельной стеной. И шлемами русских танкистов». Машина взбиралась по склону, огибая громадную, заново отстроенную крепость. Холло беспечно орудовал переключателем скоростей. Я внимательно посмотрел на него: «Вы вправду преподаете в университете?»

«Если б преподавал, не видать мне этой машины,— засмеялся он.— Знаете, сколько в Венгрии получает преподаватель? Раз в шесть меньше, чем на Западе. Нет, я чаппи». «Что такое чаппи?» «У вас же английский — родной. Чаппи — это резвый молодой бизнесмен». «Ах, яппи!» — сообразил я. «Гляньте, какие у меня красные подтяжки.— И он стал перечислять, чем оснащен салон «БМВ»: — Компакт-плейер, эквалайзер, противоугон, даже файлофакс. Тут по телику показывали ваш фильм «Столица», и мы расчухали, что к чему». «Потрясающе»,— сказал я. «Как поживает Железная леди? — осведомился он.— Надеюсь, неплохо. Всё ратует за свободный рынок?» «Дня два назад она ушла в отставку. Я только в поезде об этом узнал». «Скинули ее? Да быть того не может». «Одиннадцать лет — долгий срок». «Ерунда,— сказал Холло.— Слушайте, пришлите ее сюда, немедленно. Мы ее обожаем, мы без нее как без рук. У нас в правительстве на двадцать лбов одна извилина». «Боюсь, это нереально». «Еще бы! Национальное достояние, вывозу не подлежит,— сказал Холло.— Ну, приехали».

Гора была исчерчена зелеными улочками, усыпана лавчонками и особнячками. Машина остановилась на полпути между собором Св. Матяша и «Хилтоном»; «Хилтон» выглядел внушительней, чем собор. «Вот он, Рыбацкий бастион, слыхали о нем? — спросил Холло.— Главная будапештская достопримечательность». Я вспомнил, что любовался Рыбацким бастионом из гостиничного номера: ажурное кружево зубчатых стен и игрушечных башен. Отсюда открывался картинный вид на остров, на дунайские суда и струи, на Пешт, на Парламент, на электростанцию, на неказистые блочные спальные высотки окраин — и на пригородную равнину, плоско уходящую к линии горизонта. Рядом зазывали покупателей художники и гончары, резчики и вышивальщицы; фольклорный усач в мешковатых белых шароварах наяривал на нескольких дудках сразу. «М-да,— сказал я,— таких панорам в Европе и впрямь раз-два и обчелся».

«Мило, мило, чего уж там.— Холло зажег сигарету.— Оцените нашу изобретательность. Перед вами крупный европейский город, даже два: старый и новый. Но загвоздка в том, что построены наши европейские города вовсе не в Европе. Будапешт — это Буэнос-Айрес на Дунае, сплошная показуха». «В каком смысле показуха?» «Изначально эта застройка почти сплошь проектировалась не для здешних мест. Вон у самой реки прелестный парламент, который, кстати, едва заседает. Архитектору понравилась ваша Палата общин, и он соорудил нам такую же. Цепной мост выстроил шотландец в клетчатой юбке. Француз Эйфель — вокзал. Бульвары парижские, кафе венские, банки английские, «Хилтон» американский. Понятно, почему тут снимают кино: наш город — все города скопом. А эта древняя крепость, Рыбацкий бастион, с которого, кстати, никто и не думал удить рыбу,— просто стилизация начала XX века. Будапешт — как Диснейленд, а каждый венгр в нем — Микки-маус».

«По-моему, город изумительный»,— сказал я. «По-моему, тоже,— поддакнул Холло.— Великий город-обманка. Два миллиона населения, и любой, кого ни возьми,— европеец, если не брать в расчет мадьярских националистов. Художники, ученые, актеры, танцоры, киношники, выдающиеся спортсмены, самобытные музыканты. Теперь все они, к сожалению, работают таксистами, но дайте срок. А отъехать от города в пушту —

Европа мигом исчезнет. Крестьянские дроги, утиные стада, пастухи в овчине. Ниже по Дунаю — бескрайняя топь; старухи горбят спину у берега, жамкают белье в илистой жиже. Это и есть Венгрия. Два миллиона интеллектуалов, восемь миллионов крестьян, а общее у них только одно. Барацкпалинка, абрикосовый самогон. Давайте-ка выпьем палинки и поговорим о вашем фильме». Он повернулся к панораме спиною. По переулку меж церковью и «Хилтоном» мы вышли на симпатичную маленькую площадь. Холло свернул во двор какого-то магазина. Мы миновали высокую арку ворот, открыли заднюю дверь, подняли гардину и очутились в ресторанчике под названием «Поцелуй».

Из садка при входе обреченно таращились серебряно-черные рыбины съедобных пород. В кабинках за обильно накрытыми столиками сидели немногочисленные, одетые с иголочки клиенты. Холло постучал по стенке садка: «Наш озёрный фогаш, объедение. Но сперва — палинка». Ее принес официант в камзоле с народным орнаментом. «За ваши здоровье и щедрость,— провозгласил Холло, щеголяя красными подтяжками и сорочкой в голубую полоску.— Дай бог, чтоб их не убавилось. Итак, вы снимаете фильм о Криминале Басло. Чем я-то могу быть полезен?» «Честно говоря, я думал, что вы философ». «Был когда-то,— сказал Холло.— Но теперь — нет. Или вы не в курсе, что философия умерла? На Земле не осталось ни одной идеи. Здесь все идеи задушил марксизм-ленинизм, на Западе — деконструкция. Мы объелись реалистическими концепциями, а вы их не успели распробовать. Времена, когда действительность укладывалась в умозрительную схему, прошли. Гегель устарел. «Если мир не соответствует моей теории, тем хуже для мира», так, кажется? Нет, я сделался прагматиком и сменил род занятий».

«Чем же вы занимаетесь?» — спросил я. «Я вам рассказывал про Wende, про великие перемены. Возьмем, к примеру, ГДР — она была весьма академичным государством. Сотни профессоров достигли таких высот теоретической мысли, что преподавание стало им как бы и ни к чему. Они писали установочные трактаты по марксистской эстетике, марксистской политэкономии. И на что сейчас эти профессора годны? Да ни на что. Им надо начинать все сначала, осмысливать реальность заново, как ее осмысливает младенец. Студентам от них мало проку. Это и есть Wende, понятно? А я — Wendehals, изменник, сменщик, меняла». «Ясно,— сказал я.— И что же вы изменяете?» «Самого себя и окружающее.— Холло повертел в пальцах рюмку.— Как бы это попроще? Устраиваю дела». «Какие дела?» «В эпоху перемен впечатление такое, что всем чего-то недостает. Вам требуется комфортабельная квартира в Буде? Кондитерская в Сегеде? Льготная международная линия? Факс австрийского производства? Может, вы хотите стать владельцем трамвайного депо в Чепеле или совладельцем порноателье на озере Балатон? Я это вам устрою. Вы начнете снимать, понадобятся оборудование, транспорт, павильоны, гостиница, содействие властей. Это я тоже устрою».

«Отказываться грех,— поблагодарил я.— Но раньше-то вы философию преподавали?» «Да. В университете имени Лоранда Этвеша. Марксизм и этику соцобщежития». «Значит, вы развернулись на сто восемьдесят градусов». «Ну, не совсем так,— улыбнулся Холло.— Видите ли, Маркс уповал на то, что в будущем материализм станет общепринятым мировоззрением. Но как этого добиться, увы, не придумал. Я в этом смысле продвинулся дальше, чем он». «Басло Криминале тоже преподавал в университете?» — спросил я. «И да, и нет,— ответил Холло.— Читал иногда лекции. Но в основном корифействовал в Академии наук, так что наши его редко лицезрели». «Но вы были с ним близко знакомы?» «Не сказал бы. Тогда никто ни с кем близко не знакомился. Благоразумней было просто раскланиваться». «Вы преподавали в здешнем университете, а потом вдруг — раз! — и уехали в Вену?» «А вы бы не уехали — от всех этих марксизмов и соцобщежитий?» «Неужели уехать было так легко?» «Ну, меня выпустили. Всех, у кого были связи и хоть какие-то зацепки наверху, выпускали».

«А в Вене вы стали аспирантом профессора Кодичила и написали за него биографию Криминале?» Холло поперхнулся второй порцией палинки и посмотрел на меня в упор: «Почему вы об этом спрашиваете? Вы из полиции или как?» «Не бойтесь, я журналист. Собираю информацию о Басло Криминале». «Исключительно для фильма?» «Исключительно. Однако этот человек, к несчастью, темная лошадка. О нем, похоже, ни у кого нет точных данных. Вот я и хочу найти того, кто написал его биографию». Не отводя взгляда, Холло сказал: «Не я, уверяю вас». «То есть Кодичил все-таки сам ее написал?» «Этот старый хрен? Ну вы загнули! Нет, и Кодичил ее не писал». «Выходит, некто третий? — спросил я.— Кто же он? Вы его знаете?» Появился официант с двумя столовыми приборами, но Холло что-то нашептал ему, и тот унес их обратно. «Конечно, знаю,— сказал Холло, когда официант отошел на безопасное расстояние.— А вы не догадываетесь?» «Нет». «Этот третий — Криминале Басло собственной персоной».

«Но эта книга — не автобиография. Она ведь крайне нелицеприятна». «Верно, верно. И все-таки ее написал Басло». «Вы хотите убедить меня, что он сам себя в пух и прах раскритиковал?» «А что такого?» — удивился Холло. Окончательно запутавшись, я потянул за другую ниточку: «Ладно, а почему он не мог выпустить ее здесь? Для чего ее надо было издавать на Западе, в Вене?» «Тоже мне Запад,— сказал Холло.— Что Австрия, что Венгрия — Центральная Европа». «Положим. Но почему он не подписался собственным именем? Зачем понадобился Кодичил?» «Я вижу, вы малый нахватанный. Может, читали знаменитую статью такого француза, Ролана Барта, «Смерть автора»?» «Читал, и она мне очень понравилась. Смерть автора позволяет письму обрести существование. Но при чем тут Барт?»

«Знаете, я б сочинил статью посильнее — «Сокрытие автора».— Холло снова закурил.— Статью об авторе, который вот он, здесь,— и одновременно не здесь. О книге, которая есть — и которой нет. О читателе, который является или не является таковым в зависимости от своего местоположения. О тексте, который нечто означает — и не означает ничего. Вы слыхали о Лукаче?» «Выдающийся мыслитель-марксист». «Вы так считаете? — спросил Холло.— Я его называю «маэстро риска». Он был способен предпослать какой-нибудь своей книге вступление в третьем лице, чтоб все поняли: он-де уже не тот Лукач, что написал саму эту книгу, да и тот-то Лукач ее написал по нелепой случайности. Мы тут в совершенстве постигли мастерство риска».

Холло отмахнулся от девочки, торгующей букетами роз, обернутыми в целлофан. «Принимает нас за любовников»,— объяснил он. «Так вы говорите, Криминале хотел, чтоб книга вышла в свет, но не хотел, чтоб об этом знали те, кому знать не положено?» «Да нет же. Криминале не хотел, чтоб по выходе книга доставила ему неприятности, но хотел, чтоб она вышла и сыграла ему на руку. Он ее выпустил, но как бы против воли. Зато когда она вышла, он как бы вознегодовал, но негодовать было как бы поздно». «У меня уже голова кругом,— взмолился я.— Давайте сначала: сидя в Будапеште, Криминале сочинил разгромную книгу о самом себе, отдал ее вам, вы отвезли ее в Вену, и Кодичил разрешил поставить свое имя на обложке?» «Не совсем так». «А как тогда, как?» «Дело в том, что биографию вполне конкретного Криминале написал Криминале, но иной, хотя тоже конкретный, в совершенно конкретный исторический момент». «Понимаю»,— сказал я, ни черта не понимая.

«А потом рукопись очутилась в Вене — к чему уточнять, какими путями? — продолжал Холло.— Он сам там часто бывал, да и вообще — стрёмные документы и грузы бесперебойно текли через кордон. Даже тиранам это было выгодно в ряде случаев, и они не вмешивались. Конечно, в Вене текст подвергся корректировке. Коли меняются времена, должны меняться и книги. Вот так эта биография и стала биографией иного Криминале». «Правку делали вы?» «Придал некоторым фактам дополнительную актуальность». «А Кодичил на каком этапе возник?» «Ну что Кодичил? Важная персона, якшался с министрами и финансистами — тоже по-своему

устраивал дела. Всюду поспевал: в клубы, в ложи. В Вене куча нужных людей. И ему некогда было возиться с правкой». «Однако книгу издали под его именем. Почему?» «По многим причинам. Он приятель Криминале, у них друг перед другом обязательства. А я профессорский аспирант. Ничего удивительного, что я-то и готовил текст к печати». «То есть Кодичил поступил так в знак приязни?» «Вижу, вы Кодичила не раскусили,— засмеялся Холло.— Скорей всего, в знак враждебности». «Враждебности к кому?» «А я почем знаю? — уклончиво ответил Холло.— У него множество врагов. Ага! Вот и она! Отлично!»

Я проследил за его взглядом. Портьера у двери поднялась; на пороге озиралась высокая стройная девушка. Мадьярская красотка — светловолосая, голубоглазая, в меховой шубке поверх синего короткого платья. Холло помахал ей; она помахала в ответ. «Забыл предупредить,— сказал он.— Я обещал своей подружке, что вы ее накормите. Вы ведь не против?» Девушка сняла шубку и повесила на крючок; очень привлекательная девушка. «Абсолютно не против»,— заверил я. Лавируя меж столиков, девушка направлялась к нам. Сперва бросилась на шею Шандору Холло, затем улыбнулась мне и поинтересовалась: «Как она, жизнь?» Холло навис над скатертью: «Познакомься. Мистер Джей. Или Кей, точно не помню». «Фрэнсис»,— представился я. «А это Хази Илдико,— сказал он.— Милая, ты опоздала, ты всегда опаздываешь. А чувак тут расспрашивает про Криминале Басло, совсем к стенке припер». «Ух ты, Криминале Басло. Он вам что, нравится?» — спросила Илдико, усевшись. «Да не пойму пока,— ответил я.— Мне о нем слишком мало известно». «И этот туда же»,— сказала Илдико. «Он снимает кино и всю дорогу спрашивает,— посетовал Холло.— Нуте-с, пойду закажу пожрать и выпить, что ли?» «Валяй»,— одобрила Илдико. «Все самое лучшее, естественно,— сказал Холло.— Наш новый друг, чтоб ты знала, толстосум». «Вы преувеличиваете»,— запротестовал я. «А вы с ней пообщайтесь.— Холло потрепал меня по плечу.— Кстати, Илдико работает в издательстве и редактирует книги Криминале».

Илдико забилась в угол бокса и захихикала: «Как вам Шандор? Прощелыга, нет? Ни на грош ему не верьте. Он всегда в пролете, склизкий такой, точно уж». «Редактируете книги Криминале,— повторил я.— Это правда?» «Редактирую этак слегка. Но для нашего хилого издательства Криминале стал крутоват. Он теперь пишет сразу по-немецки или по-английски. И печатается сперва в Штутгарте или в Нью-Йорке». «Но хоть какие-то редактировали?» «Да, раньше, когда он не был такой звездой, мы его издавали, и он по старой памяти позволяет нам переводить свои творенья. Мы его считаем венгром, даже если он никакой не венгр. После того как ввели рынок, мы прогораем. Хорошо еще, язык у нас специфический». «Правильно ли я понял — вы с ним знакомы?» «Слушайте, вы чего, зашкалились на Криминале? Может, поговорим о погоде или о футболе?» «Чем он сейчас занят, не скажете?» «Наверно, великую книгу пишет. Но со мной он этим не делится». «То есть вы недавно виделись?» «Конечно. Полмесяца назад». «Полмесяца? Тут, в Будапеште?» «Да, у него здесь квартира. Если он вас так интересует, что б вам с ним лично не встретиться?» «Это реально?» «По-моему, реально. Он бы и ответил на все ваши вопросы».

Холло привел официанта, и тот начал накрывать стол. «Я заказал первоклассный обед.— Холло неустанно демонстрировал свои красные подтяжки.— Гусиную печенку, а потом фогаш. И лучшее балатонское вино — чего жмотничать?» «Молодец,— похвалила Илдико.— Шандор, твой друг ужасно хочет познакомиться с Криминале. Может, пообедаем и съездим к нему на супераетомобиле?» При этих словах она посмотрела на меня и улыбнулась. Холло передернулся: «Я не в восторге». «Почему?» — спросила Илдико, не сводя с меня глаз. «Ты отлично знаешь почему. Криминале последнее время меня недолюбливает». «Он тебе последнее время не доверяет,— сказала Илдико.— Но коль ты приведешь к нему солидного иностранца...» «Ты за Криминале не расписывайся. Если настаиваешь, я подожду в машине. Мне с ним встречаться не стоит. И потом, его не будет дома, его никогда нет дома». «Чувствуете? — улыбнулась мне

Илдико.— Венгерские ученики терпеть не могут учителей. Оттого, что для ученика единственный способ преуспеть — обгадить учителя». «Я его не обгадил,— сказал Холло.— Я только усомнился в том, что он адекватно воспринимает современность». «Это одно и то же. Ладно тебе, все так делают». «Он затаил на меня зуб». «Милый, да он и думать забыл. У великого человека есть о чем поразмыслить помимо убогого Холло Шандора».

«Сучка!» — вскричал Холло. «Свинтус!» — оживилась Илдико. «До чего вкусная рыба»,— скромно вставил я. «Закатываешь скандал прямо при госте,— сказал Холло.— Разве я не устроил тебе сегодня жратву?» «Ты клевый мальчик,— Илдико нагнулась и погладила его по щеке.— Только тебе никто не верит ни на грош». «Охолони, потом поговорим,— процедил Холло.— Я знаю одно: дома мы его ни за что не застанем». «Видите, он на самом деле собирается везти вас к Криминале.— Илдико одарила меня сияющей улыбкой.— А вы действительно киношник? Как бы мне хотелось сняться в кино, особенно если действие происходит за границей!» «Я пока что ничего не снял, зато из-за границы не вылезаю»,— признался я. «Давайте я вам помогу»,— сказала Илдико. «Мы оба вам поможем»,— встрял Холло. «Наш пострел везде поспел»,— отбрила Илдико. В течение обильного, деликатесного обеда они переругивались не переставая.

Оплачивая счет, я внезапно вспомнил о Лавинии. Но на фоне ее лавинной вест-эндской расточительности сумма, которую я выложил, вряд ли превышала стоимость послеоперных перевалочных трапез моей работодательницы. На площади Илдико поотстала от Шандора и сграбастала меня под ручку. «Заводи суперавтомобиль, мы тут подождем». Холло поднял воротник плаща и удалился под сень Св. Матяша. «Знаете, что теперь поделывает этот философ-расфилософ?» — спросила Илдико. «Устраивает дела»,— ответил я. «Назначает немецким и американским бизнесменам свиданья в кафе или баре и сулит сверхприбыльные контракты. Потом перебирается в другое кафе или бар, где встречается с госслужащими. Их он прельщает твердой валютой и синекурой в СП. Там подшустрил, тут расстарался — глядишь, все чего-то выгадали. Держите с ним ухо востро».

«Держу,— заверил я.— Но без него мне никак не обойтись». «Когда-то он искренне верил в светлое будущее венгерского народа, в поступь исторического прогресса. А теперь во что верит? В видик, радиотелефон, в шмотки от кутюр, в суперавтомобиль». «Как он себя называет — вендерер?» «Нет, вендехальс или там ферендерер, профессиональный меновщик,— сказала Илдико.— В Венгрии их полно. Может, благодаря им мы и пострадали меньше, чем прочие. Но мне иногда кажется, что это не везенье, а лажа». «Что он не поделил с Криминале?» «Слишком много вопросов задаете». «Ничего не поделаешь, работа такая. Журналистское расследование». «Да ну к черту, тоже мне тайны мадридского двора,— сказала Илдико.— Дело житейское. Ученик — а Шандор учился у Басло — наезжает на учителя и пытается его спихнуть. Учителю, естественно, хоть бы хны. Особенно если учитель не пентюх, а Криминале далеко не пентюх».

«Согласен. Так на чем же они расплевались?» «В общем, ученик предъявляет учителю обвинение. Тот-де неблагонадежен, не тех принципов и тэ дэ. Начинается разбирательство, Криминале берут в оборот. В таких ситуациях никогда заранее не знаешь, утонешь или нет. Кто на чьей стороне, кто кому готовит подлянку. В итоге одни выигрывают, другие проигрывают. Шандор уверен, что выиграл он, до сих пор уверен. Криминале сам пришел к нему и сказал: хорош вредничать, езжай лучше в Вену, я тебе там забил теплое местечко. Но стоило Шандору вернуться в Будапешт, как он обнаружил, что его уже поперли по сокращению штатов. Неудивительно, что он не жаждет встречаться с Криминале: у них общее прошлое. Грязное прошлое. Но ради меня Шандор в лепешку разобьется. Смотрите, вот он, суперавтомобиль! Я сяду вперед и буду показывать дорогу. Может, он запамятовал. А вы садитесь назад и жмурьтесь: успели небось понять, как лихо он водит?»

Я влез на заднее сиденье, и машина заюлила вниз по улочкам, нырнула в туннель под крепостью, перескочила Дунай по Цепному мосту и ворвалась в Пешт. Впереди собачились Холло и Илдико. Кто они друг другу — любовники? однокашники? компаньоны? Здесь, на их родине, в Венгрии, фигура Криминале, над которой я ломал голову в Лондоне, уже не казалась столь загадочной и расплывчатой. Здесь время было податливо, в нем жили отголоски давней дружбы, давней вражды, а прошлое то и дело приходилось воскрешать, укрощать, перекраивать. Перед нашим уходом из харчевни в Хайлигене Герстенбаккер написал на бумажке слово Vergangenheitsbewältigung, «обуздание прошлого», терминологически точно объясняющее все, что здесь случилось и еще случится. На их родине ученик подсиживал учителя, сшибались лоб в лоб смертоносные наветы, философам по чину полагалось иметь идейных оппонентов и недоброжелателей, мировоззрение с готовностью подчинялось приказу, но сломы и извивы партийно-государственной линии так часто заставали врасплох, что каждому грозили подлость и гибель, те же подлость и гибель, что грозят человеку повсюду за венгерскими рубежами.

В «Поцелуе» Холло упомянул о Лукачевых предисловиях к собственным ранним книгам. И сейчас я припомнил одно из них, сочиненное в годы возрождения, когда Лукач занял пост в новом либеральном кабинете, очень вовремя смылся в отставку, был изгнан в Румынию советскими оккупантами, переждал пик опасности, вернулся к началу выборочной реабилитации членов ВКП и органично встроился в шеренгу помилованных. Если все учитывать, вовсе не странно, что это предисловие — самое егозливое из предисловий Лукача к самому себе. В нем он нападает на догматиков за то, что они не ревизионисты: только с помощью ревизионизма и можно было отыскать в деятельности Сталина положительные моменты. А на ревизионистов нападает за то, что они не догматики: ведь ревизионизм — «главная угроза марксизму на сегодняшний день». Книга же, к которой стряпалось предисловие, утверждала необходимость «критического» реализма, однако реализм социалистический критиковать избегала. Неугомонная мысль философа Лукача мечется взад-вперед, но в конце концов непременно утыкается в тюремную решетку догмы. Эту-то тюрьму он по доброй воле и называл реальностью. И тщился затащить туда, к себе, братьев и сестер по уделу человеческому. То расшатывая старые доктрины, то воздвигая новые, Лукач вошел в историю как великий теоретик, подвижник. Запятнанный, но подвижник. А Криминале чем хуже или лучше? Может, у него в гостях я выясню — чем?

И вот машина остановилась на широком бульваре, застроенном внушительными жилыми домищами конца XIX века, близ площади Героев, где, говорят, высился памятник Сталину, давно демонтированный. Илдико вылезла, мы — за ней: я с облегчением, Холло с неохотой. Внутренний двор был задрапирован выстиранным бельем и наполнен мадьярскими мелодиями, синхронно лившимися из радиоприемников обитателей дома. У решетки подъезда висел список жильцов; некоторые фамилии вписаны от руки или переставлены. Имя Басло Криминале в списке не значилось. Илдико нажала на кнопку звонка; мы стали ждать, и ждали ужасно долго. В бюрократическом государстве имеющему ключ от двери или право отпереть ее с внутренней стороны дарованы мгновенья абсолютной власти; ясно, что всякая дверь практически неприступна, всякий ключ — в самой дальней ухоронке. Но в конце концов плюгавая старушенция в сизой нейлоновой хламиде, из-под коей торчали ржаво-черные штаны, степенно отомкнула засов и недоверчиво приотворила врата. Илдико ей что-то сказала, та ответила, и Холло торжествующе возвестил: «Зря меня не послушали! Нет дома».

Я развернулся кругом, но старуха внезапно подскочила ко мне, вцепилась в предплечье. «Она говорит, подождите,— перевела Илдико.— Вы нарочно приехали из Европы и заслужили право увидеть, как он живет. Немного терпения. Она нас впустит к нему». Консьержка заулыбалась, закивала. «Спасибо,— сказал я.— Вы меня обяжете». Она исчезла в своей

каморке и забренчала там связками ключей. Вернулась, сопроводила нас в дряхлую, сетчатую кабину неспешного лифта. Книзу повлеклась клетка пыльной лестницы: грязный бетон площадок, потускневшие от возраста двери квартир. На последнем этаже в незнакомых скважинах повернулись другие ключи, и мы оказались в квартире Басло Криминале — просторной, раздольной, шикарной, с высокими двустворчатыми окнами до пола, из которых с одной стороны открывался вид на парк, с другой — на будайские склоны; замкнутый, самодостаточный мирок. Старинная мебель, оригинальная живопись, рояль, чья крышка сплошь уставлена фотографиями в посеребренных рамках: дети, взрослые, девушки, женщины, сам хозяин рядом с тем-то, тем-то, тем-то.

«Криминале и Брехт»,— ткнул Холло. «Криминале и Сталин,— указала Илдико.— Криминале и Никсон». «Криминале и Мадонна!» — возопил Холло. «Тут еще его жены.— Илдико отобрала несколько снимков.— Как видите, жен у него было порядочно.— Тощенькая нескладеха: — Первая, Пиа, по-моему, немка, просто прелесть». «Пиа, конечно, давным-давно померла»,— дополнил Холло. «А это Гертла.— Илдико показала мне фото суровой шатенки.— Вторая жена, если не ошибаюсь». «Вторая, вторая,— подтвердил Холло.— Она ему здорово пригодилась». «Эту я не знаю». Илдико повертела в руках любительский, нерезкий портрет рослой русоволосой девушки в меховой шапке: улица, холод. «Была ж еще Ирини, забыла, что ль?» — спросил Холло. «Жена?» — уточнил я. «Не то чтоб жена, но и не просто подружка,— сказал Холло.— И она умерла, не везло ему, бедняге». Илдико поднесла к моим глазам широкоформатный снимок крупной, видной дамы: «Смотрите, это Сепульхра, теперешняя супруга,— в молодости». «В ранней,— добавил Холло.— А вон там — она же. Обалдеть, да?»

Он указывал на стену. В прогалах меж массивных шкафов, забитых книгами на французском, русском и немецком, на английском и венгерском языках, висело множество фотографий, и я вдруг припомнил их: то были известные акты работы Криминале. «А другие модели — тоже его жены?» — спросил я. «Ну, я тут не всех знаю,— ответила Илдико.— Может, одетыми узнала бы. Впрочем, вон, видите? — опять Гертла». «А вот Ирини,— сказал Холло.— Прелесть, ja?» «И Сепульхра, вот, и вот, и вот»,— частила Илдико. Длинный ряд прекрасных, глянцевых тел, выгнутых, эффектно склоненных. Одни не таясь смотрят в объектив, другие прячут лицо в ладонях, у третьих лиц не видно совсем — только тела. Вкус на женщин у Криминале был простецкий и устойчивый: большинство натурщиц — молодые блондинки. Одна из них даже смахивала на Илдико. «Не слабо, да? — над самым ухом проговорил Холло.— Как видите, Криминале здесь не только размышлениями занимался. Он и до баб охотник».

Старуха потянула меня в смежную комнату. «Кабинет,— объяснила Илдико.— Вы, главное, не думайте, что мы все живем в подобной роскоши. Криминале как видному академику полагается спецобеспечение». Еще шкафы — с книгами по искусству, философии, экономике, математике, естествознанию. Комната чистая и аккуратная, словно монашеская келья. Под стеклом запертой витрины — распахнутые кляссеры. «Коллекция марок,— склонился над ними Холло.— Все венгры филателисты». Один из капитальных шкафов под завязку забит собственной продукцией Криминале, оригиналами и переводами в твердых западных обложках или в хлипких восточноевропейских: биография Гёте, «Бездомье» на двадцати наречьях, труды по теории эстетики и политэкономии, по истории античности и психопатологии современности, брошюры и статьи, переплетенные, подобранные в скоросшиватели, философские бюллетени, американские, британские, немецкие и русские,— он участвовал в них куда активней, чем я до сих пор полагал. Украдкой покосившись на старуху, Холло ткнул в какой-то корешок: «Кодичил. Книга, от которой он отрекся. Но и она тут. Теперь-то вы верите?»

Просторный письменный стол; все прибрано, за исключением пары

рукописных листков: ни дать ни взять недоделанная студенческая курсовая. Новый трактат, на полуслове брошенный перед спешным отъездом? Я шагнул к столу, но старушенция погрозила мне пальцем. «Она говорит: смотрите, но не трогайте»,— перевела Илдико. «Спросите, куда он направился, где мне его искать?» Илдико вступила в долгие пререкания со старухой. Тем временем Холло отворил очередную дверь и поманил меня за собою. «Будуар»,— сказал он. Посреди обширной спальни стояла привольная кровать с деревянными ножками и изголовьем. Стены сплошь увешаны модернистской живописью и эротической графикой; попадались и Криминалевы ню. «Доложу я вам,— сказал Холло,— дураку ясно, живет он шик-блеск. На отшельничий скит не похоже».

Появилась Илдико. «Она ничего не знает. Он уехал по своим делам, надолго. Вам не удастся с ним встретиться. Полюбуйтесь хоть тем, на что он смотрит каждый день.— Парк за окном, склоны Буды, приречный бульвар, бегущий вдаль, к Пешту.— В 56-м он наблюдал, как по этой улице поднимаются советские танки. Затем, хорошо это или плохо, настали времена компромиссов. Так называл их Кадар. И он спал и спал на этой кровати, работал и работал за этим столом. Вы не познакомились с ним сегодня. Но считайте, что почти познакомились». «Во всяком случае, я чувствую, что понял его гораздо глубже»,— заверил я. «Ну и ладненько,— сказал Холло.— Пошли отсюдова. На мой взгляд, эта дама заслужила от вас подарочек. Деньги, сигареты — что пожелаете». Я протянул ей деньги, но старуха наотрез отказалась. «Ей ничего не надо,— пояснила Илдико.— Она счастлива уже тем, что показала вам обитель величайшего сына своей родины. Она надеется, что вы уйдете отсюда не таким, каким пришли. Что нечто на вас низошло». «Низошло»,— подтвердил я.

Суперавтомобиль мигом доюлил по мосту до острова Маргит и затормозил у гостиницы. Я поблагодарил Шандора Холло и заручился его поддержкой на будущее; я обнял Илдико Хази и распрощался с нею. Из номера позвонил в Вену, Лавинии. «Ах, я в ванне грелась, ела миндальный пирог. Ты пропустил опупенную оперу. В зале сидели одни японцы и записывали, записывали с увертюры до финала, чтоб переслушать уже в самолете». «Кавалера ты себе нашла?» «Еще бы! Франца-Йозефа Герстенбаккера. Он, правда, с прибабахом, ну, сам знаешь. А ты как? Ты где?» «Я в Будапеште,— объяснил я.— И, представь, едва не познакомился с профессором Криминале». «Шутишь? — сказала Лавиния.— То есть ты наконец-то его прищучил?» «Не вполне. Он только что был здесь, у него здесь квартира, но он опять улепетнул». «Так поймай его, Фрэнсис,— сказала Лавиния.— Поймай и прилипни к жопе, как банный лист». «Я и хотел как банный лист. Но он снова за границей, по своим делам. Консьержка ничего не знает. Ищи его теперь свищи».

«Слушай, кто-то ведь явно знает, где он теперь,— предположила Лавиния.— Мать, любовница, почтальонша. Не упускай его из виду. Лезь во все щели». «Значит, денек-другой у меня есть?» «Естественно. До сих пор ты нам не принес никакой пользы. А этого хрыча Кодичила, похоже, достал как следует. Герстенбаккер уверяет, что Кодичил перетряхнул всю Вену, чтоб тебе не оказывали ни малейшего содействия. Вдобавок отправил телеграмму в Лондон, в нашу контору. Словом, адвокаты Кодичила пытаются наложить вето на весь проект». «А вы?» «Роз послала ответную телеграмму: пошел на хер. Его философские резоны никому из нас не указ. Как ты устроился в Будапеште?» «В Будапеште? — переспросил я.— Отлично. Живописный вид на Дунай». «Вот что? Такой номер должен влететь в копеечку». «В этой гостинице останавливаются все приличные киношники»,— заверил я. «Да? — сказала Лавиния.— Значит, твой номер точно влетит в копеечку. Фрэнсис, ничего не ешь, кроме бутербродов. Бюджет у нас не разгуляешься». «Лавиния, прости, я как раз собирался поужинать». «Но, лапа...» Я положил трубку.

В баре я заказал аперитив. Мадьярские красотки пребывали в готовности: щеголяли осанкой, неустанно щебетали и следили за мною. Я подошел к метрдотелю и попросил столик. Он повел пальцем по списку. «Пит

Марвик, Дэн и Брэдстрит, Прайс Уотерхорс, Купер Либренд. Или вы из института имени Адама Смита?» Киногруппы сегодня, очевидно, снимали на натуре. «Нет. Я ни с кем. Я сам по себе». «Сам по себе ужинать запрет. Беда. Несчастье.— Вчерашняя красотка надвинулась снова.— Теперь имеешь доллар? Давай доллар, я люблю тебя, как невеста». «Столик на двоих, сэр?» — осведомился метр. «Нет. Собираюсь ужинать один». «Ты что, голубой?» — заинтересовалась мадьярская красотка. «Я философ,— пояснил я.— Мне надо обдумать идею». «Кайф,— сказала девушка,— если я вдруг понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти».

И я сел за столик в одиночестве. Ресторан полнился развеселыми лондонцами и нью-йоркцами, всегда готовыми поделиться с восточным ближним прелестями нерегулируемого рынка и международного товарообмена, даже если западный ближний вволю хлебнул кризиса перепроизводства, нащупывает пути к отступлению и не чует, как свою-то страну обустроить. Не успел я заказать гуляш, которого в течение двух дней избегал, как явилась очередная мадьярская красотка в мини. «Милый, тебе не с кем поужинать?» «И очень рад, что не с кем»,— огрызнулся я. «Рад? Ты уверен?» Мне улыбалась Илдико Хази во всем великолепье своего синего платья. «Ради бога, извините,— сказал я.— Присаживайтесь». «Ты думал, за меня надо платить, как за тех, других? — Она села напротив.— Не надо». «Конечно, не надо,— сказал я.— Поужинаешь со мной?» «Ты так доволен собственным обществом, а я тут вклиниваюсь»,— сказала она. «Ничем я не доволен.— Я передал ей меню.— Выбери хоть что-нибудь. Ну прошу тебя».

«Совмещаем обед с плотным ужином,— заявила Илдико Хази, внимательно изучая меню.— Считай, что у нас роман. Знаешь, зачем я к тебе пришла?» «Потому что тебе захотелось увидеть меня снова»,— предположил я. «Потому что я знаю, где теперь Криминале,— сказала Илдико.— Чего б такого сожрать? Только не гуляш». Я посмотрел ей в глаза; она ответила улыбкой. «Повтори еще,— сказал я.— Ты знаешь, где теперь Криминале?» «Консьержка рассказала мне, где он, от сих до сих. Однако тебе я этого сразу не сообщила. С нами был Холло Шандор, ему палец в рот не клади». «Но теперь-то скажешь?» «Сперва — ультиматум,— заявила Илдико.— Не примешь ультиматум, не скажу. Лады?» «Что ж это за ультиматум?» «Ты возьмешь меня к нему. Я хочу к нему вместе с тобой,— сказала Илдико.— Мне тоже надо с ним пересечься».

«Тебе? — спросил я.— Какого черта?» «Он должен заключить с нами договор на свою новую книгу, прежде чем продаст ее западному издательству,— разъяснила Илдико.— Я уже говорила, что в условиях свободного рынка мы проиграем. Прежде нас обеспечивало государство, теперь нам полагается перейти в частный сектор. Но ты ведь сам понимаешь, что такое капитализм. Деньги, деньги и снова деньги. Знакомства, связи — пустой звук. И все же, клянусь, если ты мне пообещаешь, я поверю на слово. Купи мне билет, поедем к нему вдвоем. Да? Да или нет?» Светлые волосы, сияющее лицо. Ее предложение, несомненно, заслуживало серьезных раздумий. «Секундочку,— сказал я.— Все зависит от того, далеко ли нам ехать». «Ты богач». «Никакой я не богач. Я тележурналист и в средствах крайне ограничен. Мои продюсеры — настоящие скупердяи». «А я-то рассчитывала откушать копченой форели,— сообщила Илдико официанту, вызывающе посмотрев на меня.— Ты же не скупердяй!»

«Я не скупердяй. Я типичный представитель рыночной экономики. Мои достоинства и недостатки закуплены боссом». «Твои достоинства и недостатки принадлежат не только боссу. Их держит под контролем тайная полиция, например, или страховая компания, или госсектор. Да что ты сейчас-то переживаешь! Нам не так уж и далеко ехать». «Но куда?» «Не в Японию и не в Южную Америку. Доволен? Возьмешь меня с собой?» «Это не в Венгрии?» Илдико помотала головой: нет. «На Западе?» Кивнула. «Далеко отсюда?» «Ладно, колюсь,— сказала Илдико.— Совсем недалеко, в Северной Италии. Чтоб ты знал, меня хотел туда отвезти Холло Шандор. На суперавтомобиле. При его-то связях валюты у нас было бы завались. Или ты не рад, что я выбрала тебя, а не его?» «Рад, конечно,— ответил я.—

Ладно, Северная Италия — это еще полбеды. Поехали. После ужина я позвоню в Вену, и нам направят кой-какой финанс».

«Запад! Запад! Он везет меня на Запад! — возликовала Илдико.— Кстати, есть загвоздка. Приглашение. Криминале сейчас на вилле Бароло, озеро Кано. Говорят, это самое уютное место в мире. Для писателя, во всяком случае. Но принадлежит вилла американскому фонду. Хозяйка фонда — крепкий орешек». «А Криминале там с какой радости?» «Н-ну, они проводят международную конференцию на тему «Литература и власть»,— сказала Илдико.— Без Криминале там не обойдешься». «И как же мы с тобой туда протыримся?» «Мне они, ясное дело, приглашения не пришлют,— сказала Илдико.— Но ты-то — крутой британский журналист, нет разве? Ты в газете работаешь?» «Работал. Но газета только что закрылась». Илдико заглянула мне в глаза: «А в Бароло об этом кто-нибудь знает?» «Если пораскинуть мозгами, навряд ли». «Золотые слова! — обрадовалась Илдико.— Привенгерься немножко. Притворись, что пишешь о конгрессе большую статью, пошли им телеграмму, понял?» «Ладно, притворюсь,— согласился я.— Но сперва съедим все это».

Илдико заглянула мне в тарелку: «У-уй, гуляш. Ты в курсе, из чего его готовят? Из дунайских утопленников». «Не может того быть». «Я, конечно, вру, но вру только близким приятелям,— сказала Илдико.— Послушай, ехать надо завтра, иначе конгресс откроется без нас. Может, я вечерком сбегаю за билетами на поезд?» «Ну сбегай. Если нас на конгресс пригласят». «У тебя есть доллары? — спросила Илдико.— Лучше всего совать под нос доллары. За доллары я тебя полюблю, осчастливлю». «Доллары имеются,— ответил я.— Но полюби меня попозже». «Так ты серьезно отвезешь меня на Запад? Туда, где все эти магазины?» «Отвезу, отвезу»,— сказал я. «Ура!» — закричала Илдико. Так вот и получилось — так всегда получается,— что на следующее утро мы с Илдико Хази оказались в международном экспрессе Будапешт — Милан, на пути к конгрессу в Бароло и, как мы с ней надеялись, на пути к Басло Криминале.

7

К конференциям надо относиться с уважением...

Если жизнь меня чему-нибудь научила, так это тому, что к международным писательским конференциям следует относиться с огромным уважением. Особенно к конференциям столь масштабным, знаменательным и поворотным для неисповедимых судеб мировой культуры, как нашумевший конгресс в Бароло «Литература и власть: калейдоскоп девяностых: словесность после холодной войны» (состоялся на вилле Бароло, озеро Кано, в ноябре 1990 года при финансовой поддержке знаменитого фонда Маньо, основательница которого, г-жа Валерия Маньо, собиралась лично присутствовать на открытии, под председательством видного итальянского интеллектуала доктора наук Массимо Монцы, профессора кафедры неосмысленных символов Немийского университета, и с участием самого профессора Басло Криминале в качестве почетного гостя).

Не имея ни малейшего понятия обо всем вышеизложенном и вдохновляясь лишь энтузиазмом Илдико Хази да кислым благословением Лавинии, намертво погрязшей в лихорадочных разведрейдах по Вене, я отправил в оргкомитет телеграмму с просьбой аккредитовать на конгрессе меня и мою коллегу — представителей влиятельной британской газеты и славной британской публики, которая, как известно, затаив дыханье следит за каждым чихом текущего литературного процесса. Ответ из Бароло, подписанный не кем-нибудь, а лично профессором Монцей, к моему вящему удивлению, пришел молниеносно. В телеграмме сообщалось, что профессор весьма и весьма польщен вниманием британской прессы, заинтересовавшейся грядущим событием, к современной словесности и, в частности,

к нему, профессору Монце. Засим следовали формальные приглашения для меня и коллеги и обещание в спешном порядке выслать нам аккредитационные карты и подробные пресс-релизы.

Порядок оказался более чем спешным; и часа не прошло, как весь тембр моего существования, весь пафос моей охоты на Басло Криминале резко переменились — портье гостиницы «Рамада» телефонным звонком вызвал меня из номера, где мы со случайно заглянувшей в гости Илдико проверяли комплектность мини-бара, в вестибюль, и мотоциклист в кожанке (из тех мотоциклистов, чей немилосердно напористый облик всякий раз убеждает: в наше время деньгам и вестям покорны любые скорости и расстоянья) вручил мне пакет экспресс-почты — с пылу с жару, с борта авиалайнера, только что приземлившегося в аэропорту Будапешта. Судя по крупно оттиснутой на конверте надписи «Фонд Маньо», в нем содержались заветные карты и релизы. Вернувшись в номер — там было не в пример уютней,— мы с Илдико погрузились в их изучение. Тут-то бы нам и ужаснуться размаху и роскошеству мероприятия, но мы, к сожалению, не ужаснулись.

То есть мы, конечно, сразу смекнули, что эта конференция не чета конференциям обыкновенным — тем, что проводятся в дешевых закусочных, под аккомпанемент тарелок и кастрюль. Гостевые инструкции конгресса в Бароло впечатляли с первых же строк. Согласно этим строкам, мы были обязаны прибыть в такой-то день (а именно — завтра), в такой-то час (а именно — в 14.30) на такой-то вокзал (а именно — на Миланский центральный), где комитет по встрече произведет полный смотр участников конгресса. Особо оговаривалось, что таковых намечается около сотни сразу. Вилла Бароло слишком удалена от города, требования предосторожности слишком суровы, а служба безопасности слишком бдительна, чтобы позволить гостям разбиться на несколько порций, и тот, кто хоть на йоту нарушит общий график, останется не у дел. Вилла труднодоступна, а конкретнее — со всех сторон окружена водой, и сухопутные дороги туда не ведут; ближайшая автомобильная стоянка — в десяти милях, а то и более. Кроме того, на острове нет аэродромов и причальных сооружений для частных самолетов, вертолетов и яхт, за исключением транспорта, принадлежащего сотрудникам фонда Маньо.

Но нас не так смутило отсутствие аэродромов, как наличие на вилле разветвленного комплекса приспособлений, призванных обеспечить наш с Илдико интеллектуальный и телесный комфорт. Доклады предполагаются на английском, итальянском, французском и немецком языках — с тройным синхронным переводом. Гости могут пользоваться телефаксами и фотокопировальными аппаратами. «Свежие фрукты бесплатно!» — восхитилась Илдико, увидев в перечне услуг слова «Абрикос» и «Яблоко», но я объяснил, что это фирменные названия компьютерных систем. Тексты всех докладов размножаются в количестве экземпляров, равном числу участников, и раздаются им загодя («Вот так штука,— заметила тут Илдико.— За каким тогда фигом туда вообще ехать?»), а по завершении конгресса полностью публикуются издательством известного американского университета. В перерывах между заседаниями свободный обмен мнениями продолжается в бассейне с электроподогревом («Ах, вот за каким фигом!» — успокоилась Илдико), а также на теннисных кортах, дорожках для верховой езды и в прогулочных лодках, бороздящих озерную гладь. Рекомендуется захватить добавочную верхнюю одежду — как на случай заморозков, так и на случай дождя (погода на острове — единственный фактор, до сих пор не поддающийся искусственному улучшению) — и крепкую обувь для путешествий к дальним рубежам охраняемой территории. Смокинг не обязателен, однако на вечерние приемы полагается являться во фраке, чтоб было к чему прикручивать ордена, медаль Нобелевского лауреата и иные знаки отличия.

Поведение средств массовой информации регламентировал отдельный параграф. Чрезмерная шумиха вокруг конгресса нежелательна, но, учитывая масштабы и значимость события, умеренный резонанс в прессе

допускается. Дабы не создавать помех во время дискуссии, журналистам следует действовать с максимальной тактичностью и соблюдать неписаное правило освещения международных конгрессов: не важно, как звали оратора, важно, что было сказано. Перед отправкой в редакцию все материалы поступают в секретариат, который вносит в них необходимые исправления. По прибытии на место каждому журналисту вручаются персональный релиз и нагрудная карточка с фотографией. Члены оргкомитета и ключевые докладчики селятся непосредственно на вилле Бароло; прочие — представители прессы в том числе — с удобствами располагаются под кровом многоразличных сарайчиков, флигелей, смотровых башенок и охотничьих домиков, коими изобилуют раздольные и живописные угодья.

«Не думала я, что на Западе так серьезно относятся к литературе,— сказала Илдико, когда мы просмотрели все бумаги до последней.— Мне казалось, ваши писатели, кроме разве Джеффри Арчера, помирают с голоду. Иначе чего им было так злиться, когда мы сажали своих за решетку, на казенный кошт?» «На Западе не к литературе серьезно относятся, а к литературным конференциям. Не будь конференций, половина гостиниц бы прогорела. Посылать телеграмму, что мы с тобой приедем, или нет?» «Еще б не посылать! Заодно и с Криминале увидимся. Давай я схожу на вокзал за билетами. Только долларами поделись, ладно? — Я положил несколько купюр на ее протянутую ладошку.— Не густо. Мне ж тоже надо что-то хавать за границей». «Похоже, фонд Маньо позаботится и о твоем пропитании».

«Нетушки, если ты собираешься и дальше жмотничать, выйдет не поездка, а наказанье господне. Разве ты не приютишь меня под крылышком, когда мы окажемся на Западе? Имей в виду, я там в жизни не бывала». «Никогда-никогда?» «Естественно. До реформ я считалась невыездной. Чтоб заслужить право на выезд, требовалось доказать, что ты там будешь тише воды ниже травы. А я доказывала неубедительно. Проклятое прошлое, сам понимаешь». «Понимаю». «Но ты возьмешь меня с собой, возьмешь ведь?» «Возьму, Илдико». «Я помогла тебе выследить Криминале, помогла ведь?» «Помогла». «И я ведь тебе нравлюсь — хоть самую чуточку?» «Конечно». «Так дай мне вон ту сотню баксов, ну пожалуйста!» «Пожалуйста»,— сказал я.

В общем, назавтра, рано-рано утром, случайный наблюдатель мог обнаружить нас с Илдико, не слишком обремененных багажом, на одном из будапештских вокзалов. Увы, то был опять не бессмертный шедевр Гюстава Эйфеля, а линолеумный притон, куда я прибыл два дня назад. Вскоре мы заняли места в международном вагоне, который направлялся на юг и на запад,— туда, где вот-вот разыграется грандиозное действо конгресса в Бароло. Замелькали станции с длинными именами — например, Секешфехервар или Балатонсентдёрдь,— извилистые глубокие озера и вершины, сверкающие снегом и льдом. Мы пересекли югославскую границу, миновали всяческие ущелья и туннели и сделали остановку в Загребе; несмотря на трагедию, предначертанную городу в будущем, сейчас он был покоен, как зимняя муха. По вагону-ресторану сновали официанты, дребезжали бутылки вина, вплотную придвинутые к оконным стеклам. А мы с Илдико стояли в проходе, путаясь под ногами пассажиров второго класса, и хрустели бутербродами с ветчиной, купленными у перронных разносчиков. Впрочем, скудость этой трапезы с лихвой искупили яства, коими нам предстояло лакомиться в ближайшие дни.

Поезд внезапно вырвался из-под альпийских круч, и выяснилось, что мы движемся не просто в глубь иной страны, но в глубь иного мира. С севера — на юг, с востока — на запад, из сумрака — к ослепительному солнцу и средиземноморской суете. На пограничном пункте Вилла-Опичина наши документы подверглись проверке таможенников, а наличные деньги — валютных карабинеров: мы ведь вступали в преддверие единого экономического пространства передовой Европы. Следующая остановка — Триест; здесь творили Джеймс Джойс и Итало Звево, мир праху их обоих. Затем поезд неторопливо, точно утратив ориентацию, пополз по пригород-

ным равнинам Удине, по Фриули и Ломбардии; он проницал насквозь или оставлял в стороне древние города, бывшие столицы бывших независимых княжеств, пересекал поля рисовых всходов, поля нефтепромыслов, поля сражений. На одном из полустанков к составу прицепили новый локомотив, и мы с небольшим опережением графика прибыли на громадный центральный вокзал Милана, где нас, по нашим прикидкам, должны были встречать.

И действительно — встречали. Не успели как следует сработать тормозные колодки, по платформе ринулись люди в темных костюмах, тыча в окна таблички с каллиграфической надписью «Конгресс в Бароло». Едва мы (по правде говоря, немного сконфуженные) вышли из вагона второго класса, эти люди подхватили наш неказистый багаж — пестренький ученический ранец Илдико, и мой чемоданчик из аэропорта «Хитроу», и... и, в общем-то, все,— покидали на мощные автотележки и отконвоировали нас в главный зал, к раскладному столику, над которым колыхался матерчатый транспарант с той же надписью. «Придумай что-нибудь, скажи, что я твой референт»,— бубнила на бегу Илдико. «Придумаю, не беспокойся»,— отвечал я.

На подступах к столику нас окружила орава фотографов и общелкала с ног до головы. Скучавшие поодаль музыканты в парадных одеяниях воодушевились и приветствовали нас ликованьем фанфар. При нашем приближении из-за столика с распростертыми объятьями поднялся немолодой прилизанный коротышка. Он был практически лыс и, по странной прихоти, щеголял в темно-синем блейзере и форменном галстуке британских вооруженных сил. Услыхав мою фамилию, он пришел в восторг и ввернул мне рукопожатие. «Ах, бене, бене, бене, английские журналист-ти. Какая чест-та для нас. Вы всех обогнали, кстат-ти. О! Я профессор Массимо Монца». «Кгм, профессор Монца! Позвольте вам представить мою сотрудницу мисс Илдико Хази». Монца протяжно посмотрел на Илдико, изловил несколько ее пальцев и поцеловал: «Красавица, эх?! Вот вам еще красавицы: мои чудесные аспирантины мисс Белли и мисс Уччелло. Знакомьтесь, они будут ублаготворять вас всеми доступными путти».

Мисс Белли и мисс Уччелло выглянули из-за папок и скоросшивателей, высокими стопочками разложенных на столе: эффектные брюнетки с ослепительными улыбками, в безумно дорогих модельных платьях, вырезы которых заканчивались глубоко под грудью и топорщились шарфиками от Гуччи; на смуглых от загара запястьях позвякивали массивные золотые браслеты; черные челки ниспадали на черные глазки. «Экко, релиз!» — вскричала мисс Белли, вручая мне папку. «Прего, карточки!» — воскликнула мисс Уччелло, прикалывая к нашей одежде пластиковые прямоугольники. «Потерпите минут десять, пожалуйста»,— сказала мисс Белли. «Основная группа вот-вот прибудет с запада в ошизительном евроэкспрессе»,— сказала мисс Уччелло. «И мы сразу рассядемся по лимузинам и поедем на лаго»,— сказала мисс Белли. «И вы увидите прославленную виллу Бароло, где обретали приют прославленные поэты всех времен»,— подхватила мисс Уччелло. «Приятное, должно быть, местечко»,— вставила Илдико. «Ах, си, си,— воскликнула мисс Уччелло.— Белла, белла, мольто белла». «Си, си, беллиссима»,— добавила мисс Белли.

Ровно через десять минут на соседнем пути нарисовалась тупорылая, обтекаемая, уродливая морда электровоза новейшей модификации — из тех, чьи стежки-маршруты все туже и туже зашторивают дырявый простор Европейского сообщества,— и вдоль платформы Миланского центрального плавно заскользил длиннющий трансконтинентальный поезд. Милан не ударил в грязь лицом. Люди в черном брызнули к окнам купе, демонстрируя новоприбывшим свои плакатики. Фотокорреспонденты прянули на передний край, отпихивая друг друга локтями в поисках удачного ракурса. Духовики колонной двинулись параллельно составу, наигрывая залихватский марш. И вот вниз по вагонным ступеням хлынули походные порядки выдающихся писателей, литературных бонз и крупнейших критиков, придирчиво отобранных для конгресса в Бароло, который

впоследствии был признан до того конструктивным и знаменательным для судеб словесности, что редкому конгрессу такое светит. Их неподъемные кофры и складчатые саквояжи шустро скопнили и увезли на автотележках, а сами участники, тут и там озаряемые молниями фотовспышек, направились в нашу сторону. «Не упусти Криминале Басло»,— пискнула Илдико.

Они двигались прямо на нас. Впереди — группа американских постмодернистов, изрядно траченных временем; один совсем облысел, другой, в очках, халтурно перебинтованных лейкопластырем, стал смахивать на черного реалиста, третий, в синей футболке «Лакост», в белых брюках, с комплектом клюшек для гольфа, заслонялся от объективов обложками собственных книг. На пятки им наступала следующая американская генерация — феминистки: волосы щетинятся ежиком, рогожные брюки от кутюр, носы устремлены в зенит; по мере продвижения феминистки обогнали постмодернистов и возглавили шествие. Далее — молодые авторы из Великобритании, неимоверно застенчивые, в теплых-теплых пальто и шерстяных-шерстяных шарфах. Все они отличались весьма щуплым телосложением, а некоторые — и актуальным небританским происхождением; когда к ним прибулавили карточки, выяснилось, что зовут их Мукерджи, Фаду и Хо, ну или как-то в этом роде. Французов понаехала целая орава: престарелые академики с крепко-накрепко пришитыми к лацканам академическими значками и писатели помоложе обоего пола под защитой темных очков и мешковатых пиджаков с широченными подкладными плечами. За ними теснились литераторы из только что объединившихся Германий, по привычке глядящие друг на друга с недоверием, но со стороны похожие как близнецы: миниатюрные сумочки на запястьях, черные кожаные куртки.

Из ряда стран Восточной Европы прибыли литераторы недавнего андерграунда — в тесных кепариках, с опрокинутыми физиономиями, не знающие, в какой бы андерграунд теперь забиться. Из России — прозаик Давыдов, увалень двухметрового роста. Его сопровождала ослепительная рыжеволосая женщина в кумачовом шушуне с искрой, раздольная, тучная и широкая, словно русская степь, румяная, красногубая и слоистая, словно русская матрешка; звали ее Татьяной Тюльпановой. Следом — японская писательница в розовом кимоно. Следом — смешливые писатели Черной Африки в цветастых племенных облаченьях и долговязый автор из Сомали, пробующий платформу длинным посохом, точно забрел в зыбучий песок. Загорелые университетчики из Южной Калифорнии с развитой мускулатурой и теннисными ракетками; неприветливые литературоведы из Йейла в блеклых плащах, с серыми портативными компьютерами под мышкой, затравленно озирающиеся по сторонам. Собрался, по сути, весь цвет современной словесности — за исключением Басло Криминале, который как в воду канул. «Может, он едет на персональном поезде?» — предположила Илдико.

Обмениваясь приветствиями, болтая, похохатывая, хмурясь, обнимаясь, освежая симпатии и неприязни, запомнившиеся с прежних конгрессов, видные писатели всех стран и народов столпились в центральном зале вокруг раскладного столика, а миланские обыватели отложили повседневные заботы и столпились вокруг — поглазеть. Профессор Монца наделил каждого литератора теплым рукопожатием или шлепком по спине; белозубые, озорные синьорины Белли и Уччелло — дружеским поцелуем и большой кожаной папкой. Внезапно профессор Монца откинулся на спинку стула, хлопнул в ладоши и заорал: «Аттенционе! Ахтунг битте! Прошу тишины! Объявлементо!» «В области объявлений профессор Монца — настоящий кронпринц»,— сказала мне мисс Белли. «Рассаживаемся по машини! — объявил профессор Монца.— Держитесь за мисс Белли и мисс Уччелло сзади! — По рядам присутствующих прокатился веселый шепоток.— Отправляемс-си к выходу! До встреч-чи на вилле Бароло! Там я сделаю другие объявлементи! Все объявлементи слушайте внимательн-на, а то заблудитесь!»

Писатели стран и народов в затылок зашагали к эскалаторам и спусти-

лись на привокзальную улицу. Вдоль тротуара протянулась цепь черных лимузинов, возле каждого стоял шофер в черной униформе. Писатели принялись загружаться — группка за группкой, нация за нацией. Мотоциклетный эскорт блокировал движение транспорта, и процессия повлеклась по Милану — точь-в-точь похоронный кортеж важного государственного мужа, с той лишь разницей, что участники траурной церемонии ни в какую не желали предаваться ритуальной скорби: заливались смехом, высовывались из окон, посылали друг другу воздушные поцелуи. Илдико, разинув рот, рассматривала нарядные витрины фирменных магазинов в торговых аркадах. «Я думала, в Италии низкий уровень жизни». «Был низкий, пока она не вступила в Сообщество. Теперь уровень тут едва ли не самый высокий в Европе. Может, не по всей Италии, но в этой ее части — точно». «Клевость какая. Ну, магазины, один другого шикарнее, глянь!»

Очевидно, в соответствии с табелью о рангах, действующей на конгрессе, нас как представителей прессы усадили в замыкающую машину. Но мы ни капельки не расстроились, ибо нашими попутчицами оказались озорные синьорины Белли и Уччелло. Сии красавицы, типичные, но в то же время отменные итальянки, стреляли глазками направо-налево, беспрестанно хихикали и с готовностью растолковывали нам, до чего ошизительным обещает быть этот ошизительный конгресс. «Профессор Монца его не один месяц настраивал,— сказала мисс Белли.— Надеюсь, вы оба знаете, кто такой профессор Монца?» «Не знаю я, кто он такой,— ответила Илдико.— У нас о нем слыхом не слыхали». «Да в Италии это самый популярный профессор! — воскликнула мисс Уччелло.— Он ведет авторскую колонку в газете «Стампа»!» «Авторскую программу на «Радио Итальяна» — "Экко браво"!» — воскликнула мисс Белли. «Сочиняет экспериментальные романы из сицилианской жизни!» — воскликнула мисс Уччелло. «И редактирует журнал «Крем-брюле», знаменитый журнал! — воскликнула мисс Белли.— Все о литературе и кулинарии!.. А еще у него есть автомобиль "порше"»,— продолжала мисс Белли уже потише. «И очень красивая, очень состоятельная жена,— сказала мисс Уччелло.— Но он ее, конечно, держит взаперти на своей вилле в Кампанье». «У него лучшая в Италии коллекция южноамериканского искусства»,— сказала мисс Белли. «Словом, он ошизительно знатный и ошизительно богатый»,— подытожила мисс Уччелло.

«Вы, верно, забыли, что он еще и преподает, ведь он же профессор?» — спросила Илдико. Мисс Белли и мисс Уччелло рассмеялись. «Ну, если университет открыт, он там изредка появляется,— сказала мисс Белли.— А в Италии университеты почти всегда закрыты». «Вы его ученицы?» — спросил я. «Да, мы пишем диссертацию под его руководством»,— сказала мисс Уччелло. «По какой специальности?» — спросила Илдико. «По символической. Мы изучаем символы»,— сказала мисс Белли. «По большей части — из фильма «Касабланка», вы его видели? — сказала мисс Уччелло.— В нем содержатся любопытные символы». «Мы их рассматриваем с точки зрения марксистской семиотики»,— подчеркнула мисс Белли. «Вы хотите сказать, что профессор Монца — марксист?» — удивился я. «А как иначе! Он же ведущий итальянский интеллектуал»,— сказала мисс Уччелло. «Очень богатый марксист, лучше не придумаешь,— сказала мисс Белли.— Не дай бог одновременно быть и марксистом, и бедняком». «По выходным он катает нас на своей яхте, и мы разбираем наследие Грамши»,— мисс Уччелло покосилась на мисс Белли и захихикала. «Ага,— захихикала в ответ мисс Белли.— У нас это называется "Грамши без лифчика"».

Оставив позади Милан, мы покатили вспять, на север, к Итальянским Альпам; сквозь ветровое стекло виднелись их белые вершины на ярком фоне румяного послеполуденного небосклона. Несмотря на близость зимы, красные усадьбы и зеленые сады сельской Ломбардии овевали нас изысканными ароматами, не идущими, впрочем, ни в какое сравнение с мускусным благоуханием дорогой косметики, каковое источали тела прелестных синьорин Белли и Уччелло, сидевших напротив нас на откидных креслицах. «С Монцей все ясно,— сказал я.— А что стряслось с профессором Криминале? На вокзале я его не заметил». «На вокзале? — фыркнула мисс Белли.— Вы

и не могли его заметить, он уже на вилле, готовит итоговый доклад к закрытию конгресса». «И давно он там?» — спросила Илдико. «Дня три-четыре,— сказала мисс Уччелло.— Он любит бывать на вилле, ему там хорошо пишется. Он говорит, вилла — его Олимп». «Он там в одиночестве?» — осведомился я. Мисс Белли и мисс Уччелло с улыбкой переглянулись. «Нет, не в одиночестве,— после паузы сказала мисс Белли.— С ним Бесподобная».

«Бесподобная?» — переспросил я. «Его супруга Сепульхра,— сказала мисс Уччелло.— Мы ее прозвали Бесподобной». Илдико повернулась ко мне: «Ты должен ее помнить. В Будапеште я показывала тебе ее фотки в голом виде». «В голом? Ошизительно!» — развеселившись до слез, мисс Белли пала на грудь мисс Уччелло. «Нон поссибиле!» — воскликнула мисс Уччелло, утирая глаза. «Почему?» — спросил я. «Вы что, ее не знаете? — ответила мисс Белли.— Эта леди похожа на эскадренный миноносец». «Повсюду шныряет и открывает огонь без предупреждения, всегда в готовности номер один»,— сказала мисс Уччелло. «Мужу ее не позавидуешь,— добавила мисс Белли.— Вот не повезло так не повезло». «Угораздит же такого милого человека жениться на эдакой стервозе!» — посетовала мисс Уччелло. «Смотрите,— перебила мисс Белли,— вот и наше ошизительное озеро!» «Теперь надо пересаживаться на эти ошизительные катера»,— подхватила мисс Уччелло. Наша машина остановилась в самом хвосте длинной процессии; шофер вылез из-за руля и открыл нам дверцы; мы вышли.

У дощатого причала рокотали в ожидании пассажиров три белых скоростных катера с цветными брезентовыми навесами. За спиной зудел мотороллерами маленький итальянский городок; у ног раскинулось большое итальянское озеро в изумрудной оправе холмов и падубовых рощ. Вдоль всего берега лепились селеньица, и жемчужно-серая вода отражала их мерцающие огни. Узкое, вытянутое к северу озеро упиралось в гранитные беловерхие кручи Альп, точно гигантский палец в гигантскую стену. Над горами занимался багрец заката. «Зачем нам пересаживаться на катер?» — спросила Илдико. «Потому что мы поплывем к острову, к изола Бароло,— ответила мисс Белли.— Там и располагается вилла. Поднимайтесь по сходням, смелее». Остальные участники конгресса уже устраивались на скамьях под навесами, причем некоторые успели закутаться в шали и пледы. Матрос в беловерхой фуражке подал нам с Илдико руку, и мы пробрались на нос, а мисс Белли и мисс Уччелло — за нами.

Набирая ход, катер взреза́л тихую, студеную серую воду, и озеро, как шампанское, вспенивалось за кормой. По обоим берегам виднелось множество уютных старинных вилл, охряных или терракотовых, красующихся на утесах или прячущихся в расщелинах; наманикюренные садики кишели парковой скульптурой, у длинных причалов теснились яхты, моторные и весельные лодки. Отводя от губ развеваемые ветром пряди, мисс Белли и мисс Уччелло объяснили нам, что виллы эти по большей части античной постройки и что на них некогда обитали Плиний и Вергилий, сиятельные графини и благородные принцессы, свергнутые подданными короли и отвергнутые родиной писатели в изгнании. В новейшую эпоху их, напротив, почти подчистую скупили миланские мебельщики и арабские предприниматели — те, кто в силах содержать дорогую дачу, но наезжает сюда лишь в редкие выходные, благодаря чему над озером теперь царит покой, какого оно не видывало аж со времен гвельфов и гибеллинов. «Тут мы будем предоставлены самим себе,— сказала мисс Белли.— Сейчас вот повернем, и покажется Бароло».

Нас обдало брызгами: катер рывком поменял курс и устремился к длинному приплюснутому острову, на дальней оконечности которого вздымалась зазубренная обрывистая скала. У ее подножья притулилась деревенька: гавань, набережная, торговая улица, унизанная кафе и сувенирными лавками, крохотные гостиницы, церковь с колокольней давнишней кладки. Выше склон полосовали земледельческие терраски, фруктовые сады, лиственные рощи. У самой вершины, точно бдительный страж всей озерной акватории, угнездилась среди кипарисов, падубов и бигноний

вальяжная розовая вилла — гораздо внушительней тех, которыми мы недавно любовались. «Экко, вилла Бароло!» — воскликнула мисс Белли. «Там нас и поселят? Правда, что ль, там?» — спросила Илдико. «Си, си,— заверила мисс Уччелло.— Ошизительно красивая, вы согласны?» Немногочисленные зимние постояльцы, поглощавшие спагетти на застекленных верандах гостиниц, оторвались от тарелок, чтобы понаблюдать за нашим беспримерным десантом. Писатели стран и народов выгрузились на пристань, где их ждали микроавтобусы, готовые к форсированному рейду из деревенской юдоли к блистающим эмпиреям виллы.

Мы разместились в салоне, и автобус мигом подкатил к высоченным воротам, чьи железные створки надежно предохраняли владения фонда Маньо от непрошеных посетителей; зато перед нами этот автоматический сезам гостеприимно распахнулся. Аллея, обсаженная падубами, попетляла меж вольно разбредшихся по участку плодовых деревьев, чьи дебри перемежались вымуштрованными шпалерами дикорастущих пород, и уткнулась в коротко стриженную лужайку, над коей нависал портик пресловутой виллы. Лакеи в бирюзовых ливреях расхватали нашу ручную кладь; дворецкие в белых — проводили нас в роскошный гулкий вестибюль. В глубине его уже маячил низкорослый профессор Монца, хлопал в ладоши и выдавал ценные указания. Он умудрился прибыть на виллу задолго до нас, каким способом — непостижимо: то ли его доставили сюда на вертолете, то ли переслали по световоду в виде голографического изображения. Шушукаясь, осваиваясь, повизгивая от восторга, разглядывая потолок с росписями Тьеполо и стенные ниши со скульптурами Кановы, мы разбрелись по залу — литераторы стран и народов, романисты и критики, репортеры и обозреватели; короче, элитные представители мира современной словесности, каковой, бесспорно, является наилучшим из существующих миров.

И тут рядом с профессором Монцей возник, словно соткался из воздуха, ладный, крепкий, плечистый человек лет шестидесяти — шестидесяти пяти. Впрочем, слово «человек» тут не совсем подходит; вернее назвать его *персоной*. Светло-синий шелковый костюм с нежнейшим отливом первосортного венецианского стекла; мне представилось, что костюм сшит неким портным из Гонконга, который годами смаковал в уме пропорции своего заказчика и лишь потом отважился на первую выкройку. В нагрудном кармане — синий шелковый платок; под обшлагом голубой шелковой сорочки блинкуют швейцарские золотые часы. Запонки, скорее всего, иранского производства; туфли, вне всяких сомнений,— от «Гуччи», галстук — от «Гермеса». Над седой шевелюрой, мнилось, как следует поработала взбивалка лучшего парижского кондитера. На первый взгляд облик незнакомца мог показаться отчасти топорным: пухлые предплечья, кряжистый торс, из-под узла галстука выбилось несколько курчавых волосков. Но при внимательном рассмотрении в этом человеке проступала неподдельная грация. Он держался с безукоризненными изяществом и деликатностью, руки участников конгресса, что по очереди подскакивали к нему засвидетельствовать почтение, пожимал ласково, будто пианист, который склонился над клавиатурой «Бехштейна» и извлекает из рояля пробные аккорды. Один я понятия не имел, кто это такой; попросту не узнал, столкнувшись с ним наяву. «Эссе хомо!» — воскликнула мисс Белли, стиснув мою ладонь и указывая в его сторону. «Ага, ага, вон он, это он и есть,— сказала Илдико таким же взволнованным тоном.— Гляди же, гляди: это Басло Криминале».

8

Криминале превратил хаос в космос...

Соткавшись из воздуха в гуще гостей, Басло Криминале мгновенно превратил беспорядочный хаос в сбалансированный космос. Корифеи пера перестали клохтать и хлопотать над грудой чемоданов и, как по команде,

насторожили уши. Фотографы шмыгнули вперед, вроде бы смекнув: пробил час таких вспышек, перед которыми померкнут все прочие вспышки, минувшие и предстоящие. Хоть численность журналистского корпуса и была жесточайше лимитирована, единичным корреспондентам итальянских масс-медиа, естественно, удалось выпросить у оргкомитета аккредитации; теперь эти единичные корреспонденты, тесня залетных коршунов пера и объектива, смыкали вокруг знаменитости сплоченное кольцо весьма приличного радиуса. Для виду Монца попытался их шугануть, но быстренько сник — ведь все понимали, что лично он, в первую очередь он помог им протыриться на виллу Бароло наравне с легальными участниками конгресса. Дело житейское. Как-никак итальянцы, родная кровь.

Криминале невозмутимо лоснился голубым шелком; уж он-то был привычен к любому ажиотажу. Ввинчиваясь в гущу коллег, я расслышал его слова: «Да ладно тебе, Монца. Эта шатия все равно урвет свой кусок, не сегодня, так завтра». «Ну, пусть снимка. Ну, в крайнем случчи, два!» — снизошел Монца, и в благодарность некий паренек мгновенно протаранил его диктофоном: «„Радио Итальяна"! Прего, будьте добры, дотторе Криминале!» «Радио? Радио нам абсолютно не над-да,— отрезал Монца.— Или уна минутта разрешима, ык?» «Так и быть, так и быть, на один вопрос я отвечу,— стоически согласился Криминале.— Если мне, конечно, удастся всех тут перекричать». «Силенца, силенца!» — гаркнул Монца. «Дотторе Криминале,— спросил комментатор «Радио Итальяна», на редкость жгучий брюнет,— вот реформы в Советском Союзе, они обратимы или необратимы? Ваша точка зрения?» «Охохо,— сказал Криминале,— нынешний курс правительства России подкреплен лишь грядущим курсом российского рубля». «Си, си,— заторопился комментатор.— А как обстоят дела в Восточной Европе?»

«Мы условились насчет одного вопроса,— хмыкнул Криминале,— а вы только что задали второй». «Дотторе Криминале, я вас заклинаю!» «Не забывайте: мир меняется, но человеческая натура остается прежней,— заявил Криминале.— На этом спотыкались революционеры всех времен. Недаром говорят: не плюй в колодец прошлого, пригодится воды напиться». «Можно ли заключить, что ваше выступление на конгрессе будет выдержано именно в таком духе?» «Мало вам двух вопросов, замахиваетесь на третий? — осведомился Криминале.— Что ж, словесность после холодной войны сталкивается с теми же трудностями, с какими сталкивалась словесность в ходе холодной войны, ферштеен? А трудности следующие: словесности необходимо очиститься от примесей публицистики и политологии. Насильственно эстетизировать реальность, перетащить происходящее из плана содержания в план выражения. Впрочем, упомянутые трудности непреодолимы, поскольку литераторы, в сущности, не более чем простые смертные. Объяснять не стоит?» «Баста?» — спросил Монца. «Восхитительно, дотторе Криминале»,— уверил репортер.

На его место заступила девушка с пружинным блокнотом. Неимоверно смазливая девушка; я отметил, что даже Криминале расплылся в галантной улыбке. «Синьор Криминале, вы случаем не говорите по-итальянски? Я б с удовольствием послушала, как вы оцениваете исторические штудии Плиния». «Какая затрудненья, я щажжа переведу,— сунулся Монца,— си?» «Не мельтеши, Монца»,— и Криминале выдал пару-тройку безупречных итальянских фраз, до того удачных, что часть аудитории наградила его аплодисментами. «Маэстро, маэстро, маэстро! — взвыл какой-то корреспондент-аутсайдер, нестриженый, неотесанный, очкастый: словом, мой итальянский вариант.— Выслушайт-те минья! Ответьте моим интимным попрошаньям!» Криминале встрепенулся, по всей видимости не на шутку встревожившись. Однако в этот момент беседе помешали форс-мажорные обстоятельства.

«Довольно, сердце мое, тебе не след перенапрягаться»,— рявкнул женский голос из-за наших спин. Я обернулся; обернулись все как один. В толпу вонзился форштевень дамы с водоизмещением эскадренного миноносца, увешанной флажками и вымпелами, увенчанной многопалубным перманен-

том, с объемистой сумочкой, содержимое коей побрякивало, будто пиастры в сундуке Флинта. «Это Сепульхра,— сказала Илдико.— Мамочки, да она еще пуще раздобрела!» «Басло, сердце мое, ступай творить, ты и так выбился из графика»,— скомандовала Сепульхра. «Хорошо, дорогая,— без боя покорился Криминале.— Монца, извини, но меня этот гам что-то слегка утомил. Слегка, понимаешь?» «Я не нарочно, Басло»,— промямлил Монца серея. «Надеюсь, тебя или твоих любезных помощниц не затруднит проводить меня в какую-нибудь каморку, ну хоть куда-нибудь, но подальше от тутошней маеты». «В каморку, где ему удастся сочинить хоть полстраницы»,— уточнила Сепульхра. «Сочинить? Полстраницы? — переспросил Монца.— Но мы по сутти едва приступаем...»

«Да-да,— сказал Криминале.— Беда, однако, в том, что меня вдруг посетил ряд соображений насчет Гегеля и Канта, причем соображений того разбора, каковые требуют немедленной письменной фиксации». «Подождите уна минутта,— взмолился Монца.— Я должен заделать несколько важнейши объявлементи и подставить ваши обои здесь присущим. А потомы я самовластно разведаю прекрасна комната за-ради ваша вдохновенита». «Только покороче»,— сказала Сепульхра. «Короча-короча,— заверил Монца.— Слово приветта, и вся недолга». «Недолго, недолго»,— подхватила Сепульхра. «Аттенционе! Ахтунг! Прего, закройтесь!» — вякнул Монца, хлопнув в ладоши над самой макушкой. Явственный говор словоохотливых словесников поневоле сошел на нет. «Выдающия гостя! — заблажил Монца, в полный рост взгромоздясь на сиденье стула.— Будуччи налично Массимо Монца, перевецвую васа перецуцвия знаменулита конгресса у Бароло пында дивизия «Литература и власть: гулупоскоппа девяноста: сулавеси апосла холодна война»!»

«Он хочет сказать,— шепнула мне мисс Белли,— что на битой неделе си сера-сера античчи и мановенно романтиччи ландшафти истерпят наши откровенни совокупленья за смертоносна-живоносна тематика порка актуалита экзистенца!» «И это, по-вашему, недолго? — возвысила голос Сепульхра.— На мой вкус, дольше не бывает». «Фортуна,— долдонил Монца,— мульто таймс колесила на эта фантастична изола. И сегодня она снова улыбнусся нам с вам. Натуралиссима, мои объявлементи последуют неограниченна количества у скора тьемпа». «Конечно, конечно»,— уронила мисс Уччелло. «Но первый оратторе — само проникновиссимо! — возвестил Монца.— Все вы отлично знаете, что почетна госта наша конгресса — участник, вовне которого серьезни проблематика обсуждать бессмысленна! Собой разумейся, я имею в виду дотторе Басло Криминале, признана маэстра, биографа Гёте, автора «Бездомья», величайша философиста современностти! Так поприветствуем дотторе Криминале от чиста душа!» Монца вовсю распанахался, стоя крутнулся на стуле, простер ладони к почетному гостю. Вспыхнул аплодисмент... и немедля погас: перст Монцы указывал в пустоту. Криминале с супругой, только что беседовавшие в самом центре вестибюля, ухитрились ретироваться, каким способом — бог весть; просто-напросто улетучились, мгновенно сгинули.

Так я познакомился с очередной особенностью Басло Криминале: это был человек, которого трудно выследить, зато вновь упустить из виду — легче легкого. Я поискал глазами мисс Белли и мисс Уччелло; те уже вились вокруг Монцы, мастеровито закатывая глаза и всплескивая руками на итальянский малахольный манер. «Куда он подевался?» — спросил я у мисс Белли, едва удалось перехватить ее на энном витке. «Опять зачебуччил свой ошизительный финт с исчезновением»,— давясь от восторга, отвечала Белли. «Опять? Значит, он такое часто откалывает?» «Ошизительно часто, по десять раз на дню»,— сказала мисс Уччелло. «Нам ли не знать, мы ж вроде как персонально к нему приставлены,— добавила мисс Белли.— Вот взбредет ему спуститься в деревню за свежими газетами, а мы сопровождай». «И стоит чуть-чуть отвлечься — глядь, его нет как нет,— сказала мисс Уччелло.— Ищешь его, ищешь, иногда аж до темноты». «Денег он с собой не носит, где остановился, не помнит»,— сказала мисс

Белли. «В итоге-то, конечно, его отлавливают где-нибудь у черта на куличках и привозят на виллу в полицейском «воронке»,— сказала мисс Уччелло.— И сегодня отловят, не сомневайтесь».

«Но зачем он так себя ведет?» «Кто бы знал,— сказала мисс Уччелло.— Время от времени ему кажется, что он в Рангуне. Почему именно в Рангуне — понятия не имею». «Наверно, потому, что Рангун произвел на него неизгладимое впечатление»,— сказала мисс Белли. «Выходит, он малость того?» — я повертел пальцем у виска. «Вот уж нет, вот уж нет! — вскинулась мисс Белли.— Это мы все по сравнению с ним недоумки». «Просто он на каждом шагу углубляется в себя,— объяснила мисс Уччелло.— Он ведь философ, а не кто-нибудь». «Но сейчас, мы надеемся, он не слишком глубоко зашел»,— сказала мисс Белли. «После ужина он должен держать приветственную речь,— сказала мисс Уччелло.— И если мы до вечера не успеем его найти, Монца нам голову откусит». Как раз в этот момент Монца, спустившийся было на пол, чтоб надавать прислуге указаний поувесистей и тем самым реанимировать собственный талант организатора, вновь залез на свою импровизированную трибуну, хлопнул в ладоши и завопил: «Прего, ахтунг! Разрешитти заделать вама дополнительни объявлементи!»

«Объявлементи! — фыркнула мисс Белли.— По-моему, объявлементи-то во всем и виноваты. Басло их на дух не переносит, особенно в исполнении Монцы». И вскоре я вынужден был признать, что в ее словах есть определенный резон. Без объявлений никакая конференция не обходится; но Монца превращал сей рутинный процесс в высокое искусство. Исключительно благодаря этому умению — прочие заслуги не в счет — ему и доверяли руководство всевозможными ответственными оргкомитетами; он был международным гроссмейстером по хлопкам в ладоши и брякам ножа о графин, виртуозом громобойного молотка и заливистого колокольчика. Мне еще предстояло убедиться, что Монцевы объявления застревают в сердцах участников конференций на годы и годы, меж тем как собственно доклады, заседания и приемы, о которых он возвещал, бесследно стираются из памяти.

Короче, Монца нечеловеческим усилием переборол растерянность и разобъявлялся вовсю. Колоссальная махина литературного форума задышала, сдвинулась с мертвой точки. В первую очередь мы выслушали объявление об установленном распорядке дальнейших объявлений. Монца объявил, что собирается делать объявления каждое утро, ровно в десять, перед началом заседаний. А коль скоро именно объявления — залог успеха любой конференции, желательно, чтоб при этом присутствовали все делегаты до единого, даже те, кто не сможет или не захочет посетить сами заседания. Впрочем, если в какой-нибудь из дней утренней порцией объявлений можно будет пренебречь — что весьма и весьма сомнительно,— об этом нам объявят особо. Потом Монца огласил список предполагаемых докладчиков и тематику докладов, график работы секций, примерный регламент заседаний, перерывов, питаний и аперитивов, а также список многообразных культурно-досуговых мероприятий, запланированных оргкомитетом, дабы наше интеллектуальное напряжение периодически ослабевало: например, водная прогулка, экскурсия в старинный Бергамо, торжественный ужин при свечах по окончании первой половины срока, концерт камерной музыки на близлежащей вилле Беллавеккья (совсем рядом, другая сторона лаго, обратна-туда...) и тому подобное.

Засим Монца объявил, что сегодня вечером в зале Девяти Муз состоится большой прием, который увенчается парадным банкетом в трапезной фра Липпо Липпи. Банкет почтит своим присутствием попечительница фонда Маньо, г-жа Валерия Маньо, специально прибывающая из США,— к счастью, на острове обнаружилась посадочная полоса, способная вынести вес ее личного «боинга-707». В заключение Монца объявил, что на данный момент запас объявлений исчерпан, но запас был солидный, в связи с чем до начала приема осталось, увы, всего минут двадцать. А ведь наверняка мы не прочь переодеться: а ведь приготовленные для нас апартаменты раз-

бросаны по всей обширной территории; а ведь мы тут зазря теряем драгоценное время, давно пора бежать в секретариат за ключами и гостевыми ордерами. «Однако мы *уже* на полчаса опоздали»,— сказал я мисс Белли, сверившись с циферблатом. «Это по британским меркам,— отвечала та.— В Италии стандарты льготные: кто опаздывает на час, тот является на полчаса раньше срока».

В секретариате, где выстроился длинный хвост из жаждущих заполучить ключи, я влип в скользкую ситуацию — первую среди многих, ожидавших меня в Бароло. Не знаю, по какой причине (моя ли телеграмма оказалась чересчур лаконичной, языковой барьер — труднопреодолимым или итальянские нравы — излишне вольными), но нам с Илдико отвели одну комнату на двоих. Нет, у меня возражений не возникло — и вы бы меня поняли, если б хоть раз увидели Илдико воочию,— зато она имела полное право закатить скандал. «Ну, куда мы теперь?» — спросила Илдико; пока я толкался в секретариате, она наслаждалась панорамой озера, стоя на свежем воздухе, у перил террасы. «Нас обоих сунули в Мемориальную купальню». «В купальню? Значит, спать придется в воде?» «Вряд ли непосредственно в воде, но что в одной постели — уж точно. Хочешь, пойду пособачусь с ними по этому поводу?»

Илдико вылупила глаза: «По такому поводу — и собачиться?» «Да я не то чтоб сам собирался собачиться, просто думал, что, может, ты будешь против». «Собачиться с бюрократами — себе дороже. Заведут канитель, за неделю не расхлебаешь. А мне казалось, на Западе это не считают развратом». «Погоди. Италия — еще не весь Запад. Словом, ты согласна?» «Конечно, согласна. Глянь, благодать-то какая! Лучше, чем в цекистском профилактории. На Западе всюду так?» «Боюсь, далеко не всюду. Местами Запад просто омерзителен. По сравнению с тем, что ты видишь,— даже не местами. Сплошь». «А на чьи деньги эта благодать устроена?» «На деньги штатовской попечительницы. Состояние она сколотила, если не ошибаюсь, на самолетах и лекарствах. Так что перед тобой, можно сказать, американский империализм с человеческим лицом». «Значит, теперешним кайфом я обязана империализму?» «Ему, родимому. Тебя это раздражает?» «Ни фига не раздражает.— Илдико цапнула меня под локоть.— По мне, тут просто рай земной. Ну, где наш шалаш? Веди!»

Поминутно разворачивая топографическую схему, которой меня снабдили в секретариате, мы с Илдико зашагали сквозь буйные заросли плодовых деревьев по дорожке, ведущей вниз, к Мемориальной купальне,— она, как вы, очевидно, сообразили, находилась на берегу, у самого уреза воды. Вокруг, по справедливому наблюдению Илдико, цвели райские кущи. Точнее не скажешь: как внутри, так и окрест вилла Бароло сияла беспорочным совершенством, единственный недостаток коего заключался в отсутствии каких бы то ни было недостатков. В любой здешней несуразице просматривалась высшая целесообразность. Парк, которым мы с Илдико проходили, в своем роде являлся шедевром не менее вдохновенным, чем фрески и скульптуры, виденные нами в вестибюле. Всякая терраска возделана, всякая грядочка взрыхлена, всякий кустик аккуратно подстрижен. Очертанья деревьев исполнены глубокого смысла, изломы скал зовут к восхожденьям в эмпиреи, а еле различимые тропы — к волнительным сюрпризам: к гроту, бельведеру, панораме, птичьему полету, мраморной востроглазой нимфе или ражему мудрецу античности — эпохи, когда без одеяний думалось лучше и никто этим не смущался.

Природа здесь была укрощена и приручена. За парком начинался лесистый неровный склон, каждая трещинка, каждый укромный уголок и каждая впадинка которого выполняли какую-нибудь полезную функцию: тут высажены кусты папоротника, там устроен миниатюрный грот, чуть поодаль — подобие античного храма, импровизированный водопадик и так далее. Не пропадали втуне и впадинки, трещинки, укромные уголки мраморной анатомии нимф, небожителей, атлетов и вакханок, которыми было поутыкано все вокруг. Фонтанчики, струи и гейзеры, бившие из грудей, ртов, ягодиц и причинных мест, сливались в сплошную водную феерию, при

этом внося свой вклад в водоснабжение прудиков с золотыми рыбками и многочисленных ручейков, которые, в свою очередь, подпитывали обрамлявшее панораму озеро. Мы спустились к его глади по подсвеченным ступенькам и полюбовались темной охрой предзакатных вод, расцвеченных светлячками солнечных бликов,— в истинном парадизе не бывает недоработок.

Мемориальная купальня тоже превзошла все ожидания. Старинная постройка была реконструирована в самом что ни на есть модерновом стиле и превращена в комфортабельное палаццо, состоящее из номеров «люкс», в каждом из которых было бы не зазорно остановиться величайшей еврознаменитости. Наш с Илдико номер состоял из спальни, ванной и огромной гостиной (она же рабочий кабинет). Кровать оказалась поистине королевских — нет, императорских, даже генеральносекретарских пропорций. Терракотовый пол спальни устлан дивными турецкими коврами, по стенам с продуманной небрежностью развешаны гобелены.

«И все это нам? — восхищенно пролепетала Илдико, оглядевшись по сторонам.— Почему?» «Наверно, надеются на хорошую статью,— вздохнул я.— Жаль только, напечатать ее нам будет негде». «Ой, какая прелесть! — взвизгнула Илдико, раскрывая створки антикварного гардероба.— Прислуга уже распаковала наши вещички! И это все твои шмотки? Какой кошмар! Приезжаешь в такое приличное место, а сам одет как последняя дворняжка! А я думала, ты богач».

«Илдико, давай внесем в этот вопрос полную ясность,— решительно сказал я.— Я никакой не богач. Кроме того, собирая вещи в дорогу, я думал, что лечу только в Вену, на пару дней». «Ну вот видишь, как тебе повезло. Смотри, в какое шикарное местечко я тебя привезла. Завтра прошвырнемся по магазинам, и ты у нас станешь красавчик. У тебя ведь много долларов, правда?» «Завтра начинается конгресс,— заартачился я.— Я буду слушать доклады». «Подумаешь, очередная порция объявлементи». «Не только. Там будут выступать ведущие писатели современности. А кроме того, мне необходимо познакомиться с Басло Криминале. Если, конечно, его сумеют найти».

Илдико улеглась на кровать, зарылась носом в подушку и хитро поглядела на меня снизу вверх.

«А ты ловкий. Поселил нас в одну комнату. Хорошо устроился». «Ничего я не устраивался!» — запротестовал я. «Правда? А я подумала, что ты немножечко научился соображать по-венгерски. Хорошая тут кроватка». «Ничего»,— признал я. «Ложись, попробуй, какая мягкая». «Полагаю, нам следует переодеться и поторапливаться — прием уже, наверно, начался». «Ну-ну,— сказала Илдико.— Будь по-твоему».

И мы стали переодеваться, разглядывая друг друга с некоторым любопытством.

«Нет, это никуда не годится,— объявила Илдико, когда мой туалет был завершен.— Совсем некрасиво. Надень-ка одну их моих рубашек. Вот эту. Она тебе будет в самый раз. Дай расстегну пуговицы». «Спасибо, я сам,— уклонился я.— Рубашка и в самом деле будет впору». «Да, у меня фигура, как у мальчика,— объяснила Илдико.— Но все-таки не совсем, правда?» «Не совсем»,— подтвердил я. «Надевай-надевай. Вот так ты почти красавчик. Нужно научиться любить хорошие вещи. На Западе так много хороших вещей!» «Ну теперь-то можно идти? Пойдем выясним, удалось ли отыскать Криминале». «Ты на него посмотрел? И что ты о нем думаешь?» — спросила Илдико. «Производит впечатление. Даже более внушительное, чем я думал. Точнее говоря, я ожидал чего-то совсем другого». «Он очень великий,— сообщила Илдико.— Тяжелый человек, доверять ему нельзя, но безусловно очень великий. Тебе нравится мое платье?» «Класс»,— ответил я. «Ничего, я себе еще лучше куплю, вот увидишь»,— пообещала она.

Признаюсь честно — в такой обстановке покинуть Мемориальную купальню было нелегко, но я преодолел соблазны, и вскоре мы уже шагали через парк, направляясь к вилле Бароло. «Теперь главное — придумать, как подобраться к нему поближе»,— озабоченно сказал я. «Не так-то это

просто. Придется прорываться через Сепульхру. Без ее разрешения он ни шагу. Ужасно преданный муж». «Она какая-то странная»,— заметил я. «Наверно, она — его муза,— предположила Илдико.— Говорят, он боготворит землю, по которой она ступает. Еще бы — когда она ступает, вся земля дрожит». «Не больно-то она похожа на красотку с фотографий». «Увы, в Венгрии женщины рано толстеют. Именно поэтому я терпеть не могу гуляш. Не хочу стать такой, как она». «Надеюсь, этого не произойдет»,— искренне сказал я. «Ах ты, свинья! Неужели ты хоть на минуту допускаешь мысль, что я могу так разжиреть?» «Нет-нет, что ты»,— успокоил ее я. «Значит, тебя устраивает, как я выгляжу?» «Вполне». «По твоему поведению не скажешь». «Просто нам необходимо присутствовать на приеме». «Ну ладно,— смилостивилась Илдико.— Так и быть, сделаю то, чего ты так хочешь. Итак, чего же ты хочешь?» Боюсь, мой ответ прозвучал недостаточно галантно: «Для начала я хочу, чтобы ты каким-то образом свела меня с Басло Криминале». «Ладно. Если это все, чего ты хочешь».

Аллея вывела нас к вершине холма, и мы вновь оказались возле несравненной виллы Бароло. Разлука с ней длилась совсем недолго, но сей чертог вновь успел преобразиться: окутался голубоватыми сумерками, прицепил сверху луну, засиял огнями ламп и факелов. Именно факелами была освещена просторная терраса, где накрыли банкетные столы. Вечер выдался прохладный, но это не пугало дам в ярких платьях (разве что плечи прикрыты шалью) и джентльменов, обряженных ради торжественного случая в темные костюмы и строгие галстуки. Меж гостей шустрили белоснежные официанты, разнося бокалы и канапешки. До меня со всех сторон доносились обрывки серьезных разговоров о литературе: «Мой агент говорит, пятьдесят тысяч, а я ему — требуй вдвое больше. Так он и сделал». «Я говорю Мейлеру, а пошел ты, говорю, Мейлер». «Представляешь — рецензии шикарные, а книгу никто не покупает. В следующий раз хорошо бы наоборот». Дальше цитировать не буду — сами знаете, что такое серьезный разговор о литературе.

Окна виллы соблазнительно золотились сиянием канделябров, и мы, прихватив напитки, убрели внутрь. Салон муз был весь заставлен статуями, меж которых теснились великие мира сего. Здесь разговор шел в основном о политике — каждый излагал свою принципиальную позицию, и мы с Илдико чуть не оглохли. «Столько народу, а никто не поет,— удивилась она.— В Будапеште так не бывает». «Ты видишь Криминале?» Илдико, пользуясь преимуществом в росте, поднялась на цыпочки и обозрела зал. «Нету ни его, ни Сепульхры,— доложила она.— Наверно, уже укатили на какой-нибудь другой конгресс». «Но ведь он — почетный гость! — возмутился я.— Ему после ужина речь произносить. А потом еще одну речь, в день закрытия. Не мог Криминале уехать». «Ты так думаешь? — Илдико все еще озиралась по сторонам.— Боюсь, ты совсем не знаешь Криминале».

«Что ты имеешь в виду, Илдико? Не мог же он просто взять и смыться? Это совершенно невозможно». Она фаталистски пожала плечами: «Криминале, он и есть Криминале. Разве его поймешь?» «Но ведь он венгр, как и ты». На это она ответила: «Но ведь он человек западный, как и ты». «Нет, он должен быть где-то здесь!» «Никому он ничего не должен. Ему на всех наплевать. Такой большой человек. Захотел смыться и смылся. Уж я-то его знаю»,— уверенно заявила Илдико. «Неужели мы зря потратили столько времени?» — затосковал я. «Почему зря? — обиделась она.— Мы могли бы отлично провести время и без него». «Ну уж нет. Слишком долго я за ним гонялся. Он от меня не улизнет». «Разве тебе тут не нравится? — спросила она.— А я-то думала... Так ловко пристроил меня в свой номер...»

«Послушай, давай не будем тратить время на выяснение отношений,— благоразумно предложил я.— Лучше пойдем покрутимся среди гостей. Может, Криминале еще выплывет». «Как это «покрутимся»? В каком смысле?» — надула губки Илдико. «Ну, в смысле поболтаем с людьми, повеселимся. Обычно на банкетах занимаются именно этим». «Я знаю, ты считаешь, что это я во всем виновата. Но ведь не из-за меня же он удрал?»

«Никто тебя не винит,— успокоил я ее.— Но я так долго разыскивал этого типа, а он вдруг взял и как сквозь землю провалился». «Свинья ты все-таки»,— буркнула Илдико. «Сама ты свинья»,— не остался в долгу я. «Ну спасибо,— прошипела она.— Катись куда хочешь. Крутись без меня, а я буду крутиться сама по себе».

Этот прискорбный инцидент был не последним из ожидавших меня в тот вечер ударов судьбы. Я пустился в одиночное плавание среди выдающихся писателей, а оскорбленная Илдико решительно зашагала в сторону освещенной факелами террасы. В своем коротком венгерском платье она смотрелась поистине сногсшибательно — что правда, то правда. Илдико немедленно принялась «крутиться» и делала это с мстительным упоением. Я решил, что это меня абсолютно не касается, мобилизовал все свое обаяние и продолжил разведывательный рейд — то с одним поболтаю, то с другим. Беседы получались довольно милыми, но совершенно бесполезными. Постепенно выяснилось несколько неожиданное обстоятельство: многие из десанта, высадившегося на платформу Миланского центрального, не имели ни малейшего отношения к литературе. Например, подхожу я к мистеру Хо из Англии, хочу его поздравить с творческим успехом, выходом замечательного романа «Кисло-сладкий соус», от чтения которого я получил несказанное наслаждение. На это мистер Хо говорит: «Нет, роман написал Мо, а меня зовут Хо». Далее выясняется, что он вовсе даже и не писатель, а бывший младший член совета оксфордского колледжа Всех душ, ныне работающий в министерстве иностранных дел. Поездка на конгресс в Бароло для него — литературный тайм-аут, взятый в разгар сложнейших переговоров по утряске разнообразных проблем, существующих между Британией и Европейским сообществом (которое мистер Хо предпочитал именовать Бельгийской империей).

Далее все было в том же духе. Мисс Макэсума из Японии, сменившая прелестное розовое кимоно на не менее прелестное голубое кимоно, почти вовсе не говорила по-английски, но ее собеседник поведал мне, что мисс Макэсума отнюдь не является продолжательницей традиций Мисимы, как я решил вначале, а работает экспертом по долгосрочному экономическому планированию при правительстве Кайфу. Тогда я подкатился к предполагаемому восточноевропейскому диссиденту, хотел поболтать о трудных взаимоотношениях творца с тоталитарным режимом, но он оказался не творцом и не диссидентом, а профессором Ром Румом, министром странных дел (во всяком случае, именно так профессор представился) бывшей Народной республики Слака, только что свергнувшей диктаторский режим генерала Вулкани и угодившей в жесткие объятья свободного рынка. (Кстати, недавно я прочел в газете, что в Слаке приключился новый переворот и мой профессор стал президентом республики.) В общем, писателей в зале я почти не обнаружил. Один из смешливых африканцев, поразивших меня на вокзале своими цветастыми племенными облаченьями, ради торжественного вечера обрядился в белоснежную рубаху не менее внушительного вида. Он, увы, тоже представился министром, только не «странных дел», а юстиции. А йейльские деконструктивисты при ближайшем рассмотрении и вовсе оказались ковбоями из Госдепартамента США.

Но в конце концов набрел я и на писателей. Сначала мне попался литературный редактор из Парижа, задвинутый на теории случайных символов; потом председатель Союза индийских писателей, который немедленно заставил меня подписаться под какой-то петицией; третьим был Нобелевский лауреат из маленькой североафриканской страны, где сей лавроносец, по его собственным словам, был не просто самым знаменитым, но еще и единственным писателем. А дальше пошло-поехало: в дальнем конце зала я углядел своего давнего знакомца Мартина Эмиса, погруженного в беседу с Гюнтером Грассом; вскоре к ним присоединились Сузан Сонтаг и Ханс Магнус Энценсбергер. Прочесав зал (Илдико по-прежнему обрабатывала террасу), я окончательно убедился в широкомасштабности и изумительной сбалансированности конгресса. Профессор Монца виртуозно рассчитал идеальную пропорцию Запада и Востока, Европы и Азии, Соединен-

ных Штатов и Океании, а главное — Литературы и Власти. И, как обычно происходит в начале непростого диалога, проблемы не заставили себя ждать. Служители большой политики немедленно скучковались и вели сугубо профессиональные разговоры в кругу посвященных; писатели же общались исключительно с собратьями по цеху и говорили только о литературе. Неудивительно, что устроителям форума понадобился деятель калибра Басло Криминале, чтобы навести мост между двумя столь несхожими берегами.

Я еще раз огляделся по сторонам — Криминале отсутствовал. Тогда, собрав в кулак все свое мужество, я подошел к профессору Монце. «Что стряслось с Криминале?» — спросил я. «Прего, не нада даже упоминатти при мне об этот человекко,— мрачно ответствовал профессор.— Слуги ищут его и тутто и таммо. Сегодня он должен говоритти большой спиччи. Он как примадонна. И миссис Маньо тоже б пропалья. Надеюсь, ее плано не поменяцца. А сейчас скузи, я буду делать объявлементи. Ахтунг, прего! — Монца вскочил на стул и хлопнул в ладоши; гул немного поутих.—Чрезвычайное объявлементо! Оба наши почетных гостья куда-то запропастицца, а шефповар больше ждатти не желатто. Пора начинатти ла трапеза! У двери висит плано, где написано, кто где сидитти. Итак, начинаем наш банкетта!»

Все — и великие писатели, и видные политики — ринулись вперед. Несколько минут не совсем приличного замешательства, неизбежного, когда сто человек пытаются протиснуться к маленькому листку бумаги,— и благонравие восторжествовало, гости чинно прошествовали в величественную обеденную залу и расселись по местам. Банкет начинался.

Знаменательный момент настал. Я сидел в прославленном зале Липпо Липпи не менее прославленной виллы Бароло и вкушал трапезу бок о бок с великими. Убранство столовой уже зашкаливало за пределы совершенства: скатерти камчатного полотна, посуда из чистого серебра, венецианское стекло, вспыхивавшее бликами почти столь же ослепительными, как незабвенный костюм отсутствующего Басло Криминале. Я обследовал сопредельные территории. Справа сидела уже знакомая мне японская дама (нагрудная карточка извещала: Тиэко Макэсума, Токио), экономический советник правительства Кайфу. Слева я обнаружил темноволосую немку в ослепительном брючном костюме черной кожи (Козима Брукнер, Брюссель). Сначала я попробовал вступить в контакт с мисс Макэсума, но она лишь изящно подносила пальчик к губам и целомудренно улыбалась. Я вспомнил, что дама незнакома с английским, и перенес свое внимание на левый фланг.

«Как доехали? Нормально?» — для начала спросил я. «Nein, это был кошмар,— ответила Козима Брукнер.— Фы тоже из этих, из писателей?» «Я журналист. А вы что, писательница?» «Я работаю в ЕЭС. Отдел, который насывается „Говяжья гора"». «Должно быть, очень интересная работа... А как вам нравится вилла?» «Битте?» «Я спрашиваю, нравится ли вам вилла?» «Не знаю.— Фрау Брукнер задумалась.— Фозможно». «Хороший вид из окна?» «Вид? Куда вид?» «Ну, из окна вашего номера. У вас хороший номер?» «Так себе. А почему фы задаете мне все эти вопросы?» «Просто так, разговор поддержать...». «Ja-ja, поддержать разговор, понятно». Козима Брукнер отвернулась от меня и потыкала вилкой своего соседа слева, очевидно желая с ним о чем-то побеседовать.

Но не у меня одного были сложности со светским общением. Илдико Хази, угодившая на противоположный конец длинного стола, оказалась зажата между угрюмым американцем и угрюмым скандинавом. Из своего заточения она то и дело строила мне гримасы одна свирепее другой. Но наши с ней безуспешные попытки навести мосты между литературой и политикой были ничто по сравнению со страданиями профессора Монцы. Несчастный организатор конгресса сидел у главного стола в прискорбном одиночестве: два пустых стула (Криминале и Сепульхра) с одной стороны, один пустой стул (наша *падрона* Валерия Маньо) — с другой. Самолет

падроны, судя по всему, так и не прилетел. К профессору ежеминутно подбегали слуги, шептали на ухо что-то срочное, но Монца лишь раздраженно отмахивался.

А тем временем гостей потчевали восхитительнейшими яствами, поили изысканнейшими винами. И все же чувствовалось, что надвигается катастрофа. Уже все присутствующие должным образом оценили пустынность главного стола, и отсутствие основных действующих лиц начинало действовать на зал подавляюще. Все разговоры, да и само собрание как бы лишились смысла. Мы были как оркестр на фортепьянном концерте — сидим, играем, а партию фортепиано исполнять некому, солист не явился.

Тем не менее мы благополучно справились с божественным огуречным супом и уже приступали к умопомрачительной пармской ветчине с ломтиками дыни, когда от дверей донеслись какие-то непонятные звуки. Оглянувшись, я увидел там Сепульхру: царственно вскинутая голова, необъятное кимоно до пола; из-за плеча императрицы выглядывал куда менее внушительный Криминале. К ним бросился дворецкий и немедленно сопроводил к почетному столу. «Как, вы начали без нас?! — довольно громко сказала Сепульхра. «Заставлятти ждатти сто человекко! — кудахтал Монца.— Где вы пропадальи?» «Басло работал»,— пророкотала Сепульхра. «Да, надо было набросать одну статейку»,— извиняющимся тоном произнес Криминале усаживаясь. Позднее выяснилось, что классика отыскала мисс Белли — он сидел в неосвещенной беседке на берегу озера и слушал на плейере кассету с записью книги Кьеркегора «Или — или».

С появлением Криминале зал чудесным образом преобразился. Лицо Монцы засияло от облегчения и удовольствия, и это блаженное состояние тут же передалось всем присутствующим. Атмосфера разрядилась, великие писатели снизошли до политиков, а выдающиеся политики снизошли до литераторов. Козима Брукнер внезапно утратила интерес к своему соседу слева, резко повернулась в мою сторону и на сей раз ткнула вилкой уже меня. «А фы?» — спросила она. «Что я?» «Фы доехали нормально?» «Вполне». «И фы работаете в газете, так? В какой газете?» Я сдуру ответил, как называлась моя бывшая газета, и тут же попался. «Этой газеты больше не существует,— заявила немка.— Уж я-то снаю, ведь я работаю в штабквартире Европейского экономического сообщества. Мы в Брюсселе снаем обо всем». «Знаете, так помалкивайте,— сменил я тактику.— На самом деле газета — прикрытие для более серьезного проекта». «Аха, так фы тут нелегально? Очень интересно. Мы будем говорить немного позднее». Я в тревоге посмотрел на Илдико. Та скорчила мне очередную гримасу и ласково улыбнулась соседу.

Ужин шел своим чередом. После неописуемо вкусных спагетти подали неописуемо вкусные торты, ну а вина были сущий нектар. Когда же опустевшие тарелки были убраны, Монца встал и, весь лучась счастьем, позвенел ножом о бокал. Обернувшись к именитому соседу, профессор объявил: «Баста! Больше я ничего не говоритти. Я хочу вам представлятти главный гостьо, которого все вы, нет, все мы так долго ожидальи. Это грандиссимо мыслитель эпока постмодернизмо дотторе Басло Криминале. Он и будет отправлятти наш конгрессо в плаванье. Я попросил дотторе сказатти несколько слов о нашей тема генерале, о взаимоотношенья литература и политика на наша мольто аллегро меняющаяся планета». По залу прокатилась некая волна, и Басло Криминале поднялся, почему-то держа в руке сильно потрепанный журнал.

Когда участники международного форума после долгого путешествия наконец достигли пункта назначения, хорошо выпили и славно закусили на церемонии открытия, приятно расслабились, им хочется услышать вдумчивое, проникновенное слово, которое ободрит и увлечет вперед, в самую гущу многотрудной и благородной работы, пусть даже каждый отлично понимает при этом, что никакой работы на форуме не предвидится. Полагаю, что Криминале понимал эту потребность не хуже меня, но решил ею пренебречь. Прочитав гору речей и докладов выдающегося философа,

я знал, что он обожает гладить против шерстки. Именно этот прием Криминале и применил.

«Благодарю вас, дорогой профессор Монца,— начал он, не дожидаясь, пока перед ним установят микрофон.— Давайте прямо сразу и разберемся с пресловутыми взаимоотношениями литературы и политики. Никаких взаимоотношений между ними нет и не было. Власть организует, литература разваливает. Власть стремится к монологу, литература — к диалогу. Литература разрушает то, что создано властью. Две эти дамы не способны по-человечески общаться друг с другом, в чем все вы уже имели возможность сегодня убедиться, если, конечно, вообще пытались поговорить с соседом».

Аудитория нервно захихикала, а бедный профессор Монца совсем сник. Да и не он один — как-никак большинство собравшихся перлись за тридевять земель именно для того, чтобы обсудить растоптанную оратором тему.

«Вы, конечно же, знаете, что мой досточтимый венгерский коллега Дёрдь Лукач придерживался иной точки зрения по этому вопросу,— продолжил Криминале, вновь упомянув это сакраментальное имя.— Для него искусство не существовало без идеи, идея создавала политику, а политика конструировала реальность, причем наиправильнейшую из всех реальностей. Правильная идея — правильное искусство. Но, скажите мне, где сегодня правильные идеи досточтимого Лукача, где его правильная реальность? Плывут себе вниз по Дунаю, двигаясь в никуда. Затянувшийся монолог власти, имя которому — марксизм, окончен. Мы вступили в эпоху плюрализма, эпоху, лишенную того, что Гегель назвал Абсолютной Идеей. Кажется, впервые человечество устремляется по дорогам истории, не вооружившись генеральной идеей, а это все равно что плыть по Атлантическому океану без карты. То есть дело вполне возможное, но обреченное. Дай бог в живых остаться, а уж попасть в порт назначения и не мечтай. Вы попросили меня, философа, приехать сюда и объяснить, как человеку жить в мире, лишенном идеи. Что ж, в одном Лукач был прав, и тут не поспоришь. Искусство, литература возникают не сами по себе, а принадлежат своей исторической эпохе и не могут быть от нее свободны. Давайте же зададимся вопросом — что представляет собой наша с вами эпоха? Во дворе парижского Бобура,— вы знаете это сооружение, оно поступило с архитектурой примерно так, как поступил бы Господь Бог с человеком, если бы разместил его внутренности поверх кожи,— так вот, там есть часы, которые называются Женитрон. Те самые, что отсчитывают секунды, оставшиеся до 2000 года. Иногда я стою перед этими часами, затерявшись меж клоунов и изрыгателей огня, и задаю себе такой вопрос: что будет, когда Женитрон дощелкает последние секунды и остановится? Мы все нацепим майки с надписью *2001*, споем хором оду «К радости», и все будет расчудесно? Или, наоборот, мир провалится в тартарары? Кто даст ответ на этот вопрос? Где наши шопенгауэры, гегели, марксы? Где новоявленные пророки? Кое-кого из них мне удалось обнаружить.— Криминале помахал в воздухе потасканным журналом.— Издание для авиапассажиров, от щедрот компании «Алиталия». Я листал его, пока мы летели сюда... Откуда мы летели, дорогая?» «Из Рангуна, мой сладенький»,— громко сказала Сепульхра. «Неужели правда из Рангуна? — удивился философ. *(Смех в зале.)*— Впрочем, это неважно. Редакция провела опрос среди выдающихся деятелей современности, включая папу римского. Вопрос был такой: как они представляют себе человечество за гранью 2000 года? Одним из пророков стал британский писатель Энтони Бёрджесс. Цитирую: «Я полагаю, что мы откроем новые миры, научимся перемещаться во Вселенной и перенесем великий эксперимент, именуемый Жизнью, в еще одно измерение». Что ж, по крайней мере видно, что литератор читал Тейяра де Шардена. А вот еще одно мнение. Принадлежит оно несравненной диве Тине Тернер. Вы, конечно, все ее знаете. «Я хочу, чтобы следующее десятилетие было наполнено любовью и музыкой,— вещает певица.— У меня выйдет новая книга, она будет называться «Я — Тина», и по ней обязательно снимут фильм». Вот так и открывают новые миры».

В зале хохотнули, но многие из гостей переглядывались, не понимая, к чему клонит оратор. «Итак, кто же из пророков прав? — продолжал Криминале.— Сто пятьдесят лет назад появился «Манифест Коммунистической партии». Все помнят, как он начинается: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». В наши дни призрак коммунизма уже угомонился, больше не бродит. Какой же призрак стращает ныне бедную Европу, а вместе с ней и весь мир? Призрак удручающего переизбытка и острейшего дефицита. Мы живем в эпоху, когда вокруг всего полно и в то же время удивительно пусто. Культура превратилась в шоу, дизайн, непреходящий шоппинг. Писатель Бёрджесс парит в безвоздушном пространстве, а Тина Тернер любуется собственной персоной. Надеюсь, дорогие друзья, что недели в Бароло окажется достаточно, чтобы примирить Бёрджесса и Тину, подружить литературу с властью, идею скрестить с хаосом, а заодно неплохо бы еще и подлатать распадающуюся ткань Европы, утихомирить воспалившийся национализм, избежать столкновения с исламским миром и не забыть решить проблему «третьего мира». Если вам все это удастся, можете считать, что потратили время не зря. Это все, что я хотел сказать, благодарю за внимание».

Слушатели, разумеется, похлопали. Как-никак знаменитость, почтил присутствием, хоть и опоздал, но все же поприветствовал. Однако, направляясь в соседнюю гостиную, где подавали кофе, я ощущал витавшие в воздухе растерянность и недовольство. Философ соизволил выйти к толпе, но вести себя как подобает философу не пожелал. Ко мне присоединилась исходившая лютой злобой Илдико. Ужин не доставил ей ни малейшего удовольствия. Один из ее соседей оказался сотрудником Госдепартамента и все время нудил про уругвайский раунд переговоров по таможенным тарифам и торговле; второй, скандинавский поэт, пытался прельстить ее фотопортретами своего пениса. Илдико так и не решила, кто из собеседников был большим занудой. Речь Криминале ей тоже не показалась. «Зачем он это говорил?» «Чтобы мы задумались, нужны ли человечеству великие идеи?» — предположил я. «Он вечно нападает не на то, на что надо». «Это ты о Лукаче?» «Ах, кому сейчас интересен этот Лукач,— отмахнулась Илдико.— Но зачем он нападает на шоппинг?! Чем ему шоппинг-то не угодил?»

Гнев Илдико не иссяк и тогда, когда притомившиеся участники конференции принялись желать друг другу спокойной ночи и расходиться. Мы шагали по направлению к Мемориальной купальне, и я уныло думал о предстоящей ночи, которая не сулила наслаждений. Держа дистанцию, мы прошествовали по озаренной факелами террасе, спустились в парк, где сияла луна и слегка покачивали кронами деревья. Внезапно Илдико замерла на месте. Возле неодетой мраморной Минервы маячила коренастая фигура, чуть подсвеченная огоньком сигары. «Криминале! — прошептала Илдико.— Что это он тут, интересно, делает? Кого-нибудь поджидает?» Я огляделся — вроде бы никого. «Вот он, твой шанс»,— сказал я. «Неудобно, он о чем-то размышляет»,— неожиданно застеснялась Илдико. «Да ты что! Мы столько за ним охотились! Давай-ка представь меня ему». «Не хочу»,— упорствовала Илдико, но тут Криминале обернулся, увидел нас и приветственно помахал сигарой. «Превосходная речь, мистер Криминале»,— воскликнул я. «Не из лучших моих речей»,— ответил профессор, поглядев сначала на меня, а потом на Илдико. По-моему, он ее не узнал. «Зря вы так про шоппинг,— укорила его Илдико.— А это Фрэнсис Джей, он из Англии».

«Англичанин? Как странно. А я вот стою и вспоминаю историю о том, как Грэм Грин остался без Нобелевской премии. Знаете почему?» Поворот беседы меня удивил, но к великим нужно быть снисходительными — это знает каждый. «Нет, мне неизвестно, почему Грэм Грин остался без Нобелевской премии»,— ответил я. «Возможно, история недостоверна, но я все равно расскажу.— Криминале отвернулся и снова стал смотреть на озеро.— Однажды, находясь в Швеции, Грин переспал с некоей дамой. Казалось бы, что такого? Все мы время от времени наведываемся в Швецию и стараемся

показать там, какие мы современные. Или я не прав?» «Наверно, так оно и есть»,— не стал спорить я. «Однако у дамы в родственниках числился один почтенный профессор, член Шведской академии, той самой, которая присуждает премии. И профессор ужасно разозлился и дал торжественную клятву, что, пока он жив, Грину Нобеля не видать». «Очень романтично»,— вздохнула Илдико. «Я придерживаюсь того же мнения,— кивнул Криминале.— Оба оппонента дожили до весьма преклонного возраста. Очевидно, ни один не желает сделать своему врагу приятное и старается его пережить. Премию все эти годы давали кому попало — Перл Бак, Бертрану Расселу, даже этому вашему Уинстону Черчиллю, но только не Грину. Величайший писатель столетия остался без главной литературной награды — и все из-за одной приятно проведенной ночи. Я вот спрашиваю себя, а если бы на месте Грина довелось оказаться мне и я бы точно знал, чем придется расплачиваться за небольшой кусочек радости, как бы я поступил? Что бы выбрал — женщину или премию? Дилемма не из легких, а?» «И что же вы себе ответили?» — полюбопытствовала Илдико. «Не знаю, дорогуша,— вздохнул Криминале.— Слава — штука хорошая, но любовь так чудесна... А вы, судя по акценту, из Венгрии». Илдико ответила ему что-то на своем родном языке, и между ними завязалась недоступная мне беседа. Окна виллы гасли одно за другим. По террасе проплыла женская фигура и растворилась в темноте. Криминале бросил окурок и раздавил его каблуком. «Однако пора на покой, готовиться к следующему утру, предстоит выдержать еще один конгресс. Рад был познакомиться с вами обоими. Наслаждайтесь здешним парадизом». Он покивал своей львиной головой и отбыл, весь лучась переливчатым голубым шелком, по направлению к вилле.

«Он тебя не узнал»,— сказал я. Мы спускались по крутой освещенной аллее к нашей Мемориальной купальне. «Криминале вечно витает в облаках. Он никогда никого не узнает. Вот увидишь, он и тебя завтра не узнает». Гнев Илдико явно пошел на убыль, и держалась она уже совсем иначе. «Мне показалось, он чем-то удручен»,— заметил я. «Великий психолог,— фыркнула Илдико.— Кинул один взгляд на Криминале и сразу проник в самые глубины его души, да?» «Значит, тебе так не показалось?» «Я тебе скажу, что мне показалось. Мне показалось, что Басло Криминале влюблен. Мне уже доводилось видеть его таким. Не забывай, что он венгр, а мы — нация очень романтическая. Кто-то очаровал нашего философа, вот он и принялся рассуждать о власти да о женщинах. Ну, теперь ты доволен? Я познакомила тебя с Криминале». «Да, я очень доволен». «И еще я привезла тебя в очень приятное место, нет? Здесь настоящий рай. И комната у нас просто шик. Главное — не забывать, что в раю все вместе и все совершенно голые».

Прошло совсем немного времени, и мы, вместе и совершенно голые, уже лежали в бескрайней европостели нашего номера, с настенного гобелена на нас пялились беспутные вакханки, а тела наши были располосованы проникавшим сквозь шторы лунным сиянием. Илдико взмахом головы рассыпала по плечам свои светлые волосы и, блеснув глазами, спросила: «А что бы выбрал ты?» «В каком смысле?» «Ну, если бы тебе пришлось выбирать между Нобелевской премией и женщиной?» «Ты опять про Криминале. Ну его к черту. И вообще, это зависело бы от того, что за женщина». «О'кей, упрощаю вопрос: Нобелевская премия или я?» «Тоже мне проблема,— сказал я.— Конечно, ты». «Нет, правда? — вскричала Илдико.— Ты отказался бы от Нобелевской премии ради меня? По-моему, ты очень чудесный. И совсем никакая не свинья. И шоппинг любишь, пускай совсем немножко, да?» «Немножко — да». «И ты сводишь меня в «Бенеттон», «Некст», «Нью мэн», «Ривер-айленд» и прочие чудесные места?» «Когда-нибудь — непременно». «Вот это настоящий рай, просто шик,— взвизгнула Илдико.— До свиданья, Нобелевская премия, да?»

Наши сплетенные тела уже почти соединились, кожа воспламенилась, Нобелевская премия была забыта, но тут вдруг ночь взорвалась ужасающим ревом, по стенам нашей тихой обители свирепо промчались пятна яркого света, и висевший над постелью гобелен ожил — сначала один его край, потом другой. «Господи, что это?!» — вскрикнула Илдико, шарахаясь

от меня в сторону. «Оставайся тут,— сказал я.— Пойду выясню». Я голышом подбежал к окну. «Нет, Фрэнсис, я боюсь!» — пискнула Илдико, тоже вскочила с постели и прижалась ко мне. Над неспокойными водами черного озера, совсем недалеко от берега и от нас, скользила гигантская черная птица. На ее металлическом брюхе крутились прожекторы, посылая во все стороны острые лучи. На лужайке перед Мемориальной купальней выстроился целый кортеж грузовых и легковых автомобилей. Их зажженные фары дополняли иллюминацию, и было видно, как по гравию взад-вперед снуют какие-то люди в темных одеждах.

«Это полиция! — ахнула Илдико.— За нами!» И прижалась ко мне еще крепче. Из-под бешено вращающегося винта вертолета выбежали еще две фигурки — на сей раз в чем-то белом — и уселись в последний из автомобилей. Я разглядел на фюзеляже вертолета огромную эмблему фонда Маньо. «Да это, похоже, наша *падрона* миссис Валерия Маньо,— сообразил я.— С некоторым опозданием прибыла посмотреть, как обстоят дела в принадлежащем ей раю». Машины умчались по аллее, плавные изгибы которой вели наверх, к вилле. «Я так рада, что я с тобой»,— прошептала Илдико. «Все в порядке. Приехала хозяйка, только и делов. Забудем про нее и вернемся в постель». И тогда наконец мы упали друг другу в объятья — на царственное ложе, под гостеприимным кровом райского Бароло, под шелест волн счастливого озера, воспетого Плинием и Вергилием, в антураже одновременно классическом и романтическом. Илдико вся задрожала, и мы не спеша слились в одно целое — тело с телом, мысль с мыслью, и, как положено в подобных случаях, мы на краткую вечность забыли о власти, литературе, идеологии, о профессоре Монце, Нобелевской премии, госпоже Маньо и даже о коренастом одиноком человеке по имени Басло Криминале.

9

Вилла Бароло всегда ассоциировалась с литературой

Как выяснилось в последующие многотрудные, но счастливые дни, наш конгресс «Литература и власть» был далеко не первым мероприятием подобного рода, нашедшим приют на острове Бароло. Я вычитал в путеводителе, что еще с времен античности слово «Бароло» стало синонимом благороднейшего из человеческих занятий, каковым, по мнению писателей, является литература. Сосланный сюда Вергилий сочинил парочку эклог, в которых восславил Бароло как обитель гуманизма. Наблюдательный Плиний, обратив внимание на то, что остров расположен меж пяти вонзающихся в берега заливов, назвал Бароло «плодоносными чреслами мира». Данте считал Бароло «очищающим», Боккаччо перенес сюда действие одной, нет, даже двух своих новелл, а во времена романтизма сюда с хладного Севера являлись мадам де Сталь, Гёте и братья-близнецы Шелли с Байроном, жутковатые любители дальних странствий. Тут все они купались, влюблялись в романтические пейзажи, писали о местных красотах вирши — правда, не самые удачные.

Так что наш десант никак нельзя было назвать первооткрывательским. Единственным нашим преимуществом перед гостями прежних эпох были всевозможные наисовременнейшие удобства. С давних пор эти места густо обросли виллами, наша же появилась сравнительно недавно, в прошлом веке, когда короли Савойи, пресловутые Привратники Альп, наслаждались недолгой порой расцвета своей династии. Расцвет сменился упадком, и вилла захирела вместе с августейшим семейством. При Муссолини, в тридцатые, она была заброшена; в годы послевоенной сумятицы начала разрушаться. Но Валерия Маньо не дала утехе савойских монархов окончательно погибнуть. Эта обитательница Калифорнии унаследовала сразу несколько состояний — косметическая империя, нефтяная империя плюс

к тому оружейные заводы. По старой и славной традиции богатых американских фамилий Валерия женила на себе итальянского графа, владельца развалившейся виллы. Граф со временем почил, после этого вдова много раз была замужем и много раз разводилась — одним словом, свято соблюдала установленный калифорнийский ритуал. Бароло стал ее любимой игрушкой. Валерия часто приезжала сюда, вела реставрационные работы, наводила лоск, усовершенствовала. Она притаскивала со всего света дизайнеров, искусствоведов, закупала антикварную мебель, перевешивала с места на место картины, нанимала слуг и садовников — в общем, вернула-таки виллу к жизни.

Непонятно, зачем ей все это понадобилось. Правда, в те времена наследницы состоятельных американских семейств изучали не только пресловутую «политическую корректность», но еще и мировую литературу, поэтому наша *падрона* худо-бедно разбиралась и в Вергилии, и в Плинии, и в Байроне, и в Лоуренсе. Ей пришла в голову блажь возродить былую обитель муз. Бароло станет международным центром науки и искусств, решила она. Здесь будут трудиться и общаться великие ученые и великие писатели. И на обеспечение истинно творческой атмосферы денег в Бароло не жалели. Скульптуры Челлини, картины Каналетто, драгоценные гобелены — сам Лоренцо Великолепный лопнул бы от зависти при виде такого роскошества. Стены сияли сплошными зеркалами, мебель искрилась золотой инкрустацией, балдахины над королевскими кроватями держались не на четырех, а аж на шести резных столбиках. Светило мировой науки, приезжая сюда по гранту Гуггенхаймовского или Макартуровского фонда (разряд «Гений»), оказывалось в царстве чудес современной техники: электронные процессоры и компьютеры, ароматические души и джакузи, факсы и модемы — последние должны были обеспечивать непрерывную связь творца с покинутым на время домом или лабораторией, офисом, кафедрой. Миссис Маньо любила находиться в окружении прославленных и гениальных. Неудивительно, что Басло Криминале оказался одним из главных ее фаворитов.

Когда великий философ вдруг пропадал из поля зрения прессы, когда его не могли разыскать нуждавшиеся в мудром совете политики, можно было не сомневаться — Криминале нашел приют на вилле Бароло. Визитеров не пускали дальше запертых ворот, назойливых журналистов безжалостно вытаскивали из кустов и с позором выдворяли, телефонные звонки не шли дальше коммутатора, электронная система охраны надежно обеспечивала защиту от любых незваных гостей. Ничто не могло помешать работе мысли и пульсации вдохновения. Когда выдающиеся творцы поутру восставали ото сна, их взорам открывалось обрамленное кипарисами озеро с мягкой зеленью дальних гор в качестве задника. С веточки на веточку неторопливо перелетали белоснежные голуби, по мирным водам скользили еще более белоснежные яхты, идиллические рыбаки живописно забрасывали античный невод. У каждого творца имелся свой рабочий кабинет — где-нибудь в классическом бельведере или в романтической беседке, но непременно с полным набором компьютерного оборудования. Сады источали божественное благоухание; ежечасный перезвон церковных колоколов, доносившийся откуда-то издалека, отмерял течение плодотворного умственного процесса. Шестнадцать садовников-невидимок старались закончить свою работу до рассвета, чтобы к восходу солнца нового дня ничто не нарушало совершенства и гармонии природы. Над парками и садами, под остроконечной вершиной горы начинался лес, якобы совсем дикий. Но и там культура одержала над натурой безусловную победу — каждое дерево росло под присмотром, каждый гротик благоустроен и идеально приспособлен для отдыха, медитации или (даже гигантам духа человеческое не чуждо) для мимолетного флирта на пленэре.

Великие умы приезжали сюда на месяц, а то и на два. Средь этих райских кущ они производили на свет авангардистские романы, «альтернативные» поэмы, написанные геометрическим стихом, атональные симфонии, трактаты о крахе капитализма, конце гуманизма, смерти литературы

и утрате самоидентичности. А после многотрудного утра, отданного постмодернистскому письму и беспощадной деконструкции, гении сходились на террасе или — если день выдавался дождливый — в баре, чтобы пропустить стаканчик перед трапезой, где подавали совершенно божественные спагетти и где прислуживали заботливейшие официанты. Отобедав, творцы либо отправлялись кататься на яхте, либо шли на теннисные корты, а самые трудолюбивые возвращались в титанический мир своих великих мыслей. Вечером — снова коктейль, а сразу за ним — изысканный ужин, где рекой лились остроумные речи и коллекционные вина. Так заканчивался ежедневный гимн Науке и Искусству, восславляемым на вилле Бароло. Впрочем, нет, не заканчивался. Во владениях миссис Маньо ночь не смела уступать дню в совершенстве. Едва на остров опускалась чарующая итальянская тьма, как парки и окрестные холмы наполнялись звуками музыки — играл специально приглашенный камерный ансамбль или же кто-нибудь из американских композиторов баловал гостей своими новыми атональными произведениями. Обычные туристы, простые смертные, заехавшие на остров полюбоваться местными красотами и разместившиеся в «Гранд-отеле Бароло», при первых же звуках таинственной музыки застывали с разинутым ртом, не дожевав очередной порции тортеллини. А потом они долго — пока не прогонит охрана — топтались у решетчатых ворот, тщетно пытаясь хоть краешком глаза заглянуть в приют высокой мудрости и красоты.

Однако и у совершенства есть существенный недостаток — мы с Илдико убедились в этом в первую же ночь, когда механизированное пришествие *падроны* прервало наш любовный процесс. Сколько ни оберегай совершенство, оно находится под постоянной угрозой. Даже под защитой райских врат ученые мужи не были полностью ограждены от внешних раздражителей. Чрезмерно любопытные туристы; периодические разведрейды репортеров; назойливое завывание скандальных итальянских мотоциклов, доносившееся с автострады; непредсказуемые альпийские бури, которые способны с корнем вырывать деревья, топить лодки и взметать с письменных столов бумажный вихрь, губя плоды многомудрых изысканий. Но все эти беды были сущей мелочью по сравнению с катаклизмами, возникавшими по воле самой хозяйки и руководимого ею фонда Маньо — международными конференциями, проведением которых так славилась гостеприимная вилла. Например, конгресса на тему «Литература и власть», благодаря коему мы с Илдико оказались в этом царстве гармонии.

Во дни подобных испытаний вилла Бароло совершенно преображалась. Тихая обитель, где мыслил Плиний и плескался в воде Байрон, погружалась в атмосферу великого столпотворения. Со всего мира слетались политические вожди: главы государств, которым срочно понадобился мини-саммит по какому-нибудь совершенно неотложному вопросу; министры стран ЕЭС, пожелавшие встретиться в неофициальной обстановке; посредники, пытающиеся унять межплеменной раздор в очередной горячей точке планеты; американские «миссии мира», все еще надеющиеся помирить палестинцев с Израилем; участники очередного тура переговоров по запрещению химического оружия и так далее, и так далее. Каждого из великих сопровождала многочисленная свита и личная охрана. Рай моментально превращался в ад. Стрекотали фотокопировальные машины, захлебывались в скороговорке переводчики-синхронисты, сломя голову врывались секретные курьеры, принося вести о переворотах и правительственных кризисах. Над виллой постоянно ревели вертолеты, особенно если проведение важной встречи совпадало с визитом миссис Маньо, довольно часто наведывавшейся в свое прославленное поместье. Изысканнейшие яства остывали, безвозвратно погубленные многословными тостами, спичами, а если председательствовал любимый консультант *падроны* профессор Массимо Монца, то и бесконечными «объявлементи». Перепуганные и уязвленные ученые забивались в свои норы, и шумные пришельцы почти с ними не сталкивались — разве что проплывет где-нибудь вдали унылая фигура с застывшим страданием на лице. Так выглядят отшельники, давшие обет одиночества и молчания, дабы наедине с Господом возносить молитвы об избавлении от

лукавого с его мирскими соблазнами. И молитвы неизменно бывали услышаны, проходил день-другой, и вилла опять погружалась в идиллическую умиротворенность, свое естественное состояние.

Но участники обрушивающегося на Бароло десанта тоже вправе ожидать своей доли райских благ, и политики с литераторами, слегка оправившись после обескураживающей вступительной речи профессора Криминале, пожелали вкусить причитающихся им удовольствий. Под искусным руководством Монцы конгресс очень быстро создал как бы собственный микрокосм (теперь я стал старше и мудрее, теперь я знаю, что это происходит на любой мало-мальски уважающей себя конференции): у всех присутствующих возникло ощущение, что именно здесь сконцентрирована подлинная реальность, а внешнего мира как бы вовсе не существует, оставшиеся дома проблемы несущественны, а самое главное — провести время как можно приятнее. Со временем определились лидеры и заводилы, образовались дружественные (вплоть до интимности) союзы, обозначились враждующие фракции. Французы не ладили с итальянцами, индийцы с британцами, романисты с поэтами, постмодернисты с феминистками, критики с писателями, писатели с политиками, ну а об антагонизме между учеными анахоретами и участниками конгресса и вовсе говорить излишне.

Но, слава богу, меж нас был Басло Криминале, универсальный примиритель. Он являлся одновременно постоянным обитателем Бароло и гостем конференции, писателем и политиком, критиком и автором. Он был одним из нас и в то же время представлял собой нечто большее. Он был, можно сказать, душой всего сборища. Его вступительный спич поначалу встревожил присутствующих, но зато сразу же нашлась чудесная тема для всеобщего обсуждения — девяностые годы и надвигающийся кризис. Каждому из участников было что сказать по этому поводу, но пророчества и мнения изрекались с оглядкой на Криминале. Там, где Восток не сходился с Западом, Север с Югом, а Маркс с Фрейдом, на помощь приходил наш великий мыслитель, отлично разбиравшийся в обеих позициях и способный предложить решение, которое устраивало всех. Криминале был сам космополитизм, сама современность, но вместе с тем и неоспоримый представитель вечности. При этом никогда не раздражался, не ехидничал, не вставал на чью-то сторону. Его присутствие — даже незримое — придавало беседам значительность и благородство. Но Басло был не просто велик, он еще и умилял своей человечностью: неизменно доброжелательный, участливый, внимательный. Что бы вы ему ни сказали, он непременно отвечал: «Что ж, это очень разумно, очень интересно... — Потом следовала задумчивая пауза.— Но давайте попробуем взглянуть на это с другой стороны. Предположим, что...»

Очень скоро я понял, что судьба предоставила мне редкую возможность изучить и осмыслить явление, именуемое «Басло Криминале». Я установил настоящую слежку за титаном мысли, старался все время держаться неподалеку. Рабочий день у Криминале начинался спозаранку. Он вставал затемно, словно монах к заутрене, и при включенном электрическом свете что-то писал — это продолжалось примерно час. Затем, если позволяла погода (а в первые дни конгресса она очень даже позволяла), отправлялся на прогулку по живописным окрестностям, недостатка в коих на Бароло не наблюдалось. Очевидно, моцион помогал философу навести порядок в мыслях. Территория виллы была весьма обширна — настоящий лабиринт тенистых аллей и скалистых дорожек, каждая из которых выводила к чему-нибудь интересненькому: античному храму, часовенке, очаровательной полянке, бельведеру или смотровой площадке, откуда открывался чудесный вид на озеро. Рано утром весь этот мир принадлежал одному Криминале. Там-то и следовало его искать — где-нибудь на усыпанной цветами лужайке, возле оранжереи, на фоне горного ландшафта, у статуи Юпитера, картинно облокотившегося на балюстраду. Одним словом, в каком-нибудь совершенно сногсшибательном антураже, способствующем работе ума.

Я уже говорил, что ранней пташкой меня не назовешь. Илдико тоже к разряду жаворонков не относилась. Меня несколько озадачивало то, что, наконец отыскав Криминале, моя спутница не проявляла особого желания вступить с ним в контакт. Она говорила, что хочет дождаться удобного случая и тогда сразу решит «свою маленькую издательскую проблему». Поэтому в рассветный сумеречный час, когда я вылезал из нашей королевской постели, твердо решив во всем следовать примеру великого человека, Илдико лишь раздраженно переворачивалась на другой бок. Рай раем (а Илдико делала Эдем еще более сладостным), но и о работе нельзя забывать. Я твердо решил полюбить утренние прогулки и оздоровительный бег трусцой. Довольно часто я оказывался там же, где Криминале. Мы обменивались парой приличествующих случаю вежливых фраз, но, по-моему, он делал это чисто автоматически, не прерывая хода своих мыслей. А я тем временем впивался в него изучающим взглядом. Каждый новый день подводил меня на шажок ближе к выдающемуся мыслителю эпохи гласности.

Завтрак на Бароло подавался в любое время, по принципу праздника, который всегда с тобой, но я намеренно выбирал для своей утренней трапезы то же время, что Криминале. По изысканности завтрак на вилле не уступал обеду и ужину: восхитительный кофе, а булочки — истинный шедевр кулинарного искусства. Они волшебно похрустывали, наполненные изнутри манящими гротообразными пустотами, которые заставляли вспомнить о живописных пещерках близлежащих горных склонов. «Вот и еще одно идеальное утро»,— сообщал Криминале, усаживаясь за стол. Его квадратный лик всем своим выражением (но, впрочем, без малейшего намека на высокомерие) говорил: я славно поработал, столько за утро гениального напридумывал, что вам и за год таких гор не своротить. Прочие участники конгресса, сползшиеся в столовую из своих разбросанных по территории обиталищ, норовили усесться поближе к Криминале, словно их притягивало к нему магнитом. Мартин Эмис, Ханс Магнус Энценсбергер, Сузан Сонтаг и прочие звезды сидели в непривычном для себя безмолвии, внимая речам мудреца. Чуть позже неизменно прибывала Сепульхра. «Кофе, дорогунчик?» — предлагала она, и Криминале на миг прерывал монолог, следя за тем, как она подливает в чашку горячего молока, потом изящно взмахивал ухоженной, посверкивающей золотым кольцом рукой — мол, хватит, в самый раз.

Свита его меж тем потихоньку разрасталась, и титан увлеченно начинал излагать какую-нибудь необычайно глубокую или парадоксальную идею. Я держался в некотором отдалении, временами записывая кое-что для памяти в блокнот. Постепенно выявились определенные пристрастия кумира. Так, он очень любил порассуждать о Дёрде Лукаче — эта тема явно задевала его за живое. «Все мы знаем, что Дёрдь был человеком весьма противоречивым,— заявлял, например, Криминале.— Разум как у Гегеля, чувство истории как у Наполеона...» «Дорогунчик, этому человеку было совершенно наплевать на друзей, даже если их ставили к стенке,— встревала в разговор Сепульхра.— Тебе одно яичко или два?» «Да-да, два... Разумеется, он жертвовал людьми ради идеи. Но, по его глубочайшему убеждению, лучше жить при худшем из коммунистических строев, чем при самом расчудесном капитализме. Спросим себя, почему он так считал?» Сепульхра: «Ясное дело. Потому что ему обеспечили хорошую работу и отличную квартиру. Дорогунчик, тебе дать чистую ложечку?» «Потому что он искренне верил в исторический прогресс, в величие философской идеи, и он во что бы то ни стало хотел участвовать в процессе сотворения истории»,— продолжал Криминале. Сепульхра: «Душу он продал дьяволу, вот в чем все дело. Хватит болтать, дорогунчик, а то яичко остынет». Тут Криминале с улыбкой говорил собеседникам: «Теперь вы видите, зачем Господь — или не Господь, а история — дал мужчине жену. Чтобы рядом постоянно находился диалектический оппонент, не позволяющий нам отвлекаться от важных дел ради всякой ерунды». Сепульхра: «Ешь-ешь, а то зачахнешь. И тогда виновата буду я».

После завтрака Криминале с чашкой кофе в руке неизменно удалялся

в гостиную. Я скромной тенью крался следом, этакое ничтожество, не смеющее приблизиться к небожителю. В гостиной Криминале методично набирал все свежие газеты: «Репубблика», «Монд», «Нойе цюрхер цайтунг», „Интернэшнл геральд трибюн"», «Нью-Йорк таймс». Бескрайний мир с его конфликтами и важными событиями был бесконечно далек от нашей виллы, и пресса приходила сюда по меньшей мере с однодневным опозданием. Для Криминале это, похоже, не имело значения. Он усаживался за стол и нетерпеливо шуршал страницами в поисках новостей, напоминая в эти минуты старого газетного волка. Поглощение информации сопровождалось устными комментариями — великого человека интересовало буквально все. «Так-так. Русские утверждают, что существует международный заговор, цель которого — дестабилизация их экономики,— бормотал он себе под нос.— Знакомая марксистская песня». Или: «Опять про таинственную природу ислама. Что же это в нем такого уж таинственного? Ну, прячут они женщину под чадру, но ведь мы более или менее представляем себе, что там, под чадрой, находится...» Или так: «Очередная гипотеза об убийстве Кеннеди. Все мы знаем, кто это сделал. До чего же все обожают рассуждать про заговоры. Чем людей не устраивают очевидные факты?»

Я наблюдал, как мыслитель разбирается с большой политикой. Потом он переходил к чтению книжных рецензий. С особым удовольствием Криминале изучал списки бестселлеров — вероятно, потому, что там нередко фигурировали его собственные сочинения. Правда, философ никогда это обстоятельство не комментировал, а делал лишь замечания общего характера: «Ага, «Диета для бедер и ляжек» опять на первом месте. И почему это только толстяки любят читать книги?» Затем наступала очередь финансового раздела. Тут Криминале делался похож на пенсионера из кафе — сосредоточенно водил толстым пальцем по колонкам цифр, изучал котировки акций, индексы деловой активности, учетные проценты кредитных ставок, вести из мира крупных махинаций и денежных катастроф. «Что тут у нас? Так, взяточник разоблачен и посажен за решетку. Будет теперь разлагать тюрьму изнутри... Отмывание денег, полученных от наркобизнеса... Арестованы банковские счета офшорной компании... Банкир на скамье подсудимых... Липовые акции лопнули — еще бы, на то они и липовые... Занятнейшая штука — мир денег. Все человеческие грехи как на ладони. Все-таки хорошо, что нам даровано утешение в виде философской науки». «Ты так говоришь, потому что у тебя полно денег»,— заявляла на это Сепульхра, обязательно присутствовавшая где-нибудь неподалеку. Газет она не читала — разглядывала картинки в журналах или расчесывала волосы. «Да ты марксистка»,— удивлялся Криминале. «От такого слышу»,— оскорблялась она.

Рекламные полосы Криминале оставлял на сладкое — они почему-то вызывали у него особенное восхищение. «Распродажа в универмаге «Блумингдейл»,— внезапно объявлял он.— Смотри-ка, Сепульхра, тебе это будет интересно — беспрецедентная скидка на медную утварь». Сепульхра энтузиазма не проявляла: «У меня этого барахла столько, что на две жизни хватит». «Но скидка-то беспрецедентная,— уговаривал ее Криминале.— И еще, смотри, шезлонги для сада, а?» «Нет у нас никакого сада». «Зеленый горошек в баночках на девяносто девять центов дешевле обычного! «Жизнь Майкла Дукакиса» за бесценок! Ах, шоппинг, шоппинг...». Однажды я не удержался и подал голос, оторвавшись от статьи о кризисе в Персидском заливе: «Кажется, вы неравнодушны к шоппингу?» «Безусловно,— кивнул Криминале.— Правда, лишь на теоретическом уровне». «Он никогда ничего не покупает сам»,— объяснила Сепульхра. «Понимаете, в эпоху, когда эротика секса исчерпана, шоппинг — последний уцелевший вид эротического переживания». «А вы полагаете, что секс перестал быть эротичным?» «Естественно. — Криминале перевернул страницу.— Во-первых, женщины сводят счеты с мужчинами за долгие века неравноправия — кажется, это так теперь называется? А во-вторых, мы так исчерпывающе осведомлены о функциях и особенностях человеческого тела, что сюрпризов от него ожидать не приходится. Вот шоппинг — дело иное». «Почему иное?» —

спросил я. «Вот я на днях прочел книгу, которая называлась «Постмодернизм, культура потребления и мировой хаос». Там подробнейшим образом описаны все радости и горести современного потребителя, живущего в охваченном кризисом мире. Половина человечества либо голодает, либо воюет, а чем занимается тем временем вторая половина? Шляется по магазинам. С одной стороны, страдания и смерть, с другой — восторги мясного прилавка и огорчения секции кружевного белья. Когда человек достигает определенного уровня материального благополучия, перед ним встает вопрос: кто я? В чем смысл всего? Ответ получается таким: смысл — он висит на вешалке в магазине готовой одежды. На нем этикетка престижной фирмы, выполнен он по новейшей моде, а главное — продается на целых тридцать процентов дешевле стандартной цены. В чем причина российских неурядиц? Они там еще не додумались построить настоящие магазины». «Им и на прилавки-то положить нечего»,— заметила Сепульхра, извлекая из сумочки компакт-пудру. «Дело даже не в магазинах,— сказал Криминале.— Просто русские еще не изобрели деньги. По-прежнему увлекаются бартерной торговлей. Поэтому им и хочется во что бы то ни стало заделаться американцами. Тоже хотят рождаться и умирать в универмаге».

Я испытывал некоторое замешательство. В такие минуты Криминале и Сепульхра были похожи не на великого философа и его верную подругу, а на самую что ни на есть заурядную пожилую парочку, мирно проводящую свой заслуженный отпуск. Немножко попикируются, поворчат, а потом придут-таки к общему мнению — просто какая-то пародия на счастливое семейство! Довольно странное поведение для гения мировой науки, которого привык видеть на фотографиях в обнимку вовсе не с законной супругой, а с какой-нибудь полуголой манекенщицей или в крайнем случае с политическим лидером. Я вспомнил свой сценарий — тридцать страниц блестящего жизнеописания, так и оставшиеся непрочитанными, но тем не менее вызвавшие полное доверие у моего телевизионного начальства. В моем опусе эротические приключения и романтические эпизоды из жизни титана мысли играли чуть ли не ключевую роль. Вот уж никак не ожидал увидеть рядом с Басло Криминале этакую Сепульхру, которая со строгим видом постукивала по своим часикам и объявляла: «Дорогунчик, пора на конгресс». «В самом деле? — кротко спрашивал Криминале.— Как думаешь, присутствовать мне сегодня или нет?» «Конечно, присутствовать, лапусик,— категорически говорила Сепульхра и за руку тянула его из кресла.— Ведь люди специально приехали сюда, чтобы на тебя посмотреть». «Сомневаюсь,— замечал Криминале.— Их привлекло бесплатное угощение. Ну ладно, ладно, я знаю, что я должен и чего я не должен. Вечно ты меня учишь. Хорошо-хорошо, солнышко. Я только на минутку поднимусь в номер». И всякий раз повторялось одно и то же: все собирались в конференц-зале, а Криминале так и не появлялся.

Вот мы рассаживаемся по местам. У каждого кресла — деревянная коробочка с пятиканальными наушниками для синхронного перевода. На широких столах — флажки, таблички с именами участников, блокноты, карандаши, бутылочки с минеральной водой и колой. Целыми батареями выстроились видеомагнитофоны, мониторы и прочие атрибуты технического прогресса, без которых в наши дни не обходится ни одна уважающая себя конференция — уж во всяком случае не на вилле Бароло. Итак, все готово к напряженной работе. Писатели скучковались в одной части зала: шепчутся о чем-то, бросая по сторонам исполненные недоверия взгляды — отличительный признак «международной литературной общественности» (до чего же идиотский термин, если вдуматься). Политики расположились на некотором отдалении. Все эти министры культуры, финансовые советники, представители комитетов и комиссий, невзирая на межгосударственные противоречия, так мило друг другу улыбаются, так нежно обнимаются и лобызаются, что войны и вооруженные конфликты кажутся чем-то совершенно невообразимым. Если мы хотим мира на земле, нам ни в коем случае не нужно допускать, чтобы политические лидеры разъезжались по своим странам,— пусть все время международно заседают.

Тут появляется профессор Монца, громко хлопает в ладоши, дабы привлечь к своей персоне всеобщее внимание, и мы стремительно погружаемся в мир «объявлементи». Попревозносив достоинства диалога, ради которого мы все здесь собрались, и не забыв упомянуть о том, что «диалогга» идет как нельзя лучше, Монца предоставлял слово записавшимся в очередь ораторам, коих нередко перебивал своими многословными замечаниями. Аудитория сидела, прислушиваясь к многоязычному стрекотанию наушников; специально импортированные синхронисты вовсю трудились в своих стеклянных будках, чтобы «диалогга» не утратил международного значения. Порядок установился такой: выступление писателя — выступление политика, потом снова писатель — политик и так далее. Монца внимательно слушал, по-птичьи наклонив голову, демонстрировал всем секундомер («Остаецца одна минута!») — словно мы присутствовали на каком-то олимпийском соревновании, скажем, словесных скачках с препятствиями. Как только время истекало, председательствующий останавливал звезд и объявлял, что пора вернуться в «наш великий совместный диалогга».

Но минуточку — где же тот, ради которого я сюда притащился? Опять бесследно исчез? Я сидел, беспокойно ерзая в кресле, высовывался из окна — и в конце концов обнаруживал интересующий меня объект. Объект держался в непосредственной близости к залу заседаний, в какой-нибудь соседней беседке и непременно в сопровождении дредноута «Сепульхра». Чем же он там занимался? Насколько я мог разглядеть из окна — диктовал. Во всяком случае, что-то быстро говорил, а Сепульхра строчила в блокноте. Если к убежищу мыслителя приближался кто-то из обслуги — садовник или официант с кофе,— Сепульхра вскакивала и начинала отчаянно махать руками. В такие моменты она была похожа на крестьянку, которая прогоняет забравшуюся в огород курицу. Криминале — тот не отвлекался по пустякам, диктовал себе дальше как ни в чем не бывало, и Сепульхра с удвоенной яростью припадала к блокноту. Возможно, в этом и был истинный смысл их семейной жизни: пророк и евангелистка, господин и рабыня.

Со временем я стал замечать, что многие другие участники конгресса тоже нет-нет да и выглянут в окошко, полюбуются на гения, позволив себе на минуту отвлечься от самых насущных проблем, будь то благосостояние человечества, спасение экосистем или даже непреходящее значение литературных премий. Да, Криминале в зале отсутствовал, но все знали, что он рядом, неподалеку, и это как-то воодушевляло.

Кроме того, перед обедом, ко времени традиционного коктейля, философ всякий раз возвращался к массам и был неизменно благодушен, серьезен, даже озабочен, а к ходу конгресса проявлял глубочайший интерес. Не только мыслитель мирового значения, но и очень светский *общественный* человек. «Я непременно хотел присутствовать на сегодняшнем заседании,— говорил он, когда участники выходили подышать свежим воздухом на прохладную террасу.— Но внезапно мне в голову пришла одна идейка, которую необходимо было срочно обмозговать. Надеюсь, вы плодотворно поработали. Как диалог, состоялся? Расскажите же мне все как можно подробнее. Я не хочу упустить ни единого слова». Так он переходил от группки к группке, от человека к человеку — у каждого пороется в мозгах, с каждым найдет что-нибудь общее. «Знаете, архитектоника чистого звука поистине беспредельна,— говорил он музыковеду.— Она способна заронить в воображение самые неожиданные концепции, унести в такие высоты, куда не достигнет ни один космический корабль. Кстати, где вы шили этот чудесный костюм?» Или так: «Ах, вы министр культуры? Это просто замечательно, что на конгрессе так много министров, гораздо больше, чем писателей. Лучшее свидетельство того, что в современном мире к литературе относятся серьезно. Это не может не радовать».

Пока Криминале подобным манером благословлял и исповедовал, Сепульхра следовала за ним по пятам и все время нудила: «Дорогунчик,

тебе нужно отдохнуть. Ты совсем себя не жалеешь». «Что ты, я нисколько не устал,— отвечал он.— Разве ты не видишь, с какими интересными людьми я общаюсь? Какая тут может быть усталость». «Ты поздно ложишься, слишком много работаешь»,— не отставала супруга. «Не ворчи, Сепульхра, а лучше поднимись-ка в номер да положи записи, которые мы с тобой сегодня сделали, в надежное место. Знаете, как древние говорили,— оборачивался он к очередному собеседнику,— мысль свободна, но и ее можно украсть». Звучало несколько оскорбительно, но никто почему-то не обижался, как никто не обижался на его злостные прогулы. *Этому* позволялось. *Этот* имел право на иронию и рискованное поведение. И делегаты охотно толпились вокруг него, с детской гордостью докладывая о подвигах, совершенных ими во время утреннего заседания. Криминале за комментариями в карман не лез — у него было собственное суждение по любому вопросу. В завершение беседы философ подытоживал суть предобеденных обсуждений каким-нибудь метким афоризмом, глубина которого с лихвой окупала отсутствие мудреца в конференц-зале. Общее мнение было таково: Басло Криминале, мистер Экспромт, способен в считанные секунды решить проблему, на решение которой обычному человеку требуется несколько часов напряженной работы мысли.

«О, какой таланто! — вскричал профессор Монца в первый же день, подловив меня на террасе перед обедом и схватив за локоть. — Это не мозг, а настоящая ртутти!» «Да, он производит впечатление,— согласился я.— Жаль только, его не было, когда выступала Татьяна Тюльпанова...». «О, но вы можете представлятти, как ужасно занят такой человекко!» — замахал руками Монца. «В самом деле?» «Ну еще бы! Книги! Финанца! Политико! Всем нужен, постоянно нарасхватто!»

В этот момент по толпе прошло некое шевеление, засуетились синие ливреи, наскоро приводя террасу в надлежащий вид, а несколько секунд спустя в дверях величественно возникла миссис Валерия Маньо. Шум болтовни стих, все тянули шеи, желая получше рассмотреть нашу знаменитую *падрону*.

Зрелище было впечатляющее, спору нет. Просторное платье с низким вырезом (наверняка шедевр какого-нибудь прославленного итальянского кутюрье; я заподозрил, что вчерашнее отсутствие *падроны* объяснялось очень просто — миссис Маньо покупала новое платье); абсолютно прекрасное и лишенное каких-либо возрастных ориентиров лицо, плод кропотливого труда хирургов и косметологов. По взгляду, которым наша хозяйка обвела террасу, я сразу понял, что она, как большинство знаменитостей, ищет собеседника поименитей. «Скузи, падрона!» — возопил Монца, подлетел к миссис Маньо и чмокнул ей ручку, но она небрежно отмахнулась от нашего председателя — нашелся более достойный объект. «Здорово, приятель! — зычно крикнула *падрона*, раскрывая объятья.— Как дела-делишки?»

Объектом августейшего внимания оказался, естественно, Басло Криминале. «Привет-привет, очаровательница»,— отозвался он, приблизился и был одарен сначала объятьем, а потом и целой серией поцелуев. «Черта с два я бы сюда приперлась, если бы не ты,— сообщила миссис Маньо.— Как конгресс-то? Ничего?» «Можешь мне поверить, Валерия, конгресс просто замечательный. Наш Монца превзошел самого себя. Столько талантливых людей, а мудрость так и бьет фонтаном». «Господи боже,— удивилась хозяйка.— Послушай, если за обедом ты не сядешь рядом со мной, я крошки в рот не возьму, так и знай». «О'кей, договорились». «А как поживает мадам Криминале?» — обернулась *падрона* к Сепульхре. «Так себе,— ответила та.— Обед я, пожалуй, пропущу. Худеть нужно».

Вот почему на последовавшем вскоре обеде во главе собрания сидели только двое — миссис Маньо и Басло Криминале, *падрона* и протеже, американская космополитка и титан мировой культуры. Их теплая беседа, улыбки и заливистый смех грели душу всей международной ассамблее. Илдико, не соизволившая присутствовать на утреннем заседании и появив-

шаяся лишь к обеденной трапезе, завистливо вздохнула: «Ой, ты посмотри, какие они счастливые! Даже Сепульхру сумели куда-то сплавить».

После обеда я предпринял вылазку в деревню — позвонить Лавинии. «Дорогуша, вчера вечером я присутствовала на совершенно изумительной свадьбе»,— сообщила она вместо приветствия. «А кто женился?» «Как кто? Разумеется, Фигаро. Блестящая постановка, просто блестящая. А что там происходит у тебя? Как-то ты подозрительно затих». Я рассказал ей о красотах Бароло и о семейной идиллии Криминале. «Фрэнсис, семейная идиллия нас не устраивает,— встревожилась Лавиния.— Мы ведь телевизионщики. Позволь напомнить тебе фразу из твоего великолепного сценария — я наконец его прочла. Вот: «Криминале — истинный Гаргантюа во всем, что касается радостей жизни, в особенности радостей плоти. Его жизненный путь овеян политическими парадоксами и романтическими тайнами». «Да-да, помню,— смутился я.— Что поделаешь, я тогда был значительно моложе». «Нет уж, Фрэнсис, вынь да положь мне тайны. Помни: залог успеха — интрига, конфликт, проблемность. Ты ведь не на каникулах, ты ведешь расследование. Семейная идиллия — камуфляж, я уверена в этом». «Что же мне делать?» «Рой землю носом. Устрой обыск в его комнате. В общем, не сиди сложа руки».

Однако первые дни конгресса прошли мирно, без каких-либо происшествий. Для этого времени года погода выдалась на редкость удачная: с утра свежо и ясно, после обеда, как по заказу, стремительный ливень. Настроение ландшафта сразу менялось, из классического — сочного, залитого солнцем — он превращался в уныло-романтический, с намеком на некоторую интимность. Вершины дальних гор окутывались туманом, ближние холмы придвигались еще ближе, кипарисы и скалы становились четче и контрастнее. Дождь повисал плотной портьерой, устраивал настоящее половодье всюду, где имелись канавы и ручейки. Зеленые гроты промокали насквозь, фонтаны с бессмысленным упорством пускали навстречу влаге небесной свои механические струи. Озеро подергивалось рябью, ослепительными фейерверками рассыпались каскады молний, и подчас особенно яркий пучок интенсивного света выхватывал из полумрака какой-нибудь замок или монастырь, которые при обычном освещении с Бароло разглядеть было невозможно. А потом дождь так же решительно прекращался, озеро немедленно успокаивалось, горы вылезали из укрытия, птички вновь выходили на сцену. «Бог — садовник, он знает, что природе нужно»,— с чисто итальянской мудростью объясняли официанты во время ужина, когда участники конгресса при свечах уплетали спагетти, запивая их вином. Надо сказать, что с каждым днем писатели и политики привыкали друг к другу все больше, обнаруживая между собой немало общего.

Итак, в первые четыре дня природа приветствовала нас нежными рассветами, похожими на улыбку целомудренной девы, каковых, впрочем, ныне уже не сыщешь — все они превратились в консультантов по маркетингу, генеральных директоров электронных корпораций или в еврочиновниц, вроде суровой Козимы Брукнер. С этой дамой я больше в контакт не вступал, но видел ее ежедневно, нередко ловил на себе ее тяжелый, подозрительный взгляд, наведенный откуда-нибудь из дальнего конца зала или обеденного стола. Похоже, фройляйн села мне на хвост точно так же, как я сел на хвост Криминале. А к сему последнему я потихоньку подбирался все ближе и ближе, стараясь, однако, не привлекать к себе внимания. У меня крепло убеждение, что Криминале не тот, за кого себя выдает. Вернее, не тот, каким его считает публика и каким я его воображал, трудясь над сценарием в квартире Роз на Ливерпуль-стрит. Книга Кодичила усугубила мое заблуждение, но верить ей, судя по всему, не стоит, тем более что написал ее, как выясняется, вовсе не Кодичил. Безусловно, в Басло Криминале была тайна, но, кажется, не из тех, в которых нуждался я.

Истинная тайна этого человека, думал я, отнюдь не в сфере политических комплотов, экзотических интрижек и экстравагантных причуд. Нет, главная загадка — он сам: его диковинная, но совершенно неотразимая харизма; поразительная сила интеллекта; наконец, ощущение того, что он

может знать ответы на вопросы, которыми мучается наша сумбурная эпоха. Я был совершенно искренен, когда сказал профессору Монце, что Криминале производит впечатление. Да, он поистине впечатлял, причем сила его личности действовала не только на достопочтенных участников конгресса, но даже на такого скептического и вечно сомневающегося Фому, как я. Криминале был истинным писателем в кругу писателей и истинным политиком в кругу политиков, но чувствовалось в нем и нечто сверх того, он был *больше чем писатель* и *больше чем политик*. Даже его пресловутое отсутствующее присутствие и то казалось исполненным особого смысла. Сразу делалось ясно, что Криминале не большой любитель конгрессов и конференций, но в то же время в его лице всякий форум обретает свой естественный центр, свою точку опоры. Вокруг философа постоянно толпился народ, он был всем нужен. Казалось, исчезни Криминале, и в присутствии прочих делегатов не будет никакого смысла. И Басло возвышался над всеми неколебимой скалой, гордой в сознании своей царственности и независимости.

Самое удивительное то, что Криминале, невзирая на свою достаточно запутанную политическую биографию, не являлся приверженцем ни одной из идеологических доктрин. «Вы спрашиваете, в чем состоит моя теория? — переспросил он как-то при мне с непонимающим видом.— Какая теория? Я как философ в принципе против любых теорий. Я не Карл Маркс. Для меня главное — не переделать мир, а постараться его понять. И помочь в этом другим». С самого первого своего выступления (кстати говоря, люди, которым оно сначала активно не понравилось, теперь превозносили тот памятный спич до небес) Криминале держался подчеркнуто откровенно: в открытую проявлял тревогу, скептицизм, неуверенность, в открытую иронизировал. Помню, он сказал, что философия — наука ироническая. Мне такой имидж казался вполне симпатичным: либеральный гуманист из запоздалых — лично я к таким испытываю слабость. Мне нравится, когда человек высказывает свои убеждения без металла в голосе, не боится ставить под сомнение свои верования, спорит с Богом, пародирует кумиров и деконструктивирует классические тексты. Я и сам стараюсь придерживаться того же стиля, но по соображениям куда более заземленным. Я наблюдал за Криминале и чувствовал, как недоверчивая подозрительность уступает место искреннему интересу.

Разумеется, на самом деле, как будет видно из дальнейшего, я был очень далек от понимания этого человека. Но, подобно художнику, приступившему к работе над портретом, я уже сделал первый набросок, «схватил» форму черепа, линию профиля, общий рисунок характера. Международные конференции обладают странным свойством создавать атмосферу редкостной доверительности между совершенно посторонними людьми, которых свели вместе случай, приглашение с магической фразой «расходы оплачиваются» и дешевый авиабилет по системе АПЕКС. Такие встречи — одна из характернейших примет нашего времени. При этом от сотоварища по форуму никак не ожидаешь коварства и предательства, в отличие, скажем, от любовных партнеров, ненадежность которых, надо заметить, тоже является одной из характернейших примет эпохи.

Я беззастенчиво пользовался неформальностью обстановки, чтобы подобраться к своей жертве поближе. Я видел сильные стороны Криминале: старомодную учтивость, остроту ума, властность. Видел и его слабости: нескрываемое самомнение, ироническую уклончивость, вселенское безразличие. Он был одновременно толерантен и непримирим, великодушен и жесток. Лавиния требовала от меня, чтобы я «покопался в его любовных делишках», добыл ей «интриги, конфликты, проблемность», а меня все больше и больше увлекало нечто совсем иное — личность Басло Криминале.

Такие процессы не бывают односторонними: если я начинал проникаться доверием к Криминале, то и он понемногу привыкал к моему постоянному присутствию. Когда в самый первый вечер Илдико представила нас друг другу, он понятия не имел, кто я, откуда и зачем приехал в Бароло (да

и не нужно ему было это знать!). Наш мыслитель побывал за свою жизнь на стольких форумах, что давно перестал обращать внимание на списки участников, карточки на лацканах и прочую подобную ерунду. Уж во всяком случае его никак не могла заинтересовать такая мелкая сошка, как я. Конечно, несколько озадачивало, что он и Илдико вроде бы не признал — она как-никак отредактировала и издала несколько его книг, да и в его будапештской квартире бывала. Мою венгерскую подругу, правда, это обстоятельство ничуть не обескуражило. «А почему он должен меня узнавать? — удивилась она.— Басло живет не здесь, а там, наверху, в мире своих мыслей». «Но ты же с ним работала!» «Подумаешь. Что такое маленький редактор рядом с большим ученым? И то для меня была слишком большая честь. Я недостаточно большая, чтобы быть при нем даже маленьким-премаленьким редактором».

Я тоже был не слишком велик, но со временем Криминале начал вступать со мной в беседу — скорее всего просто потому, что я постоянно вертелся неподалеку. Мы общались за завтраком, во время коктейля, за обедом, за ужином. На конгрессе (как и на достопамятной церемонии присуждения Букеровской премии) я был самым юным и услужливым из всех гостей, поэтому Криминале взял за правило эксплуатировать меня по мелочам: то пошлет в деревню за книгами и газетами, то попросит сходить на почту (он получал какое-то фантастическое количество корреспонденции), то вдруг ему понадобится купить новый шелковый галстук. Свои просьбы философ излагал с обезоруживающей учтивостью, а я был рад стараться. Он и в самом деле был очень загружен работой — готовил курс лекций, писал статьи, замышлял какой-то семинар, ждал международных звонков и так далее. Разглядывая приходящие на его имя письма (титану писали президенты тихоокеанских республик, швейцарские банкиры, бразильские магнаты, русские и американские издатели), я думал, что такому человеку можно простить и капризы, и мелкие выходки, и буржуазные привычки.

Однажды после обеда он попросил меня подняться к нему в номер за некими брошюрами (помнится, это была знаменитая статья, в которой он полемизировал с Хайдеггером об иронии; Криминале решил раздать их участникам конференции — так взрослые раздают ребятне на детском празднике разноцветные воздушные шарики). Я открыл дверь доверенным мне ключом и оказался в обиталище великого человека. Это был «люкс», один из лучших на вилле — сразу чувствовалось, что здесь остановился почетный гость, любимый протеже *падроны*. Окна были расположены в центральной части фасада, с самым что ни на есть выигрышным видом на великолепные сады и дивное озеро. В гостиной на стене красовалось венецианское зеркало, не уступавшее по величине витрине универмага. Повсюду ковры и гобелены, изобилие антикварной мебели — больше всего мне запомнился письменный стол с золотой инкрустацией (кажется, он называется «эскритуар»). Вот, стало быть, как выглядит таинственное убежище Басло Криминале. Сюда он удалялся от мира, чтобы поработать. Я с любопытством огляделся.

На письменном столе, как и в будапештской квартире, царил идеальный порядок. Чисто — лишь несколько мелко исписанных страниц, очевидно, результат утренних трудов. Я не удержался, сунул нос. Это была незаконченная статья на английском о философии и теории хаоса — судя по стилю, для какого-нибудь высокоумного журнала. Больше ничего примечательного я не обнаружил. Несколько вскрытых писем, которые я сразу узнал — сам принес их с почты: одно по-венгерски, другое (подозрительно надушенное) на французском, какие-то финансовые документы на немецком — явно из банка. Будь на моем месте Лавиния, она бы непременно прочитала все до последней строчки, но я все-таки был из другого теста, да и не хотелось ставить под угрозу свое пребывание на этом райском конгрессе.

Я подошел к распахнутой двери в спальню и заглянул внутрь, не ожидая увидеть что-нибудь интересное. Прямо на меня уставилось

странное лицо, лишенное черт. Я вздрогнул и лишь потом сообразил, что это болванка, на которую надет парик Сепульхры. Так вот почему этой достойной даме удается столь быстро преображаться перед очередной трапезой! Дверцы гардероба были приоткрыты, поэтому я и туда заглянул. Впечатляющее зрелище: длинный ряд великолепных шелковых костюмов, дорогих рубашек, сногсшибательных галстуков — все сплошь от «Гермеса» и «Гуччи». Прочие вещи разложены с безупречной аккуратностью, уж не знаю кем — дотошной Сепульхрой, вышколенными слугами или самим педантичным мыслителем. Кроме того, в «люксе», как и во всех прочих номерах, имелся еще и отдельный рабочий кабинет — просторный и комфортабельный. Здесь тоже было чистенько и опрятно. На столе стоял компьютер — вот уж куда Лавиния сунулась бы первым делом. Я не стал. Вдоль стены выстроилась шеренга запертых кофров — как объяснил Криминале, именно там он хранил свои бумаги. Мне был выдан ключик от одного из них. Лавиния, конечно, вооружилась бы перочинным ножом и попыталась бы проникнуть в каждый из заветных ларцов, но, повторяю еще раз, я — не Лавиния. Я потыкал ключиком в один замок, в другой, нашел нужный кофр, вынул оттуда брошюры, запер кофр, вышел из номера и входную дверь тоже запереть не забыл. Внизу меня приветствовал обычный послеобеденный гул голосов и ласковая улыбка Криминале.

В общем, время работало на меня — контакт с философом налаживался. Но возникла другая серьезная проблема — не на шутку заскучала Илдико. Заседания не производили на нее должного впечатления, она все время норовила их прогулять. «Зачем эти люди читают друг другу уже напечатанное? — допытывалась она.— Послали бы текст по почте, да и дело с концом». «Тогда никакого конгресса бы не было»,— резонно объяснял ей я. «Но ведь здесь ничего не происходит! Никто никого не слушает. Писателям не нравятся министры, министрам не нравятся писатели. Дело с места не движется. Когда все разъедутся по домам, выяснится, что все осталось по-прежнему!» «Ну, не это главное. Главное — собраться вместе, поговорить, приобрести новый опыт». «Нет, не так! Я думаю, все они приехали сюда на каникулы, и им совсем неинтересно слушать эти скучные доклады. Почему бы не сказать об этом честно?» «Потому что, кто честный, тот гранта не получает». Илдико опустилась в кресло и зевнула. «Я все это слушать не обязана. Я работаю в издательстве. И мне ужасно скучно».

«Раз ты издатель, почему бы тебе не взять в оборот Криминале?» — спросил я. «Рано. Я еще не успела насладиться жизнью. Я впервые на Западе и хочу получить удовольствие. Ты должен устроить для меня шоппинг». «Ты же уже ходила по местным магазинам». «Это не шоппинг,— отрезала Илдико.— Вот в Кано есть «Некст» и «Бенеттон». Ты отвезешь меня туда завтра?» «Илдико, ты же знаешь, что катер на тот берег ходит дважды в сутки — утром и вечером. Тогда пропадет целый день, а я не могу себе позволить так надолго выпустить Криминале из поля зрения». «Ты что-нибудь раскопал? Что-то непохоже». «Да, он оказался более сложной личностью, чем я предполагал». «Ну а мне надоело здесь торчать!» — сказала на это Илдико. «Ты же сама говорила, что здесь рай»,— напомнил я. «Говорила. Но надолго застревать в раю скучно. Я уже хочу из рая на волю. Надо ведь мне хоть на Запад посмотреть, прежде чем домой поеду. Забудь на денек про своего Басло Криминале, ну, пожалуйста, а?» Но я был непреклонен: «Не могу. Вдруг он возьмет и снова испарится?»

Ответ, конечно, мог бы быть и повежливей, но именно поиск компромисса между личным и служебным помог мне выйти на новый этап моего криминалеведения. Чтобы хоть как-то умиротворить Илдико, я решил устроить катание на гребной лодке, которую можно было взять возле нашей Мемориальной купальни — близость к воде имела свои преимущества. На следующий день после обеда, когда рутинная буря уже выдохлась и рассосалась, я повез Илдико по озеру вдоль берега. С ветвей еще капало, вода

не успела восстановить свою обычную прозрачность. Я греб к мысу, где берег был обрывист и дик. Сюда по суше добраться было непросто — лесистый склон круто вздымался вверх, да и по голым скалам особенно не покарабкаешься. Илдико пребывала в мрачном расположении духа, раздраженно куталась в свитер. Время от времени обрыв чуть отступал, образуя симпатичные песчаные пляжики, где летом, должно быть, сущий рай, но в это время года несколько холодновато. Мы обогнули очередной утес, и тут Басло Криминале открылся передо мной в своей новой ипостаси.

Он сидел на сером песке совершенно нагишом, если не считать голубой спортивной шапочки на голове. Философ был не один. Рядом возлежала мисс Белли, еще менее одетая. Она чесала титану спину и что-то стрекотала с истинно итальянской напористостью. Внезапно она вскочила, пробежала по песку, вскарабкалась на большой камень, уселась там, широко расставив ноги, и застыла без движения. Криминале порылся в сумке, извлек оттуда фотоаппарат и поднялся. «Смотри, Криминале! — дернулась Илдико.— Что это он делает?» «Сиди тихо!» — зашипел я, ибо лодка угрожающе накренилась. «И эта ошизительная Белли! — взвизгнула Илдико.— Она с ним!» «Тихо ты, они нас не видят. Скорее разворачиваемся, и назад». Я налег на весла. С берега донесся смех. Волосатый, сатирообразный Криминале ловил в объектив обнаженную мисс Белли, вылитую Венеру Боттичелли. Спасительный утес заслонил нас, и я, обливаясь потом, выпустил весла.

«Ты видел? Видел?» — заголосила Илдико. «Вполне возможно, это просто невинное позирование. Обнаженная натура на природе». «А зачем тогда фотограф-то трусы снял? — накинулась она на меня.— Это ты невинный, а у тех двоих роман». «Ну, это еще не доказано». «Да? Что же, по-твоему, является доказательством? Зачем он тогда про Нобелевскую премию распинался, а? Он втрескался в эту ошизительную Белли!» «Маловероятно»,— все еще сомневался я. «Любовные интрижки всегда маловероятны. Взять хоть нас с тобой. Басло — ужасно привлекательный мужчина и от баб никак не может отлипнуть. Именно так он сбежал от Гертлы к Сепульхре. Не забывай, он — венгр». «Да, но при чем здесь мисс Белли?» «При чем мисс Белли? — язвительно воскликнула Илдико.— Ты что, совсем ослеп? Она тут главная красотка. И жалеет его, потому что у него на шее висит эта слониха. Она же сама нам в машине это сказала».

«Но он так привязан к Сепульхре. Ты ведь говорила, что он боготворит землю, по которой она ступает». «Ты видел, во что она превратилась? Разжирела, как корова. И потом, она жуткая дура. Криминале нуждается в ней, но не так уж сильно. Ты заметил, как он поглядывает на других женщин?» «А что же она его не пасет?» «За таким разве уследишь,— сердито буркнула Илдико.— Он умеет исчезать прямо на глазах. Раз уж его в маленькой деревне целый день не могли сыскать, толстухин надзор ему нипочем. Он может улизнуть от нее в любой момент. Во-первых, она слишком неповоротлива; во-вторых, он целыми днями заставляет ее сортировать бумажки. Вот если бы ты был богат и знаменит, клюнул бы ты на Сепульхру? Никогда. Все, вези меня назад, с меня довольно». Я не мог понять, чего это она так бесится. «На глубину не уплывай, я боюсь»,— заявила она, когда я снова взялся за весла. «Ты ведь не хочешь, чтобы они нас увидели? — спросил я.— Значит, надо держаться подальше от берега». «Ну что ж, валяй, топи меня, какая теперь разница»,— вздохнула она.

Я еще не вполне осознал значение произошедшего, но мое представление о профессоре Криминале в очередной раз кардинальным образом изменилось. Лавиния была бы вне себя от счастья: она оказалась права, и он вовсе не такой буржуазный, каким хочет казаться. За ужином, когда мы сидели в величественной столовой среди полотен Липпо Липпи, я разглядывал прославленного философа с удвоенным вниманием. Трудно было себе представить более респектабельного господина. Он сидел в самом центре; волосатое тело облекал импозантный костюм. С одной стороны от ученого восседала Сепульхра в слегка съехавшем набок парадном парике, с другой — Валерия Маньо, упакованная во что-то

умопомрачительно калифорнийское (перманентно загорелое тело максимально обнажено). Хозяйка говорила, не закрывая рта; мадам Криминале, как обычно, опекала супруга, строго следя, чтобы он ничего не оставлял на тарелке. Ни мисс Белли, ни мисс Уччелло в зале не было — очевидно, исполняли свои административные и секретарские обязанности. Дико было даже представить, что светоч мысли совсем недавно скакал упитанным козлом по холодному пляжу...

Вечером, раздеваясь перед сном, я совершил большую ошибку — поделился своими сомнениями с Илдико. Она уже лежала в нашей королевской постели, ее коротенькое, невесомое ночное облачение радовало глаз. «Все-таки это был обычный фотосеанс, я просто уверен»,— сказал я сдуру. Илдико вспыхнула, как порох: «Нет, у них самый настоящий романчик!» «Ты уверена?» «Конечно. Я ведь хорошо его знаю». Тут до меня наконец дошло. «И насколько хорошо ты его знаешь?» «Лучше не бывает. Или ты думаешь, что до тебя в моей жизни никого не было?» «Так ты была его любовницей?!» — возопил я. «Я же тебя не допрашиваю про твоих любовниц. Мы всего пять дней как встретились. А я живу на свете дольше, чем пять дней». «И когда это было?» «Не важно». «Так вот почему ты так сюда рвалась? Чтобы снова встретиться с ним?» Илдико отвернулась. «Я ведь с тобой. Чего тебе еще? А теперь оставь меня в покое. И не подползай — лежи где лежишь. Я устала, и вообще сегодняшний день мне не понравился».

Она непреклонно отгородилась от меня спиной и почти сразу же уснула, а я еще долго слушал плеск воды, разглядывал пятна лунного света на шторах и мучился злобой и ревностью, которыми заразился у Илдико. Однако пришлось признать, что она права: у нее своя жизнь, у меня своя. Когда обида поутихла, ее сменила растерянность — ситуация представлялась довольно запутанной. Я начал задавать себе кое-какие вопросы, и бессонная ночь была мне гарантирована. Неужели Илдико притащила меня на Бароло лишь для того, чтобы повидаться с Криминале? Если так, почему она обходит его стороной? И почему сама, безо всякого принуждения с моей стороны, охотно стала делить со мной комнату и постель?

Поведение Илдико казалось мне загадочным, даже коварным (все-таки она мне очень нравилась). Но еще более непонятным и вероломным представлялся мне Басло Криминале. Как он мог не узнать свою прежнюю любовницу? Я уже понял, что этот человек обитает в мире философских абстракций, витает где-то в стратосфере своих мыслей. От такого можно всего ожидать — даже того, что он не узнает былую возлюбленную. Хорошо, если так. А вдруг эта парочка заранее сговорилась соблюдать конспирацию — хотя бы из-за Сепульхры? Нет, тоже не складывается. Криминале, как выяснилось, без труда выскальзывает из-под контроля своей супруги. Кроме того, если он в заговоре с Илдико, что это за шуры-муры с мисс Белли? Я, конечно, в этом вопросе не могу быть беспристрастен, но, ей-богу, венгерские хитрости Илдико куда интересней итальянской мишуры прекрасной секретарши. Впрочем, любовь и секс подчиняются каким-то недоступным логике законам, раскодировать их не удавалось еще никому. Возможно, роман Илдико с мыслителем давно закончился и на Бароло ее привела запоздалая ревность?

Одним словом, вопросов возникало много. Но прояснились два момента. Во-первых, любовная жизнь Криминале и в самом деле оказалась куда более увлекательной, чем я думал. Меня это обстоятельство совсем не радовало, зато Лавиния наверняка придет в восторг. И, во-вторых, раз получается, что бывшая любовница Криминале, так сказать, перешла в мою компетенцию, между мной и титаном существует неожиданная связь, обусловленная специфическими коннотациями полового ритуала. Кто бы мог подумать...

Уснул я очень поздно. Зато проснулся рано. Погода переменилась: поверхность озера некрасиво топорщилась под нажимом холодного ветра и хлыстом дождя. За ночь у меня накопилось к Илдико изрядное количество вопросов, но попытка разбудить ее оказалась очередной ошибкой. Настро-

ение моей сожительницы соответствовало погоде — Илдико заявила, что даже завтракать не пойдет. Я вооружился зонтом фирмы «Берберри» (не забывайте, что на Бароло все было наилучшего качества) и побрел к вилле в печальном одиночестве. Криминале сидел за столом, но выглядел как-то кисло — все больше помалкивал, о Лукаче и венгерской философии не распространялся. Удивляло и то, что отсутствовала Сепульхра. Зато Козима Брукнер была тут как тут — сверлила меня подозрительным взглядом с противоположной стороны стола.

Погода не замедлила сказаться и на атмосфере конгресса. Илдико, естественно, на утреннем заседании не появилась. У Монцы был почему-то ужасно сосредоточенный вид, что, однако, не помешало ему вывалить на нас очередную порцию «объявлементи». Ветер и дождь поставили под угрозу запланированную на вечер пароходную экскурсию к вилле Беллавеккья с последующим концертом классической музыки. Если желающие все же найдутся, сказал профессор, им следует сразу после завтрака записаться в особый список, дабы шеф-повар приготовил для них ранний ужин, а администрация знала, какого размера катер заказывать. Затем Монца вопреки обыкновению удалился и на чтении докладов не присутствовал. А зря — выступление Мартина Эмиса на тему «От Холокоста до конца тысячелетия» было выше всяких похвал, да и ответная реплика Сузан Сонтаг удалась на славу. Я, правда, почти не слушал. Мои мысли, как это часто случается со смертными, были заняты иной темой — сексом. Точнее говоря, перипетиями сексуальной жизни профессора Криминале. Мне казалось, что я, наконец, подобрал ключик к этому персонажу, тут было над чем поразмыслить. Во время так называемой кофейной паузы я наведался в секретариат. Мисс Белли не было — только мисс Уччелло. Я попросил у нее список участников экскурсии и внимательно проглядел его.

Как я и предполагал, Басло Криминале в списке значился, а Сепульхра — нет. Он написал просто «Криминале», а следующей стояла фамилия «Белли». Я приписал внизу нас с Илдико и с ласковой улыбкой вернул список мисс Уччелло. «Ошизительная погодка»,— сказал я.

Второе утреннее заседание я прогулял. Спустился по продуваемой ветром аллее к Мемориальной купальне. Хотел сообщить Илдико о вечерней экскурсии, а заодно задать кое-какие вопросы. Но птичка упорхнула — за раму зеркала была засунута записочка: «Поехала на катере за шоппингом. Спасибо за доллары». Я пошарил по карманам своего пиджака, мирно висевшего в гардеробе. Кое-чего на месте не оказалось, а именно — моего бумажника. Интересно, подумал я, увижу ли я его (и ее, главное — ее, нет, его тоже) когда-нибудь вновь.

Когда любители классической музыки вечером собрались на пирсе, Илдико там, увы, не было. Экскурсантов оказалось на удивление немного — человек тридцать, не больше. Кто-то, видимо, так и застрял за «ранним ужином», остальных спугнули холодный ветер и дождь. Ночное озеро пенилось сердитыми гребнями, катер весьма негостеприимно покачивался на волнах. Я стал высматривать Басло Криминале. Ага, вот и он: щегольское адмиральское пальто, на голове — памятная спортивная шапочка. Вид у философа был столь внушительный, что казалось само собой разумеющимся — именно он должен ступить на борт первым. Криминале величественно проследовал на бак и уселся один на скамейку для двоих. Я подумал — может, подсесть к нему и сказать напрямую о телепередаче? Таиться далее было бы просто неприлично.

Но пока я собирался с духом, на катер впорхнула мисс Белли — в потрясающей алой ветровке, с чемоданчиком в руке. Она пробралась сквозь толчею, вырулила к Криминале и, одарив его вспышкой черных очей, уселась рядом. «Ошизительная погода, а?» — сказала она мыслителю. Я сидел немного сзади и отлично видел их обоих. Черная вода нервно приплясывала за бортом, темные тучи неслись куда-то над подсвеченными луной вершинами гор. Кто-то весьма решительно опустился на скамейку рядом со мной. «Ja, сейчас мы будем говорить по тушам»,— произнес мой новый сосед. Я обернулся и обнаружил рядом фройляйн Козиму Брукнер:

черный мейкап, черная куртка, черные кожаные штаны в обтяжку. В Германии такой наряд считается последним писком моды, а в других странах обычно ассоциируется с уличным хулиганством и садомазохизмом. «Почему бы и не поговорить,— вздохнул я.— Как вам конгресс?»

«Я с фами говорю не для того, чтобы "разговор поддержать"»,— заявила фройляйн. «В каком смысле?» «В том смысле, что я шелаю снать, чем фы тут занимаетесь». «Мыслю, как и все прочие». «Это был не философский фопрос.— Козима Брукнер понизила голос и оглянулась назад.— Фы говорили, что работаете на газету, которой уже не существует». «Да она всего пару недель как обанкротилась»,— запротестовал я. «Как ше тогда мошно на нее работать? — логично заметила она.— И еще фы говорили, что находитесь сдесь нелегально, под прикрытием. Как фаше настоящее имя?» «Фрэнсис Джей»,— честно сказал я. «Но именно под этим именем фы сюда и прибыли». «Получается, что так». «Хорошо. Кто фас прислал, кто фаши хозяева?» «Я вольный журналист, пишу статьи». «Не верю,— прошипела Козима, наклоняясь ко мне вплотную.— Мистер Тшей, или как фас там, если я сообщу профессору Монце о том, что фы не тот, за кого себя фыдаете, он немедленно фышибет фас отсюда».

Катер отчалил от пирса, и в лицо нам полетели мелкие брызги. «Что, вам, собственно, известно?» — спросил я. «Мне известно, что фы прибыли на Бароло с фенгерским агентом»,— прошептала фройляйн Брукнер. «Вы имеете в виду Илдико? Она не агент, она издательский редактор». «Зачем она сдесь?» «Ей нравится ходить по магазинам». «Не нушно считать меня дурой. Она работает на государственное исдательство, которое в прешние годы часто использовалось тля передачи шпионской информации с Запада на Фосток и с Фостока на Запад. Мы очень хорошо снаем этот канал». «Неужели? — заинтересовался я.— А откуда?» «Мистер Тшей, я навела справки в Прюсселе о фас обоих, причем не только в Интерполе, но и в других, более законспирированных организациях».

Катер выплыл на простор, и нас начало здорово качать. Вокруг раздались нервные взвизги, и большинство пассажиров предпочли ретироваться с палубы в салон. «Давайте-ка мы с вами тоже уйдем под прикрытие»,— попытался отшутиться я.

«Сядьте, мистер Тшей, или как фас там.— Козима Брукнер весьма крепко взяла меня за локоть.— Фы не понимаете всю серьезность ситуации. Сдесь происходит мешдународный конгресс, на котором присутствует ряд ведущих политических фигур, в том числе некоторые министры, за которыми охотятся террористы. Эти люди живут в постоянной опасности. А террористы обычно наносят удар именно в таких местах». «Надеюсь, вы не считаете меня террористом?» «Я не снаю, кто фы. Ясно одно — слушба безопасности фас прохлопала. Положение у фас незавидное. И я шелаю снать, с каким заданием вы сюда прибыли». «Ладно,— вздохнул я.— Как я уже сказал, я журналист, но я сейчас работаю на одну телекомпанию. Делаю передачу о Басло Криминале». Козима встрепенулась и впилась в меня взглядом. «Аха, так фы следите за Криминале? А удостоферение у фас есть?» Я сунул руку в карман — пусто. «Было. Но Илдико Хази решила отправиться по магазинам с моим бумажником». «Могли бы придумать что-нибудь более прафдоподобное»,— хмыкнула Козима. Я понял, что с фройляйн шутки плохи.

К счастью, катер уже подходил к берегу, из темноты выплыл деревянный причал. Мы оказались на территории еще одного поместья, но по части вкуса вилла Беллавеккья и в подметки не годилась нашей вилле Бароло. Здесь господствовал неоклассический стиль. Подсвеченные фонарями сады, по которым мы пробирались нетвердой после качки поступью, были тесно заставлены античными скульптурами невиданно пышной комплекции. Сразу же за пристанью нас встретили две задницы — основательные, монументальные. Такие запоминаются на всю жизнь и, всплывая из прошлого, способны согреть душу в час горестных раздумий или скверной погоды. Принадлежали эти несравненные ягодицы Марсу и Венере. У бога войны они были пошире, у богини любви порельефней и покруглее. Взгляд,

брошенный на эти шедевры ваяния с противоположной стороны, открывал картину не менее впечатляющую: фиговые листки лишь подчеркивали мощь Марсова естества и необъятность Венерина лона.

Но оглядываться назад не следовало, ибо кроме божественных гениталий я обнаружил там мрачно поблескивавшую черной кожей Козиму Брукнер. Больше я не оборачивался, но затылком чувствовал, что фройляйн не отстает от меня ни на шаг. Мы вошли в палаццо и оказались в просторной гостиной, еще гуще утыканной скульптурами из каррерского мрамора. Меж каменных истуканов обнаружилась живая душа — профессор Монца, он вновь оказался первым. «Аттенционе, битте! — захлопал он в ладоши.— По местам! Погода все хуже и хуже, поэтому наш кончерто будет корочче!» В зале изящным полукругом были расставлены золоченые кресла с герцогскими коронами на спинках; посередине возвышался подиум. Одним словом, настоящее аристократическое *суаре*, а я-то думал, что они остались в безвозвратном прошлом. В гостиной уже были какие-то люди: мужчины в дивных серых костюмах и женщины с шиньонами, в неполноценных платьях — то с отсутствующей спиной, то с зияющими боками. Очевидно, основную часть аудитории должны были составлять гости с Бароло, а поскольку нас оказалось немного, зал остался пустоватым.

Басло Криминале занял место в самой середине первого ряда, по соседству с профессором Монцей. Там же обосновалась и мисс Белли: подошла, что-то с улыбкой сказала, опустилась в кресло, и они мило склонились друг к другу — очевидно, изучали программку или предавались еще какому-нибудь невинно-интимному занятию. Я занял позицию чуть позади, откуда мог держать эту парочку под постоянным наблюдением. Надо было разобраться в их взаимоотношениях. Почти сразу же кто-то уселся рядом — естественно, то была Козима Брукнер. «Полагаю, мистер Тшей, пришло фремя поговорить начистоту,— прошептала она мне на ухо.— Фам следует снать, что я тоже не та, за кого себя выдаю». «В самом деле? Так кто же вы?» «Мой облик — камуфляж»,— сообщила фройляйн Брукнер, предварительно оглянувшись назад. «Значит, вы не из Еврокомиссии?» «Скашем так: я не из мясного отдела. Но шшшшшш».

Она кивнула на подиум, где появился маленький камерный оркестр: стильные юноши с длинными волосами, не менее стильные девицы с короткой стрижкой; все в белых рубашках и бабочках. Вскоре у пульта возник того же возраста дирижер с развевающимися длинными кудрями и в черном фраке. Дирижера приветствовал теплый шелест аплодисментов. Оркестр начал настраивать инструменты. Я услышал, как Криминале сказал: «Отменная акустика». Потом дирижер объявил: «Антонио Лючио Вивальди, «Le Quattro Stagione».— И перевел: — «Времена года». Вот еще один композитор, окончивший свои дни в Вене в полной нищете, а ныне воскрешенный, чтобы доставлять нам неоклассическое наслаждение, подумал я. Оркестр был и в самом деле хорош — он приступил к метеорологическому исследованию бедного Антонио Лючио напористо, со смаком. Я откинулся на спинку и стал наслаждаться.

Где-то посреди «Весны» Козима Брукнер снова зашипела: «Фы понимаете, что мы в десяти километрах от швейцарской границы?» Я помотал головой. «Фы понимаете, что Швейцария — финансовый рай всей планеты?» Я кивнул. «Фы понимаете, что Швейцария при этом не член ЕЭС?» Я сочувственно улыбнулся. «Фы понимаете, что швейцарская граница — рассадник фсефосможных преступных акций и финансовых слоупотреблений?» Я вежливо приподнял брови. «Фы понимаете, что десять процентов бюджета ЕЭС съедаются за счет незаконных перемещений капитала?» Я подумал и поднял брови еще выше. «Фы понимаете, что значительные суммы поступают в Швейцарию из Италии, а точнее, из этих самых мест?» Я пожал плечами. «Теперь фы понимаете, почему я нахожусь в Бароло». Тут «Весна» завершилась, и Козима сделала паузу.

С первыми же звуками «Лета» она ожила вновь. «Мешдународный конгресс — идеальное прикрытие для незаконных финансовых трансакций»,— прошипела фройляйн. «Послушайте, здесь же собрались писатели

и политики с мировым именем»,— не выдержал я. «Фот именно. Таких никто не заподозрит». «Не верю!» — яростно шепнул я. Дирижер кинул в нашу сторону раздраженный взгляд. «Я фам доверяю,— зашелестела Козима.— И мне нушна фаша помощь». «Но я ничего не смыслю в подобных вещах!» «А фы все-таки подумайте. И не забывайте — одно мое слово, и фас фышибут с конгресса. Это понятно?» «Чего вы от меня хотите?» «Видели ли фы на конгрессе что-нибудь подозрительное? Незаконные финансовые трансакции? Неошиданные контакты?» «Что-то не припомню». «Ничего необычного?» «Лето» достигло своего жизнерадостного апогея и закончилось. Я взглянул на первый ряд, проведать своего подопечного. Оказалось, что Басло Криминале и мисс Белли не досидели до конца летних красот — их кресла были пусты.

Примерно в середине «Осени» разверзлись хляби небесные. По крыше виллы замолотил яростный ливень; вскоре дождевые потоки начали проникать на мраморные полы музыкальной гостиной, подбираясь к ногам слушателей. Во время послеосенней паузы Монца подскочил к дирижеру, пошептался с ним и объявил: «Грацие, маэстро. Это были «Три времени года» Антонио Вивальди». Зал начал было хлопать, но Монца быстро оборвал эту процедуру. «А теперь пронто назад, на катер! Шторм будет бушеватти всю ночче, поэтому быстрей-быстрей на Бароло!» Мы торопливой гурьбой выкатились из зала и помчались по античному парку к пристани. Ливень неистовствовал. Венера и Марс изрыгали струи воды всеми своими выпуклостями и впадинами. На палубе находиться было невозможно, и все забились в салон. Криминале и мисс Белли отсутствовали, но, по-моему, никто, кроме меня и Козимы Брукнер, этого не заметил.

Катер спешно отчалил, и мы пустились в обратное плаванье. Озеро как-то противоестественно оцепенело. На севере, там, где громоздились Альпы, разыгрывалось нечто апокалипсическое: над горными пиками бешено сверкали молнии, выхватывая из тьмы неведомые заснеженные хребты; с головокружительной скоростью неслись тучи; крошечные деревья то кланялись до самой земли, то распрямлялись вновь. Громовые раскаты грохотали на манер фронтовой канонады. Потом очередная вспышка озарила неистово крутящийся смерч, вздымающий мирные воды в дальнем углу озера. Смерч проворно двигался в нашу сторону. Неустрашенной осталась только Козима Брукнер. Она встала впереди всех и приказала: «Шторм, вег!» Остальные пассажиры втянули головы в плечи. Шкипер гнал катер на предельной скорости.

Буря тем временем добралась и до Бароло — там затрещали деревья, нависшая над селением скала налилась зловещим сиянием, а сама вилла вдруг наполнилась светом и звуком. Я с беспокойством подумал об Илдико — успела ли она вернуться на остров с вечерним катером? Мы сами едва опередили смерч и выскочили на причал за считанные секунды до того, как вихрь достиг нашей части озера Кано. Волны затеяли безумную пляску, вода вспенилась и закипела. Поклонники классической музыки под проливным дождем домчались до встречавших нас мини-автобусов, которые доставили нас к воротам. Там стало окончательно ясно, что наш эдем осквернен. Главная аллея превратилась в бурный поток, ветви несчастных деревьев гнулись, хрустели и ломались.

Кое-как мы дошлепали по воде до палаццо. Свет внутри был какой-то мерцающий, жалюзи истерично колотились о стены. Навстречу выбежали лакеи с зонтами, норовившими вырваться у них из рук. В вестибюле и коридорах бесчинствовали сквозняки, полощa гобелены, опрокидывая бесценные вазы и торшеры. В поисках Илдико я прошел по всему этажу и, слава богу, обнаружил ее в гостиной. Горело аварийное освещение, отчего там царил полумрак. Илдико сидела на диване, со всех сторон обложенная покупками. Ее собеседник сказал: «Изобретатель зонтика был, несомненно, человеком гениальным. Переносная сворачивающаяся крыша на палке, весьма удобная для транспортировки — блестящая идея». Сначала я подумал, что это Криминале, но, подойдя ближе, убедился в своей ошибке. На

Бароло прибыл новый гость — очевидно, тем же катером, что и Илдико. Это был профессор Отто Кодичил.

10

«Гранд-отель Бароло» был не так уж плох...

Должен признать, что «Гранд-отель Бароло», располагавшийся посреди деревни, на самом берегу озера, оказался совсем неплох, да и вид на пристань из его окон был вполне живописен. Просторный сад, застекленная терраса, уютный ресторан (три звездочки) — очень даже мило, особенно если вы прибыли на остров откуда-нибудь издалека и в первый раз. Внушительный фасад, ухоженный парк, собственная лодочная станция, по вечерам в баре — симпатичный старомодный оркестрик из трех музыкантов. Одним словом, мечта какого-нибудь миланского предпринимателя, уставшего от деловой активности и желающего провести очаровательный уик-энд в обществе своей (а чаще чужой) супруги.

Но на человека, только что обретавшегося в раю, «Гранд-отель» производил, увы, совсем иное впечатление. Нам с Илдико его обширные залы показались тусклыми и убогими, постояльцы — жалкими и скучными, скатерти — сыроватыми, столовое серебро — несеребряным, меню — угнетающим, номер — тесным и несвежим. Вилла Бароло, надменно парившая над деревней, делала для отеля любое сравнение губительным. Но зато деревенская гостиница обладала одним неоспоримым преимуществом: в отличие от парадиза, изрыгнувшего нас из своих кущ, она была готова предоставить нам кров.

Этот прискорбный эпизод произошел на следующее утро после великой бури, которую, должно быть, вспоминают на Бароло и поныне. Когда мы с Илдико восстали ото сна, нас приветствовало ясное, абсолютно безмятежное утро. Под окнами Мемориальной купальни плескалось кроткое озеро, горы дышали свежестью и спокойствием. Я шел по парку, направляясь на завтрак (Илдико по своему обыкновению предпочла остаться в постели), разглядывал сломанные ветки и расщепленные стволы, разоренные клумбы и поваленные скамейки. Садовники уже приступили к работе, устраняя ущерб и восстанавливая поруганное совершенство. Прислуга во дворце тоже была при деле — убирала следы вчерашних разрушений, выравнивала покосившиеся картины. Но шторм оставил-таки на конференции свою мету, атмосфера неопределимым, но вполне ощутимым образом переменилась. Я понял это, едва вошел в столовую, где делегаты поглощали яичницу с беконом в странно торжественном молчании. Обведя зал взглядом, установил причину столь необычного поведения: Басло Криминале отсутствовал.

Неужели так и не вернулся? Через несколько секунд после того, как я занял место за столом, появилась Сепульхра. «Ну и ночка. Эта буря совершенно выбила меня из колеи!» — громогласно объявила она, высоко вскинув свою величественную прическу. Все молча смотрели, как она наливает чашку кофе, предназначенную отсутствующему титану. Сепульхра замерла, обернулась и спросила: «А где же Басло?» Соседи недоуменно пожали плечами. «Как, вы его не видели? Может быть, пошел погулять?» Сепульхра не казалась особенно обеспокоенной — видимо, успела привыкнуть к внезапным исчезновениям супруга. Я предпочел умолчать о вчерашних событиях и быстро закончил завтрак. Мне все еще казалось вполне вероятным, что Криминале сбежал с концерта, осененный очередной гениальной идеей. Возможно, решил изучить какую-нибудь статую или картину. Наконец, просто отправился почитать газету. Что же до мисс Белли, то она, будучи девушкой тактичной, составила великому мыслителю компанию. Вскоре она приведет его в целости и сохранности. Ну, не она, так полиция доставит рассеянного философа в служебном автомобиле.

До начала заседания оставалось полчаса, и я вышел в вестибюль, собираясь наведаться в старую Купальню — разбудить Илдико и накормить ее похищенным со стола рогаликом. Тут ко мне подошел дворецкий и очень вежливо попросил немедленно подняться к миссис Валерии Маньо — я знал, что *падрона* занимает апартаменты на верхнем этаже виллы. Поднимаясь по лестнице и глядя в накрахмаленную спину хозяйкиного вассала, я впервые ощутил нечто вроде нехорошего предчувствия. Неужели нашелся низкий человек, сообщивший *падроне*, что я попал на конгресс — ну не то чтобы мошенническим, но, скажем, не совсем честным путем. Если так, то кто мой разоблачитель? Опереточная Козима Брукнер со своими еврофантазиями, в которые, надо признаться, я ничуточки не поверил? Или же герр профессор доктор Отто Кодичил, приветствовавший меня накануне вечером самым ледяным образом? Ведь Герстенбаккер предупреждал, что Кодичил мне враг, и враг опасный.

Апартаменты миссис Маньо, как и следовало ожидать, были обширны и величественны. Дворецкий провел меня сначала через вестибюль, потом через гостиную, столовую, гардеробную в необъятных размеров спальню. Под окнами ползала горничная с ведром и тряпкой, истребляя натекшую во время бури лужу. Сама хозяйка сидела перед туалетным столиком в умопомрачительной пижаме и изучала в зеркале собственное отражение. Вид у нее был озабоченный, словно буря могла оставить разрушительный след и на ее дивных чертах. Рядом стоял профессор Монца в галстуке с эмблемой Корпуса королевских инженеров и печатью волнения на смуглом личике. В кресле у окна обозначилась солидная туша доктора Кодичила. «Вот он, наглый самозванец»,— возопил герр профессор. Итак, все-таки Кодичил.

Хозяйка обернулась, оглядела меня с головы до ног. «Вы Фрэнсис Джей?» «Да». «Наш проф говорит, что вы всех тут надули. Ну-ка, Отто, повтори, что ты нам рассказал». «Во-первых, этот молодой нахал самым воровским образом злоупотребил вашим гостеприимством,— начал Кодичил.— Это уже непростительно». «Боюсси, это моя упущенья,— взмахнул руками профессор Монца.— Вы пониматти, сеньора Маньо, организационе большой конгрессо — очень сложная задачча». «Да ладно тебе, Массимо,— успокоила его миссис Маньо.— Ты шикарно все организовал. В журнальчик всех переписал, как положено». «Ах, я должен был проверятти его документи!» — причитал безутешный Монца. «Чего еще ожидать от коварных служителей индустрии обмана? — вернул себе слово Кодичил.— Не буду скрывать, даже я поначалу попался на его удочку». «Что-то я не врублюсь,— сказала меценатка, заштукатуривая какую-то трещину в своем фасаде.— Он журналист, что ли?» «Именно так»,— подтвердил Кодичил. «Мы же вроде решили, что на этот раз пустим прессу?» «Да, но этот субъект мошенник и самозванец, в чем я имел возможность убедиться еще в Вене»,— наябедничал Кодичил. «Да? Ну давай, выкладывай»,— велела *падрона*. «Если позволите, я буду говорить прямо, не миндальничая». «Валяй, не стесняйся,— подбодрила его миссис Маньо.— Мы, калифорнийцы, всякие слова слыхали».

«Ну так слушайте.— Кодичил встал и принялся расхаживать по комнате.— Этот субъект, никчемная, малограмотная личность, объявился в Вене несколько дней тому назад и обратился ко мне за помощью. Сказал, что готовит телевизионное шоу о нашем многоуважаемом друге Басло Криминале». «Почему же он пришел к тебе, а не к Басло?» — спросила хозяйка, румяня щеку. «Моя дорогая леди,— уязвленно ответил Кодичил,— вы погружены в светскую жизнь и, вероятно, не знаете, что моему перу принадлежит фундаментальное исследование, посвященное жизни и творчеству титана мысли». Я хотел было оспорить это утверждение, но решил не усугублять своего и без того сложного положения. «Я согласился встретиться с этим проходимцем,— продолжал повествовать Кодичил.— С первого же взгляда я понял, с кем имею дело — с недостойным, нечесаным, неотесанным мужланом». «Да, у него и в самом деле такой брутальный вид»,— задумчиво сказала миссис Маньо, внимательно меня разглядывая. «Разве возможно, чтобы этакий тип делал передачу о самом Криминале? —

воскликнул герр профессор.— Вспомните Хайдеггера, который решительно отверг Öffentlichkeit, то есть внимание публики». «Еще бы. У него были на то веские причины»,— прокомментировала *падрона*.

«И тем не менее, я пошел ему навстречу,— скороговоркой продолжил Кодичил.— Он получил и кофе, и пирожные в лучшем из венских кафе, причем счет оплачивал я. Я предоставил в его распоряжение на целых два дня своего незаменимого помощника Герстенбаккера, дабы британский гость ни в чем не испытывал неудобства». «Какой ты пуся»,— одобрила его миссис Маньо. «Но на душе у меня было неспокойно. Мне не нравилась вся их затея». «Недостаточно кошерная?» — осведомилась хозяйка. «От нее — прошу простить за резкость — попахивало. К счастью, у меня на свете много влиятельных друзей. Я позвонил старому товарищу в Лондон, попросил навести кое-какие справки, и буквально через несколько часов чудовищный обман был разоблачен. Этот авантюрист утверждал, что представляет солидную телекомпанию, а на самом деле он работает на сомнительную фирму, где заправляют девчонки и молокососы. Занимаются они грязными сплетнями и дешевыми сенсациями. Судя по почтовому адресу, их контора расположена в самой непрестижной части Сохо, наимерзейшего из лондонских районов. Полагаю, вам известна репутация этого рассадника порока. Хотя, надеюсь, что нет». «К сожалению, котик, только про репутацию и слышала. Так ты считаешь, что это афера?» «Боюсь, именно так это и называется,— закручинился Кодичил.— И худшее еще впереди».

«Могу я тоже сказать пару слов?» — не выдержал я. «Чуть позже, котик,— сказала миссис Маньо.— Сначала хочу послушать профессора». «Так вот, далее выяснилось, что этот наглец нанял профессиональную соблазнительницу, поручив ей совратить моего ассистента, юношу безупречной чистоты, стал собирать про меня грязные сплетни! Тогда, во имя справедливости и благопристойности, я решил положить конец всей их мерзкой телеинтриге. Я строго-настрого велел британскому послу даже не помышлять о подобном шоу, причем выразил свою позицию по данному вопросу с предельной ясностью. Затем я отправился на Бароло. Кстати говоря, мне безумно неудобно, что я опоздал к началу конгресса. У профессора столько неотложных дел — лекции, экзамены...» «Ничего страшного,— успокоила его *падрона*,— мы тебя вообще-то и не ждали». «Итак, прибываю я на Бароло и кого же я здесь вижу? Прибегнув к новой чудовищной лжи, наш аферист угнездился на конгрессе и продолжает заниматься своими неблаговидными делишками». «Можно вопрос? — подал я голос.— Интересно, с чего это профессор взял, что ему позволят вмешиваться в судьбу серьезной телевизионной программы?»

«Помолчи пока, паренек,— заткнула меня хозяйка.— Массимо, как этот фрукт сюда попал?» «Боюсси, имело место кошмарное недоразуменья,— кинул на меня яростный взгляд Монца.— Я получил ла телеграмма из Будапешто от этого нашего незваного гостья. Он написатти, что хочет сочинятти статья для важной лондонской газетта. А теперь я узнаватти, что такой газетта в природе нетту!» «Такой газетта в природе нетту? — повторила миссис Маньо и повернулась в мою сторону.— Да, солнышко, похоже, ты в дерьме. Так зачем ты сюда пожаловал?» Монца не дал мне и рта раскрыть: «У меня мненье, что он решил насладицца красотами Бароло в компанья своей чужеземной метресса». «Ого, тут еще и киска замешана,— с возросшим интересом взглянула на меня *падрона*.— Как, ребята, дадим ему высказаться?» «Я бы выставил его отсюда без дальнейших разговоров,— заявил Кодичил.— Меня возмущает то, как современные пасквилянты вторгаются в частную жизнь порядочных людей».

«О'кей проф. Дай я сама в этом разберусь.— Миссис Маньо вновь окинула меня взглядом.— Это правда, что ты проник сюда с помощью вранья?» «Не стану скрывать. Моя газета, действительно, пару недель назад накрылась,— признался я.— Но это ведь не мешает мне опубликовать статью в другой газете». «А телепередача?» «Тут все чисто. Высокоакадемичная программа из престижной серии "Выдающиеся мыслители эпохи

гласности"». «Классное названьице,— кивнула *падрона*.— Я обожаю британские передачи. Ну, а зачем ты сюда пролез?» «Мне нужно было добраться до профессора Криминале». «Вот видите!» — воскликнул Кодичил. «Я одного не могу понять,— сказал я.— Почему господин Кодичил так настроен против нашей программы? Профессор Криминале — выдающийся философ современности. Что плохого, если телевидение сделает о нем передачу?» «Что ответишь, проф?» — поинтересовалась миссис Маньо. «По-моему, это ясно,— пожал плечами герр профессор.— Неужели вы думаете, что этот проныра, этот мошенник, изображающий из себя джентльмена, сможет сделать достойную передачу? И потом, разве Басло давал свое согласие на эту затею? В первую очередь следовало обратиться за разрешением к нему, раз · не так?» «Он разрешил?» — спросила меня хозяйка.

Пришлось сознаваться: «Не совсем. Сначала надо было разобраться, есть ли на чем строить программу». «Я же говорил — он здесь шпионил»,— оживился Кодичил. «Почему бы нам не спросить самого Криминале? — предложил я.— Я думаю, он будет польщен тем, что готовится передача о его биографии и достижениях». Тут Монца закашлялся и начал теребить узел галстука. «К сожаленья, это немножко невозможно,— промямлил он, обращаясь к хозяйке.— Дотторе Криминале после вчерашнего кончерто не наблюдался». «Ты что, шутишь? Неужто ты опять его упустил? Упустил, да?» «Не совсем,— окончательно скис Монца.— Дотторе имеет привычку исчезатти. Надеюсь, что за ним приглядывает моя ассистента. Вы помните мисс Белли?» Миссис Маньо расхохоталась: «Час от часу не легче. Ты хочешь сказать, что пропал не только Басло, но и красотка Белли?» «Мы прилагаем все усилья. И слуги, и карабиньери...» «Вот что, Массимо, чем штаны просиживать, немедленно отправляйся и разыщи Криминале. Иначе от твоего конгресса рожки да ножки останутся. Все эти люди примчались сюда только из-за Басло». «Позвольте спросить, как вы собираетесь поступить с этим наглым субъектом?» — вернул ее к основной теме Кодичил. *Падрона* развернулась ко мне и со свойственной ей решительностью объявила вердикт: «А ты, сукин сын, катись отсюда. Пронто! И чтобы в Бароло я тебя больше не видела». Возле меня как по мановению волшебной палочки возник дворецкий. Герр профессор улыбнулся с мрачным удовлетворением.

Слово *падроны* на вилле было законом, и еще до начала утреннего заседания мы с Илдико уже были выдворены за ворота. Как сказал Джон Мильтон, описывая сходный случай, «отринуты, устыжены изгнаньем». Наш багаж был свален позорной грудой на земле. Встряхнувшись, мы уныло побрели в деревню. Вот почему перед полуднем мы томились в номере единственного на острове отеля, разбирая свои посрамленные сумки. «Ну почему? За что? — горько вопрошал я, раскладывая в шкафу свои носки и трусы.— Разве делать передачу про Басло Криминале — это преступление?» «Надо было с самого начала рассказать Монце, зачем мы приехали»,— попрекнула меня Илдико. «А кто учил меня жить немножечко по-венгерски?» «Надеюсь, ты не думаешь, что во всем виновата я? — парировала она.— Это было бы уж чересчур по-венгерски».

«Ты понимаешь — нас выперли, выгнали, больше на виллу мы не попадем! *Падрона* запретила нас на пушечный выстрел подпускать! И все из-за этого ублюдка Кодичила!» «Из-за профессора? — спросила Илдико.— А мне он показался довольно симпатичным». «Он не симпатичный,— отрезал я.— Он решил во что бы то ни стало меня погубить. Испортить и мою передачу, и мою репутацию, и мою карьеру». «Не слишком ли ты много о себе воображаешь?» «Какое там. Я маленькая букашка, а он настоящий гиппопотам. Чего ему не сиделось в Венс со своими студентами, зачем он потащился на Бароло?» «Думаю, не из-за тебя,— сказала она.— Кстати, та комната была намного лучше, чем эта». «Если не из-за меня, то зачем? Он тебе вчера ничего такого не говорил?» «Вчера? Когда вчера?» «Ну ты же сидела с ним рядом, болтала о чем-то. Помнишь?» «А-а, когда я вернулась после шоппинга? Показать, что я купила?» «Не стоит. Лучше

расскажи про Кодичила». «Ты свинья! — расстроилась Илдико.— Ты не хочешь смотреть на мои покупки?» «Ладно-ладно,— смягчился я.— Извини. Ну, что ты там приобрела?»

Только теперь до меня дошло, что постигший нас удар судьбы не произвел на мою спутницу особого впечатления — ее мысли были заняты куда более приятными материями. Первая вылазка в мир западных магазинов подействовала на Илдико сильнее наркотика, и мне пришлось выслушать подробнейшее описание всех ее торговых похождений. Она не только посетила все магазины и лавчонки городка, расположенного на противоположном берегу озера, но и запомнила каждое название и каждую вывеску. Бедный городишко и не подозревал, какой торнадо обрушится на его мирные улочки с прибытием утреннего катера. Долларов, присланных Лавинией в Будапешт на поиски Криминале, хватило ненадолго, но Илдико открыла для себя волшебные свойства маленькой пластиковой карточки. Оказывается, достаточно кое-как воспроизвести на счете нечто, напоминающее мою подпись, и проблем с оплатой покупок не будет. «Все были так милы со мной»,— взахлеб рассказывала Илдико. «Неужели ты расплачивалась моей кредитной карточкой? Какой ужас! У меня давно нет никакого кредита!» «А они сказали, что все в порядке». «Ты хоть понимаешь, что это незаконно?» «Да, это немножечко по-венгерски»,— согласилась она.

«Ладно. Сколько денег ты просадила? Много накупила?» «Ах, ты все-таки хочешь посмотреть?» Она с готовностью раскрыла кожаный чемодан «Армани» (что-то раньше я его не видел) и стала вынимать оттуда несметное количество пластиковых пакетов. «Ты все это купила?» — пролепетал я. «Послушай,— с достоинством ответила Илдико.— Ты же знаешь, я купила все это для тебя».

Для меня были куплены: три платья расцветки «День счастья»; туфли цвета электрик; ядовито-пурпурная куртка на меху; мотоциклетные очки; бейсбольная шапочка с надписью «Кливлендские питчеры»; велосипедные панталоны в обтяжку (с розовой искрой); звездно-полосатые трусики; бюстгальтер с британским флагом; майка «Балет Шпандау»; еще одна майка с лозунгом «В задницу Жака Делора!».

«Ну как, правда здорово?» — спросила Илдико. «Честно?» «Конечно». «Твоя венгерская мини-юбка мне нравится куда больше».

Илдико бросила на меня трагический взгляд. «Но ведь она венгерская! А эти вещи — настоящие западные. Это же шоппинг!» «Илдико, ты в них будешь выглядеть точь-в-точь как все остальные». «А разве ты хочешь, чтобы я была хуже других? К тому же в Будапеште я буду в них не такая, как все остальные». «Больше всего мне нравилось то, во что ты была одета, когда я впервые тебя увидел». «Ах, так тебе не нравится моя одежда. Значит, я тоже для тебя недостаточно хороша?» Мне на ум пришла еще одна литературная цитата, на сей раз из Генри Джеймса, про обманчивость одежд. «Вовсе нет. Во-первых, эту одежду ты только что купила. А во-вторых, я не считаю, что одежда — зеркало души»,— сказал я, но без внутренней убежденности. Хорошо было Генри Джеймсу рассуждать, в его времена не выпускали маек с надписью «В задницу Жака Делора!». «Моя одежда — это и есть я. Это мой стиль,— категорически заявила Илдико.— Я думаю, ты меня больше не любишь. Ты на меня разозлился. И все из-за того, что когда-то давно у меня был совсем маленький роман с Криминале Басло». Этот прием сработал, я сразу почувствовал себя скотиной. «Ничего я не разозлился. Какое я имею право на тебя злиться? У тебя своя жизнь, у меня своя. Отношения с Криминале — твое личное дело».

«Так я тебе все-таки нравлюсь?» — спросила она. «Нравишься. И ты сама это знаешь. Мне нравится твоя одежда, а еще больше мне нравится, когда ты вообще без одежды». «Можешь это доказать?» «Могу». «Только сначала я примерю для тебя свои новые трусы и лифчик». Илдико моментально все с себя скинула и облачилась в цвета британского (сверху) и американского (снизу) флагов. «Ну как тебе?» «Сдохнуть можно»,— честно признал я. «Вот видишь, для тебя я стала англичанкой». «Да-да, но снимай все это скорей». «Прямо скорей?» «Да. Поехали-поехали!» И мы

поехали — на старой, усталой итальянской кровати, в пыльном занюханном номере «Гранд-отеля», а вкруг нашего ложа громоздились бесчисленные пластиковые пакеты, набитые пестрым тряпьем. Происшествие, безусловно, было приятным, но не без пикантного привкуса взаимных полуобид. Впрочем, должен констатировать, что даже радости плоти в отрыве от райских кущ слегка утратили парадизность. Нагота и та перестала казаться восхитительным атрибутом Эдема. Теперь я очень хорошо понимал, что имел в виду Мильтон, когда описывал Адама и Еву в аналогичной ситуации:

Отчаявшись, утратив добродетель,
Сидят они, безгласны и мрачны.

Всю плачевность нашего положения я смог обрисовать Илдико лишь значительно позднее, когда, пообедав, мы сидели на гостиничной террасе и пили кофе. Мы рассеянно взирали на зимнее озеро, слегка затуманенное, но равнодушное, как зеркало. Оно восстановило свой обычный жемчужно-серый оттенок, хоть кое-где еще плавали обломанные ветки и прочие следы отгремевшей бури. «По-моему, сегодня у тебя не очень хорошее настроение»,— заметила Илдико. «Не очень. Мы не можем вернуться на виллу, у нас нет денег, и мы потеряли Басло Криминале». «Мы можем путешествовать,— предложила она.— Вчера в одной туристической фирме я набрала отличных буклетов». «Илдико, ради бога. Мы работаем, а не развлекаемся. Я должен готовить передачу про Криминале. Будь проклят этот гад Кодичил, который приехал и все испортил». «Почему он это сделал?» «Потому что боится. Не хочет, чтобы я копался в старых историях. Вдруг обнаружу нечто такое, чего мне знать не положено?» «А что тебе знать не положено?» «В том-то и штука. Понятия не имею. Может, я уже что-то раскопал или был близок к тому? Но определенно что-то есть. Иначе Кодичил не примчался бы. Где ты с ним вчера встретилась? Он уже был на вилле, когда ты...» «Вернулась после шоппинга? Нет, он ждал в другом месте». «В каком?»

«Когда я закончила шоппинг, мне пришлось взять такси — слишком много получилось вещей»,— начала рассказывать Илдико. «Наверно, целый самосвал»,— не удержавшись, вставил я. «Я приехала на пристань как раз к вечернему катеру. Это очень удобно — вечерний катер. И там был большой толстый человек в зеленом пальто и шляпе с маленьким перышком». «Это и был профессор Кодичил,— констатировал я.— Ты его когда-нибудь раньше видела?» «Конечно, нет. Он сказал, что никогда не бывал в Будапеште. Спросил, говорю ли я по-немецки. Я сказала да. Тогда он спрашивает, знаю ли я виллу Бароло, где происходит важный конгресс». «Ага, значит, его никто не встречал, просто взял и с неба свалился». «Да, я думаю, он с неба свалился,— подтвердила Илдико.— Я говорю, я как раз туда еду, могу показать дорогу. Взяла его с собой на катер, и мы только вернулись, а тут как начнется буря». «На катере вы о чем-нибудь разговаривали?» «А как же, ведь я очень вежливая».

«Он о себе что-нибудь рассказывал?» — допытывался я. «Говорит, я — очень важный профессор». «Ну ясное дело». «И еще про Монцу сказал, что тот тоже очень важный профессор и его старый коллега». «Стало быть, они друзья-приятели». «Непохоже, что приятели»,— выразила сомнение она. «Кто же его встретил на вилле? Во всяком случае, не Монца, тот был с нами». «Думаю, миссис Маньо. Сначала для него не было свободной комнаты, но он долго с ней о чем-то говорил, и она приказала слугам что-нибудь для него найти. А почему ты мне задаешь столько вопросов?» «Потому что все это крайне странно,— ответил я.— Конгресс закрытый, дополнительных делегатов не предполагалось. Нас же предупреждали: кто не приедет в Милан в назначенный день и час, на конгресс допущен не будет. Да и не было Кодичила в списках участников. Конгресс, собственно говоря, близится к концу. Хозяйка Кодичила явно не ждала. Зачем же тогда, спрашивается, он приперся туда, куда его не приглашали и где его не ждали?» «Он сказал, что опоздал из-за экзаменов». «Ах, неужели? — скри-

вился я.— Да он своих студентов в глаза не видывал. Слишком занят политическим интриганством, ему не до университета. Вот для чего Кодичилу нужны так называемые ассистенты — они делают за него всю работу. Кто-то навел его, это уж точно. Скорее всего, его дружок Монца».

«Куда навел?» — не поняла Илдико. «Я хочу сказать, что Монца сообщил Кодичилу обо мне. Другой причины для внезапного появления герра профессора не вижу». «Ты слишком много о себе воображаешь,— фыркнула она.— Он сказал, что это очень важный конгресс и он должен присутствовать. Не забывай, что он написал великую книжку про Криминале, а Басло здесь — почетный гость». «Не писал он никакой великой книжки о Криминале. И это особенно странно. Зачем появляться перед человеком, который эту книгу сам и написал?» «А кто ее написал?» «Да сам Криминале,— просветил ее я.— Потом переправил рукопись в Вену и опубликовал под именем Кодичила». «Кто тебе это сказал?» «Разве ты не знаешь эту историю? Ее рассказал мне Шандор Холло. Он и отвез рукопись в Вену». Илдико расхохоталась. «Холло Шандор? Неужели ты поверил этому болтуну? За всю свою жизнь Шандор не сказал ни слова правды. Уж я-то его знаю как облупленного». «Вообще-то мне тоже так показалось,— признался я.— Но если книгу написал не Криминале, то кто?» «Профессор Кодичил». «Откуда ты это знаешь?» «Он сам мне сказал. Вечера вечером. Предлагал заключить контракт на венгерское издание. Разве он стал бы это делать, если бы книжку написал Криминале?» «Кто его знает». «Он сказал, что это совершенно выдающийся труд, плод его многолетних изысканий. Он пролил немало пота, пока сочинял». «Отопление, наверно, было слишком жаркое,— съязвил я, но все же вынужден был признать: — Да, вряд ли он стал бы светиться в присутствии подлинного автора. Разве только заранее знал, что Криминале исчезнет».

Илдико отставила чашку и испытующе воззрилась на меня. «Так Криминале исчез еще вчера?» «Да. Смылся в разгар концерта». «И где же он?» «Понятия не имею. Скорее всего, залег с мисс Белли в каком-нибудь прибрежном отеле. Наслаждается жизнью». «И Белли с ним? — скорбно спросила Илдико.— Надо его найти». «Надо-то надо, вопрос — как. Похоже, на сей раз он решил исчезнуть всерьез и надолго. Монца выглядел очень встревоженным». «Совсем плохо. Как же это произошло?» «Только что сидел, слушал «Три времени года», потом смотрю — нет ни его, ни ее. Испарились». «Ты поехал на концерт без меня?» — сказала на это Илдико. «Естественно. Тебя ведь не было, ты мародерствовала в Кано».

Тут она ревниво прищурилась. «И ты, конечно же, был не один. С кем ты был? С мисс Уччелло?» «Нет, я не был с мисс Уччелло. Если уж хочешь знать, я сидел с Козимой Брукнер». «Это еще кто?» «Такая дама из мясного отдела Еврокомиссии. Но потом выяснилось, что она совсем из другого отдела». «А, в черных кожаных штанишках?» — сообразила Илдико. «Вот-вот». «Неужели они тебе понравились? — с горечью произнесла она.— Что же ты раньше не сказал? Я бы себе тоже такие купила». «Они мне ни капельки не нравятся. И вообще тебе не из-за чего ревновать». «А я люблю ревновать»,— отрезала она. «Понимаешь, эта Козима Брукнер — очень странная дама,— стал объяснять я.— Не знаю, что она собой представляет, но ее пристрастие к оперетте очевидно». «Значит, ты в нее не влюблен?» «Ни в коем случае». «А вот она к тебе неравнодушна». «Очень в этом сомневаюсь. С чего ты взяла?» «С того, что она сидит сейчас вон за тем столиком и глаз с тебя не спускает. И на ней все те же черные штанишки». Я резко обернулся и в самом деле узрел Козиму Брукнер, с задумчивым видом любовавшуюся видом на озеро.

Поймав мой взгляд, фройляйн слегка кивнула — дала понять, что нуждается в моем обществе. «Извини, я на минутку отлучусь,— сказал я.— Черные Штанишки зовут». «Свинья!» — прошипела Илдико мне в спину. Козима тем временем продолжала любоваться пейзажем. Когда я приблизился, она, не поворачивая головы, приказала: «Не привлекайте к нам излишнего фнимания. Известно ли фам, что птичка улетела?» «Известно». «Исчез с концами,— сообщила она.— Весь день отсутствовал. Я подумала,

фам это будет интересно». «Да я об этом знаю». «Мошет быть, фы также снаете, где он сейчас?» «Где-нибудь неподалеку, с мисс Белли». «Нет. Сегодня на рассвете он пересек швейцарскую границу». «Как так?» «Я ше говорила, что до нее отсюда всего десять километров. Наши люди ведут там круглосуточное наблюдение. Фремя зафиксировано точно: шесть часов тридцать пять минут». Я уставился на нее во все глаза. «Какие еще люди?» «Наши люди». «И вы следили за Криминале?» «Не только за ним. Мы полагаем, что он — лишь винтик». «Винтик чего?» «Этого я фам, разумеется, сказать не могу».

«Послушайте, вы не слишком увлекаетесь шпионскими романами? Я слышал, что с окончанием холодной войны они вроде бы вышли из моды». «Мне некогда читать литературу,— ответила фройляйн.— А мешдународные проблемы не кончаются никогда. Многие только начинаются. Теперь ахтунг. Не смотреть в мою сторону». Козима внимательно обвела взглядом террасу, а потом проворно сунула мне в карман рубашки какую-то бумажку. «Что это?» — спросил я. «Его адрес в Швейцарии». «И что я должен делать? Прочесть в туалете, а потом съесть?» «Это необязательно,— успокоила она меня.— Объект остановился в Лозанне в известном отеле. Когда выйдете на след, свяжитесь со мной, gut? Если вам придется отвечать на вопросы, я должна оставаться в стороне». «Зачем мне с вами связываться?» «Мне нушна информация: его связи, передвижения, намерения». «Да с какой стати я буду на вас работать? Мне уже не нужно бояться, что вы меня вышибете с конгресса. Меня и так благополучно вышибли». «Надеюсь, фы не подозреваете меня? Я бы ни за что так не сделала — фы слишком ценный агент. Я хочу верить, что у фас есть идеалы и будущее Европы фам небезразлично».

«Каждую ночь перед сном молюсь о здоровье Жака Делора,— уверил я ее.— Но неужели вы в самом деле думаете, что философ масштаба Басло Криминале тратит свое драгоценное время на контрабанду говядины через швейцарскую границу?» «Нет, я так не думаю. В Швейцарии достаточно развито собственное животноводство. Существуют проблемы, связанные с финансами. Я вижу, фы пока еще не разобрались в ситуации». «Это верно». «Хочу повторить вопрос, который уже задавала фам вчера. Видели ли фы в Бароло что-нибудь подозрительное?» Тут мне в голову пришла одна светлая мысль. «Пожалуй, да. Полагаю, вам следует присмотреться к одному человеку. Имя — Кодичил, прибыл вчера вечером». «Вчера вечером. Аха, это интересно. Фы думаете, он замешан?» «Уверен. Выдает себя за профессора философии из Вены». «Мой друг, это очень ценное сообщение,— озабоченно сказала Козима.— Фы следите за Криминале, а я буду следить за Кодичилом. Будем обмениваться информацией». «А как же, каждый должен выполнять свой долг перед Европой»,— нахально заявил я. «Правильно,— кивнула фройляйн Брукнер.— Теперь мне пора назад, на виллу. И помните — мы с фами не встречались. Выходите на связь завтра вечером. Мне вслед не смотреть. С естественным видом возвращайтесь к своей приятельнице».

Честно говоря, я понятия не имел, как мне быть с Козимой Брукнер, которая явно затесалась в мое повествование из какого-то иного жанра. Но из песни слова не выкинешь, и фройляйн Брукнер мне не примерещилась — она бесшумно удалялась, обходя стороной пальмы в кадках и официантов. Вот она исчезла, и я подумал, что точно так же ушла от меня волшебная жизнь в райском саду, именуемом Бароло. Мало мне было загадочного появления Кодичила, а теперь к этому прибавилось еще и загадочное исчезновение Криминале, того самого Криминале, которого я считал рыцарем без страха и упрека, эталоном добродетели, образцом для подражания. Печальным вернулся я к Илдико, которая не преминула воспользоваться моим отсутствием: заказала французский коньяк и мороженое — самое дорогое во всем меню. «Я сказала, чтобы все записали в твой счет»,— с вызовом объявила она. Я отреагировал вяло: «А, чего там. Семь бед, один ответ». «Как поживают твои Черные Штанишки? Она призналась тебе, что потеряла голову от любви?»

«Илдико, если она и потеряла голову, то совсем не от любви. Ее интересует Криминале. Она установила за ним слежку. Считает, что он замешан в каких-то евромахинациях». «Что такое евромахинация?» — заинтересовалась Илдико. «Это когда люди проворачивают незаконные операции с финансами — нелегально перевозят их через границу, нарушают правила, надувают вкладчиков и так далее. Налоги, которые меня заставляют платить,— это тоже евромахинация». «Ты ведь не думаешь, что Криминале Басло занимается такими вещами?» — укорила меня она. «Конечно. Это полный абсурд. Но Козима Брукнер придерживается иного мнения». «Тогда мы должны его разыскать.— Илдико схватила меня за локоть.— Это очень важно». «Знаешь, от Козимы, во всяком случае, есть хоть какая-то польза: она сообщила, где он находится». «Правда? — возбудилась Илдико.— И где он?» «В Швейцарии. В Лозанне». «Ну конечно, где же еще,— задумчиво пробормотала она.— Надо ехать в Лозанну». «Увы, у меня нет денег. Спасибо шоппингу». «Достань»,— все так же возбужденно потребовала Илдико. «Это будет зависеть от Лавинии. Я поднимусь в номер и попробую ей позвонить. А ты сиди тут и, ради бога, ничего больше не заказывай».

Лавиния оказалась у себя в номере. «Это черт знает что такое, Фрэнсис,— возмутилась она.— Он опять удрал? И куда на сей раз? В Южную Америку?» «Он в Лозанне». «Что он там делает?» «Не знаю. Он сбежал с конгресса, прихватив самую смазливую секретаршу. И половину европейского запаса говядины». «Это ты так шутишь, да?» — не поняла Лавиния. «Говядина, возможно, затесалась сюда по ошибке, а остальное — абсолютно серьезно. Еще серьезнее то, что я совершенно на мели. Остался без гроша». Лавиния завизжала: «Ты с ума сошел! Мы израсходовали почти весь наш бюджет! Если бы ты знал, почем в Вене билеты в оперу!» «Кстати, о Вене. От вас прилетел профессор Кодичил и жутко мне напакостил». «Да, тут все говорят, что он редкая сволочь. Член масонских лож и прочих габсбургских штучек». «Откуда информация?» «Помнишь малютку Герстенбаккера? Я тут провела с ним пару вечеров. Он знает о Вене все-превсе, а если чего-то не знает, так оно того и не стоит».

Тут меня осенило. «Лавиния, а ты часом не говорила ему, где я?» «Не помню. Может, и говорила. Мы с ним вообще о многом болтали». «Так вот, больше ничего ему обо мне не рассказывай». «Ты думаешь, он на нас стучит?» — озаботилась она. «Не знаю. Но у меня тут положение ужасно сложное. Постарайся выведать у Герстенбаккера, почему Кодичил отправился на Бароло». «Прямо сейчас ему и позвоню». «Давай-давай. И немедленно вышли мне денег. Я остановился в "Гранд-отеле Бароло"». Лавиния немедленно насторожилась. «В "Гранд-отеле"?»— с угрозой переспросила она. «Да это маленький отельчик, всего на три звездочки. Все остальные зимой закрыты». «Разве ты живешь не на вилле?» «Меня вышвырнули оттуда. Кодичил постарался. Итак, поговори с Герстенбаккером и не забудь про деньги. Мне даже за гостиницу заплатить нечем».

«Фрэнсис, я могу быть уверена, что ты разумно расходуешь бюджетные средства? Может, ты решил там шоппингом заняться или с какой-нибудь девкой шикуешь?» «Господи, Лавиния, ты ведь меня знаешь,— обиделся я.— Так ехать мне за Криминале в Лозанну или нет?» «Ой, не знаю, солнышко. У нас такой ограниченный бюджет». Я был близок к отчаянию. Илдико заразила меня своим азартом — неужели придется сходить с дистанции, когда финиш так близко? До загадочной и опасной истины было уже рукой подать. «Слушай, Лавиния, дело принимает очень интересный оборот. Криминале скрылся, Кодичил явно напуган, а тут еще подключился отдел финансовых преступлений ЕЭС. Надо ковать железо». «Ох, не знаю, не знаю...» «Ты только представь, передачка под названием "Выдающийся мыслитель эпохи гласности сбегает с итальянской красоткой", а?» «Хм...» — сказала Лавиния. «Или так: «Победитель Хайдеггера спекулирует говядиной», каково?» После кошмарной паузы она ответила: «Да, Фрэнсис, звучит классно. О'кей. Лечу в Лондон, подою наше «Эльдорадо». Им это понравится. Жди перевода».

Благодарение небесам, перевод пришел на следующее же утро. Мы смогли заплатить по счету (невероятно грабительскому) и сели на катер, следовавший в Кано. Вилла Бароло растаяла вдали, растворившись среди кипарисовых рощ, а вскоре мыс скрыл от нашего взора и сам остров. Он моментально превратился в нечто эфемерно-нереальное, вроде профессора Басло Криминале.

В Кано мы погрузились в скрипучий автобус и незадолго перед полуднем оказались на миланском вокзале — эпопея с конгрессом завершалась там же, где началась. Увы, наш отъезд даже отдаленно не походил на триумфальное прибытие — ни тебе оркестра, ни репортеров. Илдико вырядилась в велосипедные панталоны с искрой и антиделоровскую майку, а на голову нацепила бейсбольный картуз, но ее ждало страшное разочарование: в этом потрясном наряде она напрочь терялась в пестрой разноязыкой толпе. Мы миновали зал ожидания, купили билеты, поднялись по эскалатору на платформу и вскоре уже сидели друг напротив друга в вагоне великого трансъевропейского экспресса, только на сей раз путь наш лежал не на юго-запад, а на север, в Лозанну.

Парадиз окончательно уплывал в безвозвратное прошлое; впереди ожидали тревоги и превратности судьбы. За дни, проведенные на Бароло, я проникся к Басло Криминале уважением и симпатией. Тем труднее было понять историю с исчезновением. То есть я, конечно, отдавал должное прелестям мисс Белли, особенно в сравнении с супружескими достоинствами Сепульхры, но как быть с Козимой Брукнер? Нет, фройляйн со своими дикими фантазиями просто нелепа. Криминале слишком респектабелен, слишком высокоумен, слишком *абстрактен*, чтобы участвовать в каких-то евроспекуляциях. Что действительно загадочно, так это испуг Кодичила. Некто явно навел герра профессора на меня — то ли юный Герстенбаккер, то ли Монца, то ли кто-то из делегатов. Но зачем? Разве может какая-то телепередача повредить такому гиганту, как Криминале? А может быть, Кодичил переполошился по совсем иному поводу? Вдруг я, сам того не ведая, раскопал нечто пикантное — на Бароло или еще в Вене? Илдико — тоже загадка. Возможно, с ее точки зрения, эскапада философа — коварное предательство, но все же почему моя венгерская подруга с таким рвением устремилась в погоню за былым возлюбленным?

Если я сидел мрачный и подавленный, то Илдико, напротив, казалась радостно возбужденной. «Ты выглядишь не очень счастливым»,— заметила она, наклонившись в мою сторону. «А чему радоваться? Все полетело к черту». «Из-за Кодичила и мисс Черные Штанишки, да? И ты поверил, что Басло Криминале ворует коров?» «Конечно, нет». «Не слушай ты эту немку, она тебе не друг». «Это уж точно». «Она ничего не понимает,— продолжала Илдико.— Эти люди из Европейского сообщества обожают во все вмешиваться. А Криминале, он никогда не думает о деньгах». «У меня тоже сложилось такое впечатление». «Басло не из тех, кто нарушает закон. Я, конечно, не имею в виду социалистических законов, которые нарушал всякий нормальный человек, если хотел выжить в марксистской стране». «Ты о чем? — уставился я на нее.— Какие это законы он нарушал?» «Ты жутко невежественный. Я имею в виду самые обычные вещи. Ну, например...» Она была готова меня просветить, но я приложил палец к губам. Поезд остановился на станции Домодоссола, перед швейцарской границей, и я понял, что сейчас в вагон войдут пограничники и люди из финансовой полиции. И точно — дверь купе распахнулась, вошли двое мужчин, очень внимательно изучили наши паспорта, молча переглянулись и вышли. У меня сложилось впечатление, что Козиме Брукнер будет доложено, во сколько часов и сколько минут мы пересекли границу.

На швейцарской стороне к нам присоединился очень серьезный абориген с бородкой и в очках, водрузивший на багажную полку тяжеленный чемодан. Поезд тронулся. Утерянный рай навсегда остался за пограничным шлагбаумом, но зато мы оказались в стране чудес, каковой безусловно являются Швейцарские Альпы. Ломбардские равнины сменились высоченными горами, итальянский сумбур — швейцарской аккуратностью, а итальянский шум — швейцарской тишиной. Наш новый сосед застукал Илдико

за тем, что она тайком откусывает от приобретенной на вокзале шоколадки, и заставил ее целых два раза стряхивать с сиденья крошки. Нам хотелось поболтать, но швейцарец так сурово шуршал женевской газетой, кидал на нас такие предостерегающие взгляды, что стало ясно — разговоры в общественном месте строго-настрого запрещены, и нарушители будут немедленно арестованы первым же законопослушным гражданином. В конце концов Илдико не выдержала и предложила наведаться в вагон-ресторан. Капитулировав перед непреклонным швейцарцем, мы пустились в долгое путешествие по узким коридорам.

И тут как раз поезд нырнул в длиннющий черный туннель (возможно даже, это был великий Симплон, кто его знает). Казалось, мы навсегда погрузились в холодное чрево мирозданья. До ресторана пришлось добираться в полумраке, на ощупь. Зато внутри нас встретили яркий свет и комфорт. Меж сияющих медью настольных ламп порхали белоснежные официанты с белыми камчатными салфетками через локоть, ослепительные скатерти отрадно контрастировали с чернотой за окнами, гостеприимно побулькивали и позвякивали бутылки со славным вином. «Бифштекс, пожалуйста,— сказала Илдико официанту.— И красного вина, самого лучшего». «Ну ладно,— продолжил я прерванную беседу.— Теперь расскажи мне про законы, которые необходимо нарушать, если хочешь выжить в марксистской стране». «Ты прямо как ребенок,— вздохнула она.— Это потому, что ты вырос в стране, где все вещи точь-в-точь такие, какими кажутся». «Ты про Британию? — удивился я.— У меня сложилось о ней совсем другое представление». «Вы, англичане, вечно жалуетесь. И то вам не так, и это, и жизнь у вас ужасно тяжелая. Но вы, по крайней мере, живете в открытую. У вас можно быть самим собой, никто не сует нос в ваш дом — вашу крепость. Никто за вами не шпионит, никто вас не разоблачает, вам не нужно торговаться с властью. Ну и шоппинг, само собой».

«Вот об этом, ради бога, ни слова»,— попросил я. «Ладно. Я буду объяснять тебе про марксизм. Или ты еще не забыл, чему тебя учили в школе? Ты наверняка думаешь, что марксизм — это очень сложная и очень умная штука. На самом деле все очень просто. Был такой Карл Маркс, написал книгу «Капитал», после чего капиталов у нас не стало. А это очень грустно, потому что деньги, Фрэнсис,— это свобода». «Не для всех»,— возразил я. «Ах так? Ты знаешь, как называются венгерские деньги?» «Знаю. Форинты». «Нет, форинты — это бумажки, которыми очень удобно вытирать не скажу что, не скажу где — извини за такое выражение. То же самое относится к злотому, леву, рублю. В марксистских странах только одна денежная единица — американский доллар. А Маркс про это ничего не писал. Но наши партийные руководители на своих дачах очень хорошо это знали. У них была своя собственная медицина и свои собственные кормушки, они делали шоппинг в долларовых магазинах. Ой, извини, это в последний раз. Поэтому когда к нам приезжали люди с Запада, мы подходили к ним на улице и шептали: «Чейндж мани, чейндж мани». Ведь для того, чтобы жить, нужны настоящие деньги».

«Ты имеешь в виду заграничные путешествия?» «Какие там путешествия! Ты мог ездить за границу, если ты в партии, если ты профессиональный спортсмен или если ты стучишь на знакомых. Нет, доллары были нужны, чтобы просто жить, потихонечку решать проблемы — как все. Понимаешь?» «Не совсем». «При марксизме всегда есть две системы — официальная и неофициальная. В официальной системе человек — член партии или, наоборот, диссидент, верит или не верит в победу пролетариата, любит свое героическое государство. В мире неофициальном все живут по другим правилам, даже государственные люди. Там коммунисты никакие не коммунисты, друзья — враги, а враги — друзья. Никому доверять нельзя, но с каждым можно договориться. А если у тебя есть доллары, то все можно купить: связи, дачу, хорошую работу, секс, левый бензин, загранпаспорт — что угодно. В марксистском мире все не такое, каким кажется, и уж во всяком случае не такое, как проговаривается вслух». «И Криминале тоже такой?»

«Я же сказала — все. Криминале — человек честный и порядочный, но ему тоже как-то надо было жить, да? Ты видел его квартиру, знаешь, что он не вылезал из-за границы. А книги его читал? Немножко вашим, немножко нашим». «Вообще-то да,— признал я.— Но чем он все-таки занимался?» «О, Криминале умный. Он писал книги. Книга — замечательная штука. Можно сцапать человека, не давать ему никуда ездить. С книгой так не получится. Ее сунули в карман, сняли на пленку, передали по факсу — и она уже очень-очень далеко. Книга может меняться: на одном языке такая, на другом — немножко другая». «Ну да, вот и Ролан Барт говорил, что писателя создает читатель». «А он говорил, что писатель — это продавец, а читатель — покупатель? За то, чтобы читать, никому не платят. Я не говорю сейчас о большом профессоре или маленьком редакторе вроде меня, это исключения. Но зато платят тому, кто пишет. И если ты — знаменитый писатель, если тебя читает весь мир, ты получаешь много-премного денег». «Значит, Криминале получал много денег?» «Конечно, а что тут плохого? Только так писатель у нас мог стать свободным. Если он получал мало денег, то он оставался государственным писателем. А это значит, что если государство перестало тебя любить, ты идешь подметать улицу. Что-то я не помню, чтобы Басло подметал улицу».

Внезапно вагон озарился светом — поезд вынырнул из тоннеля и вновь оказался среди альпийского ландшафта. Мимо проносились станции с короткими названиями: Плюг, Шюг или что-то в этом роде. Еще мимо проносились глубокие синие озера, остроконечные заснеженные пики, раздутые от дождевой воды стремительные реки, густо населенные зверьем и птицей леса, покрытые соснами склоны, бездонные ущелья, мокрые пятна тумана и быстротечные ливни. Я рассеянно смотрел на зеленые пастбища, на дым, что полз из труб импозантных шале, на усыпанные черной галькой и камнями черные оползни. «Значит, Криминале заработал очень много денег?» — спросил я. «А ты как думал? Ведь он — автор множества интеллектуальных бестселлеров». «И государство относилось к этому спокойно?» «Совершенно спокойно. Оно нуждалось в Криминале. Но, конечно, приходилось договариваться: его книги уезжают на Запад, с Запада приезжают денежки. Ну и еще кое-какие делишки. Нашему Басло всегда кто-нибудь помогал».

«Ага, так вот из-за чего переполошился герр Кодичил!» Илдико смотрела на меня со снисходительной улыбкой. «Ты слишком жестокий к бедному Кодичилу, а он такой симпатичный. Или нет, ты ведь вчера так не думал, да?» Тут я понемногу начал прозревать. «Погоди-погоди. Кодичил тут ни при чем. Редактором Криминале была ты. И не только редактором. Ты запросто могла переправить рукопись куда нужно, могла вести переговоры о гонораре...» «А как же? Должен же редактор помогать писателю и вообще литературе». «Даже если для этого приходится немножко химичить?» «Само собой, приходилось договариваться с властями,— пояснила Илдико.— Они знали, что Басло зарабатывает кучу денег, и не мешали ему, но хотели кое-чего взамен». «Чего же?» «Ему приходилось идти им навстречу. Иногда промолчать, когда необходимо высказаться. Или, наоборот, высказываться, когда лучше промолчать». «Понятно. То есть Басло Криминале — человек порядочный, но гибкий. В марксистской стране от человека большего требовать нельзя. Я только одного не пойму. Почему он не переехал на Запад?»

«Ты хочешь знать почему. Потому что Басло философ, ему нравилось жить в мире, где командует идея. Потом он, конечно, понял, что это не очень хорошая идея, и решил, что нужна какая-нибудь другая идея. Я тебе еще не объясняла про марксизм, но ты, наверно, и сам знаешь — марксизм делает вид, что он построен на мышлении. К сожалению, Карл Маркс считал, что самое важное не понимать мир, а переделывать его. Бедненький, он все перепутал. Ведь самое важное — ничего не переделывать, пока не разобрался, как все устроено. Например, пока не понял, что именно нужно людям. Ты извини, я говорю слишком для тебя серьезно. Я знаю, англичане

не любят серьезных разговоров». «Мне нравится, когда ты такая серьезная»,— искренне уверил ее я. «Больше, чем когда я занимаюсь шоппингом? Ну вот, теперь ты все обо мне знаешь. Ой, смотри, как красиво!»

Она показала в окно, и, следуя взглядом за ее протянутым пальцем, я увидел белый шпиль Монблана, возвышающийся над всеми прочими вершинами. «Мы подъезжаем к Лозанне,— сказал я.— Все-таки я не понимаю, зачем Криминале сбежал в Швейцарию». Глядя в окно, Илдико терпеливо спросила: «Скажи, Фрэнсис, чего в Швейцарии много-премного?» «Ну как чего, гор, разумеется»,— тупо ответил я. «А больше, чем гор?» «Коров?» «Ну при чем тут коровы?» До меня все еще не доходило. «Во всяком случае не магазинов,— вслух рассуждал я.— С этим у них неважно». «Нет, магазины есть. Я проверяла,— сказала Илдико.— Но я имею в виду не магазины». «А-а, банки!» «Хорошо,— похвалила она.— Теперь скажи, для чего нужны банки». «Для того чтобы хранить деньги в безопасном месте». «Ну это вряд ли. Хочешь хранить деньги в безопасном месте, держи их у себя под кроватью. Ты все-таки ужасно невежественный. Придется прочитать тебе лекцию о капитализме. Банки существуют для того, чтобы прятать деньги, чтобы перегонять их с места на место, отстирывать...» «Ты имеешь в виду «отмывать»? Погоди, выходит, Криминале держит свои капиталы в швейцарских банках?» «А где же еще? Там, где не задают лишних вопросов. Это называется "специальный счет"».

«Ты думаешь, что он отправился в Швейцарию за своими капиталами?» «Думаю, да. После Великого Переворота ему уже не нужно быть таким осторожным. В Венгрии все изменилось. У нас свободный рынок, можно поступать со своими деньгами как хочешь. Хоть бери и трать их все на ошизительную мисс Белли». «Именно в этом дело?» «Ты же видел Сепульхру. Чего ж тут удивительного?» «У автора стольких бестселлеров, должно быть, накопилась целая куча денег». «Миллиона два долларов»,— заявила Илдико. Я вылупил на нее глаза. «Целое состояние!» «Да. Басло в очень хорошем состоянии,— подтвердила она.— Но это не потому, что он любит деньги. Они сами к нему плыли, сами же и уплывали. Для Криминале важна только свобода». Тут я вспомнил банковские документы, которые видел мельком на письменном столе в его номере «люкс». «Он хранит деньги в Лозанне»,— сказал я. «Да, я тоже так думаю»,— как-то уж слишком уверенно согласилась она. «По-моему, ты в курсе всех его дел»,— не выдержал я. «А кто, по-твоему, помогал ему отправлять деньги в Швейцарию?» Я замолчал, обдумывая услышанное. Потом заметил: «Именно этим аспектом и интересуется мисс Черные Штанишки». «А ей-то какое дело? — возмутилась Илдико.— Ты правильно сказал тогда, что она растеряла все мозги. Криминале ничего плохого не делал, только совсем чуть-чуть химичил, а больше ничего. Я же тебе говорила, он человек порядочный».

Тем временем поезд выкатился из ущелья и резво понесся вдоль Женевского озера. Многие из живших прежде нас лили романтические слезы над этими красотами; многие обмакивали здесь перо в чернильницу. Вон самая прославленная из всех темниц, Шильонский замок; а вон эспланады Монтрё, где жил и писал — благослови его Господь — Владимир Набоков. Вскоре мы уже проезжали Веве, где умер Чарли Чаплин и где, если я правильно помню, его тело было вырыто из могилы — для наживы, исключительно для наживы. Потянулись терраски виноградников: по-швейцарски добротные, аккуратные, каждый клочок земли при деле. Перед въездом в здание вокзала щит: «Добро пожаловать в Лозанну, город банков и культуры». «Вот видишь,— прокомментировала Илдико,— где же еще быть нашему Басло, как не здесь?» Мы сняли с багажной полки наше имущество и устремились вперед, на поиски порядочного, но гибкого профессора Басло Криминале.

11

Лозанна оказалась совершенно другим миром...

Едва мы с Илдико сошли с миланского экспресса в славном сером городе Лозанне, расположенном на полдороге вдоль огромного банана, именующегося Женевским озером, нам стало ясно: мы попали в другой мир. И до чего же все казалось тут неброским, протестантским после Вены, прочным, долговечным после Будапешта, необычайно складным и каким-то честным после Северной Италии! Пускай соседушки по Альпам — австрияки с их пристрастием к барочной неумеренности отмечают двухсотлетие Амадея в своей стране чудес. Гельветы в этот год могли отметить семь столетий горной демократии, альпийского рожка, свободы, банков и часов, но обошлись, однако, без излишеств. Бросив Илдико с вещами, я заглянул в бюро туристской информации в вокзальном вестибюле, где меня встретила девица, сдержанная, суровая и серьезная, как все карты и путеводители, которые она мне протянула. «В жизни у нас ценят ее качество,— гласила первая брошюра.— Любой район, любая улица, парк, магазин стараются затмить другие — неизменно с безупречным вкусом, равно как и с должной скромностью». Сомнений не было: мы явно прибыли в Швейцарию.

Я отправился назад, в вокзальный вестибюль, с туристскими трофеями и не увидел Илдико. Наш багаж — сваленные в кучу мой рюкзак и масса западных ее покупок в полиэтиленовых мешках — был там же, пассажиры аккуратно его обходили. Илдико не наблюдалось и следа. Потом я наконец ее увидел: она шла ко мне сквозь тихую толпу. Меня и не было-то жалких десять минут, но Илдико их провела с немалой пользой, без труда приобретя несколько коробок шоколада, нож для сыра, парочку коровьих колокольцев, модные часы и свитер, сообщавший: *«Я люблю Лозанну»*. «Просил же барахло покараулить»,— сказал я. «Ничего, здесь можно, всем известно, что швейцарцы не воруют»,— отвечала Илдико. «А я ищи тебя»,— сказал я. «Ладно тебе,— отвечала Илдико,— я просто увидала там вон магазинчик. Вот купила тебе свитерок на память. Ну, ты выяснил насчет гостиницы, где поселился Криминале Басло?»

«В Уши, подальше,— сказал я.— Мне объяснили, что добраться туда можно прямо от вокзала на фуникулере». «Ну, пошли селиться? — предложила Илдико, подхватывая свой все разраставшийся багаж.— Пойдем!» «Мы можем просто посмотреть»,— заметил я. «Наверно, это классная гостиница»,— сказала Илдико. «Вошла в десятку лучших европейских,— отозвался я.— У них даже садовник обитает в пятизвездочной сторожке. А Криминале-то небось уже нанес визит в их банк». «Небось,— сказала Илдико, идя со мною вниз по лестнице к фуникулеру.— Затем в Швейцарию и ездят, чтобы прошвырнуться в банк». «И даже Басло Криминале?» — удивился я. «Я знаю, ты считаешь, будто крупные философы не опускаются до мыслей о деньгах,— сказала Илдико.— Но никакому мудрецу они не помешают, да-да-да, особенно когда у него новая бабенка». «Он бы мог их получить и не тащась в Лозанну»,— бросил я. «Думаю, что у него имелись основания прибыть сюда,— парировала Илдико.— Гляди, идет! Отлично!»

Мы вошли в веселенький вагончик швейцарского фуникулера, сбегавшего вниз по крутому склону от центра серенького города к такой же масти озеру. «Он называется «канатка»,— объяснила девушка из турбюро, и по дороге вниз подумалось мне, что не в первый раз на протяжении моей охоты за философом меня тащат по Европе на чудно́м крючке, привязанном к концу веревки. Мы спускались между дорогими аккуратными апартаментами с выхоленными цветами в ящиках, стоявших вдоль улиц, где располагались — до чего я был, увы, беспечен — весьма изысканные магазины. На конечной — «Порт Уши» — дверь с лязгом отворилась, мы сошли, и перед нами распростерлось озеро. У обыкновенного причала стоял

на якоре обыкновенный швейцарский белый пароход под развевающимся красно-белым флагом. На дальнем берегу в холодных сумерках видны были огни французского курорта Эвиан, чье имя хорошо знакомо посетителям любой приличной забегаловки, а далее — горы Савойи, уже присыпанные преждевременным снежком и ожидавшие вот-вот прихода зимнего сезона.

Я остановился, сверился с путеводителем, и далее мы зашагали через площадь, над которой возвышался генерал Гисан, тот, что объединил швейцарцев для борьбы за их нейтралитет, когда Европу обожгла вторая мировая. Прошли мимо отеля «Англетер», где, доложила вывеска, лорд Байрон в 1816 году слагал, усевшись на террасе, длинную и грустную поэму об утраченной свободе под названием «Шильонский узник». Но наша цель была иной. Искомая гостиница, где поселился Басло Криминале — «Бо риваж палас», коль скоро Козима была права,— и в самом деле оказалась огого. Какой-какой, а уж укромной, неприметной счесть ее никак было нельзя. Внушительный фасад с огромными балконами светился белизною даже в сумерках. На флагштоках в вышине реяли флаги крупных наций. Шоферы в форменных фуражках смахивали каждую пылинку со сверкающих «роллс-ройсов» и прочих «кадиллаков», расположившихся на подъездных аллеях. Вплывали в здание и выплывали из него арабы в белых балахонах. Костюмы западного образца, что следовали через галерею, были явно сшиты на заказ. Здесь проводились конференции в защиту мира, подписывались договоры. Я был под впечатлением, как, судя по всему, и Илдико.

«И впрямь недурно,— изрекла она.— Ну что, мы будем жить здесь?» «Нет, мы не будем, Илдико,— ответил я.— Живет здесь Басло Криминале. Чтобы жить здесь, нужно быть весьма богатым, очень старым и прибыть с дипломатической миссией. Возможно, надо быть к тому же королевской крови». «Криминале Басло-то не королевской крови»,— возразила Илдико. «Возможно,— согласился я.— Но он король, хотя и не в буквальном смысле. Должно быть, его книжки в самом деле хорошо идут. Чтобы позволить себе номер в «Бо риваж паласе», надобно продать их тьму». «Но мне здесь нравится»,— сказала Илдико. «Очень может быть,— ответил я.— Однако же мы тут затем, чтоб Криминале выследить, а вовсе не затем, чтобы участвовать с ним вместе в светской жизни. Так или иначе, вспомни про финансовую смету нашей передачи. К несчастью, я не автор мировых бестселлеров». «А если я достану деньги?» — вопросила Илдико. «Я сомневаюсь, что они вообще тут принимают форинты,— ответил я.— Табличку видела? Лорд Байрон не любил отказывать себе в удобствах, и, однако, даже он не мог себе позволить номер в «Бо риваж паласе». Поэтому давай поищем где-нибудь поблизости местечко подешевле». «Ненавижу тебя,— прошипела Илдико, подхватывая вещи.— Почему, ну почему же ты всегда такой сквалыга?»

Если уж совсем по-честному (а вы ведь знаете, что я могу, когда хочу), то далее я, что и говорить, сглупил. Но следует тогда признать, что я вообще наделал множество ошибок, занимаясь поисками Криминале, которые кого угодно сбили б с панталыку. Короче, я положил глаз на «Англетер». Эта гостиница была удобно расположена недалеко от места, где остановился Басло,— ежели, конечно, Козима располагала верной информацией, в чем я, признаюсь, начал сомневаться,— и к тому ж ее название потрафляло моему не бьющему ключом, однако не совсем иссякшему патриотическому чувству. К сожалению, узнали мы, в Лозанне проходила конференция, а то и две, ввиду чего все номера были уже забиты. Несолоно хлебавши двинулись мы далее и за углом, откуда почти видно было озеро — если сесть на тротуар, точней, на сточную канаву и нагнуться чуточку вперед, видать его вполне прилично,— обнаружили еще одну гостиницу, малютку «Цвингли». Что греха таить, не гранд-отель, но я все время чувствовал у своего плеча дыхание Лавинии и знал, что ничего пристойнее она бы не стерпела. И в самом деле, «Цвингли» не сподобился ни звездочки в путеводителе — как выяснилось, совершенно справедливо.

Но все равно хотелось верить, что это уютное местечко: аккуратность,

чистота, порядок, как здесь водится. В конце концов, швейцарское традиционное гостеприимство вкупе с развитым гостиничным хозяйством покорило мир, и вряд ли нам грозило угодить в отпетую трущобу. Я подошел к суровой деве, восседавшей за конторкой; та признала, что у них имеются незанятые комнаты, и цену назвала вполне разумную. Стоя рядом с раздраженной Илдико, я сделал запись в книге (мистер и миссис Фрэнсис Джей), лиры поменял на франки, подал наши паспорта и попросил двухместный номер. Тут и обнаружилось, что заведению сему присущи пара-тройка недостатков, от которых гости более высокой категории там, за углом, в отеле «Бо риваж палас», наверное, избавлены. Девица протянула два ключа. «Нет-нет, двухместный»,— попросил я. «И чтобы хорошая двуспальная кровать»,— сказала Илдико. «Ах, нон, месье»,— отрезала девица.

«Нет?» — переспросил я. Дева подняла два наших паспорта, британский и венгерский, с разными фамилиями, и обрушила их на конторку. «Вуаля, месье»,— произнесла она ликующе. «Но мы же вместе»,— протянул я. «Се не па посибль ан Сюис»,— сказала девушка. Сейчас бы я, конечно, тотчас отступился и пошел искать на побережье что-нибудь другое или, может, просто попытался бы ее подмазать. Но тогда я был совсем зеленым, а гостиница — достаточно дешевой, даже с точки зрения Лавинии, к тому же Басло Криминале находился сразу за углом. «Ну хорошо, пусть будут два отдельных»,— согласился я, беря ключи. «Се мьё, месье»,— сказала девушка. «Два отдельных? Почему?» — спросила Илдико, взирая на меня с недоумением. «Швейцария ведь кальвинистская страна»,— ответил я. «Так что, у них нет секса?» — вопросила Илдико. «Наверняка имеется,— ответил я.— Их, видишь, все-таки изрядное количество... Но, может, исключительно по протестантским праздникам». «Но ведь тебе это не нравится? — сказала Илдико.— Чего же ты не протестуешь? Может быть, ей надо дать на лапу?» «Бесполезно,— отвечал я.— Это очень строгая страна. Они хотят, чтоб мы вели себя как полагается. Тут даже не дозволено стирать по воскресеньям». «Я приехала на это озеро не для того, чтобы стирать,— парировала Илдико.— Как и не для того, чтоб спать одной на односпальной койке!»

Видя, что девица вылупилась с явным осуждением, я потащил Илдико прочь. «Нам дьявольски не повезло,— сказал я,— но спасибо хоть, у них для нас вообще нашелся номер». «Ты полагаешь, в «Бо риваж паласе» Басло Криминале и эту ошизительную мисс Белли поселили в одноместных номерах?» — спросила Илдико. «Мне «Бо риваж» не по карману,— сказал я.— К тому же это ведь всего на пару дней». «На пару дней? — спросила Илдико довольно громко.— Целую пару дней обходиться без меня в постели — это тебе ничего?» «Еще как чего»,— ответил я. «Я что, тебя так утомила? Может, тебе мое тело опротивело?» «Я обожаю его,— поспешил заверить я, бросая взгляд на деву за конторкой, яростно постукивавшую карандашом,— у тебя просто умопомрачительное тело. Но ведь мы же можем иногда встречаться...» «В коридоре, что ли? — возмутилась Илдико.— Вот цирк-то!» «Ну, пойдем разложим вещи,— предложил я ей и повернулся к строгой деве: — Где здесь лифт?» «Лифта нет,— ответствовала та.— По лестнице». «И лифта нет? — взъярилась Илдико.— Какая прелесть! До чего же повезло нам, что швейцарцы уже выдумали лестницы!»

Итак, наше пребывание в Лозанне началось не лучшим образом и некоторое время продолжалось в том же духе. Мы вскарабкались по лестнице, проследовали полутемным коридором из разряда тех, где свет вдруг гаснет именно тогда, когда он нужен позарез, и отыскали номер Илдико. «Нет, нет, ты глянь,— вскричала она в ярости, швыряя сумки на кровать.— И это называется «хороший номер»? Да в тюрьме куда приличнее! И тайная полиция со мною лучше обращалась!» В самом деле, совершенствовать там было что: всей обстановки — небольшая односпальная кровать, у изголовья коей примостился крошка столик, на стене — обширная подцвеченная литография Джона Нокса. В грязное окошко виден был зацементированный двор-коробка, украшенный торчавшим в середине баком для пустых буты-

лок. «Не блеск»,— признал я. «Надо же, он согласился»,— процедила Илдико. «Но ночку-то, другую можно потерпеть,— сказал я.— Пока не выполним свою задачу. Мне необходимо выяснить, что́ Басло Криминале делает в Лозанне».

«Что он делает в Лозанне, я тебе скажу,— пообещала Илдико.— Лежит в большой-большой кровати под прекрасным покрывалом со своей любовницей. Ласкает ее тело, пьет шампанское, подсчитывает свои гонорары, думает о своих банковских счетах и, уж поверь мне, ловит страшный кайф. В то время как я — там, куда выбрасывают грязные бутылки. Я здесь с тобой, а ты со мной не хочешь больше спать. Где твоя комната?» Я посмотрел на номер на ключе. «Похоже, парой этажей повыше». «Ну вот и мотай туда,— сказала Илдико,— а я пока хоть душ приму». «Пойду-ка звякну в "Бо риваж палас"»,— сказал я. «И мы перейдем туда?» — обрадовалась Илдико. «Да нет,— ответил я,— я просто выясню, права ли Брукнер, действительно ли он там». «Естественно,— сказала Илдико,— а где же? Криминале — денежная западная знаменитость, соответственно он и живет». «Прими пока что душ, а я проверю,— бросил я.— А после, может, сядем на веранде и промочим горло в ожидании обеда?» «Может быть,— сказала Илдико,— вопрос лишь, задержусь ли я здесь до обеда». «Слушай, Илдико, прости, но это только...» «Катись отсюда!» — крикнула она, выталкивая меня в коридор и с грохотом захлопывая дверь.

Когда я прошел один марш, дверь снова распахнулась. «Нету душа!» — крикнула мне Илдико. «Попробуй в коридоре»,— предложил я. «Не жела-ю!» — прокричала она. Выглянула горничная. «Месье, мадам, потише!» Дойдя до следующей площадки, я опять услышал снизу голос: «Фрэнсис! И уборной нет! Пописать негде! Ну и свинство!» Мой номер был не лучше и, конечно же, без телефона. Мне пришлось опять спуститься в вестибюль и обратиться к осуждающе глядевшей деве за конторкой; дева протянула мне жетоны, указав на будку в уголке. Под ее строгим взглядом я позвонил в «Бо риваж палас» и в результате непростой беседы выяснил, что Козима была права: профессор Басло Криминале там и в самом деле проживал, сняв на несколько дней роскошный номер.

Я опять поднялся, лег на комковатую кровать, задумался. Что́ честный, хоть и гибкий Басло Криминале мог здесь делать? С Бароло он сбежал в Лозанну. С ним, как я предполагал, была мисс Белли. И, судя по всему, на этот раз он вряд ли просто, по обыкновению своему, рассеянно блуждал по городам и странам. Должно быть, он порвал со своим прошлым, бросил благоверную и собирает западные гонорары, подготавливаясь к новой жизни. И тогда, наверное, он думает, будто никто не знает, где он, и желает сохранить свой сладкий эротический секрет. Следовало действовать с оглядкой. Но ведь я хотел узнать о нем побольше! У меня и так было немало, а теперь я получал, похоже, даже слишком много — не на одну передачу, а на целый телевизионный сериал. Отныне Криминале виделся мне мешаниной путаных историй, избытком знаков — и финансовых, и политических, и исторических, и сексуальных, клубком неясностей и тайн. Я вдруг увидел, что не только прошлое его было по-восточноевропейски странным и мудреным, но и нынешняя его жизнь не была ясней. Что привело его в Лозанну? Совсем не обязательно аферы: деньги и комфорт, мисс Белли и начало новой жизни — вроде бы достаточный ответ. И ежели Лавинии нужны жизнь и любовные истории, она их обязательно получит. Я сделал кое-какие записи в блокноте и пошел вниз к Илдико.

Она уже освоила пристроенную застекленную верандочку и в свитере, гласившем *«Я люблю Лозанну»,* попивала кофе. Сев с ней рядом, я почувствовал, что ее замечательный венгерский темперамент явно не остыл. На озеро спускался ранний полумрак, и хотя воздух был прохладным, панорама открывалась славная. Вдоль аккуратной набережной загорались фонари, на дальнем берегу мерцали огоньки Эвиана, живописно отражаясь в озере; по парку, что раскинулся напротив пирса, шастали любители скейтборда; более крутая ночная жизнь только начиналась. Это был, конечно, фешенебельный район, где собиралась вечерами золотая молодежь Лозанны.

Загорелые парниши и девицы как с картинки выходили на прогулку, и набережная становилась местным вариантом итальянских корсо. Гоняя на своих «ауди-куаттро», «порше», заказных «рейндж-роверах» и скоростных велосипедах «БМВ», они перекликались меж собой и с наиболее привлекательными экземплярами прохожих.

Пытаясь сделать Илдико приятное — хотя задачка это была явно еще та,— я, полистав путеводитель, зачитал отрывок, посвященный развлечениям, принятым в Уши. «Сидя на верандах, уважаемые люди смотрят на студентов и красивых девушек, которые проходят мимо, наблюдают за их встречами с другими жителями города и с теми, кто приехал к нам издалека, случается, с участниками международного конгресса, в свободные минуты наслаждающимися жизнью»,— прочитал я. И взглянул на Илдико, которая уже следила, как какой-то гость издалека, может быть, участник международного конгресса, снял девицу в юбочке в облипку, дал ей несколько купюр, и они двинулись вдвоем по улице. «Видишь! — закричала Илдико.— Есть секс в Швейцарии! У них тут как у всех!» «Конечно,— согласился я с ней,— просто они это делают иначе». «И только я должна жить в одноместном номере!»— воскликнула она. «Но это же на пару дней,— ответил я,— я Криминале уже выследил». «Так где ж он?» — встрепенулась Илдико. «Козима была права: он в "Бо риваж паласе"». «Он там, а я вот нет,— сказала Илдико.— А ты туда ходил? Ты видел его?»

«Нет, я просто позвонил». «Как? — повернулась ко мне Илдико.— А у меня нет телефона. Душа тоже нет, и туалета. Чтобы капельку попи сать, я тащусь полкилометра». «Там внизу кабина, в вестибюле. Надо на конторке взять жетон». «Чтобы пописать?» «Чтобы позвонить». «Стало быть, ты с Басло говорил? — спросила Илдико.— Ну как он? Номер у него что надо? Есть клозет?» «Я на самом деле с ним не разговаривал,— признался я.— В «Бо риваже» постояльцев тщательно оберегают». «Молодцы!» — ответила она. «Похоже, там идут какие-то переговоры по Ближнему Востоку,— сообщил я.— Там полно арабских шейхов в окружении телохранителей. Приходится подробно объяснять, кто ты такой». «И ты сумел? — спросила Илдико.— Я что-то сомневаюсь». «Я сказал им, что я близкий друг его венгерского издателя»,— ответил я. «Ты что? — вскипела Илдико.— Не смей! Пусть он не знает, что я здесь». «С чего бы это? — удивился я.— Ты час назад хотела жить в одном с ним коридоре». «Он ведь с Белли»,— отвечала Илдико. Она, как я уже заметил, представляла из себя клубок венгерских противоречий.

«А Белли в самом деле с ним?» — она взглянула на меня. «Не знаю. Он просил его не беспокоить. Сказал, что у него какое-то необычайно важное мероприятие». «Конечно. Трахается с ней»,— сказала Илдико. «Ну почему же,— возразил я.— Мне сказали, он приехал на какую-то большую конференцию. И знаешь что, чем дальше, тем больше мне все это кажется бессмысленным». «По-моему, ты ничего не понимаешь,— заявила Илдико.— Почему бессмысленным?» «Ну ты сама подумай, Криминале порывает с прежней жизнью, сбегает от супруги, приезжает сюда с чудненькой малышкой...» «Чудненькой? — переспросила Илдико.— Тебе такие нравятся?» «При чем же я тут? — удивился я.— Главное, она нравится ему. Из-за нее он изменил всю свою жизнь». «Ты так считаешь?» — процедила Илдико. «Ну а с чего бы он иначе смылся с Бароло? — сказал я.— Он приезжает сюда, в город, где найти его никто не может. Ну и что он дальше делает? Он собирает свои гонорары, поселяется в одной из лучших мировых гостиниц, вешает значок на лацкан — и тотчас же на другой конгресс».

«Знаешь что? — сказала Илдико.— Пожалуй, я не отказалась бы от здоровенного мороженого». «Не холодновато?» — спросил я. «Не беспокойся, выживу,— пообещала она, помахав несчастному гарсону, нерешительно стоявшему в дверях.— Ты в самом деле кое-чего про Басло Криминале так и не просек». «Вполне возможно,— согласился я.— Он, что и говорить, сбивает с толку. То он знаменитейший философ в мире, то через минуту трахается с кем попало». «Философ-то философ, но ему ведь надо чем-то заниматься, когда он не думает,— сказала Илдико.— И он ведь должен

чем-то занимать свои мозги, когда не трахается. Вот из этого и состоит сегодня его жизнь — сплошная вереница съездов и соитий. И жертвовать одним ради другого нет необходимости. То есть тебе, быть может, и пришлось бы, а вот Криминале Басло — нет». «Но кто же, будучи в бегах, выходит на трибуну?» — удивился я. «А почему ты говоришь, что он в бегах? — спросила Илдико.— Лишь потому, что слишком слушаешь свою любимую мисс Черные Штанишки?» «Да нет»,— сказал я. «У нее же крыша не на месте,— закричала Илдико.— Ну что такого сделал Криминале? Почему ему все время шьют аферы? Что вам так охота на него повесить всех собак?»

«Я вовсе не хотел его в чем-либо обвинять,— сказал я.— Думаю, насчет афер все это бред». «Ну хорошо»,— сказала Илдико, беря мороженое у гарсона. «Я имел в виду, хотя бы в выходные... Что бедная мисс Белли делает, когда он на своем конгрессе?» «Нет, вы послушайте,— сказала Илдико,— как он печется о чужих бабенках! Криминале хоть живет с ней в одном номере. А ты со мною как проводишь выходные?» «Мы будем наслаждаться жизнью, когда доберемся до него,— сказал я.— Так или иначе, может, мы после обеда сходим в «Бо риваж палас», пропустим там по рюмочке». Илдико взглянула на меня. «Зачем?» «Я думал, ты не прочь. А заодно и поглядим на Криминале с Белли». «Да ну,— сказала Илдико, противореча себе, как всегда.— Мне эта мысль не слишком нравится. Он вряд ли ожидает нас увидеть». «Но ведь нам же нужно подобраться к нему ближе»,— напомнил я. «Зачем?» — спросила Илдико. «Ведь я готовлю передачу про него,— сказал я.— Или так, или ходить по банкам и расспрашивать служащих». «Ну, это ни к чему,— отозвалась она.— В швейцарских банках не выносят этого. Могут выслать тебя из страны».

«Так что́ ты предлагаешь?» — спросил я. «Я знаю, завтра ты попрешься на его конгресс,— сказала Илдико,— как он там называется?» «То-то и оно,— ответил я.— Привратник в «Бо риваже» мне не смог сказать или не захотел». «Ну, это не проблема,— заявила Илдико,— не думаю, что здесь проходит сразу множество конгрессов». «Вот и ошибаешься,— ответил я.— Именно в Лозанне проходит их невероятное количество. Это явно мировой центр конференций. Тут небось у каждого второго — на лацкане карточка». «Может, это им и заменяет секс?» — предположила Илдико. «Если ты считаешь, что участники конгрессов отказываются от секса, значит, не на многих ты бывала»,— сказал я. «О-о, да он у нас специалист по сексу,— проронила Илдико.— Достал бы лучше список нынешних конгрессов». «Он есть в еженедельном гиде,— показал я ей,— гляди, не перечесть. И детективщиков, и виноделов, и гастрономический, и гастроэнтерологов, волейбольный, инвестиционных банкиров — этот разыскать наверняка не проще,— любителей курения трубок, и балетный, и часовщиков, и олимпийский, и по эсперанто. Идеальное, на мой взгляд, место для того, чтоб человек, подобный Криминале, мог исчезнуть. Мы его ни в жизнь здесь не найдем».

Илдико облизала пальцы и взяла путеводитель. «Нет, ты все-таки неисправим. А ну-ка дай сюда. Эх, был бы ты чуть-чуть умнее, сразу же уразумел бы, на каком он». «Ну и на каком?» — поинтересовался я. «Да вот же»,— отвечала Илдико, указывая пальцем на один из пунктов. Я взглянул и сразу понял, что, как говорят французы, Илдико имела резон. Она остановилась на международном конгрессе по эротической постмодернистской фотографии, который проводился под эгидой кантонального музея «Элизе́»; он начался за день до нашего приезда и обещал продлиться еще пару дней. «Ты просто блеск!» — воскликнул я. «А ты не блещешь,— отрубила Илдико и, сложив трубочкой губы, яростно всосала мороженое.— Стало быть, единственное, что тебе осталось,— завтра сделаться участником конгресса по эротической фотографии». «А ты?» — спросил я. «Завтра я хочу заняться кое-чем другим». «Ну нет,— сказал я.— Только не шоппингом». «Нет, мне надо позвонить в свою контору и сказать им, что меня там нет». «Они, наверное, уже заметили»,— ответил я. «Ну, ты-то ведь не замечаешь, есть я рядом или нет»,— парировала Илдико.

Нет, она явно мне еще не отплатила! «Ну хорошо,— сказал я,— как же

мне попасть в число участников?» «Да, на спеца по эротике ты явно не потянешь,— изрекла она.— Может, купишь камеру? В таком футляре, знаешь?» «Участники международного фотографического форума навряд ли репортеры,— отозвался я.— Кое-кто из них и вовсе к камере не прикасается. Они заняты хаосом знака, произвольностью значения. Пародийной интертекстуальностью, мнимой бездонностью, фотографированием собственной мочи». «Ну, ежели тебе охота говорить этим дерьмовым языком, то говори, пожалуйста»,— сказала Илдико. «А когда я встречу Криминале, что ему сказать?» — спросил я. «Ну, скажи: о, дорогой профессор Криминале, как я рад вас встретить снова! Я тут проходил случайно мимо и увидел вас, ну надо ж, вот вы где, оказывается, с вашей чудной новой хахальницей мисс Белли! Ах, какое совпадение! Кстати, вы по-прежнему протаскиваете всех этих телок контрабандой?»

И тут случилось нечто странное. «Уж если говорить о совпадениях, взгляни туда»,— сказал я Илдико, указывая через площадь Генерала Гисана. Она оторвалась от своего мороженого и лениво огляделась. «Девка в «порше»? Нет, я думаю, она не для тебя, с таким-то выменем». «При чем тут девка,— закричал я,— глянь на набережную! Видишь это стадо, вон, бредет к причалу? Вырядились и куда-то топают». Илдико взглянула и увидела: достаточно большая группа расфуфыренных особ с делегатскими папчонками под мышкой направлялась к парку перед пирсом. «Ну и что?» — спросила Илдико. «Ты видишь в середине мужика с девицей в оранжевой хламиде? Не кажется тебе, что это Басло Криминале?»

«Я не надела линзы»,— сказала она почему-то без особого энтузиазма. «Я не знал, что ты их носишь,— удивился я.— Да точно он!» «И что?» — спросила Илдико. «Ну так пошли!» — сказал я. «А зачем?» — спросила Илдико, зачерпывая ложечкой мороженое. «Догоним их». «Ну а потом?» «Решим по ходу дела,— потянул я ее за руку,— скорей, а то упустим!» Я уронил на столик несколько швейцарских франков. «Надо же, сам платит!» — изумилась Илдико, идя за мной по площади меж «порше» и «ауди». Мы прошли мимо другой большой гостиницы, «Шато д'Уши», где также собирались дипломаты и подписывались договоры. «Тоже славненько»,— сказала Илдико, заглядывая внутрь. «Быстрей, пока они не смылись!» «По-моему, это не слишком умная затея,— заявила она.— Что ты ему скажешь, когда встретимся?» «Не знаю, но давай сначала их догоним».

Группа брела впереди нас через парк. То были явно делегаты, собиравшиеся где-то провести вечерние часы. «Куда, по-твоему, они идут?» — спросила Илдико. Я указал вперед: белый озерный пароходик, прежде нами виденный у пирса, был готов отчалить, из трубы шел черный дым. «Как здорово, прокатятся по озеру,— сказала Илдико.— А нас, конечно, не возьмут». Авангард участников конгресса проходил уже на пирс, минуя турникеты, и поднимался на борт. Среди них я ясно видел выразительную плотную седоголовую фигуру Басло Криминале, одетого в очередной костюм с отливом и, конечно же, увенчанного яхтенной фуражкой. Я разглядел ясней и его спутницу в оранжевом, которая вела его по сходням вверх, поддерживая под руку. «Я был прав,— сообщил я,— он с мисс Белли». «Вот и чудно»,— процедила Илдико.

Но не ошиблась и она. Табличка у входа на причал гласила: «Privé» [1], матрос пускал на пароход лишь по билетам. «Чартер,— сказал я.— Видно, для участников конгресса. Придется ждать до завтра». Но, похоже, настроение Илдико менялось, ее явно охватил охотничий азарт. «Нет, ты безнадежен! — воскликнула она.— Если ты хочешь все-таки туда попасть, старайся мыслить хоть немного по-венгерски. Ладно, жди здесь, только дай мне твой бумажник». «Бумажник?» — удивился я. «Если ты действительно желаешь изловить его, тебе это чего-то будет стоить,— объяснила Илдико.— Так хочешь или нет?» Я протянул бумажник, и она умчалась и исчезла в свалке у входа на причал. Несколько секунд меня терзала мысль о том, какой

[1] *Здесь:* заказной рейс *(франц.) (Здесь и далее — прим. перев.)*

я остолоп: небось я видел их с бумажником в последний раз, и присланные мне Лавинией гроши в ближайшем будущем отправятся в веселый путь по здешним магазинам! Но я зря грешил на Илдико. Немного погодя она уже неслась ко мне, держа большую папку.

«Ты где ее взяла?» — спросил я. «Все элементарно,— ответила она.— У одного участника за сто швейцарских франков. Я надеюсь, ты не против того, что пришлось потратить часть твоих бесценных денег?» «Нет,— ответил я,— но что ты сделала?» «Естественно, спросила, нет ли русских,— отвечала Илдико.— Ну, таковой нашелся, он-то мне и продал свою папку. Эти люди продадут все, что тебе угодно». «Илдико, ты временами просто чудо»,— восхитился я. Открыв бумажник, она что-то там искала. «А ты иной раз настоящая свинья,— вынув наконец нагрудную карточку участника, она приколола ее мне.— Но теперь эту свинью зовут профессор Петр Игнатьев. Держи скорей, пока они там не убрали сходни. Давай возьму тебя под ручку, и пошли, как будто бы ты настоящий делегат конгресса». Мы миновали турникет и поднялись на пароход.

Через несколько мгновений он издал пронзительный гудок, чайки замахали крыльями и полетели прочь. Обильно смазанные пароходные двигатели заворочались, колеса принялись взбивать серую воду в белую густую пену. Вскоре пароход наш, пятясь, выходил уже в туманные просторы, а мы с палубы смотрели, как отдаляются Лозанна, порт Уши. В середине возвышался освещенный «Бо риваж палас», а где-то за углом его скрывалась низенькая «Цвингли», которая — путеводитель совершенно прав — не заслужила ни одной звезды. Били склянки; пестрая веселая толпа заполнила салоны. Стараниями Илдико мы стали участниками проходившего в Лозанне международного конгресса по эротической постмодернистской фотографии, и я — превратности судьбы! — заделался профессором Петром Игнатьевым из Ленинграда.

В это время мне было уже достаточно известно о конгрессах и о конференциях, как было бы известно каждому охотнику за Басло Криминале. У меня на этот счет имелись кое-какие не совсем оформленные мысли, коих бы хватило для вполне приличного доклада, если б, паче чаяния, проводилась конференция о конференциях (а что когда-нибудь такая состоится, я не сомневаюсь). С одной-то стороны, конгрессы все похожи: папки и значки, банкеты и поездки, объявления, выступления в конференц-зале, шуры-муры в баре. В то же время каждый, как и каждая любовная история (а часто они тесно связаны), отличен от других. Всегда новые люди, новый всплеск эмоций, новый взгляд на положение дел в искусстве, новый набор эффектных философий и идей, новый порядок вещей. Есть конгрессы от политики и от искусства, интеллектуальные и ради удовольствия, конгрессы — пиршества ума и пиршества эмоций.

На этой незатейливой шкале лозаннский международный конгресс по эротической постмодернистской фотографии, который мы, остановившись у салона, стали изучать, конечно, был конгрессом искусства, удовольствия, эмоций. В Бароло — казалось, только что — мы были группой буквоедов-интровертов. Примерно восемьдесят мастеров фотоискусства, отовсюду прибывших в Лозанну, явно представляли собой сборище самовлюбленных экстравертов. Писатели порою склонны к тому, чтобы за них говорила их работа; у фотографов большую часть работы выполняют разговоры. С помощью официантов, подававших им фандан, доль, марочные вина местного розлива, они быстро превратили пароход в пчелиный улей. Они друг к другу льнули, лапали друг друга и похлопывали, суетились и трепетали от возбуждения. Они болтали, обнимались, хохотали и кричали, целовались, разевали рты, позировали, флиртовали.

Да, это была колоритная толпа. Особа с голой грудью... Тип в наполеоновском мундире... Многие махнулись туалетами: иные мужики надели нечто, напоминавшее шифоновые пеньюары, дамы же, напротив, были в твидовых костюмах с галстуками или в смокингах с манишками. На пароходе был оркестр, и они стали танцевать. Был бар, и они стали пить.

Были закуски — они стали подкрепляться. Были личности, увенчанные славой,— и они стали прославлять их. Имелись также явно недозволенные вещества — и они стали грезить. Были губы, груди и зады, и они стали целоваться, обниматься, прижиматься и присасываться. Они были красивы, эти люди, и, зная об этом, стали заниматься разными красивыми вещами, возмутительными и весьма фотогеничными. Они и щелкали себя за этими занятиями, замыкая ирреальный круг.

Но в крикливом этом средоточии возбуждения имелась одна заводь здравомыслия, метафизической разумности. И центром ее был, конечно, Басло Криминале. Гуляя по пароходу — по прохладной верхней палубе, по задней части нижней, по переднему и заднему салонам,— мы сначала не могли его найти. И наконец увидели — за столиком в углу заднего салона. Его сказочное эротическое приключение — а в том, что оно именно таково, глядя на мисс Белли, усомниться было трудно,— безусловно, его изменило. Настроение Криминале явно подскочило, и он больше не казался домоседом. Под изысканным костюмом была яркая спортивная рубашка от Ральфа Лорена, волосы были уже не взбиты в кок а-ля румынские тираны, а прилизаны в манере сердцеедов конца первой трети века. Сидя рядышком в своей оранжевой хламиде, Белли болтала, хохотала, кокетничала и касалась то и дело его руки. И в массе броских знаменитостей он представлялся истинной звездой — возможно, из-за непрерывных вспышек фотокамер. Я убедился в том, что Криминале совместим с журналом «Пипл».

Но мысль его была по-прежнему дерзка. Вокруг него, как и тогда на вилле, собралась толпа — сначала небольшая, она все росла, и все ему внимали. Стоя с краю, кое-что смог уловить и я. «Сегодня я прочел в газете замечательное сообщение»,— сказал он. «Утром просыпается — и тотчас за газету»,— пояснила мисс Белли. «Японцы выдумали новый вид уборной. Чудо-унитаз,— сказал Криминале.— Он ежеутренне исследует ваши фекалии и сразу ставит вам диагноз». «Басло, милый, ну какой же ты противный!» — пропищала Белли. «Он вбирает ваши выделения и выдает сквозь щель в стене отчет о состоянии вашего здоровья,— не обращая на нее внимания, продолжил Криминале.— "Перебрал ты водочки вчера, гляди, какой холестерин"».

«Басло, дорогой, покушай,— и мисс Белли придвинула к нему поднос с тартинками.— Такая вкуснота, а ты не прикоснулся!» «После того, что я прочел?! — воскликнул Криминале.— Видишь, чем это чревато, это не секрет». «"Басло, дорогой, покушай",— передразнила Илдико.— Ты видишь, как она с ним обращается? Бедняжка, и зачем было бросать Сепульхру?» «У Белли есть ряд свойств, которых лишена сейчас Сепульхра»,— сказал я, когда мисс Белли принялась совать кусочки в запрокинутый рот Криминале. «Может быть, и ты не прочь бы с нею смыться?» — вопросила Илдико. Я глянул на нее; она вела себя все более чудно́, и было ясно: наблюдение за Криминале в ходе эротических его каникул шло ей явно не на пользу. Я взял ее под руку и вышел с ней на палубу. Уже было прохладно и почти темно. Наш ярко освещенный пароход с шумом двигался по озеру; за кормою трепетал швейцарский флаг. Куда лежал наш путь — в Женеву, Эвиан, Монтрё? Мы шли недалеко от берега, по временам были видны ряды красивых виноградников, нисходивших к озеру. Должно быть, направлялись мы к Вевé или Монтрё.

«Правда, они выглядят счастливыми? — сказала Илдико — по-моему, с глубокой горечью.— Я помню, когда он был вот таким же». «И когда?» — спросил я. «Когда в первый раз оставил Гертлу и ушел к Сепульхре». «Гертлу?» «Ну, вторую свою благоверную, забыл? — сказала Илдико.— Ты видел ее в Будапеште в голом виде». «Что-о?» «На фотографии,— пояснила Илдико.— Ты видел в Будапеште ее в голом виде. Он был женат на Гертле много лет. Само собой, не обходился без интрижек, он ведь венгр. Но однажды в его жизнь вошла Сепульхра. Не такая, как сейчас, она была художница и оч-чень недурна. Ну, между ними все произошло, сам знаешь, как это бывает, и он бросил Гертлу. Он был вне себя от счастья, внешне весь преобразился, как сейчас, будто летал на крыльях». «Почему бы нет?» —

сказал я. «Потому что с женщинами Басло себя губит. И сейчас опять». «Как губит?» — удивился я. «Они лишают его жизнь смысла».

Я был озадачен: Криминале нынешний никак не походил на человека, который себя губит, лишая свою жизнь смысла. Хотя в любви я вовсе не был докой (в чем у вас уже сомнений не осталось), мне казалось, что любой разумный человек (а Криминале, безусловно, был им), выбирая между толстой, суетливой Сепульхрой и красоткой мисс Белли, вероятно, поступил бы так, как он. Но я, конечно, как и все мы, видел то, что мне хотелось, Илдико же было видно и другое (очень многое другое). «Так или иначе, думаю, пора кому-нибудь из нас поговорить с ним»,— заявил я. «Но ведь он решит, что мы его преследуем»,— сказала Илдико. «Но это в самом деле так,— ответил я,— а нам необходимо подобраться к нему ближе. И потом, я думал, что ты собираешься его предостеречь». «Предостеречь? Я? — удивилась Илдико.— Насчет чего?» «Насчет мисс Черные Штанишки». «Пусть делает с ним все, что ей угодно»,— с горечью сказала Илдико. «Я думал, что ты беспокоишься о нем». «С чего бы? — отвечала Илдико.— Он окружен такой заботой!» «Ты ехала из Будапешта, чтобы с ним поговорить»,— напомнил я. «Раздумала,— сказала Илдико.— Поговори с ним, если хочешь, сам, не говори только, что я здесь. Делай что угодно, мне охота лишь побыть одной и пожевать чего-нибудь. Договорились? Не ходи за мной».

И Илдико, сердитая, ушла куда-то вниз. А я все так и продолжал стоять, облокотившись о перила — озябший, сбитый с толку. Я был молод — и по сей день продолжаю быть таким,— и, честно говоря, при всей моей любви к этой особе (я ее действительно очень любил и продолжаю) мне было непросто с ней общаться, понимать ее. Я и сейчас ничуть не ближе к пониманию ее сложной, переменчивой натуры по сравнению с тем днем, когда я встретил Илдико с Шандором Холло в Буде, в ресторане «Поцелуй». Само собой, и я не без изъянов, заблуждений. Конечно, я в каком-то смысле Новый человек, но, судя по тому, что пишут иной раз в журналах, мне недостает каких-то качеств и умений, коими я, вероятно, должен обладать. И, если уж на то пошло, никто охотней меня не признает, что я не самый внимательный любовник и не самый чуткий друг. Конечно, у меня была навязчивая идея, как, вероятно, оная — своя — была и у нее. И если трудно было с Илдико, наверное, непросто было и со мной.

Стоя у перил, я силился понять, что же в ходе наших с Илдико совместных поисков Криминале все-таки не задалось и почему намерения наши разошлись. Действительно, в таком нехитром деле, как нахождение сносного жилья, я проявил себя не идеальным спутником, когда мы оказались в одноместных номерах в отеле «Цвингли». Я сожалел уже об этом и решил назавтра перебраться в «Мовенпик», замеченную мной на набережной, чуть подальше, типовую очень современную гостиницу, где швейцарский старый добрый кальвинизм, похоже, умерялся старой доброй же швейцарской меркантильностью. Но и она, само собою, ни в какое бы сравнение не шла с великолепием «Бо риваж паласа», наслаждения которым я не смог бы обеспечить никогда. Да и никто не смог бы, исключая Криминале. И, наверно, в этом-то и было дело. Чем больше думал я, тем больше уверялся: бушевала Илдико не только из-за отвратительного номера в дрянном отелишке.

Я счел, что главная причина — ревность, каковая была явно свойственна ее натуре; меня она, к примеру, ревновала даже к Брукнер, а уж такое сочетание как результат работы в небесах любовного компьютера казалось мне почти невероятным. В Бароло мне думалось, я понимаю ее чувства. Там был Басло Криминале, порвавший наконец с Сепульхрой в поисках очередного эротического стимула. Была там Илдико, вновь оказавшаяся в поле его зрения, но вместо нее он выбрал новоявленную итальянскую прелестницу, встреченную им только что на конференции. И, несмотря на виденное ею в Бароло, Илдико рвалась за ним в Лозанну. При этом и тогда она в тени держалась, и сейчас. Так что же изменилось, почему она внезапно разъярилась на него? Похоже, настроение ее переменилось в Бароло в ночь

шторма и внезапного отъезда Криминале. Нечто новое вдруг стало волновать ее, но что же? Я никак не мог понять. Нет, просто я ее вообще не понимал и, повторяю, далеко не убежден, что понимаю ныне.

Так и стоял я на холодной палубе, смотрел на проплывавшие, мерцая, огоньки на берегу, и в голове моей вертелись вот такие — или сходственные — путаные мысли, когда кто-то, подойдя, стал рядом и облокотился о перила. Повернувшись, я увидел аккуратненького молодого человека с маленькой бородкой, в сливового цвета пиджаке, с папкой под мышкой. Последовал обычный для конгрессов ритуал, похожий на взаимное обнюхивание собак: я изучил его карточку, он — мою. Я обнаружил, что он — Ханс де Граф откуда-то из Бельгии, он — что я... что я тот, кем был, поскольку кем бы ни был я, я совершенно позабыл уже, кто я такой. Он заявил, что знает мой город вполне прилично и его не оставляет равнодушным то, что он утратил прежнее название. «А почему?» — спросил я. «Но я думал, что вы все там проголосовали за то, чтобы отныне он носил название Санкт-Петербург?» — сказал он. «Совершенно верно»,— подтвердил я, силясь вспомнить, как же этот город назывался ранее, и быстро объяснил, что в годы гласности я переехал на Запад, дабы продолжать занятия фотографией в прельщавших меня студиях и лабораториях Британских островов.

Потом он перешел на русский; мне пришлось сказать, что я решил не говорить на этом языке до той поры, пока родной мой город вновь не обретет свое традиционное название. Он к этому отнесся с некоторым подозрением, но перекинулся на темы, обсужденные в тот день, уделив особое внимание напряженнейшей дискуссии о скандинавском феминистском неэротичном ню, вызвавшей такие страсти сразу после ленча. Наверное, держался я достойно, так как собеседник перешел на более общий треп по поводу конгресса же, что мне позволило обогатиться массой нужной информации. Я узнал, что начался конгресс вчера, что штатники и галлы были в контрах до тех пор, пока их не объединила ненависть к британцам, и очень жаль, что Сузан Сонтаг не приехала, как видно, предпочтя какой-то съезд писателей на севере Италии.

Я перевел беседу — впрочем, может, это сделал он — на Басло Криминале. «Выступление его, должно быть, включено в программу неожиданно для всех?» — осведомился я. «Да нет,— ответил он, взглянув на меня с заметным удивлением,— Криминале был объявлен с самого начала». Вот почему он, де Граф, решил сюда приехать, все же Криминале — главный теоретик в этой области. Кивнув, я объяснил, что сам вошел в число участников с изрядным опозданием. Сказанное им, однако, было для меня большим сюрпризом. Криминале появился на конгрессе не внезапно, как я полагал, не удовлетворяя собственную прихоть, точно божество, решившее спуститься с неба в золоченой колеснице. Бегство его из Бароло в Лозанну не было непредвиденным, оно было давно внесено в программу Криминале. Почему тогда оно явилось таким сюрпризом и для Монцы, и для миссис Маньо, и для барольской организации, повсюду разославшей на поиски его своих агентов? И если бегство было не внезапным, значило ли это, что все время Криминале собирался возвратиться в Бароло? И значило ли это также, что Сепульхру он не покидал и что поездка эта с восхитительной мисс Белли была просто жизнерадостной оттяжкой в конце недели?

Я начал думать, что, совсем не разобравшись в Илдико, я также совершенно не сумел понять и Басло Криминале. На самом деле с этого момента кое-какие вещи, которые я как будто бы понимал, стали делаться все непонятнее. Оркестр за спиной у нас в салоне играл свой эклектический репертуар, похоже, простиравшийся от «Мирабель, ма бель» до самых свежих шлягеров Мадонны. Палубы дрожали: мастера интимной фотографии были в ударе. Потом я, заглянув в иллюминатор, вдруг увидел Басло Криминале. Величаво и неловко он кружился в вальсе, что было довольно удивительно: оркестр играл нечто совсем иное. Я не видел, кто его партнерша, но платье ее было явно не оранжевым. В какой-то миг — хотя мне было совершенно все равно — мне показалось, что в его объятиях Илдико, решившая с ним ни за что не разговаривать.

Но тут нам помешала молодая, спортивного вида француженка — крупная, совершенно лысая, в подобии купального костюма; смажься она жиром, ее можно было бы принять за олимпийскую пловчиху; подойдя, она обеими руками ухватилась за де Графа, требуя, чтоб тот шел с ней на танцплощадку. Он улыбнулся, будто извиняясь — сделалось понятно, что на палубу он вышел в поисках спасения от нее,— и я остался вновь один и продолжал стоять, облокотившись о перила, слушая, как за моей спиною плещет и обрушивается с лопастей колес вода, и глядя, как из мрака возникают, приближаясь, улицы и башни небольшого городка. Спустя мгновенье кто-то стал со мною рядом, тяжело дыша и вытирая лоб платком. Повернувшись, я увидел с изумлением, что это Басло Криминале.

12

Узнал ли меня Басло Криминале?

По сей день я не ведаю: когда мы стояли на холодной палубе средь озера, облокотясь о борт, как пассажиры лайнера, плывущего через Атлантику и, вероятно, обреченного, узнал ли меня Криминале, или в темноте я для него был просто серою фигурой, с которой он заговорил случайно. Но даже если он сообразил, кто я такой, он явно не был удивлен, увидев меня там. Может быть, поскольку обитал он в горнем царстве мысли, один конгресс ему казался столь похожим на другой, один участник на другого, даже, может быть, одна любовница с конгресса — на другую, что все ситуации сливались для него в одну. Может быть, его реакция представляла собой нечто среднее: он и не знал меня, и в то же время знал, я был довольно хорошо ему знаком и совершенно неизвестен. Он был слон, а я — блоха, весьма удобно: тихий паренек, который им интересуется, никоим образом не будучи ему соперником или угрозой. Так или иначе, некий я был рядом, и он начал говорить.

«Вы, я вижу, не танцуете,— сказал он, вытирая мокрый лоб.— А я, признаться, слишком стар для этого». «Я понимаю вас»,— ответил я. «Знаете, в дни моей молодости секс казался замечательным открытием,— изрек он.— Юный друг, скажу вам одну вещь, довольно важную, хоть вы не скоро согласитесь с ней. В определенном возрасте это перестает восприниматься как великое открытие, это становится дурной привычкой». «Неужели?» — удивился я. «Эти люди день-деньской толкуют об эротике,— продолжил Криминале, махнув рукой назад, в сторону танцующих фотографов.— Они — как тот шеф-повар, что все время думает о пище, а вот вкус ее забыл. Поверьте, когда вам за пятьдесят — а мне уже давно,— то секс, как мясо, стоит пробовать лишь с соусом». «Какого рода?» — осведомился я. «В моем случае,— ответил Криминале,— это власть. Для меня эротика всегда сопряжена с властью. Женщина, чтоб мне понравиться, непременно должна обладать волей к власти».

Я был озадачен. А пленительная мисс Белли? На мой взгляд, она не принадлежала к типу Джеки Кеннеди или Джоан Коллинз. «Секс вовсе не безоговорочное благо,— продолжил Криминале.— Он нас смущает на пути к чему-то лучшему. Он нас сбивает с толку и опустошает. Это наша досадная потребность, наша невоздержанность, наша ошибка, наше безрассудство. Так или иначе, женщинам сейчас это не нужно». «Печально»,— сказал я, думая, что если он всегда в подобном настроении, то все еще печальней для мисс Белли. «Это наблюдение не оригинально,— заметил Криминале.— Вероятно, оно даже не совсем и верно. И, однако же, вернее, чем я представлял себе, когда вдали отсюда пустился в авантюру под названием «жизнь». «И где же это было?» — спросил я, не упуская шанса выяснить что можно. «Вы об этом месте никогда не слышали и никогда туда не попадете»,— бросил Криминале. «Велико-Тырново?» — проговорил я. Он повернулся, глянул на меня. «Вам обо мне известно больше, чем я думал».

«Я читал о вас в журналах,— объяснил я.— Но не уверен, что писали правду». «Конечно, нет,— ответил он.— Но данный факт не переврали. В этом месте стоило родиться, и оттуда стоило уехать, если вы хотели прожить жизнь с толком». «Вам, безусловно, это удалось»,— сказал я. «Вы так думаете? — Он глянул на меня.— Знаете, на днях одна милейшая особа юных лет мне написала, что прочла мое «Бездомье» и эта книга изменила ее жизнь. Я задумался. Как это может быть? Я написал ее, но мою жизнь это не изменило». «Повлияли вы на множество людей,— сказал я.— В том числе и на меня». «Ну, это сделало меня известным и богатым,— ответил Криминале.— К чему, я думаю, не стоит относиться свысока, хотя я сам, пожалуй, отношусь. Представьте, это даже придало мне эротичности». «Я думаю, известность вообще эротична»,— сказал я. «Но позвольте мне предупредить вас: личная жизнь знаменитостей, рассказы о которой заполняют все газеты, всегда не такова, как кажется,— заметил он.— Видимость обманчива, и описание нисколько не похоже на действительность. Знаменитости разочаровывают, и за это мир заставит заплатить вас. Интересно, что у нас впереди?»

«Что впереди?» — переспросил я, сперва подумав, что вопрос мне задан философский, но он обвел рукою озеро. «А-а, здесь,— сказал я.— Думаю, вон те огни — это Веве». «Ну да, Веве,— промолвил Криминале.— Место, где в изгнании жил великий человек». «Да?» — переспросил я. «Чарли Чаплин,— пояснил он.— Знаете, людям Адольфа Гитлера было строго-настрого наказано, чтоб фюрер никогда не видел его фильмов, дабы не подумал, будто шут, которого он видит на экране,— он сам». «Я не знал»,— ответил я. «Кстати, родились они в одном и том же году, в тысяча восемьсот восемьдесят девятом,— сказал он.— Подумайте, Гитлер и Чаплин, фашист и клоун. Если вы фотограф, то вам надо побывать в здешнем музее Чаплина». «А вы там были?» — спросил я. «Конечно, в прошлом году открывал там выставку к его столетию,— ответил Криминале.— Кстати, было очень трогательно». «Вы великий путешественник,— заметил я.— Везде-то вы бывали».

«Нет-нет, я не путешественник,— не согласился он.— Путешественников сейчас нет, одни туристы. Путешественник ведь едет, чтобы увидеть то, что в самом деле существует. А турист глядит на то, что для него придумано, он как бы входит в некий сговор». «В самом деле, мир, в котором мы живем, лишен идеи»,— сказал я. Он повернулся ко мне и взглянул несколько озадаченно. «Я уже говорил вам это?» Я почувствовал, что он лишь начинает узнавать меня; конечно, я ему в определенной мере помогал. Я подумал, что пора сказать ему немного правды (всей не способен вынести никто) и, может, даже намекнуть на то, что́ вызвало мой интерес к нему. «В каком-то смысле. Я недавно слушал ваше выступление в Бароло». «Да, в Бароло? — сказал он, глядя на меня поверх раскуриваемой сигары.— В самом деле, я там был. Вы тоже? Так о чем я говорил там?»

Вопрос мне показался странным. Проверял он меня или в отрешенности своей и впрямь уже забыл, о чем он говорил там? «Вы говорили о конце истории»,— сказал я. «Вряд ли так,— ответил Криминале.— Видите ли, милый юноша, история все время продолжается, все время обретает ту или иную форму, хотим мы того или нет. Возможно, вы меня неверно поняли». «Возможно»,— согласился я. «Нет-нет, конечно же, я вспомнил,— заявил он, в возбуждении тряся передо мной сигарой.— Я говорил, наверно, о конце homo historicus, индивидуума, усматривающего смысл или цель в истории. Я прав?» «Примерно так»,— ответил я. «В Китае некоторые старики по-прежнему считают, что историю творят ружейными стволами,— сказал он.— Но этим все равно уж скоро к праотцам. А что до нас, до остальных... минувшее смущает нас, грядущее — таинственный хаос... Мы обречены жить вечно в настоящем. Мы ничего не знаем, ничего не помним. И поэтому не можем отличить добро от зла, реальность от иллюзии. Кто может вывести нас на иной путь? Не хотите ли сигару?»

«Благодарю»,— ответил я, беря одну из поднесенного мне изысканного

портсигара. Взяв ее в рот, я откусил конец. «Нет-нет, мой друг, не так, они от Кастро, следует к ним отнестись почтительно,— сказал он, забирая у меня сигару и снова ловко придавая ей форму карманным ножичком.— Видите ли, мы не чувствуем себя частью великой истории, поэтому и движемся мы в никуда. Не так ли?» «Полагаю, да»,— ответил я. Так и стояли мы, два дружелюбных пассажира с тлеющими на концах сигарами, глядя поверх перил, как проплывают мимо яркие огни Веве, потом — Монтрё. «Мне, знаете, по нраву это озеро»,— сказал он, помолчав. «Да, ничего»,— ответил я. «Озеро изгнанников,— заметил Криминале.— Больше всех любили его главным образом изгнанники, как я. Все приезжали сюда в поисках того, чего нигде найти нельзя. Руссо — за человеческой невинностью. Напрасно. Байрон — за политической свободой. Зря. Элиот мечтал тут отдохнуть душою от безумия современников. Вотще. Набоков думал снова обрести Россию. Но обрел швейцарские отели». Не он один, подумал я.

Я поглядел на него краем глаза. Одно бесспорно, понял я: какими б эротическими наслаждениями этот человек, известный и удачливый, ни упивался — если упивался — в пламенных объятиях мисс Белли, они ни на йоту не уменьшили его неутолимую учительскую тягу наставлять и объяснять. Я полон был вопросов, я хотел спросить его о многом, обо всем — о детстве, о политике, о философии, об опыте существования при марксизме, о жизни, о любовных связях. Но довольствовался тем, что слушал — почему бы нет? Так и вели себя обычно с Басло Криминале. В конце концов, в этом самовлюбленном мире, где так не хватало благородства (фотографы тем временем разошлись вовсю), он обладал умением придавать всему достоинство и глубину и каждой мысли прибавлять весомости и ценности. Как и в Бароло, я понял, что мне приятен его голос, неспешный ироничный тон, которым он высказывал свои идеи, что мне нравится *он сам*. Мне нравились его серьезность, человеческая самобытность и чувство истории. Он вышел из сумбура, но принес некий порядок, и в такие вот минуты я знал, что с Криминале все нормально.

«Но лучшая из книг, написанных на этом озере,— «История упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона. Он кончил эту выдающуюся книгу здесь. Конечно, вы ее читали?» «Боюсь, что нет»,— ответил я. «Прошу вас, почитайте как-нибудь,— сказал он.— В ней показано, что все исторические эпохи составляют замкнутый цикл. И этой книгой Гиббон положил начало современной реинтерпретации истории». «План грандиозный»,— проронил я. «Я думаю, мы и живем на свете для осуществления грандиозных планов,— ответил Криминале.— Я не согласен с многими философами наших дней, которые считают, что живем мы просто так и вовсе не должны осуществлять что-либо. Но они считают так, конечно, не без оснований. Все, кто в наши дни пытался претворить в действительность великие проекты, потерпели неудачу. Ницше в результате столкновения с сумбуром потерял рассудок. Хайдеггер обманулся в нацистах, которых принял за великих философов, а они были всего-навсего громилами, головорезами. Сартр, наивный, как какая-нибудь юная девица, с шайкой сталинистов... Я их знал и представляю, как они его использовали. Но, конечно же, философ для того и существует, чтоб его использовали».

«К чему тогда усилия?» — спросил я. «А ничего не делать еще хуже,— ответил Криминале.— Сегодня они говорят философу: будь сдержаннее, ты нанес немалый вред. Но как философ может перестать быть таковым? Я убежден, что нам нужны мораль, политика, история, чувство собственного «я», чувство инакости, чувство человеческой значительности в некотором роде. Скептики у нас теперь запели гуманизму отходную. Не согласен с ними. Задача философии — просто все время заново изобретать задачу философии, подчинять нашу эпоху и наш мир идее. Вы молоды, и мы должны вас снабдить идеями. И все время мы нуждаемся в морали, политике, истории, в чувстве собственного «я», в чувстве других, в каком-то смысле в чувстве вечности. Как придумать философию *после* философии? Я постоянно задаю себе этот вопрос». «И как же отвечаете?» — спросил я.

«Ну, что-нибудь всегда сбивает нас с пути — любовь, деньги, власть,

известность, скука... Кстати, мне надо идти разыскивать свою молоденькую спутницу. А вы один?» «Один»,— ответил я. «А мне казалось, я вас с кем-то видел. Что такое?» Лопасти вспенивали воду, пароход разворачивался; я глянул через борт. Внизу был виден небольшой причал. «Мы пристаем,— сказал я.— Видимо, сейчас будем сходить на берег». «Ах ну да, Шильон,— сказал, небрежно роняя сигарету за борт, Криминале.— Надо подготовиться к выступлению». «Вы будете сейчас здесь выступать?» — спросил я. «Да, таким вот способом они хотят испортить этот чудный вечер,— отозвался он.— Разве у вас не обозначено в программе?» «Я потерял ее,— сказал я быстро.— Что же, предвкушаю ваше выступление». «Никогда не предвкушайте выступлений,— посоветовал он, протянув мне руку.— Только вспоминайте, если они будут того стоить. Всего доброго». Он пошел по палубе. Наверно, в поисках мисс Белли, хотя связь их стала мне теперь казаться еще более поразительной, чем прежде.

Суровый каменный Шильон, безрадостная веха в череде людских несчастий, остров-замок, возвышался, освещенный, рядом с местом, куда мы пристали. Поток фотографов уже стекал по сходням на берег и шумною толпой перебирался через деревянный мостик к крепости. Был среди них и Криминале, заметный в толпе благодаря оранжевой хламиде Белли, повисшей на его руке. Кого я потерял, так это Илдико; пожалуй, следовало поискать ее на пароходе. Но ни в салонах, ни на палубах ее не оказалось: наловчилась исчезать не хуже Криминале. По сути дела, в эти дни я занимался поиском двоих. Пароход был почти пуст, и я, сойдя на берег, мостиком прошел в Шильонский замок.

Здесь, во внутреннем дворе, и собрались участники конгресса. Приветствовал их, стоя на балконе, мэр Монтрё; он рассказал историю бедняги Франсуа Бонивара, который на шесть лет прикован был к скале в темнице ниже уровня воды — видно, не самую подходящую он выбрал философию для тех времен. Мыслить было нелегко всегда. Я оглядел толпу, но Илдико как не бывало. Затем нас проводили в главный зал с современным освещением и современными же стульями. Пламенная председательница представила почетного гостя конгресса и оратора этого вечера. Им был, конечно, Криминале, поднявшийся, чтоб выступить с программным сообщением на тему «Фотография и желание». Сидя позади, я осторожно оглядывал внимательную публику. Илдико в зале не было.

Это сильно отвлекло меня от выступления Криминале, но, похоже, проходило все успешно. Мрачность и уныние, которые выказывал он в Бароло, вроде бы ушли в прошлое, как и приметы эротической пресыщенности, каковую обнаруживал он предо мной на пароходе несколько минут назад. Он открыто восхвалял эротику, превозносил желание, даже более чем желание — шокирующую откровенность и неистовость. Он отказывается, сказал он, видеть в теле символ или знак, как современные философы. Для него это реальность, плоть как плоть. Эротическое «я» самодостаточно, обнаженный человек — явление вне культуры, вне притворства; он подвергал нападкам старомодных моралистов, новомодных семиологов; Лакана отвергал, Фуко послал подальше. Феминистки принялись его освистывать, абстракционисты заропгали, так как Криминале явно нарушал обычные приличия, привычнейшие интеллектуальные обычаи. Но, утомленные двумя днями теории и жаждая поскорей добраться до обещанного вслед за тем вина, фотографы откликнулись тепло и наградили Криминале шумными аплодисментами.

Слышно было их довольно далеко — я в это время ускользнул уже оттуда и осматривал угрюмый замок, всюду ища Илдико. И наконец нашел — внизу, в темнице: держа в руке бокал, она дружески беседовала с Хансом де Графом. «Ищу, ищу тебя!» — сказал я. «Ты ведь знаешь, что я не любительница лекций»,— ответила она. Последовала вспышка — нас сфотографировал де Граф. «Прошу прощения,— сказал он.— Я пойду, там, наверху, сейчас прием». «Хватит с меня, Илдико,— вскипел я, когда он ушел.— Объясни в конце концов, что у тебя такое происходит с Кримина-

ле?» «Ничего,— сказала Илдико.— Я и не вижу его». «То-то и оно, тащилась ведь из Будапешта, чтоб его увидеть». «Ну, я вне подозрений,— отвечала она.— А вот о тебе сей милый юноша мне задал множество вопросов». «Де Граф? — проговорил я.— И какие же?»

«Где ты работаешь, что ты вообще собою представляешь,— отвечала Илдико.— Он говорит, что никогда еще не видел русского, который бы совсем не говорил по-русски. Может, тебе все же стоит хоть немножко привенгериться?» «И что же ты ему сказала?» «Ничего,— ответила она.— Что я едва с тобой знакома. Так ведь?» «У меня случился с Криминале долгий разговор. Он мне рассказывал, как его жизнь испортил секс». «А обо мне он говорил?» — спросила Илдико. «Да нет,— ответил я.— И я не заикнулся». «Хорошо,— одобрила она.— С такими вещами лучше быть поосторожней». «Ты о чем? — спросил я.— Что происходит?» Но толпа участников конгресса с карточками и бокалами в руках уже сходила вниз, чтоб обозреть темницу. «Возвращайся туда, продолжай вертеться среди них,— сказала Илдико.— Поговорим на пароходе. Мне охота осмотреть это кошмарное местечко».

И я вернулся в главный зал. Стулья уже вынесли, все было подготовлено к приему. Там имелась выпивка, изрядное количество, там собрались фотографы, притом какие! В конечном счете сливки мировой фотографии, и все щелкали друг друга и, конечно, Басло Криминале. Он находился там, где он любил бывать,— в центре внимания, он был окружен толпою. Я пролез поближе. «Вы прочли такую замечательную лекцию,— сказала очень симпатичная румынка.— Только пятеро участников уснули, прекрасный результат. И вы так тонко чувствуете эротику! Я хочу, чтоб вы меня сфотографировали обнаженной!» «Давайте договариваться,— согласился Криминале.— Завтра?» «Басло, миленький, тебе пора на пароход,— проговорила мисс Белли, трогая его за рукав.— Они вконец тебя уморят». Илдико была права: говорила она совершенно как Сепульхра; может, это Криминале так действовал на людей. «Этой милой даме хочется, чтоб я ее сфотографировал»,— ответил Криминале. «Не забудь, что утром тебе в банк»,— сказала Белли. «Можно ведь пойти туда в любой момент,— ответил он.— Почему всегда, когда тебе высказывают восхищение, пора идти куда-то?» «Тебе высказывают восхищение все кому не лень»,— нетерпеливо откликнулась Белли и увидела меня. Судя по всему, она меня узнала; глаза ее расширились. Повернувшись, она что-то зашептала Басло Криминале. Начиная понимать причины сдержанности Илдико, я улизнул, чтобы пройтись по замку.

Илдико увидел я уже на пароходе. Наше возвращение в Лозанну проходило под порывистым холодным ветром. Поискав средь разгулявшихся фотографов, я наконец нашел ее одну в заднем салоне; съежившись от холода в своем (моем) *«Я люблю Лозанну»*, она выглядела чрезвычайно несчастливой. «Пора поговорить,— сказал я.— Мне охота знать, что все же происходит». «И мне тоже,— отвечала Илдико.— Он с ней по-прежнему?» «Да,— ответил я.— Он хочет поснимать одну там голой, а Белли хочется с ним прогуляться в банк». «Когда, завтра?» — поинтересовалась, выпрямляясь, Илдико. «Угу,— ответил я.— Она и правда с каждой минутой все больше смахивает на Сепульхру». «Басло так устроен,— объяснила Илдико.— Находит себе новую милашку, а потом теряет интерес к ней. И обнаруживает, что на самом деле любит прежнюю. Когда сбежал с Сепульхрой, то все время говорил, что больше любит Гертлу». «А зачем сбегал?» «Ну, ясно, потому что Гертла погубила б его, если б он остался»,— заявила Илдико.

Я поглядел на нее. «Погубила? Как?» «Она спала с одним там,— объяснила Илдико.— С начальником тайной полиции как будто бы». «Гертла? Спала с начальником госбезопасности? — переспросил я, пораженный.— Я-то думал, что они были против режима». «В таких делах имеет смысл быть по обе стороны одновременно. Может, она думала, что это ему помогает. В те времена так делали. Но ничего хорошего из этого не вышло. Он был опозорен в глазах всех своих друзей». «Да, когда супруга основного

радикала водит шашни с главой госбезопасности,— сказал я,— это вряд ли помогает». «Он и сам крутил романы,— заявила Илдико.— Он тогда еще влюблен был в Пиа. Ты видел ее голой в Будапеште, помнишь?» «Я?!» «Ты видел ее голой, верно? — повторила Илдико.— Ну, в Будапеште, на стене. Пиа, его берлинская жена, он говорил всегда, что никого так не любил».

«А почему же бросил?» — удивился я. «Уж слишком много она знала про него,— сказала Илдико.— Я думаю, о связях его с Ульбрихтом и гэдээровским режимом. Странное то было время для него». «Он продолжал с ней видеться?» — спросил я. «Она сразу умерла, как только он ушел,— сказала Илдико.— Но говорил он о ней больше, чем о любой другой. Да и по карточкам заметно, лучшие — ее. За исключением, возможно, карточек Ирини». «Ирини?» — удивился я. «На ней женат он так и не был,— сообщила Илдико.— О ней я вовсе ничего не знаю. Об Ирини он вообще молчок, в отличие от Пиа». «А что произошло с Ирини?» — спросил я. «Откуда же мне знать? — сказала Илдико.— Я знаю только, что из-за нее он чуть не влип по-крупному. Ирини тоже умерла, задолго до того, как я с ним познакомилась, пойми».

«Давай-ка по порядку,— попросил я.— Стало быть, сначала была Пиа, слишком много знавшая о Криминале. После — Гертла, спавшая с начальником госбезопасности». «Нет, между ними, ты забыл, была Ирини». «Ах, ну да, из-за которой Криминале чуть не влип по-крупному,— сказал я.— А потом?» «Потом Сепульхра, та могла его удерживать лишь тем, что она знала про него,— сказала Илдико.— Не выпить ли мне соку?» «Погоди-ка, что же она знала?» «О всех прочих. И о закулисных тех делах, я говорила тебе. Может быть, и о других вещах». «Каких?» «Ты знаешь, что она причастна к написанию его книг? — сказала Илдико.— Говорят, что больше половины созданного им на самом деле создано Сепульхрой». «Я думал, что Сепульхра выполняла только секретарскую работу». «Говорят, «Бездомье» — плод ее трудов»,— сказала Илдико. «Так почему же он ее бросает?» — спросил я. «Он думает, что мир переменился и что можно все оставить позади,— сказала Илдико,— но он не прав. Что было, никуда не денется. Не убежишь от самого себя. Всегда найдется кто-нибудь, кто помнит. Ну, теперь ты знаешь все».

«Нет, не совсем,— сказал я.— В этом перечне кое-кого недостает». «Думаю, что многих,— отвечала Илдико.— У Криминале было много женщин. Он ведь венгр». «Я имел в виду тебя»,— сказал я. «Обо мне давай не будем»,— попросила Илдико. «Но я желаю знать, когда вы встретились, когда все это между вами было». «Главное, что все это прошло,— ответила она.— Несколько лет тому назад. Ему требовалась помощь с его книжками на Западе. Я говорила тебе». «Почему же он тебя оставил? — спросил я.— Ты тоже много знала?» «Что я знаю, я тебе рассказывала в поезде,— сказала Илдико.— Мы все о нем не в меру много знали. Но после происшедших перемен он думает, что он теперь свободен, он считает, будто бы всего, что было, больше нет, что ничего не надо исправлять». «Зачем же ты поехала за ним сюда?» — спросил я. «Это я из-за тебя,— ответила она.— Мне было хорошо с тобой. А ты что вытворяешь? Притащил сюда, засунул в жуткую дыру, бросаешь то и дело...» «Я думал, ты ради него»,— сказал я. «Нет, теперь я вовсе не желаю его видеть»,— ответила она.

Я на нее уставился. «Вообще-то для мыслителя альковные дела его уж чересчур запутанны»,— выговорил я наконец. «А ты считаешь, если он философ, то не может, как все прочие, запутаться в своих амурах?» — вопросила Илдико. «Я бы назвал запутанной также его политическую жизнь». «Почему бы нет? — отозвалась она.— Ведь он восточноевропеец». «Равно как и финансовую». «Я говорила: хотя деньги он и любит, они вовсе не настолько для него важны»,— сказала Илдико. «И каждая из женщин, им любимых, чем-нибудь его держала»,— сказал я. «Конечно, в браке так оно и происходит,— подтвердила Илдико.— Теперь он хочет от всего этого убежать. Он не осознает, что все равно это невозможно». «Но отчего? — спросил я.— Что вы все о нем такое знаете?» «Пожалуйста, я не хочу об

этом больше,— попросила Илдико, вставая.— Как-нибудь в другой раз, может, завтра». Повернулась и пошла через веселую толпу.

Чуть позже я увидел, как она танцует с молодым де Графом. Только пароход пристал в Уши, она сошла, опередив меня, и припустила в «Цвингли». Когда я пришел, она уже взяла у мрачной девы ключ и поднялась в свой номер. Проходя мимо ее двери, я постучал; ответа не было. Поднялся еще на два этажа к себе, сел на кровать. Все изменилось. Илдико стала далекой, и с тревогой я почувствовал, что я ее теряю. Но Криминале, прежде — белое пятно, теперь являл собой избыток знаков — знаков философии и секса, политики и денег, славы и бесславья. Раньше было слишком мало материала, а теперь чуть ли не слишком много. Сейчас мне требовалось выяснить, что же за душа у Криминале, если у него есть душа. Рассеявшиеся за вечер подозрения опять ко мне вернулись. Я пытался увязать между собою факты, даты, имена. Хотел, чтобы все это обрело какой-то смысл, но почему-то нужный смысл не выходил.

Я размышлял об Илдико, потом о прочих женщинах, с которыми был близок Криминале. Я пытался их расставить по порядку и понять, когда же появилась Илдико. Пиа и Ирини, Гертла и Сепульхра, Илдико и Белли — Криминале говорил, что любит женщин, обладающих волей к власти, но набралось достаточно таких, которые имели власть над ним. Одна была излишне осведомлена об отношениях его с режимом Ульбрихта. Другая, так почти мне и неведомая, принесла ему какие-то напасти. Еще одна делила ложе с тайной полицией, четвертая помогала в написании книг и владела им благодаря всему, что знала. Пятая была его очередной попыткой обрести свободу от чего-то, его шансом все начать сначала. Еще одна, которую, как мне казалось, я знал лучше всех, помогала ему публиковаться, гарантируя тем самым банковские накопления, так что он мог не думать о деньгах. Две из этих женщин были здесь, одна неподалеку, в Бароло. Мне становилось ясно, почему на пароходе он с такой тревогой говорил о сексе. Я ощущал нечто подобное, но в то же время мною овладел своего рода журналистский зуд. Права была Лавиния: жизнь и романы Криминале — странная история. Надев пиджак, я соскользнул по лестнице, на цыпочках прокрался мимо двери Илдико и стал спускаться вниз, чтобы доложить новости Вене.

Под перезвон полночных колоколов я обнаружил в вестибюле «Цвингли» удивительные изменения. Место строгой девы за конторкой занял здоровенный малый в черной майке-безрукавке, который явно проводил иной режим. Он запросто выдал ключи двум странным парам — темнокожим, средних лет самцам в сопровождении совсем еще девчурок,— пустившимся по лестнице едва ли не бегом. Похоже, ровно в полночь кальвинизм закончился. Я взял у силача жетоны и поплелся в угловую будку. Но ночная жизнь Вены, судя по всему, была такой же бурной. В «Отеле де Франс» мне сообщили, что Лавиния умотала рано и еще не возвращалась.

Я собрался вновь наверх, но вспомнил о данном мною обещании. Не то чтобы я жаждал его выполнить, но раз уж обещал... Я бросил еще несколько жетонов, набрал номер Бароло. Пробиться не надеялся — в конце концов, тем вилла Бароло и славилась, что берегла своих высоких гостей от всяких внешних посягательств. «Ja, Брукнер?» — отозвался голос на другом конце. «Я Фрэнсис Джей, я из Лозанны»,— сказал я. «Пожалуйста, ведь мы не знаем, кто нас слушает,— сказала Брукнер,— «Связной докладывает с места назначения». Итак, субъект находится в известном месте?» «Да»,— ответил я. «Субъект женского пола тоже?» — осведомилась Брукнер. «Да»,— ответил я. «Замечено ли в действиях их что-то необычное?» «Нет, все весьма обычно,— отвечал я,— они просто ожидают нового конгресса. Известное место, кстати, очень ничего. Не знаю, как он себе это позволяет. Разве что на западные отчисления». «Простите? — переспросила Брукнер.— Западные что?» «Проценты от изданий его книг на Западе,— сказал я.— Он хранит их здесь, в швейцарских банках». «Вы точно это знаете?» — спросила Брукнер. «Да»,— ответил я. На другом конце надолго замолчали.

«Как называется ваша гостиница?» — вдруг спросила Брукнер. «Цвингли», в Уши,— ответил я.— Совершенно не рекомендую. Этакий гибрид

монастыря с борделем». Мускулистый малый покосился в мою сторону. «Ладно, будьте завтра целый день на месте,— приказала Брукнер,— не съезжайте, я приду туда, как только я смогу». «Вы?» — удивился я. «Вы справились с задачей хорошо, я поздравляю вас,— сказала Брукнер.— Он вас не заметил?» «Я имел с ним долгую беседу». «Вы вели себя неосторожно, ну да ладно, ничего,— сказала Брукнер.— Постарайтесь больше подозрений у него не вызывать. Вы были золотой жилой информации». «Спасибо,— сказал я.— Только какого рода?» «И я имею тоже кое-что для вас,— сказала Брукнер.— Ваш источник — понимаете меня? — спешно бежал в Вену. Здесь вы тоже оказались правы, он, конечно же, замешан в этом». «В чем?» — спросил я. «Мы и так уже сказали слишком много,— отрубила Козима,— не говорите никому. Ну, доброй ночи, друг мой. Ждите меня завтра утром». Я медленно повесил трубку с беспокойным ощущением, что, позвонив Козиме Брукнер, совершил серьезную ошибку.

В ту ночь я спал неважно. Несмотря на то, что я был далеко от зигмундовой Вены, мне приснился сон, весьма меня встревоживший. Я выступал в телепрограмме, говорил о будущем, поскольку был как будто футурологом, а пол огромной съемочной площадки в телестудии раскачивался почему-то взад-вперед. Затем я обсуждал судьбу какой-то из восточноевропейских стран с ее послом, который то и дело возражал мне. После, поздней ночью, лимузин доставил меня к дому, где, как я понял, я уже когда-то жил. Теперь он выглядел совсем иначе, и его к тому же перестраивали. В спальне тут и там стояли приставные лестницы каменщиков и маляров, и я увидел, как ведро, полное краски, перевернувшись, расплескалось по постели, где я спал ребенком. Раздался громкий звон разбитого стекла, и я проснулся. Раздался громкий звон разбитого стекла: какой-то постоялец «Цвингли» избавлялся от опустошенных им за ночь бутылок, отправляя их во двор. Потом я подумал о находившейся через этаж от меня Илдико. Мне захотелось оказаться рядом с ней, или чтоб она оказалась здесь.

Рано утром, в семь, я поспешил к ней вниз. Дверь была не заперта, я заглянул. Там был ее багаж: одежда, сумки и покупки — все разбросано с щедрой безалаберностью, хорошо известной мне по Бароло. Ее следы были везде, самой же ее не было и в помине. Все становилось слишком хорошо знакомым, слишком выводило из себя. Я дунул вниз. Швейцарский кальвинизм воцарился вновь, ночного силача как не бывало, за конторкой стояла строгая девица. Я спросил об Илдико. «Она ушла, месье, полчаса назад,— сказала девушка с укором.— И не сдала ключа». «Куда, не говорила?» «Нон, месье,— ответила девица,— но спросила, где получше магазины. У нас в Лозанне очень неплохие магазины». «Конечно»,— согласился я, засовывая руку в карман, где был бумажник, и, естественно, его не находя; потом я вспомнил, что она не возвратила его мне, когда брала вчера на пирсе. Я вообразил уже, как славные лозаннские торговцы в восторге потирают руки, радуясь неожиданному росту барышей.

Сначала я чуть было не пустился догонять ее. Потом припомнил директивы Козимы и, перейдя дорогу и купив английскую газету, зашел в гостиничное кафе и заказал рогалики и кофе. Развернув газету, я узнал, что мир за время моего отсутствия совершенно разболтался. Новый мировой порядок становился слишком уж похож на Старый мировой. Американские войска, танки и самолеты отправлялись в Саудовскую Аравию, а многочисленный международный флот шел по Персидскому заливу. Саддам Хусейн лез на рожон и угрожал взорвать какую-нибудь ядерную штуку. В Советской России начиналась голодная зима. ХДС в бывшей Восточной Германии обвиняли в том, что он переправил в кейсах 32 миллиона дойчмарок в Люксембург. Снова что-то приключилось с футболистом по фамилии Гацца.

Временами я выглядывал на улицу в надежде, что на горизонте покажется Илдико с пакетами, количество которых будет не бесчисленным. Раза два я бегал посмотреть: а вдруг она вернулась? Вещи были там, чего нельзя

сказать о ней самой. В третий раз, спускаясь, я заметил у конторки черные кожаные штаны, беседовавшие с мрачной девой. Конечно, я узнал их сразу и окликнул: «Мисс Брукнер!» «Не забудьте, вы меня вообще не видели»,— сказала Козима девице за конторкой, после чего приблизилась ко мне и подхватила под руку. «Прошу вас, без имен,— сказала она.— И не надо задавать вопросов. Мы сейчас спокойно выйдем из гостиницы. На улице увидите вы черную машину. Сядете на заднее сиденье». Когда Козима давала указания, все почему-то слушались. Должен признать, что мировосприятие этой особы обладало какой-то заразительностью.

У входа стоял черный «мерседес» — в неположенном месте, что считается в Швейцарии серьезным нарушением. За рулем сидел шофер в темных очках. Я сел на заднее сиденье, Козима уселась рядом. «Вы упомянули банк,— сказала она,— где у Криминале есть счета. Вы знаете его название?» «Конечно, нет»,— ответил я. «Вы говорили, что у вас есть доказательства,— сказала Брукнер.— Что вам известно? Это важно». «Он сделал что-нибудь не то?» — спросил я. «Это уж вас не касается»,— отрезала она. «Ну, я видел мельком какой-то банковский счет на его рабочем столе в Бароло,— сказал я.— Существует что-нибудь здесь под названием «Бругер Цугербанк»?» «Ja, ja, фройляйн Брукнер»,— сказал шофер. «А, вы знаете его? — обрадовалась Козима.— Тогда — туда, скорее, Ханс». Машина с ревом понеслась по улице. «А что же может быть не так с его счетами? — удивился я.— Как автор он известен во всем мире». «Да, это прекрасное прикрытие»,— сказала Козима. «Но для чего? — не понял я.— Читайте меньше книжек про шпионов!»

Немного позже мы сидели с ней на модерновых стульях в изысканно обставленном — столы, к примеру, из стекла — офисе герра Макса Патли, управляющего мощным отделением лозаннского «Бругер Цугербанка». Хозяин нас разглядывал поверх очков в золотой оправе. «Я прекрасно понимаю, что вы представляете Европейское сообщество,— сказал он, глядя на разложенные перед ним Козимой документы.— Но вам известно, что Швейцария под юрисдикцию Комиссии не подпадает». «Я думаю, вы в курсе нашего сотрудничества в некоторых сферах»,— проронила Козима. «Финансы — деликатнейший из всех вопросов, фройляйн Брукнер,— отвечал герр Патли, облаченный в щегольской костюм.— Здесь мы во что бы то ни стало обязаны блюсти нашу прекрасную традицию банковской тайны. Для нас это необычайно важно. Тем не менее, вы можете мне задавать вопросы, посмотрю, смогу ли я на них ответить».

«Очень хорошо,— сказала Козима.— Имеет ли профессор Басло Криминале в вашем банке счет?» «Вопрос, конечно, интересный, фройляйн Брукнер,— отвечал герр Патли.— Я могу сказать определенно: нет». «И вам не нужно даже проверять?» — осведомилась Брукнер. «Никакой необходимости,— ответил Патли,— так как счет, который мог он здесь иметь или же не иметь, сегодня был закрыт». «Закрыт? — переспросила Брукнер.— Им самим?» «Нет, закрывал его не сам профессор». «Там была поставлена другая подпись?» — вопросила Брукнер. «Если б у него действительно имелся счет — чего я не признал,— я думаю, вы обнаружили бы нечто в этом роде»,— осмотрительно ответил Патли. «Чья же подпись там была? — спросила Брукнер. «Я, конечно, не могу назвать вам ее имя, фройляйн Брукнер,— сказал Патли.— Это в корне бы противоречило традиции сохранения тайны вкладов». «Но к счету этому имеет доступ целый ряд различных партий, не правда ли, герр Патли?» «Ну, только с соответствующими разрешениями,— осторожно согласился Патли.— Положенные процедуры выполняются всегда, даже по отношению к правительствам, которые не входят в Международный валютный фонд, вы понимаете меня?»

«Да, я прекрасно понимаю вас, герр Патли,— проговорила Брукнер.— Еще только один вопрос. Известно ли вам о других таких счетах в лозаннских банках?» «Боюсь, я снова ничего вам не смогу ответить, фройляйн Брукнер,— молвил Патли,— могу вам предложить лишь обратиться в шесть ведущих банков города и там задать эти вопросы». «Благодарю,

герр Патли, вы мне очень помогли»,— сказала Козима, вставая. «Надеюсь все-таки, что нет,— ответил Патли, поднимаясь и пожимая ей руку.— Я бы не хотел, чтобы у вас сложилось впечатление, что мы каким-то образом способствуем внешним расследованиям. Но в то же время мы предполагаем в ближайшем будущем войти и сами в Европейское сообщество. Поэтому мы рады оказать Комиссии умеренную помощь, я надеюсь, что она была действительно умеренной. Видерзеен, фройляйн Брукнер. Всего доброго, сэр. Мы готовы предоставить вам любую из наших услуг. Может быть, желаете субсидию? Помните, мы лучший в мире банк». «Нет-нет, спасибо»,— сказал я, и мы ушли.

«Значит, женщина,— весьма задумчиво проговорила Козима, когда мы ехали к отелю «Цвингли».— Женщина, каким-то образом имеющая доступ к спецсчету Криминале. Как вы думаете, кто она? Мисс Белли?» «Не исключено,— сказал я осторожно.— Это может оказаться кто угодно. Сепульхра, Гертла, Пиа, Ирини...» «Кто это такие?» — удивилась Брукнер. «Его жены и тому подобные,— ответил я.— Он был близок с массой женщин. Честно говоря, это одно из основных его занятий». «Значит, это все, что вам известно?» «Все»,— ответил я. «Что же, вы мне тоже очень помогли,— сказала Козима.— Мы просто опоздали, но не ваша в том вина». «Готов служить Европе»,— отозвался я. «Если вы еще что-то припомните или узнаете, пожалуйста, звоните,— попросила Козима,— в любое время суток в «Мовенпик». «Конечно,— обещал я, покидая черную машину у отеля «Цвингли»,— боюсь лишь, это все, что мне известно».

Но, конечно, знал я и другое. Что номер Илдико, когда я поднимусь к нему, окажется пустым, разбросанных вещей уже не будет. Знал, что в это время в магазинчиках Лозанны станет снова по-швейцарски чинно и спокойно, а Илдико почти наверняка будет уже далече, может быть, с изрядной долей западных процентов Басло Криминале, сунутых куда-нибудь в ее все пухший точно на дрожжах багаж. Номер был не заперт, я вошел. Там оказалось голо, негостеприимно, сиротская кровать готова была встретить следующего бедолагу. Я медленно побрел к себе наверх, думая, что я прекрасно понимаю, что произошло и почему Илдико приложила столько сил, чтобы попасть в Лозанну. Знал я также, что уже по ней скучаю и отчаянно хочу ее увидеть вновь. Я отпер свою дверь, вошел. Посреди кровати лежал маленький коричневый предмет — мой собственный бумажник. Я взял его, открыл, сообразив, что вместе с Илдико могли покинуть город не одни лишь гонорары Басло, но и все мое собрание кредитных карточек.

На пол хлынула бумага, необычная бумага — новая, хрустящая, нарезанная цветными прямоугольниками, не какая-нибудь там бумага — бумага с указанием достоинства, особый вид ее, который называется деньгами. Я подобрал лежавшие повсюду франки, сложил их в кучу, постоял немного, потом принялся считать. Вышла сотня тысяч франков плюс-минус одна-две банкноты. Трудно было сказать, сколько это в долларах, я только знал, что очень много. Среди могущественной этой бумаги оказалась и другая, сложенная белая записка, для меня — не меньшей ценности. Она гласила: «Фрэнсис, это мой тебе сюрприз. Понимаешь, я действительно хочу с тобою расплатиться за этот заключительный шоппинг. И поблагодарить тебя за замечательное путешествие. Потрать это как хочешь, Фрэнсис, но когда будешь тратить, думай обо мне. Успеха тебе в подготовке передачи. Криминале интересней, чем ты думаешь. Надеюсь, что я тоже. Пожалуйста, будь осторожнее и постарайся хоть немножко привенгериться. Люблю + целую, Илдико».

Сидя на кровати, я смотрел на то и на другое: на пачку денег и на маленькую ее записку. Я потерял ее, и как же я жалел! Может быть, я сам был виноват, того не сознавая, быть может, это потому, что она просто никогда не была для меня важней всего. Я пробовал представить, что в тот день случилось в банке. Не так давно Илдико опустошила мой счет, воспользовавшись моей карточкой — возможно, у нее это уже вошло в привычку. Но неужели же все ради этого? Когда мы встретились впервые в Будапеште, собиралась ли она тогда уже надуть великого философа,

добраться до его счетов в Лозанне, выбрать все его деньги в банках? Мне казалось, ей действительно нравится со мною путешествовать, однако же когда дошло до дела, даже я был вынужден признать, что крупный тайный счет в твердовалютном банке привлекал ее гораздо больше. Как издатель Криминале, она знала его иностранные счета, возможно, некоторые из них и открывала. Или, может, бегство его сюда из Бароло навело ее на мысль, что настало время прекратить нести потери и забрать свою долю. Так или иначе, я не слишком сомневался в том, что Илдико сейчас в каком-нибудь далеком безопасном месте вовсю ловит кайф от шоппинга.

Но если в самом деле так, то эти деньги были грязными, и мне не следовало их вообще держать в руках. Сколько их там, какова их ценность? Я спустился в вестибюль и через голову суровой девы заглянул в таблицу с надписью «Обмен», висевшую на стене. Затем пошел в кафе, что на террасе, и проверил снова содержимое бумажника. Там было сорок с лишним тысяч фунтов, куча денег — столько не смогла бы Илдико добыть со всех моих счетов даже при наивысшей ставке. Я огляделся, снова посмотрел на деньги. Там лежало множество банкнот — бумаги, которая была гораздо больше, чем просто бумагой,— и среди них записка от Илдико. Тексты и на этой, и на тех бумагах, понимал я, равно трудно допросить, расшифровать, деконструировать. Оба можно прочитать двумя совсем различными манерами. Быть может, оба они — выражения любви, акты нежности и проявления щедрости гораздо большей, чем когда-либо мне удавалось проявить по отношению к ней. А может, то дары совсем иного рода. От меня, возможно, откупаются, приглашая в тот же мир, в котором — начинал я думать — Криминале жил годами? Может, смысл всего этого в том, что мне надо привенгериться — молчать, не задавать больше вопросов, взять свою поживу да и укатить домой?

Так что́ мне — я напомню, славному открытому парнишке — делать с этой сомнительной, может быть, отравленной чашей? Сидя на террасе, где мы накануне вечером сидели с Илдико, я обнаружил, что решить на удивление непросто. Само собою, можно пройти по набережной несколько шагов до «Мовенпика» и заглянуть к Козиме Брукнер, как будто бы доступной днем и ночью. Но это означало бы предать Илдико Хази, чего я делать вовсе не хотел. А можно пройти по той же набережной в противоположном направлении до отеля «Бо риваж палас» и протянуть все эти деньги Криминале, вероятно, их законному владельцу. Только был ли Басло таковым? С чего бы Козима тогда рвалась исследовать его счета? Чем больше думал я, тем лучше понимал, что почти во всем был слеп. Пока я потихоньку искал Басло Криминале, велись гораздо более серьезные, страшные поиски — в том числе и под самым моим носом. Как было сказано в зажатой у меня в руке записке, Басло и Илдико намного интереснее, их жизни — куда более затейливы, таинственны и, без сомнения, обманчивы, нежели я в своей наивности мог вообразить.

Позднее в тот же вечер я впервые побывал в «Бо риваж паласе» и познакомился с его великолепием. Я посетил залитый светом пивной бар на первом этаже, где явно собиралась золотая молодежь Лозанны, как можно было сразу же понять по выстроившимся снаружи экзотическим машинам. Внутри красивый молодняк болтал, смеялся, лапался и целовался — по суровым здешним меркам это, без сомнения, считалось высшей степенью веселья и развязности. Я взял кружку пива, и еще одну, еще... А почему бы нет? В кои веки я не был на мели и мог легко это себе позволить. В действительности я не представлял, что делать дальше. Но посидев и выпив кружку — или несколько,— поднялся и прошел в центральный вестибюль. Мимо плыли шейхи в белых балахонах; за конторкой горделиво высился портье во фраке. Представившись самим собой — британским журналистом, я поведал ему, что проделал долгий путь в надежде взять интервью у профессора Басло Криминале, каковой, насколько мне известно, проживает в их отеле.

Оглядев меня, портье изрек: «Момент, месье» — и распахнул увесистую

регистрационную книгу. За его спиною на стене висела здоровенная таблица, озаглавленная «Курс обмена»; я просмотрел ее и вновь прикинул, сколько у меня в бумажнике. Больше сорока тысяч фунтов; впервые с полным, наиполнейшим правом я мог стать гостем «Бо риваж паласа». «Профессор Криминале и мадам, уй?» — сказал, взглянув на меня, портье. «На самом деле если нет его, не страшно»,— буркнул я. «Нет, месье, боюсь, что вы совсем немного опоздали,— ответствовал портье,— они днем съехали из своего пентхауса. Похоже, что-то непредвиденное». «Правда? — сказал я.— Какое разочарование для моего редактора». «Кель домаж, месье»,— посочувствовал портье. «Конечно, вы не знаете, куда они отправились?» — спросил я, разверзая свой бумажник. Зыркнув внутрь, портье сказал: «Я полагаю, в Индию. Я думаю, месье, вы там их где-нибудь найдете». «Благодарю»,— ответил я и протянул ему банкноту. «Вы, месье, сама любезность»,— отреагировал портье; я, очевидно, был необычайно щедр. «Ну что вы»,— бросил я и, выйдя из отеля, пошел на набережную.

Ну вот, подумал я, облокотившись о перила и оглядывая черную громаду озера,— исчезли все они: Илдико Хази, смазливая мисс Белли, загадочный, обескураживающий Басло Криминале. Мне подумалось: а вдруг они все вместе... нет, это абсурд какой-то, совершеннейшая ахинея. Было ясно только одно: след потерян. Хоть в бумажнике моем и сорок тысяч фунтов, но преследованию Басло Криминале наступил конец. Я задавал не те вопросы. Я нашел невнятное решение, точнее, не нашел его вообще. Жизнь, женщины, друзья, враги, сюжет и замысел — все было лишено как формы, так и смысла. Я был сбит с толку, выбит из колеи, разбит, убит и не имел понятия, что делать дальше. Оставалось лишь одно: податься к Брукнер. Может быть, она все объяснит. Но в то же время я лишаюсь своего бумажника... Потом я вспомнил о персоне, к которой, как предполагалось, я всегда должен был обращаться в случае чего, из-за которой я в конечном счете и попал сюда. Вернувшись в вестибюль отеля «Бо риваж палас», я отыскал там телефон и позвонил Дельфийскому оракулу в Вену.

На этот раз Лавиния была на месте. В глубине звучала оперная музыка, звякали стаканы, и болтали по-немецки. Я заговорил, она меня оборвала. «Боюсь, что дело дрянь, лапуська Фрэнсис,— сообщила она,— пробовала дозвониться тебе в Бароло, но там вообще твое существование отрицали». «Естественно,— сказал я.— после Бароло уж сколько прошло, теперь я здесь, в Лозанне». «С тобой чертовски трудно связь держать,— ответила Лавиния,— даже когда я трезвая». «Так что за новости?» — спросил я. «Экая досада, Фрэнсис,— бухнула Лавиния,— все накрылось». «Ты про что это?» — не понял я. «Про нашу передачу,— молвила Лавиния,— капут, финито. Больше мы ее не делаем». «Не хочешь ли ты мне сказать, что этот чертов Кодичил...» — проговорил я. «Он здесь ни при чем,— ответила Лавиния.— Он, кстати, по словам миляги Франца-Йозефа, вернулся в Вену в совершенной ярости. Я верно говорю, Франц-Йозеф, лапка?» Издали доносилась болтовня. Я заорал: «Не Кодичил, так кто же?»

«"Эльдорадо телевижн", вот кто,— изрекла Лавиния,— они похерили все до одной программы по искусству. Видно, им обрыдли все эти Мыслители Эпохи Гласности». «Не может быть, Лавиния,— сказал я.— Ведь история Криминале — просто потрясающая. Там и начальники госбезопасности, и непонятные счета в швейцарских банках — все, что хочешь». «Что бы ты ни говорил, лапуля Фрэнсис,— изрекла Лавиния,— все, к сожалению, бесполезно. Философия — вещь слишком дорогая, а «Эльдорадо» собралось обзаводиться новой техникой, поэтому они хотят заняться исследованием чудесных свойств дешевого телевидения». «Каких еще чудесных свойств?» «Ну, первое чудо будет, ежели вообще отыщется такой дурак, который станет все это смотреть,— ответила Лавиния.— Да, как ни жаль, лапуля, все меняется». «Целая эпоха кончилась»,— сказал я. «Именно,— ответила Лавиния.— Стало быть, ты свое дело сделал. Дотащись до ближнего аэропорта и купи себе билет обратно в Лондон. Из разведочного фонда денег больше не проси, они все вышли. Ухнули будто в дыру какую

в Вене. Бог весть как, сама не понимаю, ты же знаешь, до чего я бережлива».

«Выходит, я приехал, снова без работы?» «Ежели я правильно составила контракт, то да»,— ответила Лавиния. «Не сомневаюсь, правильно, Лавиния»,— ответил я. «Ей-ей, лапулечка, и я скорблю. Ой, тыщу лет такой забойной оперы не видела!» «Благодарю тебя от всей души, Лавиния»,— сказал я и повесил трубку. Взиравший на меня портье во фраке поклонился. Это был конец. Понятно, что она при составлении контракта все предусмотрела; так или иначе, все подписывали всё, что эта баба ни подсунет. И вот я без работы, без доходов, без будущего, без малейших перспектив, расследовать мне больше нечего, и ничего, по правде говоря, я так и не узнал. Все, что есть у меня,— крупный кредитно-карточный долг дома и бумажник, полный грязных денег, здесь, в Лозанне. Заговора я не раскрыл, и мир не стал, похоже, лучше: вместо истории — сумбур, мир скатывается в никуда, и новая эпоха, начавшись лишь десяток лет назад, как будто бы уже кончается.

Вернувшись в бар, заполненный красивыми людьми, я сел и заказал еще одну кружку пива. Я чувствовал себя... я чувствовал себя каким-то странно чистым, будто я вдруг вырос, выбрался откуда-то, и энергичную и основательную умудренность юности сменила абсолютная невинность зрелости. Я был разочарован, я был предан; но во власти моей было самому предать других. Может быть, я что-то и узнал в конце концов от Басло Криминале — что наши мысли и дела вневременными, чистыми, простыми не бывают, а возникают в результате столкновений и обманов, обусловливаются историей, являются из неизвестности, невзгод, уловок... Они скользки и неточны, противоречивы и подвержены внезапным переменам — как сама жизнь. Я никогда еще не чувствовал такой близости к Криминале, как сейчас. И я стал думать, что же, окажись он вдруг в подобных обстоятельствах, в каких, возможно, он всегда и находился,— что бы стал он делать дальше.

Что сделал дальше я... ну, если бы вы попытались засечь меня на следующее утро (скажем, ежели вам вздумается описать мою историю несколько лет спустя — хотя с чего бы, я же не огромный философский слон, я всего-навсего пытливая блоха), вы нашли бы меня в кабинете управляющего... дабы соблюсти финансовую тайну, скажем так: «Креди мовэ ов Лозанн» [1]. Вошел я в этот банк с совсем простым желанием. Но, к удивлению моему, тихий кассир пригласил меня за стойку, подвел к лифту, скрытому за зеркалом, отпер его дверь ключом, висевшим на цепочке, привез на самый верх и усадил в апартаментах с великолепной, выполненной по особому проекту мебелью и дивной панорамой озера. Теперь меня внимательно рассматривал поверх полукружий окуляров в золотой оправе управляющий, герр Штубли. «Специальный счет? — осведомился он.— Тогда, боюсь, сперва я должен, если вы не возражаете, задать вам кое-какие вопросы».

«Я думал, что в швейцарских банках ни о чем не спрашивают»,— удивился я. «Мы, безусловно, проявляем сдержанность, но теперь уже все несколько иначе,— отвечал герр Штубли.— Боюсь, что нынешнее непростое время, когда банковское дело так политизировалось, предъявляет несколько иные требования даже к швейцарским банкам. Мы должны быть осторожны. Ведь, возможно, в скором будущем мы вступим в Европейское сообщество. Упомянутые вами деньги все в наличном виде?» «Да»,— ответил я. «И как они попали к вам?» — спросил герр Штубли. «Как снег на голову»,— сказал я. «Прошу прощения,— не понял Штубли,— речь о стихийном бедствии? А-а, ja, ja, ja, страховка! Нет проблемы! Но мне требуются сведения о вас, пожалуйста. Нам нужно ваше имя, подпись». «Да, конечно,— согласился я.— Я Фрэнсис... Я Франц Кей».

Герр Штубли вытаращился поверх очков. «А, ja, я понимаю,— произнес он наконец.— Ну что ж, я запишу вас «мистер К.». Прошу вас

[1] «Плохой кредит Лозанны» *(франц. и англ.)*.

пользоваться нашими отличными услугами. Пожалуйста, поставьте подпись здесь, и здесь, и еще здесь». «И справок наводить не будете?» — осведомился я. «Нет, это Швейцария, мы всегда здесь очень честные,— сказал герр Штубли,— вы не нашли бы заведения надежней. А теперь охранник вас проводит вниз, и вы положите на счет весь «снег», который пожелаете. А если захотите что-нибудь другое, основать, к примеру, небольшую частную компанию, то и в этом случае мы можем быть весьма полезны вам». «Пока нет, я только начинаю,— сказал я.— Большое вам спасибо». «И вам также, мистер К.,— ответил Штубли, пожимая мне руку.— Вам, я думаю, приятно будет знать, что присоединились вы ко множеству известных и влиятельных клиентов».

Чуть позже в то декабрьское утро К. вышел из банка и пошел по улице Лозанны. На ходу он огляделся. Все было как обычно, только два малых, мывших окна, как-то по-особенному на него взглянули, а чуть дальше делал фотоснимки человек, странно смахивавший на де Графа. К. со своим скудным багажом добрался до вокзала, где сел в экспресс, доставивший его в Женевский международный аэропорт. Здесь купил он сыру, новое пальто и билет на рейс до Лондона, который отправлялся в полдень. В последний раз он был замечен в длинной очереди на паспортный контроль, и было видно, что его уже нимало не интересует профессор Басло Криминале.

13

В 1991-м я очутился в Буэнос-Айресе...

В апреле 1991-го я, представьте себе (лично мне это представить трудно), очутился в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Б. К. меня на сей раз ни капельки не заботил. Эта поездка увенчала целый ряд невнятных и суматошных событий; было ли так угодно судьбе или же самим событиям, но развивались они, в сущности, следующим манером. Едва я прилетел из Лозанны в Лондон, дела явственно поплохели. Лавиния составила-таки контракт по правилам — до того удачно, что в итоге я потерял не только работу, место под солнцем, элементарный комфорт и возможность приносить людям пользу, но и надежду на гонорар за телехлопоты. Взаимоотношения отравила официальная оскомина: ужасно дорогие ультиматумы чудовищно дорогих адвокатов так и мелькали перед глазами. Вдобавок Лавиния, очевидно, пересказала Роз гадостный наветец, запущенный, похоже, Кодичилом (через Герстенбаккера): в Бароло я-де позволил себе пренебречь обетом воздержанья. Словом, мне больше не довелось увидеться с Роз под кровом домика у «Ливерпуль-стрит».

Но это цветочки. Казалось, я отсутствовал годы и годы, а полутораподвальная квартира пустовала всего несколько недель. Однако ж и этих недель ей хватило, чтоб из жилища превратиться в пепелище. В спальне угнездились кошки; многие предметы обихода, включая текст-процессор «Эмстрад» и компакт-проигрыватель, сгинули, унесенные районным ли домушником, добрыми ли моими хваткими друзьями, доподлинно знавшими, где спрятан ключ. За эти недели перевернулась Британия; и я последовал ее примеру. Спасибо великому экономическому чуду тэтчеризма, на страну низошла глубочайшая рецессия. Неуклонно самонагнеталась милитаристская истерия, сам-с-усам Хусейн ускользал от челночных дипломатов: близился вооруженный конфликт. Газетное начальство закрутило гайки, и вакансий в прессе не стало вовсе, за вычетом разве тех журнецов, что всегда готовы служить мишенью и для вертлявых ракет, и для домогательств багдадской ГБ, пережидать артобстрелы и буйства военной цензуры в землянках. Или как они в краю верблюдов называются — песчанки?

Короче, жизнь пошла сложная, разбираться в радостях и бедах (теперь уже скорее бедах, чем радостях) великого философа Басло Криминале было недосуг. Впрочем, подчас мысли о выдающемся мыслителе эпохи гласности

меня посещали. Где он? что он? разъезжает по свету с прелестной барышней Белли, безуспешно зализывая прорехи банковских счетов? возвратился в Бароло, к Сепульхре, к Верховной хозяйке? или домой, в будапештскую квартиру? Но при всем том мысли об Илдико Хази посещали меня, как ни странно, гораздо чаще. И не столько оттого, что я тосковал по ней — а ведь тосковал, и еще как,— сколько оттого, что слишком уж нудно было объясняться с финансовыми учрежденьями, имевшими глупость предоставить мне кредитную карточку. К счастью, сумма, вложенная в лозаннский «Креди мовэ», приносила доход, достаточный, чтоб сладить с денежными тяготами. Именно ей я, собственно, обязан тем, что выжил в эти месяцы. В течение коих все меня забыли. В течение коих я забыл всех и вся.

Но почему, почему до моих ушей не доходили известия от (или об) Илдико? Да, я не дал ей своего адреса. И она мне своего не давала. Однако информацию черпаешь не только из личной переписки. По правде говоря, я что ни день рылся в газетах: вдруг она помашет мне из-за решетки полицейского фургона или улыбнется с фотографии, иллюстрирующей статью о суперафере в сокровищницах незадачливых лозаннских гномов. Статьями о финансовых аферах газеты прямо кишели; этот вид спорта сделался популярен. Половина брокеров и инвесторов планеты праздновали святки в тюремной камере. Н-да, к Рождеству я почти уверовал, что человечество — как и я сам — поголовно привенгерилось.

В общем, святки (зловредное, припадочное время) начинались на сей раз особенно муторно. Однако затем хозяин ковент-гарденской рюмочной, где я некогда работал, вновь положил мне жалованье, «Нью мьюзикл экспресс» и иные интеллектуальные издания расщедрились на разовые заказы. А как-то вечером я шастал себе по рюмочной в мясницком фартуке, наделяя гораздых на жратву и рвоту участников служебной праздничной вечеринки адской смесью сырников и спуманте, как вдруг один из них вылез из-под стола и любезно меня приветствовал — журнец, бывший коллега и, по пьяной памяти, друг. Сообщил, что только что отказался от места, на которое совсем было устроился. Может, ткнешься туда? Я ткнулся; прошел собеседование — и, как прежде, заишачил на литературный раздел недавно созданной газеты, только не Крупной Воскресной, а Солидной Ежедневной со слабыми потугами на элитарность.

И тут — а в Заливе разразилась война, а вертлявые ракеты рвались над потолками бетонных бункеров, и заполыхали от края до края саудовские пески,— тут я взнуздал конька. Рецензировал, интервьюировал, колумнировал, обозревал. Воспарял над повседневностью. Это было куда легче, чем работать на телекомпанию; я ведь говорил, что я человек не визуальный, а вербальный. Кстати, охотясь за Б. К., я кое-чему научился; немногому, но научился. Стиль мой стал спокойнее, размеренней, мягче. И потом, хитрюга Роз оказалась права: букеровское выступление с голубого экрана пошло мне на пользу. Тогдашний роман-призер был прочно забыт повсюду, кроме США, где его продали в миллионах экземпляров, но не был забыт обалдуй на торжественной церемонии. Издатели лебезили предо мною, Фионы поили меня, кормили и рассказывали литературные сплетни. А я их расплетал. И печатал. Кроме того, я насухо выдоил представителей новейшей словесности, с которыми познакомился в Бароло.

Тем временем в Заливе отвоевали, отблевались жутью, геноцидом, изгнаньями, голодом и нефтяной грязью. Мир ненадолго стих и по-новой взял в руки книгу. Очередной актуальный конфликт пока не вырисовывался; на досуге пришлось улаживать конфликт позавчерашний, фолклендско-мальвинский. Культурное воссоединение Аргентины с Англией официально запланировали на апрель. Правительственные консультанты намекнули газете, что неплохо бы поместить репортаж о событии: авиабилет вам, дескать, оплатят. Публичное слияние культур было приурочено к буэнос-айресской книжной ярмарке. В Латинской Америке она котируется так же, как у нас франкфуртская, туда ежегодно съезжаются писатели и читатели, обитающие к югу от Панамского перешейка. Завотделом искусств решила,

что, рассказывая искушенной публике о важнейшем культурном свершенье, можно насытить материал и последними новостями о том, как поживает пресловутый магический реализм. Сама она героически воздержалась от этой миссии — похоже, потому что по уши увязла в зыбучем адюльтере, требующем постоянного личного присутствия,— и поручила ее мне.

Что ж; я повлекся знакомой дорогой в «Хитроу», спеша на воскресный вечерний рейс «Бритиш эруэйз» в Буэнос-Айрес (простите за аллитерацию). Напутешествовавшись всласть, я отлично понимал: шестнадцатичасовой межконтинентальный перелет на аэробусе — не сахар. Аэробус — точный аналог древнегреческой каторжной галеры, с тем садистским отличием, что запаренных до полусмерти, скованных порядно рабов не заставляли просматривать фильмы с участием Арнольда Шварценеггера.

Имея это в виду, я включил лампочку и взялся снимать торопливые сливки с виднейших магических реалистов — Борхеса и Маркеса, Карпентьера, Кортасара и Фуэнтеса,— с авторов, достигших той стадии мудрости, на которой к истории и к реальности относишься с желчным недоверием, коего те и заслуживают. Джин с тоником, разносимый стюардессой, благотворно повлиял на мой испанский, и я читал как одержимый, пока давильня лайнера тянула соки из моего тела, пока хохмач-кровохлеб Шварценеггер метался по экрану над самой головой. Соседям свет ночника мешал. Но сломить меня не удалось. Я всякий раз объяснял, что они имеют дело с человеком вербальным, а не визуальным.

Мы дозаправились в Рио-де-Жанейро (выводок ржавых цистерн, угрюмо подсвеченных утренней зарею), а затем устремились на юг, через пампу, через широко раззявленную Ла-Плату, и приземлились в аэропорту «Эсейса». Весна обернулась осенью, воздух был напоен субтропической сыростью. Экономика не входит в число аргентинских чудес; да и какое государство в наши дни может этим похвастаться? У стойки обнаружилось, что местная валюта сменила не только номинальную стоимость, но и название, а в бухгалтерию газеты об этом почему-то не сообщили. После сложнейших и многословнейших обменных операций мне было дозволено ступить на территорию страны. До центра я ехал на такси; ехал очень долго. Машина пробиралась к столице по немилосердно изрытому, выщербленному скоростному шоссе. Вдоль обочины теснились ларьки, торгующие воздушными шарами, плакаты, воспевающие доблесть свежеизбранного Менема, и щиты, удостоверяющие, что Мальвины навеки останутся аргентинскими. Цветастые тупорылые автобусы и разболтанные сельские грузовики перескакивали из ряда в ряд, объезжая вымоины. В прогалах меж пригородных домов сквозила кустистая пампа.

Но вдруг пампа иссякла. И распахнулись просторные проспекты великолепного, величавого города. Воскресное утро, безлюдный час. На живописной авениде Девятого Июля царил покой. Парки полнились зеленью тропических растений, воплями изумрудных попугаев. Повсюду высились гигантские мраморные памятники — конкистадорам и генералиссимусам, Колумбу, Бельграно, Сан-Мартину, Дню независимости 1810 года. В кафе я заказал кофе с рогаликами, чтоб скрасить первые минуты пребывания в незнакомом часовом поясе, и настроение поднялось. Я припомнил, что Шандор Холло называл Будапешт Буэнос-Айресом Европы. В таком случае Буэнос-Айрес — Будапешт Латинской Америки, европейский город, выстроенный в неимоверной дали от европейских берегов. Изысканная раннемодернистская стать его министерств и синагог, рынков, банков, жилых небоскребов словно бы предназначалась другому ландшафту, иным краям, но пустила корни именно тут, на незнакомой земле, среди экзотических зарослей; и стилистика Европы, сокровенные сны ее культуры властно налегли на эту действительность, чье прошлое утрачено, чей нрав безалаберен, своеволен, горяч.

Не прошло недели, как я влюбился в Буэнос-Айрес. Конечно, я успел увидеть лишь малую часть двенадцатимиллионной столицы, разметавшейся на подкладке гигантского плато. Но площади ее светлы, сады прекрасны, рестораны уютны, вина превосходны. Город только прикидывался обыч-

ным, таким, как все. Едва тебе хотелось что-то купить, из-под маски вылезал экономический разнобой. Накрапывал дождь — проступало отсутствие водостоков. Духовная жизнь горожан не стыковалась с неистовством пампы, мир живописцев и поэтов — с миром гаучо, персонажей широкоплечих, каблукастых, гордошляпых, напроломных; то был город, где университетские питомцы подчинялись морали и логике завоевателей, генералов, головорезов, скандалистов. Образованные противостояли нищенствующим, престижные кварталы — заштатным, картинные галереи — моторизованным полчищам солдат.

Книжнику — а вы уже знаете, что я истинный книжник — казалось, что эта реальность загодя описана Борхесом: вымысел, удовлетворяющий аргентинской самоидентичности и, следовательно, имеющий право отождествиться с этой самоидентичностью; фрагментарные наблюдения, умозрительно вогнанные в целостность. В кафетерии рядом с гостиницей, где я поселился, дряхлые господинчики в пиджаках парижского кроя отплясывали танго и распевали слезливые мелодии ушедших лет на радость супругам мышиной масти и подругам закатной страсти; впоследствии мне объяснили, что это и есть пресловутые кровавые генералы. В центральном парке высилась Национальная библиотека Борхеса — недостроенная, точно предсмертный, недописанный рассказ. Точно чья-то на полдороге брошенная греза.

Присутствие Борхеса ощущалось повсюду. Особенно — на книжной ярмарке, в палаточном городище у железнодорожного полотна, что вместил сотни стендов и тыщи томов из дальних земель. Аргентина, которая разворачивалась предо мной как книга, одновременно была родиной книгочеев; полчища их что ни день прочесывали ярмарку до последнего павильона: бизнесмены и домохозяйки, политики и издатели, школьники долгими колоннами по два — и гаучо. Я нимало не удивился, обнаружив на главной аллее обширный стенд Борхесовского фонда с книгами из личной библиотеки, с номерами экспериментальных журналов, что мастер некогда редактировал, с фотками, запечатлевшими его в облике молодого ли модника, слепого ли огнеокого старца. Перед стендом сидела за столиком моложавая дама в белом. «Как это — кто? Вдова Борхеса! — ответил в пресс-центре симпатичный журналист из местных.— И вы не взяли у нее интервью?» Я поскакал назад, но дама уже ускользнула.

Так же ускользали в дальнейшем почти все знаменитости, коих я планировал прижать на ярмарке и задать пару вопросов. Кто уехал за границу, кто решил остаться дома; кто-то до сих пор кушал хлеб изгнания, кто-то подгадал сделаться президентом. Маркес, кажется, находился в США, Варгас Льоса — в Лондоне, Фуэнтес — в Париже. И т. п. Поначалу я опасался, что провалю ярмарочный репортаж, как провалил букеровский, но юный журналист, с которым мы подружились, пришел на выручку. Сводил в кафе и бары, где кучковалась литпублика, познакомил с авторами нетрадиционного толка, из новеньких. Блокнот постепенно заполнялся; осталось осветить собственно акт культурного воссоединения: торжественную церемонию и англо-аргентинский писательский семинар, имеющие состояться в конце недели в одном из палаточных павильонов.

Сперва приятель-журналист отказывался составить мне компанию: «Я на официальные тусовки не ходок. Там погружаешься либо в скуку, либо в атмосферу времен, когда сидел в тюряге, и ждешь, что за тобой вот-вот снова придут». Но я таки выцарапал у него согласие. В урочный (и дождливый) вечер мы протолкались сквозь ярмарку, счастливо избегнув столкновений с цепями наступающих школьников в парадной форме, и заняли места на дощатых скамьях под сырым брезентовым навесом. Публика скапливалась и бурлила. На безлюдном подиуме стоял длинный стол; по краям его с высоких флагштоков свисали государственные стяги: слева — аргентинский, справа — «Юнион Джек». У подиума оживленно переругивалась группка официальных лиц и мелких чиновников. Сбоку, чуть-чуть на отшибе, маячила долговязая внушительная фигура в отлично сшитом костюме: вне всякого сомнения, британский посол. С другого боку топталась

фигура попухлей-поприземистей: несомненно, министр культуры Аргентины. При входе, окруженные местными, растерянными и молодыми авторами (многих из них я успел опросить в кафе), не менее растерянно озирались авторы, специально прилетевшие из Англии: видная пожилая детективщица и писатель среднего поколения — прозаик и критик, чье творчество принято увязывать с традицией университетского романа.

Церемония никак не начиналась; я с удивлением посмотрел на приятеля. «Дипинцидент небось, как обычно,— сказал он.— Либо пригласили кого-то, кого нельзя было приглашать, либо не пригласили того, кого надо было пригласить непременно. На ихних тусовках всегда так. Понимаешь теперь, отчего я на них не хожу?» Но министр уже взбирался на подиум. Он вслух поразмышлял о важности диалога культур, поздравил обожаемое британское посольство с возвращением на землю Аргентины, вдруг попятился — и подшиб деревянный флагшток. «Юнион Джек» мягко спикировал вниз. В зале зашушукались, захихикали, попытались хлопать. «Он что, нарочно это сделал?» — спросил я. «Затрудняюсь сказать,— ответил приятель.— Может, он просто рохля. На ихних тусовках всегда так».

Челядинцы ринулись водружать знамя на место, но флагшток был сломан. Наконец Джека всучили какой-то девице, и ей пришлось стоять у стола с задранной рукой, пока церемония не завершилась. На помост взобрался посол Великобритании и поступил, как поступают британцы в конфликтную минуту: сострил. А потом произнес краткую, ловкую речь. Подиум вновь обезлюдел: для следующего акта требовалась дополнительная декорация — таблички с именами дискуссантов. Едва клерки их расставили, явились другие клерки и убрали таблички со стола. Вновь длительное затишье. «Еще один дипинцидент,— растолковал приятель.— Наверное, кое-кто из этих литераторов недостаточно лоялен. Или же не столь самобытен, чтоб представлять Аргентину на международной арене». Долго ли, коротко ли, писатели расселись по местам, во главе стола утвердился председательствующий. И опять все смолкло до тех пор, пока в дверях не возникла пожилая спотыкливая сударыня в темном. На сцену вынесли дополнительное кресло. Сударыня плюхнулась в него и с вызовом оглядела присутствующих. «Все ясно,— сказал приятель.— Не иначе, наверху настояли, чтоб она приняла участие. Может, сам Менем и настоял». «Она тоже писательница?» «Сочиняет чего-то, но для престижа страны не это главное. Смак в том, что она была возлюбленной Борхеса».

И прения начались. Английская детективистка поведала нам о влиянии Борхеса на современный детектив, университетский критик-романист — о влиянии Борхеса на европейскую экспериментальную прозу, аргентинские писатели — о влиянии Борхеса на латиноамериканскую литературу, а возлюбленная Борхеса подробно доложила о собственном творчестве, мельком упомянув, что Борхес дарил ее дружбой. Из прорехи в брезентовом навесе вдруг вылезла матерая крыса — по всей видимости, паломница из мира природы в сферу культуры. Просеменив по распорке под потолком, она остановилась прямо над головами выступающих и пытливо поглядела на них сверху вниз. Публика пришла в восторг; процесс воссоединения, таким образом, завершился в теплой, непринужденной обстановке. «Почему ж все-таки нельзя было обойтись без возлюбленной Борхеса?» — спросил я, продираясь вслед за приятелем журналистом к банкетным столам. «Потерпи немного, авось сам догадаешься»,— ответил он.

Прежде чем я догадался, мне пришлось толкаться в дальнем конце павильона, где накачивались винищем литераторы и администраторы, не менее получаса. Не знаю, каковы были при жизни интимные обычаи Борхеса,— скорей всего, те же, что у большинства. Однако после смерти он сделался истинным сексуальным гигантом. Практически все женщины, с которыми я беседовал в тот вечер под сенью сырого брезента, успели перебывать у него в любовницах. Какие-то из них блистали красотой, какие-то — напротив; какие-то, вроде сударыни, восседавшей на подиуме, были в преклонных летах, а какие-то — настолько юны, что приходилось дивиться, как это слепой, умирающий гений уберегся от грязных сплетен. Одни

уверяли, что он был нежен и ласков, другие — что невнимателен и холоден. Одни расписывали его великодушие, другие — мелочность. Одни восторгались его художнической интуицией, другие корили за политическую недальновидность. Каждая ругмя ругала своих товарок; каждая держала в запасе подходящий борхесовский сюжет. За тридцать минут я познакомился по меньшей мере с десятью возлюбленными Борхеса.

Мне снова потребовалась консультация аргентинского приятеля. «Слушай, да как же он сдюжил-то? Так здорово писал и при этом так выкладывался в постели?» «Не забывай, он сочинил всего сорок пять новелл, несколько стихотворений, ни одного романа». «Однако ж еще и преподавал в университете, и заведовал Национальной библиотекой,— заспорил я.— И являлся ключевой фигурой новейшей словесности». «А кроме того, надзирал за куроводством,— сказал приятель.— Эту должность ему сосватал Перон. Умели они унизить человека, ублюдки». «Нет, но *все* эти женщины никак не могли быть его возлюбленными,— я указал на дам, с которыми только что перезнакомился.— Тем двум небось и тринадцати лет не исполнилось, когда он умер». «Ну, может, они были его возлюбленными в переносном смысле»,— нехотя проговорил приятель. «Как это — в переносном?» «Я им свечку не держал, откуда мне знать? — воскликнул приятель.— Он ведь колосс, учти, художник мирового масштаба. Принадлежал всем и каждому. У нас тут возлюбленная Борхеса — почти профессия. Если ты писательница и хочешь иметь успех, ты никуда от этого не денешься».

«Выходит, возлюбленные Борхеса на самом деле не были его возлюбленными?» «В подобном контексте выражение «на самом деле» не имеет смысла». «Ты говоришь, как Отто Кодичил». «Как кто?» «Ты его не знаешь. Один тип, в Вене живет. Ты и не мог его знать, на меня просто затмение нашло». Тут как раз отбыли британский посол с супругой — им, очевидно, предстояло посетить множество иных церемоний,— и банкет стремительно лишился всяческой официальности, ибо писатели наклюкались до состояния гаучо, в котором невиданно обостряются скрытые эстетические и политические противоречия. Я направился к выходу, но меня перехватил один новый знакомый — вежливый, сдержанный, одетый с иголочки престарелый издатель: «Вы правы, атмосфера портится. Осмелюсь просить вас оказать мне честь и отужинать сегодня у меня. Приглашены мои авторы, и они, надеюсь, будут рады знакомству с вами, а вы — с ними. Общество, смею заверить, куда приятней, чем здешнее. Отменное угощение, крысы в доме не водятся».

Естественно, я согласился — и вскоре один из лимузинов, припаркованных у въезда в палаточный город, уже мчал меня и других приглашенных в престижный район, к модерновому жилому небоскребу, и стальной нержавеющий лифт вознес меня к небу, прочь от темных, опасных для жизни улиц, и дворецкий в белой тужурке распахнул двери обширного пентхауса, и горничная в перчатках приняла мой плащ. Стены были увешаны картинами выдающихся экспрессионистов и модернистов; с порога меня как громом поразил Ван Гог («Карнации», если не ошибаюсь). «Нравится? — обходительно поинтересовался хозяин.— Скажут, я за нее переплатил. Пятнадцать миллионов на «Сотби» в Нью-Йорке, а бум-то уже выдыхался. Но я так люблю их. И потом, в такой стране, как наша, полезно иметь ценные вещи, которые легко увезти с собой, когда начнет подмораживать».

Зала полнилась элегантной публикой в костюмах от кутюр. Я было увлекся беседой с преподавателем местного университета, работающим над монографией о судьбах неоплатонизма на южноамериканской почве, но не успел он сказать: «Конечно, целая глава будет посвящена творчеству Борхеса»,— как всех позвали к столу. Пока дворецкий и горничная разносили закуски, я оглядел своих соседок. Слева — молодая замужняя женщина в брильянтах, пышущая неприкрытой страстью к кавалеру слева от себя, явно не мужу. Справа — благообразная дама лет шестидесяти; седины безупречно уложены и подкрашены, ни грамма жира, драгоценные украшения, длинное платье с черным стеклярусным орнаментом. Дама была не

прочь поболтать. «Вы ходили на эту церемонию?.. Мне книжные ярмарки вообще не по душе, сплошная бумага. В моем возрасте от церемоний уже воротит. Но все равно расскажите: вдруг там было что-то забавное?»

Призвав на помощь все свое остроумие (я ведь упоминал, что подчас становлюсь остроумным), я дал ей отчет о сломанном флагштоке, о писателях, крысе и возлюбленных Борхеса. «Вы с этой темой поаккуратней,— сказала дама.— Может, я тоже бывшая возлюбленная Борхеса». «Что, правда?» «Неправда. Слава богу, хоть этим выделяюсь из массы. М-да, таков удел гениев и знаменитостей. Однажды утром они обнаруживают, что больше не принадлежат себе. Они так нужны окружающим, что вынуждены раздваиваться. Впрочем, Борхес сам очень точно описал этот эффект. В эссе «Борхес и я», припоминаете?» Я припомнил: «Да, он говорит, что из сновидца внезапно превратился в персонаж чужих грез. Что он не пишет, а читает собственные произведения». «"И потому моя жизнь — бегство, и все для меня — утрата, и все достается забвенью или ему, другому",— процитировала соседка справа.— Вот так он и разучился понимать, кто он такой. А вы — вы понимаете, кто вы такой?»

«Я Фрэнсис Джей,— ответил я,— просто англичанин». «Ну, а я... я — местная художница,— сказала дама.— Гертла Риверо». «Гертла... какое странное имя»,— промямлил я. «Ни разу не слыхали?» — спросила дама. «Слыхал. Гертлой звали одну из жен Басло Криминале. Вам это вряд ли о чем-нибудь скажет». «Вряд ли? Он венгерский философ по прозвищу "Лукач 90-х"». «Ах, вы знакомы с его трудами?» «Больше того,— заявила дама.— Пусть я не была возлюбленной Борхеса, зато была женою Криминале Басло. Одно другого стоит, а?» «Но та Гертла — венгерка». «И я венгерка. Как вы думаете, какой вообще национальности те, кто собрался за этим столом? Большинство еще недавно жили в Европе. И я сюда недавно переехала. За любимым гналась. За очередным своим любимым. А вам-то эта история откуда известна? Вы интересуетесь Криминале Басло?»

«Интересуюсь,— сказал я, отодвигая суповую тарелку и поворачиваясь к даме.— Как-то, давно уже, я пытался разобраться, что в нем к чему». «Вы тоже профессор? — спросила она.— В Аргентине профессоров вставили в танго». «Нет, я журналист». «Из Лондона, говорите? А из какой газеты? Газета качественная, солидная?» «До нет никакой возможности»,— обнадежил я. «И вы знакомы с биографией Криминале?» — спросила Гертла. «С одним из ее вариантов». «С каким конкретно?» «С Кодичиловым». Она посмотрела оценивающе: «Вы до сих пор этим интересуетесь? У меня есть дача. Асьенда. Далеко, в пампе. Хотите поговорить со мной подробней — приезжайте туда в субботу. Я пригласила друзей, у них машина, и они вас захватят. Но, если у вас много дел в городе, не приезжайте: это займет целый день». «Да нет,— быстро сказал я.— Я не прочь».

К чему лукавить, у меня и вправду было много дел в городе. Улетал я воскресным рейсом, а на субботу позвал приятеля-журналиста пообедать со мной на прощанье. Это приглашение я, естественно, отменил. В толще реальности, где предметы и события, как правило, прикасаются к нам совершенно нежданно, мне вдруг встретилась вторая жена Б. К.; теперь она зовется совсем по-другому, занята совсем другими вещами, вовлечена в поток нового, оглушительно иного существования. И все же она рада поболтать со мною; такого случая больше не представится. Да, я убежал прочь от постылого, заветного следа Басло Криминале, но выбрал для бегства кружную дорогу — и вновь стою на тропе, по которой он проходил. Короче, в субботу (а до субботы я, кстати, имел случай познакомиться еще с двумя возлюбленными Борхеса) я сел в машину, притормозившую у гостиницы, и оказался в обществе супругов средних лет, затянутых в добротные штормовки, точно собрались на пикник.

Диковатая получилась поездка. Путешествие от центральных кварталов почти европейского города — к чему-то, чему трудно подыскать имя. На выезде из Буэнос-Айреса нас догнал проливной дождь; отсутствующие

водостоки мигом вышли из строя, мы долго петляли, стараясь не затонуть, и при этом углубились в бедняцкие, бандитские районы; муж и жена защелкнули дверцы изнутри, каждый свою. Проплыло военно-инженерное училище, и супруги объяснили, что в период репрессий тут расстреливали неугодных. За городом небо расчистилось. Тут и там на обочинах аутописты красовались стенды «Разыскиваются за измену Родине» и продавцы воздушных шаров. Бескрайняя плоская равнина, покуда хватал глаз, серела эвкалиптовой листвою, рябила стадами коров, табунами коней. Нас то и дело останавливали мытари, сборщики дорожных пошлин — еще на прошлой неделе, по словам моих спутников, этих кордонов тут не было. «Так называемый нерегулируемый рынок, тэтчеризм,— добавил муж.— Все шоссейки запроданы». Далеко в стороне остался основанный англичанами поселок Херлингем — воскресный рай богатеев.

Мы свернули на пустынную подъездную дорогу и, удалившись от шоссе на приличное расстояние, ткнулись наконец в асьенду Гертлы Риверо — длинное приземистое здание с верандой, обрамленное площадками для поло, бассейном для плавания, кортами для тенниса, загонами для телят и козлят. Появилась Гертла в кашемировом свитере и модельных слаксах; похоже, денег у нее (или у ее мужа) куры не клевали. Я прошел за ней на веранду, где выпивали друзья Гертлы, приехавшие сюда на выходные. На просторных лужайках щебетали дети; кое-кто из взрослых плескался в бассейне. «Как вам у нас в Аргентине?» — осведомился некий гость. «Поразительная страна»,— ответил я. «Да уж,— Гертла протянула мне бокал вина.— Уровень инфляции 130 процентов. Каждая кампания по борьбе с коррупцией начинается с того, что Менем вынужден сажать за решетку министров собственного кабинета. Богатые наживаются, бедные нищают, армия удерживает их на безопасной дистанции друг от друга. Поразительная страна». «И угодья у вас чудесные»,— сказал я. «Чудесные,— согласилась Гертла.— А почему вы не спрашиваете, куда подевался мой муж? Объезжает чудесные угодья верхом — и очень, очень не скоро вернется». «Давно вы тут живете?» «С тех самых пор, как Венгрия превратилась в ад. Семь лет... или восемь. Живу себе и радуюсь: тут мне ничто не угрожает, кроме инфляции и озоновой дыры, которая, говорят, способствует раковым заболеваниям. Что ж вы не пьете? Пейте, а после обеда прогуляемся, ладно?»

И Гертла занялась другими гостями, а я тихонько сидел и наблюдал за ней — за женщиной, чью наготу лицезрел в Будапеште. Не в пример Сепульхре, она сберегла в себе гордую прелесть, коей светились снимки в квартире Басло. Неудивительно, что он поддался ее очарованию; и удивительно, что впоследствии он променял ее на Бесподобную. По утверждению Илдико, у Гертлы был роман с начальником тайной полиции; не этот ли начальник объезжает сейчас свои аргентинские угодья? Но фамилия у него не венгерская — Риверо. Да и стоит разве хоть на грош доверять россказням Илдико? Меня охватило странное чувство: минувшее невозвратно, непостижимо, никак не связано с этой пампой, с этим знойным, чуть скошенным к далекому окоему небом, с блеклыми эвкалиптами, кивающими на ветру. Внезапно мне понадобилось в туалет. Комнаты, по которым я шел, были обставлены дорогой мебелью, увешаны яркими авангардными полотнами, и в углу каждого холста значилось: «Гертла Риверо». Волевая женщина; состоятельная женщина.

За обедом (говядина барбекью и какая-то сомнительная черная запеканка) распоряжалась, по всей видимости, дочь хозяйки; сходства с Криминале я в девушке не заметил. Гертла, не дожидаясь, пока гости все съедят и выпьют, поманила меня к площадкам для игры в поло. Может, она и собиралась рассказать нечто существенное, но сперва решила как следует намолчаться. «Вы обещали мне информацию о Криминале, которая недоступна широкой публике»,— напомнил я. «Знаете, до конца понять характер Криминале невозможно, если не уяснишь, как он относился к женщинам.— Гертла замешкалась и сочувственно оглядела гомящихся на площадке пони.— Он отдавался им целиком и полностью. Его философские

построения зависели от той, с кем он спал на данном этапе. Скажите, что вам известно о спутницах Криминале?» «Ну, Пиа, вы, Сепульхра.— Я загнул четвертый палец.— И еще одна, по-моему». «Одна — не одна,— засмеялась Гертла,— но вы, верно, намекаете на Ирини. На ту, кого он любил, но так и не взял в жены». «Что ж, давайте сосредоточимся на спутницах».

«Пиа — убежденная, непримиримая антифашистка. Она была для Басло отличным подспорьем, но умерла в Берлине совсем молодой. Он тогда еще не успел прославиться. Я... впрочем, я перед вами, и вы сами все видите. Не сочтите за похвальбу, жизнь со мной — его лучший период. Период признания. Потом явилась Сепульхра, с ней вы б и ручкаться-то побрезговали. Смазливая, но тупая, а нынче еще и разжирела, как свинья». «Я с ней знаком». «Тогда вы меня понимаете»,— улыбнулась Гертла. «Кажется, понимаю». «С ней Басло ошибся как ни с кем. Ему нужна была сильная соратница со своей, незаемной концепцией мира. А Сепульхра — просто безделушка, напрочь лишенная философских и политических устоев. Он, однако, хотел именно такую. Хотел и получил. Сначала в качестве любовницы, отдушины. Но и я завела себе отдушину на стороне». Я снова подумал об Илдико: а вдруг она все-таки не врала?

«Значит, начинал он с Пиа, начинал как антифашист?» — спросил я. «И как правоверный социалист, убежденный в необходимости реформ». «А с вами в кого превратился?» «Объективно — в ведущего теоретика марксизма, крупнейшего в Венгрии». «И желанного на Западе». «Чуть позже — да,— кивнула Гертла.— А с Сепульхрой... м-м, с Сепульхрой он сделался тем, кто он есть сейчас. Звездой первой величины, Лукачем 90-х, так, кажется?» «Так пишут в газетах». «Вы-то в них и пишете,— Гертла повернулась ко мне.— Я гляжу, про Ирини вы молчок». И тут я смекнул, какой вопрос надо задать, чтоб отблагодарить Гертлу за приглашение. «Ирини для меня сплошная загадка. Ведь к тому моменту, как вы познакомились с Басло, она уже куда-то исчезла?»

«Точно, исчезла,— сказала Гертла.— В 1956-м Ирини отправили в лагерь». «В лагерь? Вы имеете в виду — в тюрьму?» «В 56-м она вышла на улицы под русские танковые дула. А затем попробовала перейти границу и спрятаться на Западе. Но увы. Вам это все припомнить трудно. Англичане в тот год думали исключительно о собственной экспансии в зону Суэцкого канала. Русские этим воспользовались и вторглись в нашу страну». «Меня тогда не было и в проекте». «Ну ясное дело. Вас не было, вам на 56-й год плевать. А в соцстранах на 56-й не натужился плюнуть никто». «Что предпринял Криминале, когда Ирини забрали? Он пытался ее вызволить?» «Что предпринял? — переспросила Гертла.— Да уж конечно, ничего». «Ничего?» — изумился я. «Видите ли, их роман давным-давно закончился,— улыбнулась Гертла.— Басло ничего не предпринял, потому что я не Ирини. Я относилась к происходящему, как вы понимаете, совсем, совсем по-другому».

Каюсь, я не сразу постиг, что Гертла хочет этим сказать. Она ведь тщилась растолковать мне законы канувшей ярости, чуждой логики, дряхлые, извилистые законы. «То есть вы переметнулись к русским?» — недоверчиво спросил я. «Иначе и быть не могло. Если б революция победила, в Венгрии началось бы то, что происходит теперь. Я стояла на марксистских позициях, и до сих пор стою. Надеюсь, вы не думаете, что сегодняшний курс продержится? В России вот-вот грянет путч, фальшивая демократия для идиотов падет, и коммунисты вернутся к власти, вернутся спасать империю. Сейчас мы наблюдаем парадоксальный кратковременный этап этого всемирно-исторического процесса». «Допустим,— сказал я.— А Криминале, он тоже приветствовал оккупацию?» «Мы сидели у окна нашей квартиры, глядя, как в Будапешт входят танки. Я посоветовала Басло отмежеваться от его друзей демократов и подладиться к Кадару. Восстание обречено. Понятно, я была права. Не послушайся он, от него бы и духу не осталось. Тоже, скорей всего, угодил бы в лагерь. И человечество лишилось бы философа Басло Криминале».

Она привалилась плечом к изгороди. Нечто бесповоротное, отверделое проступило вдруг в Гертле Риверо. Все, что она мне рассказывала, она рассказывала не просто так. Я журналист, а слово, обращенное к журналисту, предназначено для печати. «С какой целью вы мне это говорите?» — спросил я. Она ненадолго задумалась. «Басло называют Лукачем 90-х — и глубоко заблуждаются. Лукач был настоящий мыслитель. Он противопоставлял рассудок хаосу, пытался внести в историю смысл. Басло сегодня хаос необходим как воздух, а осмысления истории он бежит как огня. Таким образом он думает спастись и от прошлого, и от будущего. Но прошлое неистребимо. Демократия, свободный рынок — вы и вправду верите, что они нам помогут? Хотя бы в этой стране? Где уровень инфляции 130 процентов, богатые ненавидят бедных, армия выжидает, и лишь сильная рука способна предотвратить всеобщую неразбериху? Со мной Басло усвоил, что марксизм — великая доктрина, а демократия — доктрина выморочная. Она сулит рай земной, а взамен вы получаете американские цыплячьи ножки. Сказать, в кого превратился Басло? В теоретика мороженых курей. По-моему, нам пора возвращаться».

Но я не двинулся с места: «Вы не досказали про Ирини». «Ах, вот что вас волнует! Ну-с, концов вы не сыщете, она мертва, давно мертва. Вы, верно, удивлены. С имиджем Басло Криминале такое не вяжется. С имиджем диссидента, борца с тиранией. Но как журналист, мистер Джей, вы должны понимать: истина никогда не лежит на поверхности. Все имиджи малость хромают, а?» «Вы, в общем, правы». «Права,— продолжала Гертла.— Неужели вы ни разу не задались вопросом, что делал Басло в 1956 году, когда вся планета стояла на распутье? На чьей стороне он был, кого поддерживал?» «Я задавался этим вопросом. Но у Отто Кодичила сказано...» Гертла расхохоталась мне в лицо: «У Кодичила? Вы поверили хоть одному слову в его книге?» «Некоторым — поверил».

«А я ни единому не верю,— заявила Гертла.— Кстати, его книгу написала я». «*Вы?*» — я был ошарашен. «После 56-го прошло тридцать лет, но не все старые долги удалось погасить. И требовалось представить Басло в самом что ни на есть выгодном свете. А то ему кое-где чуть в лицо не плевали». «Почему же книга опубликована под именем Кодичила?» «Господи, да это и мне, и ему сыграло на руку. Сами посудите, что началось бы, подпишись я своей фамилией». «А почему она вышла на Западе?» «Чтобы не запятнать репутации Басло». «Как рукопись попала к Кодичилу?» «Я задействовала нужные каналы и нужных людей. Кодичил... он тоже мне задолжал, и пришел черед расплачиваться. Давайте-ка в дом, я рассказала все, что собиралась».

Она размашисто зашагала к асьенде; догоняя ее, я раскладывал услышанное по полочкам. Я восхищался (и поныне восхищаюсь) Б. К.; верить в его политическое малодушие, в его двуличье и особенно в то, что он предал Ирини, никак не хотелось. Сперва я принял рассказ Гертлы за очередную выдумку, коими кишмя кишит аргентинская земля. Но Гертла явно не стремилась меня запутать; стилистика ее истории отличалась сухостью, прямотой, целенаправленностью. То была история с отчетливой идеологической моралью, и уже это подсказывало, что Гертла, возможно, говорит правду. Она обернулась: «Наверно, вы не возьмете в толк, отчего тогда я написала одно, а теперь утверждаю другое. Да потому, что теперь я здесь, а не там. Меня ничто не связывает. Конъюнктура изменилась, врать больше не надо. И еще — я ревную сама к себе. В 56-м Криминале был мой, и он был лучше, чем прежде и впредь. Даже в письмах, которые он посылал Сепульхре, о любви сказано куда бледнее, чем в тех, которые он писал мне. С ней он глупел. А со мной становился мудрее».

«С вами он становился ортодоксальным марксистом»,— заметил я. «Ну и что с того? Мы служили высшей истине, величайшему ученью. Между прочим, даже будучи в заграничных поездках, он докладывал куда надо о каждом своем шаге, буквально о каждом — через меня!» «А связи там, где надо, у вас наладились прочные»,— сказал я, в который раз вспоминая Илдико. «Да. Теперь мы женаты». «Так это тот муж... тот, который... тут?»

«Да. Мы оба с ним тут. Только фамилии у нас другие, к счастью». «Вы, конечно, догадываетесь, что станет с репутацией Криминале, если я опубликую все, что вы рассказали, в газете. Но и вам уже не удастся отсидеться в тени». Она посмотрела мне прямо в глаза: «Ох, как страшно! Поймите, здесь край света. Я ничем не повязана, я имею право объясниться. Вот и он пускай объясняется». «Что же он должен объяснить?» Гертла приостановилась, смерила меня тяжелым взглядом: «Все они теперь как вьюны. Путают следы, скрывают, кто поднял их из грязи. Я-де был бессилен. Мне выкручивала руки штази, надо мной надругался КГБ. Я не спорил, зато не поддакивал. Они же идейные перерожденцы, ясно вам? Кого они надеются обмануть? То, что они творили, они творили сознательно».

«Сознательно? А разве вы оставили ему хоть малейшую возможность выбора? Он ведь любил вас». «Чепуха! Вам, может, кажется, что эти умники никогда не верили, что марксистская мечта воплотима? Вам кажется, что они и не рассчитывали построить настоящий коммунизм? Изничтожить буржуазию, обезвредить собственность, скрутить фашистов, возвеличить пролетариат? Пусть признаются: именно этого они и желали. А пройдет еще пара лет, и весь мир осознает: правильно желали! И Басло, он опомнится, станет прежним Басло, а не клоуном по прозвищу Басло. Да, если нужно: все, что я рассказала, подтверждается документально. Архивы будапештской тайной полиции, архивы берлинской штази теперь нараспашку. Впрочем, мог найтись доброхот, который вовремя сжег все бумаги. Но навряд ли, навряд ли. Все так или иначе выплывет наружу. И вы этому поможете, а? Вы ведь честный журналист, а?»

На следующий день я улетал из Буэнос-Айреса в Лондон. Лайнер набрал высоту над зияющей Ла-Платой; затем под крылом потянулась пампа. Самолет вошел в зону низкой облачности, и я попытался суммировать то, что случилось со мною в стране, пределы которой я вот-вот покину. Отправляясь сюда, я никак не рассчитывал наткнуться на дополнительные сведения о Басло Криминале. А обрел скандальную тему, о какой мечтает любой газетчик. И еще обрел знание о давних и зловещих событиях — тем более зловещих, что в моем сознании они постепенно одевались мясом непреложной реальности. Началось это не в самолете, а в дрянном гостиничном номере в ночь с субботы на воскресенье. Я понемногу различил в Гертлином поведении два извечных и оттого искренних мотива. Первый — идейная нетерпимость, второй же — утробная ревность. Гертла, очевидно, возжаждала вновь завладеть двумя украденными у нее драгоценностями. Непререкаемо авторитетным мировоззрением. И Басло Криминале.

Ближе к вечеру мы приземлились в Рио-де-Жанейро и дозаправились. К иллюминаторам приникла иная, незнакомая Южная Америка — душная, скалистая, тропическая, аляповатая. Над океаном я, подавляя зевоту, листал блокнот, приводил в порядок раздерганные черновики и чувства. Из аэропорта поехал домой и лег в постель. Назавтра сонно повлекся в редакцию, крепко обмозговал проблему магического реализма и состряпал хвалебный отчет об успешной смычке культур. А покончив с этим, оторвался от терминала, обвел глазами отдельский бардак и понял, что мне волей-неволей придется сделать еще несколько шагов по тлетворному следу профессора Басло Криминале.

14

В первостатейном ресторане на Гран-плас...

Чудесным вечером начала лета девяносто первого года в ресторане экстра-класса на углу Гран-плас — рыночной площади с великолепными остроконечными фронтонами, являющейся сердцем города Брюсселя, как сам город ныне представляет собой сердце нашей замечательной Новой

Европы — смаковал я шампанское, сидя за крытым белой скатертью столом напротив Козимы. Брюссель, с его большими каменными общественными зданиями, увенчанными выпуклостями зеленых медных крыш, покрытых ярь-медянкой, лучился теплотой первых июньских дней. Снаружи по большой булыжником мощенной площади расхаживали уже вечерние туристы, а вечерние пьянчужки собирались на верандочках кафе. Внутри же, за густыми тюлевыми шторами и бархатными драпировками, в тиши, вы чувствовали: заведение «Ля Рошетт» — нечто особое. Похоже, оно было сердцем сердца сердца матушки-Европы. Пока мы, заняв столик на двоих возле окна, потягивали наши пузырьки, Козима, нагнувшись так, что обнаружилась роскошная ложбинка, о существовании которой я и не подозревал, спокойно объяснила мне, что власть и привилегии, политика и удовольствия обыкновенно сталкиваются и переплетаются около столов с диванчиками ресторана «Ля Рошетт».

Мимо нас проследовали чередою серебристые тележки; в них большие розовые омары совершали свой последний скорбный путь, дабы стимулировать раздумья группы европейских министров иностранных дел, собравшихся в непринужденной обстановке для нанесения заключительных штрихов на смутный образ следующего года. В другом углу, вся в темном, стая высших еврократов — Членов комиссии и Гендиректоров, Глав кабинетов, Директоров и Главных должностных лиц A_4, никак не меньше и не ниже — просила метрдотеля по имени Арман подать все как обычно, доставая из изящных кейсов документы, нужные для рассмотрения какой-нибудь существенной проблемы Европейского сообщества: к примеру говоря, уровня шума, производимого газонокосилками, работающими на бензине, в городских и пригородных зонах, или что-нибудь еще касательно Еврогрядущего, что волновало их в тот вечер. В выгородках, наклонившись над бутылками лучших бордо и бургундского, евроюристы и евролоббисты, еврозаправилы и евроворотилы вовсю ворочали и заправляли, а гладенькие голоспинные евромалышки, привезенные ими с собою украшения ради, зевали без утайки, глядясь в пудреницы, и кокетливо осматривали зал. Делегация арабских шейхов в парадных балахонах восседала за центральным столиком, смакуя запрещенные в их странах алкогольные ликеры; их слуги, в чью обязанность входило пробовать еду перед подачей господину, в подобающем им черном тихо приютились позади.

Пианист концертного, а то и выше, уровня что-то неназойливо наигрывал на заднем плане. Над самой головой у нас звенели и сверкали хрустальные громады люстр. Почти незримые официанты в темных парах, держа руку за спиной, роняли маленькие, лодочками, хлебцы с травами, икрой и всякой экзотической вкуснятиной на наши тарелки, искусно нас соблазняя на сложные чувственные радости предстоящего гастрономического приключения. «Да, Козима, вот это в самом деле класс»,— сказал я, оглядевшись. «Пожалуй»,— согласилась Брукнер. «Может быть, я лучше и не видывал,— добавил я.— А вы часто здесь бываете?» «Не то чтобы,— сказала Козима.— Это примерно месячный оклад. Но по работе мне, естественно, приходится сюда захаживать и контролировать расходы этих, из Комиссии». «Естественно,— сказал я.— Только объясните мне, *в чем* состоит ваша работа? Вы как-то говорили, что вы вроде шерпа на Говяжьей горе».

«Не совсем,— ответствовала Козима.— Глядите, кто сидит под зеркалом». «И кто же там?» — осведомился я. «Король бельгийцев,— отвечала Козима,— вы что, не узнаете?» «Боюсь, что нет»,— признался я. «Жаль, его никто не узнает,— посетовала Козима.— Но уж того, кто только что вошел, надеюсь, знаете? Вон, вон, костюм от Ива Сен-Лорана. Почетный легион в петлице». Я поглядел на небольшого шустрика, осматривавшего птичьим глазом ресторан. Заметно было: птица важная, но кто он — убей Бог... «Пожалуй, нет,— ответил я,— а кто это?» «Всего лишь заместитель председателя Еврокомиссии, Жака Делора,— объяснила Козима,— все время сюда ходит». «Стало быть, он обладает властью?» — спросил я. «Властью? — переспросила Козима.— Его назначили ответственным за девяносто второй год. Я тоже на него работаю. Его зовут

Жан-Люк Вильнёв». «Как интересно»,— сказал я. «В действительности он совсем не то»,— проговорила, доверительно ко мне склоняясь, Козима. «Ну, это уж само собою»,— отозвался я. Теперь я знал, что я вернулся, окончательно вернулся в странный заговорщицкий евромир Козимы Брукнер.

Как же я там оказался, с ней наедине — в сердце сердца сердца Новой Европы, где, как при дворе могущественного короля в Средневековье, проходили встречи царственных особ и полномочных представителей, куда министры мировых держав съезжались совещаться, юристы — представлять чьи-либо интересы, нынешние царедворцы — делать при дворе карьеру, заправилы — заправлять, а воротилы, разумеется, ворочать, сирые, убогие и иноземцы — клянчить крошки с барского стола Европы? Ну, случилось это, как обычно и бывает. Прибыв гигантским аэробусом из Аргентины, я провел, признаться, парочку недель в унынии, не зная, за что взяться. Несколько месяцев умом моим владели поиски, которые меня смутили, раздразнили, распалили, увлекли — и увенчались разочарованием. Я был встревожен и напуган той историей, которую поведала мне Гертла. Правду говорила она или нет, не в этом даже дело. Я обременен был знанием того, чего знать вовсе не хотел.

Как так вышло? Я был славный современный либеральный гуманист — если это не слишком пышное определение той хаотичной мешанины из терпимости, вседозволенности, прагматизма, моральной неустойчивости, общей взвинченности и (вы помните) деконструктивного скептицизма, которые в конечном счете стали управлять моей скромной жизнью. Я жил (я знал это прекрасно, так как мне твердили это все специалисты) в эпоху безысторийной истории, во время после времени, когда были сотворены великие метаповествования. Точно какой-нибудь американец, слишком долго пробывший на западном побережье, я воспринимал недавнее прошлое Европы как удобное подспорье для теперешнего бытия: как давно покинутую родину, как унавоженную почву для застарелых политических обид, как заповедник тем для постоянной ностальгии, как источник импорта дизайнерских идей. Иначе говоря, я пользовался с удовольствием плодами с евродрева, срывая с него ровно то, что требовалось мне как украшение, как среда, как интеллектуальный фон, идейная подкормка и подпитка. Срывая плод, я не давал себе труда взглянуть внимательно на древо.

Далее, от избытка профессиональной любознательности, я, нахальный карьерист, желавший дойскаться до истории, стал все-таки присматриваться к суковатому стволу внимательней и обнаружил, что мне не по нраву то, на что я натолкнулся. Знакомое, чтоб не сказать дружелюбное прошлое оборотилось отвратительными спутанными зарослями, тут и там я натыкался на обман, неясности, измены. История, обрушенная на меня в пампасах Гертлой, была, конечно, старой-престарой, фактически тридцатипятилетней сказкой, начавшейся еще до моего рождения, во времена, к которым отношения я не имел. Но то была история Криминале, которого я встретил (после долгих поисков) и, встретив, полюбил. Все в нем пришлось по нраву мне. Он оказался человечным и благожелательным, великодушным и серьезным. Он мне не сделал ничего дурного, а, напротив, лишь хорошее. Его идеи доставили мне удовольствие, его мыслям свойственна была оригинальность. Он мне доверил свой секрет, он одарил меня в каком-то смысле мимолетной дружбой, и даже — на Женевском озере — он угостил меня сигарами. Мне вовсе не хотелось, чтобы честь его была замарана.

Мне это было и не нужно. Программа «Эльдорадо» приказала долго жить, что было констатировано всеми прежде заинтересованными сторонами. С Роз я совсем утратил связь. Лавиния больше не стояла у меня над душой, требуя сенсаций и разоблачений, преступлений и романов, поездок, путешествий и билетов в оперу. Если бы материал давала нынешняя моя газета, он пошел бы на последней полосе, после гораздо более привычных скандалов в королевском семействе, которые владеют душами британцев.

Мне не нужно было сводить счеты, одерживать над кем-то верх. Я не знал простого способа проверить, правду ли сказала Гертла. Даже если правду, я припомнил и другое, сказанное ею: если б Криминале принял сторону Ирини, он, возможно, угодил бы, как она, в тюрьму и стал никем. И мы бы не имели Басло Криминале. Плод дерева был безупречен, так зачем пытаться показать, что он подгнил?

Поэтому я сделал то, что, вероятно, сделала бы в этом положении большая часть славных современных либеральных гуманистов, то есть ничего. Загвоздка в том, что люди любопытны, иначе говоря, снедаемы потребностью вести расследование. Если дал ты любопытству пищу, оно будет жить в тебе. Вот почему в последующие недели вы имели (при желании) возможность нередко меня видеть сидящим в одиночку в какомнибудь из айлингтонских кабаков с большущей кружкой легкого пивка в одной руке и маленьким немецким словариком в другой, читающим — то есть, конечно, перечитывающим — Кодичилово жизнеописание Криминале. А перечитывать — совсем не то же, что читать, вы видите уже иное. Теперь я знал, что Кодичилову книженцию почти наверняка писал совсем не Кодичил, а кто-то из людей, которых я узнал в последние несколько месяцев. И если автор был сомнителен, таков же был, бесспорно, и предмет. Книжный Криминале был ненастоящий и, разумеется, не *мой* — мой же, в свою очередь, бесспорно, не был настоящим Криминале. И если изменились автор и предмет, то изменился и читатель. После происшедшего за время моих странствий я был, конечно, не совсем тем человеком, который излагал так весело свои дурацкие суждения в букеровской телепередаче.

То есть книга «Басло Криминале: жизнь и философия» (Вена, Шницерферлаг, 1987, 192 стр.) во всех отношениях была теперь не той, которую я — или он — читал дотоле. Мой сассекский руководитель (он — может быть, вам это будет небезынтересно — оставил посреди семестра свою должность и открыл в Хоуве французский ресторан, известный экспериментальными меню из киви), вероятно, мной гордился бы, так как я взял текст без автора, обратил внимание на исчезновение предмета и из текста вычитал не то, о чем там было сказано, а то, о чем там речи не велось. Теперь и в самом деле я деконструировал: читал, выискивая опущения и элизии, неясности, отсутствия, шпации и преломления, лингвистические и идеологические противоречия. Но я читал это фактически как вымысел, что я и должен был, конечно, прежде всего делать. Однако же теперь у меня было преимущество: знание альтернативных фактов, которые, конечно, тоже были вымышлены и которые необходимо было сопоставить с *книжным* вымыслом. Я должен был проверить допущения насчет альтернативных авторов, попробовать подставить на страницы книги и альтернативных Криминале. В этом тексте мне было над чем работать.

Теперь, когда я умудрен был новым знанием, мне стало совершенно ясно, что это за книга: последовательно апологетическая, благостно викторианская история о благородном человеке благородного ума, который сталкивается с противодействием, переживает разные невзгоды, но в итоге побеждает, и кончается все в меру хорошо. Иначе говоря, сплошная лакировка. Повествование соответствовало линии развития новой истории Европы, будучи ее довольно точным отражением. Начиналось оно в пору Хиросимы и Холокоста, angoisse [1] и Angst [2], крушения старых довоенных философий и потребности в возникновении новых. Оно погружало нас в чудовищный позорный хаос, царивший после сорок пятого в Европе, и показывало, как росли мечты о том, чтобы построить новую, антифашистскую Утопию. Оно позволяло проследить, как эти славные новые мечты с течением времени были извращены и прокляты, потом переносило нас в эпоху «Адидас» и «Ай-би-эм», в многообразную материалистическую посттехнологическую эру, времена экономического чуда, когда расплывчатая пролетарская мечта уступила место буржуазной революции конца XX века — «хай-тех», разбросанной, мультинациональной. Начиналось оно

[1] Angoisse — тревога (экзистенциальная) *(франц.)*.
[2] Angst — страх (экзистенциальный) *(нем.)*.

с жесткой идеологии, заканчивалось произвольной, неопределенной метафизикой. Ежели вы европеец, то вы скажете, что это более или менее наша общая история.

Это был, конечно, также романтический рассказ о мужчине и о его музах — басло-криминалевская версия любовниц Борхеса. Среди руин — физических, моральных, политических и философских — послевоенного разбитого Берлина двое студентов — Басло, молодой филолог из Болгарии, имевший философские наклонности, и Пиа — рьяная противница нацизма и марксистка — встретились и поженились. Они отдавали свои силы антифашизму и строительству передового, социалистического будущего. Но потом их жизни почему-то разделились. Где, как и почему — неясно, но я понял: это было связано с различием их взглядов на восстания рабочих в 1953 году в Восточной Германии (о котором я совершенно позабыл). Непросто разобраться, кто на чьей был стороне, но я предположил, что Криминале осуждал репрессии Ульбрихта. Затем Пиа из этой истории исчезла, как она исчезла и вообще из жизни (о чем узнал я из других источников). Далее я ожидал, что на любовном горизонте Криминале появится Ирини. Но она не появилась, о ней нет ни слова. Следующей значительной фигурой и в любви, и в жизни Криминале оказалась Гертла, венгерская писательница и художница, игравшая роль его музы почти до самого конца этой истории.

Они встретились и полюбили друг друга... но когда и где? Здесь с датами какая-то невнятица, период с 1954-го по 1958-й рассматривается как неделимый. Холодная война в разгаре, Криминале сделался теперь социал-демократом-реформистом. Он все время подвергается нападкам более молодых критиков сталинизма, в особенности одного (не Шандора ли Холло?). С книгами его беда: одни запрещены в марксистских странах, вероятно, по распоряжению русских, другие вышли, но затем были изъяты. И все же в силу странного «эзоповского» соглашения (они были употребительны в те времена в марксистском мире) Басло разрешили — даже подбивали — напечатать их на Западе. Это не давало мне покоя с той поры, как я прочел впервые книгу в доме Роз. Тогда я был наивен, а теперь стал понимать побольше. Это и была одна из тех договоренностей (Илдико их называла «закулисными»), которые порою допускались временем и фарисейством партии. Хотя теперь я понимал, что, вероятно, по политическим причинам Криминале специально попросили быть посредником между Востоком и Западом. Так или иначе, быть это могло, когда его влияние начало распространяться, репутация его как реформатора — расти, он стал ездить по миру и приобрел международную известность.

Обращало на себя внимание отсутствие упоминания о событиях 1956 года в Венгрии: о правительстве демократических реформ Имре Надя, о вторжении русских, подавлении восстания и массовых арестах, о тюремном заключении Надя. В отличие от ссылки на восстание в Германии, где, как предполагалось, Криминале занял негативную позицию, в данном случае он роли не играл. Складывалось впечатление, что он и Гертла были в это время далеко от Будапешта. Акцент делается на его поездках, растущей его славе, философской независимости, на продолжавшихся его шатаниях меж Лениным и Марксом, Хайдеггером и Сартром. О личной жизни его тоже говорилось мало. Бесспорна была постоянная роль Гертлы, изображенной здесь совсем иначе по сравнению с тем, что она мне рассказала в Аргентине о себе и своих отношениях с режимом. Здесь она играла роль, скорей похожую на роль таинственной Ирини. Верная супруга, интеллектуальная помощница, а главное — отважная соратница, дерзкая ревизионистка. Даже когда брак распался (о чем сказано без объяснений), Гертла продолжала оставаться интеллектуальной музой Криминале.

Дальше в книге появляется, конечно же, Сепульхра, наша Бесподобная. Ей отведена, однако, незначительная роль прельстительной модели, девицы из низов богемы, ставшей сексуальным, равно как и секретарским придатком несомненно уже выдающегося деятеля. Конечно, каждый, видевший и Гертлу, и Сепульхру, знал, что внешне вторую с первой не сравнить. Но

все равно это недобрый портрет, который можно было так же, как и описание Ирини, опустить совсем. О прочих дамах его сердца — я осознавал теперь, что их должно быть много,— не было вообще ни слова. С особым тщанием я искал упоминание об Илдико — естественно, что в тексте я охотился за нею так же, как и в жизни,— но признаков ее нигде не находил. Как не нашел нигде даже намека на то, что Криминале — колосс на глиняных ногах, что, с точки зрения автора, он совершил когда-то какой-либо нешуточный просчет — моральный, философский или политический. И все-таки, как я уже заметил, книга оставляла впечатление довольно сдержанной, критической. Это особенно касалось одного раздела, который прежде я понять не мог.

Последнее неудивительно, поскольку эта в высшей степени туманная глава посвящена тому, что в книге называется «молчанием Криминале». Все вертится вокруг ряда глубинных понятий философии и сногсшибательных немецких существительных, обозначающих категории мышления, не отраженные даже в моем большом немецком словаре. Речь там идет о криминалевской интерпретации Мартина Хайдеггера, немецкого философа, с которым у Басло Криминале произошел в печати знаменитый спор (как вы, наверно, помните, по поводу иронии). Нападки Криминале печатались в английском переводе, и, сравнив их с книгой, я сумел на этот раз гораздо лучше разобраться, в чем там было дело. В двух словах, они поспорили о том, может ли мысль быть выше обстоятельств. Предметом спора стало знаменитое молчание Хайдеггера после 1945 года, когда общепризнанно великий немец отказался дать какой-либо отчет или какое-либо объяснение деятельности, которую он при нацизме вел в обоих качествах — и как философ, и как ректор университета. (Между прочим, если вам придет охота досконально изучить этот вопрос, то знайте: понаписано о сем изрядно.) Несмотря на временное отстранение от преподавания Хайдеггер открыто заявлял, что философия его настолько выше исторического эпизода гитлеризма и Холокоста и настолько далека от них, что нет необходимости в признаниях, объяснениях, оправданиях.

С точки зрения Криминале, Хайдеггер здесь занимал позицию Гегеля. «Если мир расходится с моими принципами, что ж, тем хуже для него». Но, по утверждению Криминале, это его ввергло в существенную философскую ошибку. Она явилась результатом двух противоречащих друг другу представлений: мысль выше истории, но в то же время мысль творит историю. Для Хайдеггера задача философа — двигать вперед историю, и, стало быть, задача *немецкого* философа (а немцев Хайдеггер считал истинно философской нацией) — двигать вперед историю Германии. И он пытался это сделать. Так он поставил философию в немыслимое положение. Он, несомненно, был основополагающей фигурой современной философии. И он ставил ее над историей; однако философия участвовала в сотворении истории, и результат был пагубным. Криминале утверждал, что это неизбежно, так как история никогда не отвечала требованиям философии, ибо история — это сплошь путаница, противоречия и неопределенность. Это и привело к «молчанию Хайдеггера», каковое стало выражением бессилия и ознаменованием конца не только его философии, но и представления о том, что же является задачей философа.

По сей причине Криминале стал на противоположную позицию: занятие философа он называл «мышлением с историей». Это значило, что философия сама является в действительности «формой иронии» — одно из наиболее известных его замечаний. Став свидетельницей краха, она уничтожила и самое себя. Она не утверждает, будто правда — это то, что соответствует действительности. Она допускает, что от времени и от судьбы нельзя уйти. Тем не менее, с точки зрения автора (что только подстегнуло мое любопытство: кто же, кто он?), это заманило Криминале в противоположную ловушку. Он считал, что философия есть непременно путаница, историческая дезориентация и нравственный сумбур. Но этот взгляд лишал его возможности свободно мыслить, даже принимать решения. Поэтому если одна тропа вела к «молчанию Хайдеггера», то другой путь

вел к тому, что было названо «молчанием Криминале», не позволившим ему выработать ту или иную форму независимости — умственной или этической. «Знакомое состояние,— подумал я,— я и сам в подобном нахожусь».

Конечно, для меня все это было в высшей степени туманно, как, наверно, и для вас. Это напомнило мне чем-то тот семестр, когда мы в Сассексе с моим руководителем разбирали сложную проблему зонта Ницше (был ли его зонт, как думал Деррида, герменевтическим приемом, или это был предмет, который позволял ему не мокнуть под дождем). Оба молчания были философскими. И оба странным образом попахивали благородством и предательством одновременно. Хайдеггер не выступил против эпохи зла, быть может, потому, что это было нереально, а может, просто оттого, что он не видел ее наступления, как в нашем веке многие и многие. Но когда представилась возможность, то он не «признался» — вероятно, потому, что нелегко признать неверной продуманную мысль или вообще все происшедшее в наш исторический период. То же самое можно сказать о Криминале. Его молчание стало философским парадоксом, но он тоже «не признался», так что противоречие было налицо. Если Криминале, героический мыслитель, предал, мог ли он каким-то образом «признаться»?

Следует ли называть это предательством? Да; если принять историю, которую мне рассказала Гертла в пампе, то философия или идеологическая убежденность не спасли его. И в самом деле, о предательствах и о предательском молчании рассказывает чуть не каждая страница. Было романтическое: он любил Ирини, однако допустил, чтобы ее заставили умолкнуть и чтобы она исчезла. Было интеллектуальное предательство: радикал и ревизионист, как следовало из рассказа Гертлы, подписал дьявольский пакт со сталинизмом в 1956 году. В ту пору это было политическим предательством: он стал ставленником заговорщицкого, аморального режима и системы, по сути своей репрессивной, и все, что после этого он говорил и делал, неизбежно вызывает подозрения. Он совершил и личное предательство: заведя знакомства и друзей на Западе средь высокопоставленных особ, все доводил до сведения Гертлы, которая сама «беседовала под одеялом» с венгерской (стало быть, наверняка и с русской) тайной полицией. Не исключается предательство финансовое — при посредстве спецсчетов в Швейцарии, так занимавших Илдико и Козиму.

Но чтобы оценить все это, важно было все-таки решить, кто книгу *написал,* составить представление об отсутствующем авторе. Тут выбор был богатый: Отто Кодичил, сам Криминале, вероятно, Шандор Холло, Гертла Риверо. Думал я и о других: Сепульхре, например, и даже Илдико. Но, откладывая книгу, я почти не сомневался, что на самом деле это Гертла. В каком-то смысле она вышла героиней. Если книга обеляла Криминале, еще в большей мере обеляла она Гертлу или мое представление о Гертле. Я проверил то, что мог. Возможность у нее имелась: в середине восьмидесятых, когда появилась книга, Гертла проживала еще в Будапеште и могла ее отправить Кодичилу с Холло. Основание — тоже. Книга появилась в пору, когда марксизм-ленинизм трещал по швам и в горбачевском Советском Союзе в замечательную пору гласности, а после — перестройки, и в восточноевропейских странах — короче говоря, почти везде, за исключением Китая и семинарских аудиторий кое в каких британских и американских университетах. Преобразования распространялись — ход истории остановить нельзя. Бессмысленная бесчеловечность системы, огороженной тюремными стенами, бессовестные махинации торговцев властью и крутых парней были настолько очевидны, что даже старые партийные лошадки и сторонники жесткого курса на всякий случай занимались переписыванием своих биографий. Образ Криминале как Выдающегося мыслителя эпохи гласности, стойкого, но чуткого революционера и одновременно реформатора, идеолога сближения и примирения был маской идеальной.

Во всем этом имелась лишь одна неясность. Если маска требовалась только для защиты Гертлы, почему ей захотелось вдруг сорвать ее? С чего бы утверждать нечто отличное и противоположное сейчас, и не только мне,

но через меня, известного, порядочного журнеца, внешнему миру? Зачем, если она работала на тайную полицию, которая, по сути дела, подкупила Криминале, ей хотелось, чтобы это стало явным — особенно во времена, когда повсюду открываются досье, все сводят меж собою счеты, всяк доказывает собственную добродетельность? Сначала я было решил, как вам известно, что всему причиной ревность умной, сильной женщины, утрачивающей в пору перемен свое влияние на мировую знаменитость. Такое было не впервые. Слышал я подобное и про любовниц Борхеса, припомнил нечто вроде о великих схватках меж любовницами и друзьями Жана-Поля Сартра за «право» на его идеи, когда в конце, больной, менял он свои взгляды. Но теперь мне все это казалось ерундою. Если она, изменив позицию, срывала маску с Криминале, подставляла ему ножку, на то должна была существовать иная, более весомая причина.

Придя к такому выводу, я понятия не имел, что мне дальше делать. Была тайна Криминале, тайна Гертлы и Бог весть еще какие тайны. Я решил все это выбросить из головы. Как Жан-Поль Сартр в летние каникулы, я ощутил потребность отдохнуть немного от всего этого Angst. На столе у меня громоздились только вышедшие книги, появляющиеся по весне, как крокусы. Я занимался своим делом, пустив эту историю на самотек. Но однажды, когда я работал за компьютером в своем открытом всем ветрам редакционном кабинете, меня вдруг осенило, что я знаю человека, который может дать ответ. Я снял трубку, позвонил в Брюссель, в Европейскую комиссию. Последовали, как обычно, болтовня на разных языках, ошибочные подключения, крики «чао!», просьбы не класть трубку. Наконец на том конце послышался знакомый голос: «А, ja, Брукнер?»

«Брукнер, угадайте, кто? — сказал я.— Ваш связной из Лондона». «А, ja, какой связной из Лондона?» — спросила Брукнер. «Можно говорить сейчас?» — осведомился я. «Ну почему же нет, мы здесь, в Комиссии, все время говорим»,— ответствовала Брукнер. «Это Фрэнсис Джей, вы помните?» — сказал я. «А, ja, ja»,— откликнулась она. «Я обещал звонить, если узнаю что-нибудь про Басло...» «Подождите, я переключусь на более верную линию с кое-каким приспособлением»,— сказала Брукнер. «Полагаю, стоит»,— терпеливо согласился я. Мгновеньем позже я услышал снова ее голос с каким-то странным усилением. «Так что, мой друг, вы что-нибудь узнали?» «Может быть, это не так уж важно,— сказал я,— но я был в Аргентине и общался со второй женой Криминале». «С Гертлой Риверо?» «А вы знаете ее?» «Конечно,— отвечала Брукнер.— Вы ее там сами видели? И как она?» «Еще раз вышла замуж, богата, начинает жизнь сначала». «Представляю,— отвечала Брукнер,— ну так что же вы узнали?»

Новости мои, конечно, скучные и толку от них чуть, подумал я, но все же продолжал: «Она мне рассказала массу всякой всячины про политическое его прошлое, про его связи с венгерским режимом и так далее». «Это представляет интерес?» — спросила Брукнер. «Если это правда, это динами́т под его репутацию,— ответил я.— Беда, что я не знаю, верить ли хоть одному ее словечку». «Вы позвонили мне, а сами не уверены, что это правда?» «Я счи́таю, это нужно тщательно проверить,— сказал я,— поэтому и позвонил. Подумал, окажись вы в Лондоне, мы пошли б куда-нибудь перекусить и сопоставили бы наши записи. Я вовсе не спешу это публиковать». «А что, вы собирались?» «Она хочет этого»,— сказал я. Воцарилась пауза, потом Козима произнесла: «Пожалуйста, послушайте меня внимательно. Вот что вам надо сделать: поезжайте прямо сейчас в аэропорт и прилетайте сюда, в Брюссель». «Я не могу, ведь у меня дела здесь»,— возразил я. «Европа вам заплатит,— изрекла она, не обратив внимания.— Не говорите никому о том, что делаете. Не упоминайте о Риверо. Приходите в центр, на Гран-плас. В углу найдете ресторан, называется он «Ля Рошетт». Все знают его с виду. В восемь я вас буду ждать. Вы снова сделали все очень хорошо, мой друг». Почему-то, когда Козима распоряжалась, все повиновались.

В тот же самый день я снова оказался в битком набитом мерзком «Хитроу-2», попал на рейс «Сабины» до Брюсселя, в «Завентеме» прошел контроль, взял такси и покатил по улицам, прочерченным трамвайными путями, в центр. Побывать в кондитерских и шоколадных, прежде чем на ратуше куранты пробьют восемь, я уже не успевал. У «Ля Рошетт» стояла вереница черных лимузинов, на которые шоферы наводили глянец. Я устремился через благородный полутемный вход; к двери подлетел метрдотель. «Месье, я очень сожалею, но мы принимаем лишь гостей, которые заранее забронировали столик»,— сообщил он. «У вас здесь ужинает член Европейской комиссии»,— сказал я. «Все наши гости именно оттуда, месье,— ответил он.— Одни они себе и могут позволить «Ля Рошетт». «Я встречаюсь тут с мисс Брукнер»,— объяснил я. «А-а, мисс Брукнер! Она любит тихий столик у окна»,— сказал метрдотель, с очевидным отвращением освобождая меня от рюкзака и куртки и давая галстук с большой вешалки.

Он преподнес мне фирменный аперитив; мисс Брукнер еще не было. Я сел за столик, пробежал глазами цены в красиво напечатанном меню и быстро понял, почему брюссельцы знают «Ля Рошетт» лишь с виду. Вскоре появилась Козима. Я сразу же заметил, что она выглядит иначе. Рассталась со своей обычной кожаной экипировкой а-ля рокер и надела дорогое мягкое сизого цвета платье. Признаюсь, что, на мой постпанковый тканелюбивый девятидесятнический взгляд, она сразу сделалась гораздо привлекательней. «Арман, это особый гость, из Лондона,— сказала она усадившему ее метрдотелю.— Уделите ему должное внимание». «Аншантэ, месье, мы счастливы вас видеть в «Ля Рошетт».— сказал Арман.— Не желаете ли лучшего шампанского?» «Давайте,— согласилась Брукнер.— А омары как сегодня?» «Бесподобные!» — вскричал Арман. «Попробуете?» — обратилась ко мне Брукнер. Стрельнув в меню глазами, я, должно быть, цветом уподобился крахмалу. «О, прошу вас, не волнуйтесь,— успокоила меня она,— Европа с удовольствием заплатит».

Над головами нашими посверкивали и позвякивали люстры; порхали тихие официанты, раздавался звон бокалов для шампанского. Я окинул взглядом зал: там маневрировали министры, бормотали бюрократы, полемизировали парламентарии, спорили советники, кликушествовали члены Комиссии, аргументировали адвокаты. «Кто все это такие? — спросил я.— И почему здесь тьма народу из Еврокомиссии?» «Эта Новая Европа — удивительная вещь,— сказала Козима.— Это огромная и сложная мегастрана. Вы видите брюссельскую элиту наших дней, новый класс, людей из Берлеймона». «Из Берлеймона?» «На рю де ля Люа, громадное такое здание четвероногое, где много флагов, знаете? — сказала Козима.— Это Комиссия, где я работаю! Я и еще полторы тысячи бюрократов».

«Вот вы где трудитесь. И что же вы там делаете?» «Думаю, вы представляете»,— сказала Брукнер. «Не вполне конкретно,— отозвался я.— Знаю только, что вы занимаетесь преследованием людей и постоянно надзираете за ними». «Полагаю, как и вы»,— парировала Козима. «Я — по иным причинам»,— уточнил я. «Можете не приводить их, я про вас почти все знаю». Я взглянул на нее. «Вы наводили справки обо мне?» «Конечно, как и обо всех»,— сказала Брукнер. «Вам, наверно, обо мне известно больше, чем мне самому»,— заметил я не без тревоги. «Может быть»,— не отрицала Козима. «Профессор Кодичил сказал бы: где тот человек, который может про себя все объяснить?» «Он так говорил? — спросила Козима.— Ну, вы насчет его, конечно, были правы». «Это вы о чем?» «Он действительно был в центре этих дел». «Каких?» — осведомился я. «Ну, этого, конечно, я вам не могу сказать»,— ответствовала вечная загадка Козима.

«Итак, вам обо мне известно,— сказал я.— Может быть, теперь расскажете побольше о себе?» «С чего бы это?» — удивилась Козима. «Потому что я не понимаю, что же общего имеет дело Криминале с этими людьми из Берлеймона». «Прошу вас, друг мой, вы не знаете, какое отребье может слушать нас»,— изрекла, оглядываясь, Козима. «Отребье?» — удивился я и тоже осмотрелся. Отребьем, на мой взгляд, не пахло. Тут были король бельгийцев, европейские министры иностранных дел (узнал я Ген-

шера и Хэрда), арабские шейхи, заместитель председателя Еврокомиссии, уединившийся в укромном уголке. «Естественно»,— сказала Козима. «Помосму, это отребье высшего разряда»,— заметил я. «Многие из них — не те, кого они изображают из себя,— сказала Козима,— я вижу, вы и впрямь не понимаете, что представляет собой наша Новая Европа». «Может быть»,— ответил я.

«Если вы желаете ее понять, представьте-ка себе Швейцарию,— порекомендовала Козима.— Вы помните страну, где мы встречались в прошлый раз?» «Я никогда ее не позабуду, Козима»,— ответил я. «Они имеют меж собою много общего,— сказала она.— Обе суть конфедерации со сложным управлением, обе богаты. Это позволяет вам сегодня есть омаров». «В подобные мгновения я всей душой за Новую Европу»,— отозвался я. «И там, и там объединились разные культуры, много разных языков. В Европе девять официальных плюс евровяз». «А это что?» — спросил я. «В основном акронимы, к примеру, ЕМВК ЕВС ведет к ЭВС и ЕВЕ [1],— сказала Козима.— Еще и там, и там — чудесные места, не правда ли? В полях полно скота, зерна и виноградников; все субсидируется. Там и там — чудесные озера, горы. Я надеюсь, вам известны наши славные озера? Винные, Молочные и Масляные. Наши замечательные горы?» «Да, Пшеничная, Говяжья, Сливочная»,— отвечал я.

«Вы действительно прекрасно знаете нашу страну,— сказала восхищенно Козима.— Но понимаете ли вы, как сложно ею управлять? Триста миллионов человек, одна четвертая всех мировых ресурсов. Кто же этим занимается?» «Парламент»,— предположил я. «Может, вам известно, где он? — вопросила Козима.— А то никто его найти не может. Собираются они всего четыре раза в месяц. Большей частью пропадают в поездах между Страсбуром и Брюсселем». «Ну тогда, наверно, главы европейских государств». «Шутите,— сказала Козима.— Они не могут ни о чем договориться, особенно теперь, когда вступили вы, британцы. Нет же, это делает Комиссия». «Ну да, да, Жак Делор»,— сказал я, вспоминая с нежностью (в который раз уж) Илдико в обтягивающей майке. «Если б ему не хотелось стать для разнообразия президентом Франции,— сказала Козима.— Поэтому решающая роль принадлежит тому, кого я вам показывала, Жану-Люку Вильнёву. Но у Комиссии свои проблемы. Разросшаяся наша бюрократия свела б с ума и Франца Кафку».

«Честно говоря, я думал, что он и так был малость не в себе»,— заметил я. «О нет, он жив и обитает в Берлеймоне,— отвечала Козима.— Вы знаете, что через считанные месяцы его снесут? Из-за того, что это здание не соответствует нормам содержания асбеста, придуманным людьми, которым хочется работать в нем». «Франц был бы восхищен»,— признался я. «А тем, что пятьдесят чиновников в пятидесяти кабинетах разрабатывают идеальную евросвинью?» «И этим тоже»,— согласился я. «Еще Европа наша доверху полна бумажных урожаев и бумажного скота,— сказала Козима.— Олив, что не растут нигде, но фермеры за счет их богатеют, невидимых коров, которые, преодолев границу, вмиг удваивают свою стоимость, бумажных свинок, залезающих в ирландские фургоны и прибывающих в Румынию с возмещением экспортной пошлины. Вы представляете систему, где люди день-деньской проводят, занимаясь обсуждением бюджетов и субсидий, а вечером, придя в такой вот ресторан, строят планы, как бы их забрать назад? Может, вам теперь ясней, в чем заключается моя работа?»

«Да,— проронил я, когда лучшее шампанское сменил отменный совиньон.— В том, чтоб вечерами посещать такие дорогие рестораны, выясняя, как вашим коллегам удается обеспечивать себе возможность вечерами посещать такие дорогие рестораны». «Именно,— промолвила она, вдруг едва слышно прихихикнув.— Видите ли, где большой бюджет, там обычно и большой мухлеж. Поэтому здесь все-таки не без отребья». «Все равно

[1] ЕМВК — европейский механизм валютных курсов; ЕВС — европейская валютная система; ЭВС — экономический и валютный союз; ЕВЕ — европейская валютная единица (ЭКЮ).

неясно, зачем вы приезжали в Бароло, что делали в Лозанне», — сказал я. «У нас имелись подозрения»,— призналась Козима. «И почему вы наводили справки обо мне». «Естественно, мы наводили справки, так как думали, что вы в этом замешаны». «В чем?» — удивился я. «Пожалуйста!» — взмолилась Козима. «Нет, все-таки давайте все сначала, — попросил я.— Что же наводило вас на мысль, будто я замешан в том, в чем я, по-вашему, замешан?» «Ну а как же,— отвечала Козима, — если вы сопровождаете венгерского агента».

«Довольно вам навешивать на Илдико этот ярлык, — сказал я нервно.— Просто милая издательница из Будапешта, которая питает, к сожалению, слабость к роскоши». «Вы так считаете? — спросила Козима.— Я думала, что вы прекрасно ее знаете». «Я тоже думал, но приходится признать, что знать ее прекрасно очень трудно. У нее... ну, в общем, очень уж она венгерка по натуре». «Значит, вы ее как следует не знали?» — уточнила Козима. «Да в общем нет»,— ответил я. «Однако же когда вы так стремительно покинули Лозанну, то, как выяснили мы, вселились в тот отель-бордель с означенным агентом». «Мы с ней жили в разных номерах»,— ответил я. «Потом мы обнаружили, что получила деньги Криминале в «Бругер Цугербанке» именно она»,— сказала Козима, сверля меня глазами. «Времени вы даром не теряли»,— отозвался я и глотнул с тревожным чувством совиньона.

«Значит, вы не знали этого?» — спросила Козима. «Я просто думал, что она еще денек решила вволю походить по магазинам»,— объяснил я. «Вы ее потом не видели?» «Ни разу после этого», — признался я. «И что случилось, вы не представляете?» «Нет,— молвил я младенчески невинным тоном.— А вы?» «Подруга ваша провела в Лозанне напряженный день, — сказала Козима, — поскольку «Бругер Цугербанк» был не единственным, где ей захотелось побывать. Посетила она также «Креди Сюис», «Банк кантональ», «Креди Водуа», «Цюрхер фолькскандлунг», «Гамбургер коммерцфинанцгезельшафт», «Бедуин траст ов Абу-Даби», «Ямамото банк ов Джэпэн» и «Хельсинки панкки». Я перестал пить и в изумлении уставился на Брукнер. «Куча банков,— сказал я.— И во всех у Криминале были счета?» «Во всех»,— ответила Козима Брукнер. «Да-а, это книжек надобно продать до черта»,— протянул я. «Вы и правда думаете, что на книгах так недурно зарабатывают?» — удивилась Козима.

«Значит, Илдико наведалась во все эти места и выгребла все подчистую?» «Отовсюду»,— отвечала Козима. «Должно быть, денег получила гору». «Уж наверно,— согласилась Козима.— Вы что, удивлены?» «Само собой,— ответил я,— ведь я же ничего не знал. И это вовсе не похоже на нее. Вообще-то она очень славная». «Не сомневаюсь, просто душка,— отвечала Козима.— А знаете вы, что произошло потом, когда она проделала все это?» «Ее взяли?» — нервно выговорил я. «Да нет», — сказала Козима. «Она пошла да и очистила все магазинчики города Лозанны?» — предположил я. «Нет, в тот день уже не оставалось времени для магазинов,— отвечала Брукнер.— Ранним вечером ваша подруга покинула страну через австрийскую границу и была доставлена на полной скорости обратно в Венгрию». «А вы уверены?» — спросил я. «Ну конечно, есть свидетельство,— сказала Козима.— Момент ее отъезда точно зафиксирован. К несчастью, ни одна из стран ее не задержала, а они сейчас под юрисдикцию Еврокомиссии не подпадают». «А, так, значит, она все же ускользнула»,— проронил я — видимо, со слишком явным облегчением, поскольку Брукнер посмотрела на меня внимательно.

«Вы же,— продолжала она,— отбыли на следующий день. Полуденным рейсом из Женевы в Лондон». «Как я вижу, это тоже было зафиксировано точно?» «Криминале вылетел в тот самый вечер в Индию, теперь он в Калифорнии»,— сказала Брукнер. «Разве? — произнес я.— Ну, все равно, программа-то накрылась, так что...» «Вы тоже перед расставанием с Женевой, похоже, побывали в банке»,— сказала она. «Не припомню». «Вам напомнить?» — предложила Козима, ныряя в сумку и выныривая с фотографией. Насчет того, что за парнишка выходил с вещами из «Креди мовэ»,

сомнений не было. «Я, наверное, ходил менять валюту»,— объяснил я. «Не хотите ли еще? — спросила Козима, протягивая фотографии.— Вот, например, на пароходе вы беседуете с Криминале». «Почему бы нет?» — ответил я. «Заметьте, на карточке у вас чужое имя, «Проф. Игнатьев»,— продолжала Козима.— А вот в Шильонском замке в подземелье вы в компании венгерского агента, обсуждаете план действий». «А,— сказал я,— Ханс де Граф из Гента. Ваш человек». «Ведь я уже сказала вам в Лозанне, имена произносить не обязательно»,— оборвала меня она.

Перед нами появилось замечательное кушанье «террин» из мяса, птицы и, бесспорно, лучшей дичи Суаньского леса, но я едва его коснулся. «Значит, вы считаете, что я в этом замешан»,— произнес я. «В чем?» — спросила Козима. «Откуда же мне знать? — ответил я.— Я думал, вы мне скажете. Туда я ездил, чтобы сделать фильм о Басло Криминале». «Но вы встречались там со странными людьми,— сказала Брукнер.— Мы надеялись, что вы поможете нам найти настоящего сообщника». «Какого настоящего сообщника?» «Я говорила, кажется, что ее быстро вывезли,— сказала Брукнер.— На бульваре Эдуарда Гиббона ее поджидал молодой человек на красной «БМВ». Может, вы его узнаете на этих фотографиях?» — она вновь заглянула в сумку. «Не трудитесь,— сказал я, поскольку многое тотчас же стало на свои места.— Это Шандор Холло, Холло Шандор. Венгерский устроитель».

«Я так и думала,— сказала Брукнер.— Стало быть, вы знаете его?» «Да, знаю,— сказал я.— Когда-то Холло был философом. Я виделся с ним в Будапеште. На самом деле это он, пожалуй, и устроил мне всю эту свистопляску. Он устроил мою встречу с Илдико. Возможно, он устроил всю ее поездку. Бароло, Лозанну, все». «А не из госбезопасности ли он?» — вопросила Козима. «Да вряд ли. По-моему, он на переднем крае свободного рынка. Вы должны выделить ему субсидию. Он яппи, он устраивает дела». «Значит, он провел вас за нос?» — сказала Козима. «Занятно с вами разговаривать,— заметил я.— Вы употребляете слова, которых я годами не слыхал. Но вы правы. Это он со мною и проделал». «А вы очень хорошо знакомы с этим человеком?» «Мы виделись с ним раз за ленчем, когда он познакомил меня с Илдико». «Прошу прощения, мне кажется, что эта девушка вам, может быть, и не такой хороший друг»,— сказала Козима. «Она была прекрасным другом мне,— ответил я,— но, вероятно, я был не единственным ее хорошим другом». «Криминале тоже принадлежал к числу ее друзей?» — спросила Козима. «Именно,— ответил я.— Поэтому с чего бы ей объединяться с Холло и выкрадывать у Криминале гонорары?»

«Может, дело тут в другом,— сказала Козима.— Эти швейцарские счета интересовали многих. Почему?» «Наверно, потому, что на них было много денег?» — предположил я. «Но еще и потому, что они были не совсем такими, как казалось»,— объяснила Козима. «Как люди в этом ресторане»,— обронил я. «Такой, к примеру, человек, как Криминале,— продолжала Козима.— С венгерским адресом, американским паспортом, имеет счет в швейцарском банке. Выдающийся философ, человек, которому повсюду доверяют. Он может всюду ездить, служить посредником между Западом и Востоком. Он накоротке с великими, он может бывать там, где не бывают даже дипломаты. За ним не наблюдают, он вне подозрений. Идеальное прикрытие, вы не считаете?» «Возможно,— согласился я.— Но только для чего?» «Вы что, действительно не знаете?» — спросила Козима. «Конечно, нет,— ответил я.— Я ни о чем понятия не имею». «Почему венгерские власти позволяют Криминале иметь на Западе счета? — сказала Козима.— Конечно, потому, что можно их использовать и для другого. Для размещения на них партийных фондов. Для проворачивания крупных тайных сделок. Для покупки технологий. Их могли использовать другие люди».

«Вроде Илдико»,— сказал я. «Мы не исключаем, что она служила гончей»,— сказала Козима. «Ну, ежели вы про умение выслеживать...» «Вы прекрасно понимаете, имеется в виду гонец женского пола, ну, который возит деньги тем, кого подмазывают,— объяснила Козима.— В Европе

представители любой профессии имеют независимо от пола равные возможности. Она могла ввозить и вывозить что нужно. С нашей точки зрения, затем она в Лозанну и приехала. Те двое и не знали, может быть, что это деньги Криминале». «Исчезновение миллионов, – догадался я,— вот в чем, по-вашему, я был замешан». «Согласитесь, ваше поведение выглядело крайне подозрительно». «Ну а теперь?» — спросил я. «А теперь мы думаем, что вы, наверное, почти, хотя и не совсем, тот, за кого себя выдаете»,— отвечала Козима. «В ваших устах это огромный комплимент»,— заметил я. «Поймите, что подобное в моей работе бывает крайне редко,— пояснила Брукнер.— А-а, вот и омары». «Отлично»,— с облегчением сказал я, так как, говоря по правде, начал понимать, что нет предела неприятностям, которые можно навлечь на свою голову, проникнув в непростой мир Басло Криминале.

15

У меня достаточно причин не забывать тот вечер...

У меня есть масса оснований помнить вечер, проведенный с Козимой лицом к лицу, в шикарном ресторане на Гран-плас. За окнами его бельгийцы жили своей обычной жизнью — ели шоколадки, разбивали свои превосходные машины, не могли решить, страна ли Бельгия вообще. Внутри влиятельные еврократы за едой обдумывали наше общее грядущее. Рядом с нашим тихим столиком возникла серебристая тележка с розовыми неполинскими ракообразными. Почтительные виртуозы хирургии с помощью замысловатых инструментов изрубили оных на куски. Другие подхалимы в черных сюртуках вручили нам серебряное оружие и повязали пластиковые нагрудники. Хирурги положили плоть ракообразных на тарелки и накрыли их серебряными колпаками. Затем метрдотель Арман, держа руку за спиной, с почтением водрузил тарелки перед нами и снял широким жестом колпаки, показывая, точно незадачливый волшебник, что под ними ровно то, что мы и видели. «Вундербар!» — сказала Козима.

Меня же волновала, не давая мне покоя, мысль о совлечении иных покровов. Непросто было снова оказаться в странном заговорщическом мире фройляйн Брукнер, умевшей делать тайны из чего угодно, обнаруживая заговоры там, где я не видел их. Не знаю (до сих пор), поверил ли я хоть единому ее словечку. Но я должен был признать, что в ее версии произошедшего в Лозанне была некая странная логика. Мне ужасно нравилась (и продолжает) Илдико, как, думаю, и я ей, но и впрямь похоже, что она просто-напросто меня дразнила и использовала в своих интересах. Я восхищался Криминале (и по-прежнему им восхищен), и мне казалось, что его отлучки и разъезды — часть обычной его жизни; но в то же время так мог вести себя преследуемый и гонимый человек. Я не был готов принять мир Козимы весь целиком, но я не мог и полностью его отвергнуть. В конце концов, по отношению ко мне она была необычайно проницательна и до сих пор держала меня на крючке.

«Не могу поверить, Козима,— сказал я, когда официанты удалились.— Криминале был, не сомневаюсь, выше денег». «Да, они ему платили столько, чтобы он о них не думал»,— отвечала Козима в повязанном нагруднике. «С чего бы это коммунистам капиталы свои вкладывать на Западе?» — спросил я. «Но коммунизм удержаться на Востоке мог только таким путем». «Уж не хотите ли вы меня уверить, что капиталисты предоставляли коммунистам ипотечные кредиты?» «Почему бы нет? — отозвалась она.— У коммунистов сроду не было нормальной экономики, Ленин позабыл ее придумать. Подкуп, бартер, черный рынок. Если бы вы сколотили капиталец, вы бы положили его в русский банк? Запад нужен был партийцам как банкирская контора. А для этого им требовались люди вроде Криминале».

«Тогда зачем же нам нужна была холодная война?» — спросил я. «Как бы мы объединили в ином случае Европу? — отвечала Козима.— За нас ведь это сделали по сути русские». «Зачем тогда нужна разрядка?» — удивился я. «А почему бы нет? — сказала Козима.— Может, жахнуть бомбой по какой-нибудь другой стране оно и ничего, но как-то глупо было бы бомбить свой собственный счет в банке». «Да, оригинальный взгляд у вас на новую историю,— заметил я.— От вас только и слышишь, что теории заговоров». «Все потому, что вы не европеец,— сказала Козима.— Вы небось считаете большой проблемой Северное море. Неужели вы не понимаете, что Западная Германия платила за существование ГДР?» «Что делала?» — переспросил я. «Разумеется,— сказала Козима.— А когда ГДР требовались деньги, она продавала Западу за твердую валюту политзаключенных. Как видите, взаимосвязь имела место еще до объединения».

«Но зачем держать на Западе все эти деньги?» «Зачем? — сказала Козима.— Причин тому немало. Экономический, к примеру, шпионаж. В штази целое отделение осуществляло экономический шантаж. Нужно было им приобретать патенты, запрещенные военные технологии, оружие, компьютеры? Еще — платить всем их агентам... Половина секретарш не первой молодости в бундестаге завели романчики, продавая фотокопии Востоку. Деньги требовались всюду — на шантаж, на подкуп высокопоставленных особ — политиков и бизнесменов, западных чиновников, включая кое-кого в этом зале». «Приступим, Козима?» — сказал я, беспокойно тыча вилкой в омара. «Конечно, деньги находились там и по другим причинам,— продолжала Козима.— Всей партийной бюрократии восточных стран хотелось иметь славный счетик в банке где-нибудь на Западе. Кто-то, может быть, желал немецкую машину или виллу в Канне, кто-то просто страховал себя на случай, если все изменится. Возможно, они держат деньги там, чтоб оплатить когда-нибудь переворот. А кто-то просто чтобы поместить разумно капитал — у некоторых, как известно, были очень неплохие должности. Деньги поступали постоянно».

«Через счета Криминале?» «Способов имелось много, было множество счетов,— сказала Брукнер.— Но мы обнаружили достаточно следов, которые ведут к его счетам». «Выходит, он все знал?» «Не обязательно,— сказала Козима.— Удобней было, чтоб он занимался своей философией, а другие пользовались его счетами. Он располагал свободой, они — выходом на Запад». «А Илдико служила гончей?» — спросил я. «Она была издательницей, занималась оборотом книжных денег и располагала доступом к этим счетам, как вы сами видели». «Стало быть, она работала все время на компартию, и Холло тоже?» «Может быть,— сказала Козима,— но все это куда сложней». «Я представляю». «Она могла быть и на этой стороне, и на другой»,— сказала Козима. «Какой другой?» «Конечно, после Wende все бросились эти деньги искать,— сказала Брукнер,— а они все поступают — миллиарды». «Миллиарды?» «Как после войны нацистские, вы помните? И претендуют на них все. Партия утверждает, что они — ее. Новые режимы — что народ был обокраден и поэтому верните, дескать, им. Сокрывшие их аппаратчики хотят их получить назад, чтоб оплатить свои недурственные виллы или начать новую жизнь. На Западе желают свою долю те, кто провозил их контрабандой. Кое-каким политикам и людям из правительств нужно, чтобы сейчас, в период, когда в органах госбезопасности восточных стран открываются досье, эти деньжата были спрятаны. Есть и лжеследователи, желающие знать, что было спрятано и как оно использовалось». «Значит, на одни и те же деньги претендует множество людей»,— сказал я. «Да, и многих из них вы видели в Бароло»,— ответила она.

Я поднял на нее глаза. «В Бароло? На большом конгрессе «Литература и Власть в Эпоху Гласности»?» «Там, где мы с вами встретились, вы помните?» «Конечно, помню, но при чем же тут конгресс? На нем были писатели, политики». «Не все из них на самом деле те, кем представлялись»,— пояснила Козима. «Да что вы,— удивился я.— Сузан Сонтаг? Мартин Эмис? Не хотите ли вы сказать, что и они участвовали в этих

странных играх?» «Нет, мы думаем, что эти двое - почти те, за кого выдают себя,— ответила она.— Имею я в виду других, прекрасно вам известных». «Каких других?» — спросил я. «Русских видели там?» «Неужели же Татьяна Тюльпанова?» — воскликнул я. «Вы видели когда-нибудь хоть слово, написанное ею? — вопросила Козима.— Американцы тоже. Те критики из Йейла». «Козима, прошу вас...» «Вы не находите, что профессор Монца живет немного не по средствам?» «Мне не верится»,- сказал я. «И, конечно же, ваш Отто Кодичил. Да, кстати, как омар?»

«Омар? Мечта,— ответил я.— А что?» «Я рада, что вы получили удовольствие. Хотелось хорошенько вас вознаградить». «Вознаградить?» «Я очень многое от вас узнала обо всем этом». «Как? Ведь я на самом деле совершенно в этом не замешан, Козима. Я абсолютно ничего не знал. Я думал, Илдико — подруга, Криминале — философ. Все это для меня большая новость. Я даже не знаю, верить в это или нет». «Однако дело свое вы сделали отлично». «Какое дело? Что я сделал, стоящее жизни бедного омара?» «Вы указали нам профессора Отто Кодичила,- отвечала Козима.— Он — ключ ко всему, он — недоставшее звено цепи. Вы сообщили нам, что вдохновитель всего — он. И стоило нам это осознать, как прояснилось остальное». «Я очень сожалею, Козима,- сказал я, хоть совсем не сожалел,— боюсь, что я не тот, кем вы меня считаете. Я указал вам Кодичила только потому, что он пытался помешать мне делать передачу. Я ничего о нем не знаю, совершенно ничего. Ну разве что он объедается тортами и не видит никогда своих студентов. В остальном он, может, чище выпавшего снега». «Нет, он замешан в этом»,— упорствовала Козима. «Надеюсь, что у вас есть доказательства,- заметил я,- поскольку этот человек накоротке с министрами. К его услугам любой адвокат. Он опасный враг, поверьте мне. Если вы будете вести себя неосторожно, он добьется того, что вас снимут с должности или посадят». «Значит, вы не знали?» — уточнила Козима. «Чего?» «Кодичил пытался выцарапаться». «Что-что пытался?» «Выцарапаться. Его взяли во франкфуртском аэропорту, когда он пытался вылететь в Южную Америку».

«Помилуйте,— взмолился я,— ну, остальное еще как-нибудь, а в это я не верю. Может, он к тому же вырядился бабой?» «Нет, но был в рыжем парике»,— сказала Козима. «Отто Кодичил-то в рыжем парике? Козима, вы не считаете, что это уже слишком?» «У него был и фальшивый паспорт, и кейс с двойным дном, где он спрятал двести тысяч марок». «Ну, пощадите!» «Теперь он в Германии поет, как канарейка,— продолжала Козима.- Уже почти все выложил. Его завербовали после войны, когда Вена представляла собой коридор между Востоком и Западом». «Он всегда казался мне похожим больше на эсэсовского офицера»,- заметил я. «Раньше был»,— откликнулась она. «Вам это известно абсолютно точно?» «Мне сегодня поступило донесение,— сказала Козима. Хотите знать, зачем он направлялся в Южную Америку?»

Омаровы останки унесли. Второй чудесный совиньон сменился парой терпких старых арманьяков. «Последовал, наверное, стезей Мартина Бормана и Рональда Бигза,— ответил я.— Когда-нибудь они сюда вернутся этакой футбольной командой и выиграют Кубок Мира». «Ожидалось, что он соберет деньги со счетов Криминале и отдаст их кому надо,- сообщила Козима.- Но ваша венгерская связная успела получить значительную часть их раньше». «Тем лучше для нее»,— сказал я и стал мучиться вопросами: куда именно в Южную Америку? Кому он вез их? «Вы начинаете, надеюсь, понимать»,— сказала Козима. «Пожалуй,- отозвался я, задумчиво кружа в бокале свое бренди,— чтобы содержать изрядную асьенду в Аргентине, денежки, видать, нужны немалые. А ежели инфляция сто тридцать процентов, курс обмена крайне неустойчив...» «Да уж, я думаю»,— сказала Козима.

«Значит, Кодичил и Гертла — старые друзья?» «Я думала, вы прибыли в Брюссель, чтобы сказать об этом мне,— ответила она. Тогда, возможно, все бы стало на свои места». «Нет, не для этого. Я собирался сообщить другое, но, возможно, вы и сами знаете». «Ну, ну, скажите,- попросила

Козима.— Хочу знать все». «Да я уж вижу... Просто Гертла мне поведала, что она завербовала Басло в венгерскую госбезопасность еще в пятьдесят шестом году. Всякий раз, когда он возвращался с Запада, он отчитывался перед ней. Она передавала все властям. И если это узнавали венгры, это, несомненно, доходило и до русских». «Только и всего?» — сказала Козима. «Что, мало? Этот человек встречался с Рейганом и Бушем, с Геншером и Тэтчер, с кем угодно. Он, безусловно, имел доступ к огромной информации. Всплыви это — и репутация его подорвана».

«Ну, в этом мире мало репутаций, которые ничем не подорвешь,— сказала Козима.— И вы как журналист прекрасно это знаете». «Позвольте мне как журналисту вас спросить: а это правда? Можете вы это подтвердить? Все ли вы знаете?» «Не знаю,— отвечала Козима.— А вы не интересовались, почему ему было позволено так много ездить?» «Это верно,— согласился я.— Но, без сомнения, не каждый ездивший сотрудничал с режимом». «У них там было все продумано,— сказала Козима.— В том мире чтобы что-то получить, вы должны были чем-то поступиться. Это подразумевалось: режим использовал тебя, а ты использовал режим. На каждого было заведено досье. Езжайте в Прагу, посмотрите. Доктора проходят там под шифрами, архиепископы — чины тайной полиции... Ведя себя по-умному, вы могли быть неуязвимы. Думаю, что Криминале всегда это умел».

«Это великий-то философ!» «И великие философы живут в истории»,— сказала Козима. «Так, значит, Гертла говорила правду?» «Не могу сказать, но только это было бы неудивительно. Думаю, любой неглупый человек на Западе это понимает». «Вы имеете в виду, любой, кроме меня». «Он мог попасть туда, куда не попадали дипломаты,— продолжала Козима,— мог заключать сделки и заниматься передачей информации в обоих направлениях. Я думаю, его использовали обе стороны. Но он был слишком крупная фигура, чтобы использовать его по мелочам». «Но все равно это его погубит,— заметил я.— С чего бы Гертле этого хотеть? Ведь это бросит тень и на нее». «А вы не знаете?» — спросила Козима. «Нет, Козима, я ничего не знаю. Просветите меня, если можно».

«Подобное было и раньше — в Германии в сорок пятом, во Франции после коллаборационизма, в Венгрии в пятьдесят шестом, в России постоянно,— сказала Козима.— И сейчас так происходит, и потом будет. Дела, которые были закрыты, ныне открываются, и все ищут какого-то прикрытия. Защищая себя, сводят счеты. Эти старые партийцы сейчас в унынии. Им обещали, что они навсегда останутся в истории. Они пошли на сделки, они приобрели себе дома и чувствуют себя теперь обманутыми. Но они рассчитывают выжить и начать сначала. Они знают: мир без них не может. Все, что от них требуется,— показать, что они слишком осведомлены. Но для этого им надо кое-чем пожертвовать. Так почему не знаменитостью, стоящей на высоком пьедестале? Он был неуязвим, таким стать помогли ему они. И им нетрудно снова его этого лишить. Он был не хуже прочих — вероятно, и не лучше. Так вы собираетесь помочь им? Вы опубликуете свою статью?»

Я на мгновение задумался. «Наверно, нет. Слишком важна его работа. Он оказал огромное влияние. Тогда погибнут и его идеи». «Я вижу, вы под впечатлением от него»,— сказала Козима. «Да. Я отношусь к нему как к другу». «И ради друга вы готовы промолчать»,— сказала Козима. «Если считаю это важным — да». «А если через два десятка лет кто-нибудь возьмется описывать жизнь Фрэнсиса Джея, как вы думаете, что про вас напишут? — спросила Козима.— "Он знал правду, но молчал"». «Я не такая важная персона. И потом, совсем не обязательно, чтоб мир знал все». «Вы, журналист, так говорите?» — удивилась Козима. «И журнецам не чужды человеческие чувства. По крайней мере, некоторым». «Будете молчать и о других? — спросила Козима.— О Гертле, Монце, Кодичиле?» «Буду просто придерживаться книжных страниц»,— ответил я. «А жизнь и преступления не имеют отношения к этим страницам?» — вопросила Козима.

Я поглядел на нее. «Не пойму, на чьей вы стороне». «Бедный Фрэнсис,— изрекла она.— Столкнулся с тем, чего понять не может. Я думаю, мир — место пострашней, чем вам казалось». «Знаете что, Козима,— сказал я,— вы могли бы быть чертовски привлекательной, если бы все время не произносили таких громких фраз». «А разве я все время их произношу? — сказала Козима, и я увидел с удивлением, что она немножко покраснела.— Если вы только не имеете в виду, что я, как немка, по-английски говорю не лучшим образом». «Прошу прощения, я хотел сказать совсем не это. Я имел в виду, что у вас одни сплошные заговоры, все, по-вашему, подстроено, спланировано. Превращаете весь мир в сплошную детективную историю. Когда бы я ни говорил с вами, кругом одни мошенничества, сговоры, предательства, обманы... Я не уверен даже, был ли заговор вообще».

«Конечно,— отвечала Козима,— мир полон заговоров. Не находите ли вы, что наш послевоенный мир на самом деле часто представлял собою детективную историю? Разве вы не знаете, что когда в Восточной Европе стали открываться досье, люди везде просили, чтоб их вновь закрыли, так как слишком многим западным карьерам пришел бы конец? Какая же, по-вашему, это история?» «Я думаю, что в большей мере философская и человеческая,— сказал я,— более приближенная к истинному положению большинства вещей». «А вам известно, каково оно? — спросила Козима.— Тогда, я думаю, не следовало вам так интересоваться Басло Криминале. Не задавали бы вопросов — не пришлось бы слышать неприятные ответы». «Действительно»,— сказал я. «И не сидели бы сейчас со мною в "Ля Рошетт"». «И это тоже верно». «И я бы не узнала о вас столько,— продолжала Козима.— Мне кажется, наши истории в конечном счете не так уж различаются».

Но тут возник Арман, принесший на серебряном подносе сложенный листок бумаги. «Пора рассчитываться,— сказала Козима,— Европа, Фрэнсис, возьмет это на себя». Я увидел, как она достала какую-то еврокредитную карточку и положила на поднос. «Спасибо, Козима, — сказал я,— славная кормежка». «Мы рады, что доставили вам удовольствие,— ответила она.— А где ваша гостиница?» «Гостиница? Пока нигде». «Но разве я вам не велела заказать? Сейчас в Брюсселе очень нелегко устроиться». «Нет, не велели, Козима,— ответил я.— Пора обзванивать гостиницы, пока не поздно». «Боюсь, что поздно,— отвечала она, глянув на часы,— Брюссель сейчас набит битком. Проводят свои встречи европейские министры, натовские генералы. Готовится большой показ моделей, «Роллинг стоунз» в городе...» «Чудненько,— сказал я.— После вечера в одном из лучших европейских ресторанов — ночевка на вокзальной лавке». «Нет,— сказала Козима,— вы принесли нам много пользы. Европа что-нибудь для вас найдет».

Мы вышли в вестибюль, где я сменил прекрасный галстук на свой нескладный анорак. «Мамзель Брукнер, милочка, вы, как всегда, прелестны» — промолвил кто-то позади — как оказалось, птичьеглазый коротышка, о котором Козима сказала, что это заместитель председателя Европейской комиссии. «Добрый вечер, месье Вильнёв»,— отозвалась она. «Кто бы мог подумать, что вы ужинаете в столь дорогих ресторанах,— заметил тот.— Я сам едва могу себе это позволить». «Мне нужно кое-что расследовать, вы понимаете»,— сказала Козима. «В самом деле? Я смотрю, вы здесь вдвоем...» «А, ja, это Фрэнсис Джей, журналист из Лондона»,— представила меня она. «Очень рад, месье, Жан-Люк Вильнёв. Вы из Британии? Не для того, надеюсь, чтобы написать еще одну статейку о безликих брюссельских бюрократах? Как видите, мой милый, лица у нас с мамзель Брукнер, если присмотреться к ним получше, не такие уж неинтересные».

«Само собой, мистер Вильнёв»,— ответил я. «Месье Вильнёв,— сказал Вильнёв.— Боюсь, вы там, в Британии, никогда не понимали, что Европа — это великая мечта. Да, нам приходится быть бюрократами — живем в бюрократические времена, но я надеюсь, мы бываем и идеалистами». «И я надеюсь»,— отозвался я. «Оглянитесь-ка вокруг, что вы увиди-

те? — изрек Вильнёв.— Luxe et volupté [1]. Когда я прихожу сюда и вижу это, я неизменно задаюсь вопросом: как возможны такие luxe et volupté без rêve et désir [2]? Я европеец, но в то же время, знаете ли, и француз». «Да, я знаю»,— подтвердил я. «А мы, французы, немножечко философы,— сказал Вильнёв.— В конце концов, ведь мы страна Паскаля и Монтеня, Декарта и Руссо». «А также Фуко и Дерриды»,— добавил я. «И этих тоже,— согласился он, но без особого энтузиазма.— И мы верим в мысль и мечту, rêve et désir, верим в идеалы, в цель. Не так ли, мамзель Брукнер?» «Да, месье Вильнёв»,— признала Козима.

«Ну, хорошо.— сказал Вильнёв.— А теперь, мамзель Брукнер, я хочу попросить вас, чтоб вы мне уделили немножко вашего драгоценного времени. Сделайте любезность, загляните завтра утром ко мне в кабинет. Я ознакомился с подготовленными вами материалами по поводу этой аферы. Вы, безусловно, провели расследование со свойственной вам проницательностью». «Благодарю»,— проговорила Козима. «Есть лишь одна-две небольшие проблемы,— продолжал Вильнёв.— Это серьезные вопросы, но мы не можем допустить, чтобы что-либо угрожало нашим отношениям с нашими добрыми восточноевропейскими друзьями, которые так громко возвещают о своем грядущем присоединении к нам». «Я понимаю, месье Вильнёв»,— сказала Брукнер. «Румынский президент меня, наверное, уже заждался,— произнес Вильнёв.— Аншантэ, месье Джей. Завтра в десять, мамзель Брукнер».

Мы вышли на залитую светом Гран-плас; Козима замахала, подзывая такси. «Ну, как мой босс?» — поинтересовалась она. «Форменный идеалист». «Ну тогда Калигулу и Макиавелли тоже следует считать идеалистами,— сказала Козима.— Этот человек желает держать в своих руках весь мир. Когда он ораторствует о Великой Сверх-Европе, для него, будьте уверены, это что-то значит». «Вы имеете в виду, что это его кредо?» «Дело не столько в кредо, сколько в кредитах»,— отвечала Козима. Подошло такси, мы забрались на заднее сиденье, и она, сказав что-то шоферу, спросила: «Значит, вы не видели, кто был с ним за столом?» «Румынский президент?» «Возможно,— отвечала Козима.— Но еще и человек, известный вам немножко лучше. Профессор Монца». «Кронпринц Объявлений? — удивился я.— А что он делал там?» «Он, безусловно, знает босса,— сказала Козима, когда мы выехали с ярко освещенной площади.— Я говорю, Вильнёв — не тот, кем представляется». «Вы, надеюсь, не имеете в виду, что во всем этом замешан заместитель председателя Европейского сообщества?» «Замешан в чем?» — спросила Козима.

Может быть, поэтому спустя двадцать минут, когда я поднимался в лифте на верх дорогого дома, расположенного явно в одном из фешенебельных жилых кварталов Брюсселя, голова у меня шла кругом. Я был озадачен сказанным мне Козимой: насколько это правда? Все? Отчасти? Или вообще неправда? Соприкосновение с честолюбивыми планами создания Сверх-Европы, похоже, развило в ней чрезвычайный вкус к скандалу. События весь вечер развивались слишком быстро для меня. Я был в состоянии, именуемом учеными избыточностью: изобилие смешанной информации, излишек сообщений и сигналов. Не помогло ни то, что чуть не литрами хлебал я лучшее шампанское, тончайшего букета совиньон и самый что ни на есть пикантный арманьяк, какие только могут предложить нам виноделы нынешней Европы, ни то, что моя собственная маленькая часть возможных миллиардов Илдико оказалась на грани разоблачения, ни то, что даже Берлеймон, похоже, был во всем этом замешан.

«Миленько,— заметил я, оглядывая лифт, где не только пол, но и потолок и стены были выстланы коврами.— И здесь... а где это мы?» — промолвил я, когда из лифта мы вышли в большой, украшенный растениями вестибюль. Огнетушитель, к коему я прислонился, ожидая, пока Козима найдет ключи, сорвался почему-то со стены. «Пожалуйста, потише,—

[1] Luxe et volupté — роскошь и сладострастие *(франц.)*.
[2] Rêve et désir — мечта и желание *(франц.)*.

попросила она.— У меня соседи — такие буржуа!» «Соседи? Это что, ваша квартира?» «Я вас прошу, для обсуждения прав собственности это место не подходит»,— бросила она, отпирая дверь. «Весьма любезно с вашей стороны, что вы приводите меня к себе в квартиру в это время суток»,— сказал я. Рядом распахнулась дверь, и высунулся некто вне себя от ярости. «Входите, вы не представляете, кто нас подслушивает»,— проронила Козима. Как я уже сказал, когда она распоряжалась, все на удивление беспрекословно подчинялись.

Квартира, куда мы вошли, была большая и красивая, с великолепной панорамой освещенных величественных зданий Брюсселя, но при этом было ясно, что существование Козима ведет довольно аскетичное. Вдоль стен гостиной протянулись стеллажи почти без книг, с отдельными случайными изданиями. Увидел я большой диван, заваленный досье кофейный столик. Кухонька была полна компактных и бесцветных, как у немцев водится, электробытовых штуковин, в спальне на полу лежал большой матрас. «Прошу прощения, здесь недостаточно для вас опрятно,— извинилась Козима, двигая бумаги и досье.— Нельзя сказать, что я ждала вас». «А Кронпринц Объявлений..?» — произнес я. «Битте?» «Монца в самом деле был там в ресторане?» «А вы не видели? — спросила она, вынимая пылесос из шкафчика необычайной чистоты.— Монца — друг Вильнёва, Кодичил — друг Монцы. Думаю, что все они масоны или что-то в этом роде».

Она стала яростно все пылесосить. «Да что же это? — воскликнул я.— Послушайте, совсем не обязательно сию минуту браться за домашнее хозяйство». «Это значит, что когда я завтра появлюсь у него на четырнадцатом этаже, он, помахав моим отчетом, скажет, что, мол, это все прекрасно,— выкрикнула горько Козима,— но так или иначе мы не можем ставить под угрозу судьбу Новой Европы, портить нашу остполитик. И поэтому судьба Новой Европы будет такой же, как и судьба Старой. Я так думаю, а вы?» «Выключите это»,— попросил я. «Досье, работе над которыми я отдала два года, пропадут,— кричала Козима,— Кодичила выпустят, и он вернется в Вену, вновь к своим студентам». «Если найдет их»,— отозвался я. «Ноги поднимите-ка, пожалуйста,— сказала Козима.— Так все и будет продолжаться. Останутся все те же, только сменят вывески. И молодежь усвоит их уроки. *Номенклатура* пребудет вечно. Поднимите-ка еще раз ноги!»

«Козима, сейчас же выключи»,— сказал я. «Они любезно выразят мне благодарность за мои расследования и переведут на что-нибудь еще,— кричала Козима.— Возможно, на Говяжью гору, где я принесу меньше вреда. Знайте, что я ненавижу эту их Говяжью гору, я плевала на нее!» «Успокойся, Козима,— сказал я, сдерживая ее.— Послушай, все и так прекрасно, я не видел отродясь квартиры чище. Не пойму, зачем ты это делаешь?» «Затем, что если мы будем спать вместе, я хочу, чтобы тебе у меня было в самом деле хорошо»,— ответила она. «Что-что? — переспросил я.— Выключи сейчас же, Козима!» «Я говорю, чтобы тебе у меня было в самом деле хорошо»,— повторила она, выключая агрегат. «Придаточное условное»,— сказал я. «Если мы будем?.. Но ты, может быть, не хочешь? Есть еще диван, могу почистить его для тебя».

«Поди-ка сюда на минутку, Козима,— позвал я.— А ты хочешь?» «Ты не знал?» «Я говорил тебе, я ничего не знаю». «Но ради этого я и следовала за тобою в Бароло»,— сказала Козима. «Как? Это было из-за Криминале»,— возразил я. «Он меня тогда не интересовал,— ответила она.— Тогда я интересовалась Монцей, так как это друг Вильнёва. А за Криминале я следовала потому, что ты следовал за ним. И потому, что ты солгал насчет своей газеты, и потому, что мне хотелось быть с тобой. Но ты все время был с венгерскою агентшей, кроме вечера, когда разразилась буря. Я, конечно, справки о ней навела. Ты знаешь, что на Кано она ездила, чтоб встретиться там с Кодичилом?» «Да? Зачем?» — осведомился я. «Он хотел, чтобы агентша помогла ему воспользоваться теми счетами». «Что ж, может быть, ты и права,— заметил я.— Наши истории имеют меж собою больше общего, чем мне казалось». «Разреши,— сказала Козима,— я наведу порядок в спальне». «Да она и так сверкает чистотой!»

О том, что было — или чего не было — в остальное время моего пребывания в Брюсселе, я, как это бывает, не готов сказать ни слова. По примерно следующим причинам. Чуть позднее лежал я на матрасе в пустой, голой, без единой занавески, идеально чистой спальне где-то над залитыми светом брюссельскими куполами. Рядом распахнулась дверь ванной, и в потоке света я увидел Козиму, покрытую каплями душа там, где прежде было сухо, обнаженную там, где она была прикрыта. Темные волосы она подобрала, на шее поблескивала золотая цепочка. Она приблизилась и стала предо мной, великолепная и смущенная. «Фрэнсис,— начала она, глядя на меня сверху вниз,— пойми, что в западных правительствах по-прежнему работают как минимум четыре с половиной сотни неопознанных агентов штази». «Ни слова больше,— попросил я.— Козима, иди ко мне». «Пообещай мне кое-что»,— сказала она. «Ну, конечно, обещаю». «Если что-нибудь произойдет здесь, никому не скажешь? Останется все между нами?» «Безусловно. Этой встречи не было вообще».

По сей причине больше ничего о том, что дальше было (впрочем, кто сказал, что что-то было?), я поведать не могу. Все равно ведь секс описывают в книжках большей частью для детей. Взрослые прекрасно знают, что в подобных случаях бывает, если что-нибудь бывает. Что-то, как со всеми, а что-то, как ни с кем другим. И разговоры, и молчание. И наслаждение, и разочарование. Слияние и обособление. И ощущение собственного «я», и полное его забвение. И размышления, и покой. И бытие, и небытие. И комната здесь, и большой мир — там. И повзросление, и сохранение себя прежнего. Обыкновенно обсуждением всего этого занимаются философы, по крайней мере, так происходило, когда им было что обсуждать. И ежели они испытывают трудности при обсуждении таких вещей, то почему же мне или кому-нибудь еще должно быть проще? Так или иначе, безусловно, даже в этом нашем снисходительном, терпимом, современном, либеральном, сверхисследованном мире мы все вправе временами помолчать. И если было ранее «молчание Хайдеггера» и «молчание Криминале», кто скажет, что на этот раз не может быть «молчания Джея»?

Так что вот. Осталось мне упомянуть еще лишь об одном моменте моего коротенького пребывания в Брюсселе. На следующее утро рядом с домом, нельзя сказать чтобы отличным от описанного выше, можно было наблюдать, как Козима, вновь в черных брюках, прощалась со мной у такси, которое должно было меня доставить в «Завентем». «Ты правда не напишешь ничего?» — спросила она. «Думаю, что нет,— ответил я.— Он для меня по-прежнему великий человек. Он — слон, другие — блохи. Приложения, комментарии. И он вполне достаточно страдал. Теперь же Гертла хочет бросить тень на его имя, другие прикарманили все его деньги...» «Насчет имени ты, может, прав, но что до денег, тут не стоит так уж волноваться. Я уверена, его богатая подружка не допустит, чтобы Криминале голодал».

Сев на заднее сиденье, я опустил окошко. «Ты имеешь в виду мисс Белли? Она настолько же богата и влиятельна, как и все прочее?» «Конечно, не ее,— сказала Козима.— Она всего лишь ассистентка Кронпринца Объявлений цель которой — побывать с ним в банке». «Но Криминале ведь бежал в Лозанну, чтобы быть с ней». «Да нет,— сказала Козима,— ты что, не знаешь, кто на самом деле ждал Криминале в «Бо риваж паласе»?» «Нет, не представляю». «Миссис Валерия Маньо,— сообщила Козима.— Прилетела туда на своем самолете, и они вылетели с ним в Индию». «Время было зафиксировано точно»,— проронил я. «Ну естественно,— сказала Козима.— Я думаю, их связи не один год». «Ты чудо, Козима»,— проговорил я. Она коснулась моих губ губами. «Я надеюсь». «Удачи у Вильнёва»,— пожелал я. «Сомневаюсь,— ответила она.— Наверное, мне предстоит заняться чем-нибудь другим. А ты пообещай, что все равно мне позвонишь, если узнаешь что-нибудь». «Конечно»,— обещал я, и машина тронулась. Я мчал в аэропорт, наконец-то зная, что мне больше нечего сказать о странном деле Басло Криминале.

16

Тут должна была бы завершиться история Криминале...

Она и впрямь должна была бы здесь закончиться — история Басло Криминале. Но ведь ясно: если б так оно и было, то я не писал бы сейчас этого, а вы бы не читали. Что же произошло? Ну, как оно бывает, кое-какие пустяки, довольно хаотичные по сути, но все весьма существенно переменившие. Вернувшись из Брюсселя, вскоре, в разгар сумбурного, бессмысленного лета 1991 года, я перешел работать в «Санди гаймс», гораздо более подходящее место для статей, сопрягавших что угодно: деньги и искусство, секс и стиль, кто набирает силу и что нас ждет,— и становившихся теперь моей специальностью. Через несколько недель на юге Германии, в Швабии, как будто созданной специально для таких мероприятий, проходил престижный международный семинар с достаточно двусмысленным названием «Смерть постмодернизма: новые пути». Мероприятие должно было происходить в каком-то маленьком изысканном эрцгерцогском домишке недалеко от Шлоссбурга, курорта с минеральными источниками, бывшего летней резиденцией эрцгерцогов Вюртембергских во времена, когда Германия слагалась из федеральных княжеств,— говоря иначе, это было раннее Европейское сообщество.

Информация о семинаре попалась на глаза моей редакторше-стилистке, остро мыслящей девице, выпускнице Оксфорда и Кардиффа, которая испытала шок, узнав, что целое — притом значительное — направление в искусстве зародилось, процветало и теперь, выходит, отдало концы, пока она следила за Эдинбургскими фестивалями и интимной жизнью королевского семейства. Девица прибрела к моему столу в мой еще более открытый всем ветрам на свете кабинет, чтоб посоветоваться. Накануне она побывала на какой-то вечеринке, где некто — думаю, опять же Ричард Роджерс — заявил ей, что постмодернизм — он называл его По-Мо — уже не слишком актуален, и ей не мешало бы с ним познакомиться, пока он окончательно не устарел. В результате она загорелась идеей сделать приложение, посвященное с начала до конца По-Мо, и вот теперь желала знать, не подойдет ли для него статья о семинаре в Шлоссбурге.

Я просмотрел программу и тотчас же понял: пропустить это событие нельзя. Писателям, ученым, интеллектуалам всех восточноевропейских стран, в течение четырех десятилетий не имевшим доступа к пародии, пастишу, иронии, неопределенности повествования, новой истории, теории хаоса и бездонности позднего модернизма, была дана возможность наверстать упущенное. Дальновидные немецкие промышленные фонды, такие, как «Мерседес» и «Бош», выделили средства на приезд их в Шлоссбург. Несколько крупнейших представителей американского постмодернизма, такие, как Джон Барт и Уильям Гасс, Реймонд Федерман и Ихаб Хассан, должны были вознестись в виртуальную реальность трансатлантических полетов и прибыть для выступления перед ними, как и ряд ведущих европейских интеллектуалов и философов-деконструктивистов. Среди них был даже сам профессор Анри Мансонж [1], известный во всем мире деконструктивист из университета «Париж XIII», который никогда нигде не появлялся собственной персоной. Даже он, однако, согласился сделать сообщение о Полностью Деконструированном «Я». То есть событие обещало быть из ряда вон.

Поэтому когда редакторша спросила, стоит ли об этом написать статью, я быстренько ответил «да». Нет чтоб сообразить тотчас же, что к чему: ведь я стал старше, умнее, добродетельнее, и, помимо всего прочего, разыскивая Криминале, я побывал на множестве заграничных конференций. Но можете не сомневаться, пару дней спустя, пристегнутый на высоте

[1] Mensonge — ложь *(франц.)*.

двадцать тысяч футов с бесплатным джин-и-тоником в руке, я летел «Люфтганзой» в Штутгарт, от которого ближе всего до Шлоссбурга, куда меня гнала необходимость накропать две тысячи трескучих слов на тему «Что произошло с По-Мо». И лишь тогда нашлось у меня время просмотреть как следует программу семинара, лишь тогда увидел я, что прежде не заметил имя одного из самых крупных интеллектуалов, летевшего туда, чтоб выступить с единственной — программной — лекцией. В отличие от меня вы вряд ли будете удивлены, узнав, что это был профессор Басло Криминале.

Я посмотрел еще раз: его имя явно значилось там. Сердце у меня упало: не хотел я, нет, определенно не хотел встречаться вновь с этим великим человеком. Я закончил поиски, поставил точку и перевернул страницу. Вечер (а возможно, не один, кто знает?), проведенный мною с Козимой в Брюсселе, наконец подвел черту под ними. Может быть, он был героем, но с точки зрения морали он определенно разочаровал меня. Может быть, по отношению к нему грешили больше, чем он сам, но теперь я знал: грешил и он. Он предавал себя и предавал других; более того, так поступая, он в каком-то смысле предал и меня. Вначале я подозревал его, потом стал восхищаться и ценить, теперь же снова репутация его в моих глазах была запятнана. Но я сдержал обет молчания. Я ничего не написал о нем и не хотел писать сейчас.

Раскрывая каждый день газеты, я отчасти ожидал там что-нибудь о нем найти — в газетах была масса откровений, неожиданных разоблачений. Но ничего не находил — за исключением очередных цветистых и каких-то старомодных статей о том, как знаменитый Криминале знаменит. В «Вэнити фэр» публиковался снимок, где он был почетным гостем на обеде тысяча-долларов-тарелка в пользу голодающих, проходившем в «Вестин Бонавенчур» в Лос-Анджелесе, рядом с ним сидела за столом Валерия Маньо, декольтированная едва ли не до талии. Я понимал, что нужно запастись терпением. Может быть, великие и добрые, богатые и могущественные, издатели и хозяева решили пощадить его; но сами они друг за другом шли ко дну. Однако не было ни слова и об Отто Кодичиле; некоторым удается выходить сухими из воды. Но мне хотелось избежать ответственности, встречи: сидя в самолете на перегруженной европейской авиалинии, я стал обдумывать, как сократить свой визит так, чтобы с ним не встретиться. Потом я понял: он приедет, как обычно, крайне ненадолго. Сегодня здесь, а завтра — если не в тот самый вечер — уже там. Если я, как Илдико в Лозанне, постараюсь держаться в глубине — Криминале ведь все время на переднем плане,— он, со знаменитой своей философской отрешенностью, меня и не узнает. Успокоившись, я мысленно переключился на куда труднее разрешимую проблему наших дней — извлечение еды из пластиковых упаковок на подносе, стоявшем у меня на коленях.

Скоро я уже садился в Штутгарте, городе Шиллера и Гегеля, «Мерседеса-Бенц» и «Боша». Юг Германии все лето окатывала странная зловонная волна тепла — без сомнения, связанная с загрязнением атмосферы, начинающим охватывать весь мир. В воздухе Штутгарта дрожали выхлопные газы, липкий зной висел над улицами, отведенными для пешеходов, вся одежда пропиталась потом. Следуя полученной инструкции, я прошел через большие площади, через забитые товарами торговые ряды и оказался перед знаменитой постмодернистской Штаатсгалери (britische Architekt) — наклонным строением из песчаника, воздвигнутым Джеймсом Стерлингом, головоломкой с потайными входами и сдвинутыми этажами. Малайская невеста в белом, задрав платье и восседая верхом на статуе работы Генри Мура, позировала для свадебных фотографий. В галерее, где я проболтался некоторое время перед неистовыми модернистами Киршнером и Нольде, богатство без труда уживалось с искусством. Я поговорил с учтивым гидом, объяснившим мне, что все в этой постройке является пастишами пастишей и цитатами из цитат, и, выйдя, стал искать такси, чтоб ехать в Шлоссбург.

Это была долгая и дорогая поездка из постиндустриального города на

швабскую периферию, но о деньгах я не жалел. В Объединенной-Германии-экономического-чуда было очень чисто, как и полагается. Чисты были и штутгартские улицы — переплетение старых с новыми,— и бесчисленные новые городки, расползавшиеся по холмам, и серые бетонные коробки одинаковых торговых центров, и богатые, солидные швабские виллы, и хорошо возделанные поля, и, разумеется, длиннющие полоски виноградников, спускавшихся крутыми берегами к реке Неккар. Чисты (и переполнены) были автострады, чисты (и дороги) машины, чисты (и хорошо одеты) люди. В малютке Шлоссбурге с его величественным барочным дворцом и регулярными французскими парками все также поражало чистотою. И когда добрался я до романтичного готического охотничьего домика, стоящего среди густых лесов на взгорье у реки, даже дикая природа там блистала чистотой.

Хотя эрцгерцоги Вюртембергские и славились своим философским благоговением перед природой, это их явно не удерживало от периодических неистовых набегов на нее. Клыкастые головы свирепых вепрей, кроткие очи нежных ланей, пристальные бусины хищных канюков смотрели вниз со стен, соседствуя с вооружением, созданным их палачом. Под ними уже собирались постмодернисты: запыленные восточноевропейцы, измученные путешествием в блуждавших по Центральной Европе поездах и в самолетах удивительных авиалиний, где вылет задерживается не на минуту, а на целый день, и взбалмошные американцы, олицетворение наслаждения жизнью, чье спортивное облачение сообщало нам, что наше время — время игр. Зной давил, но во дворе были расставлены столы, где вы могли бороться с обезвоживанием при помощи хороших швабских вин.

Открыл тот вечер ужин в большом зале при свечах. Свечей, однако, не было по причине строгости немецких противопожарных правил, что восточноевропейцы приняли легко. Как объяснил один из них, для них привычней ужин при свечах без ужина. Довольны они были и в последующие дни, насыщенные выступлениями и семинарами. Мне они признались в интервью, что после сорока пяти лет мрачной старой ирреальности им было очень радостно услышать о столь яркой новой ирреальности. Американские постмодернисты поработали на славу; мы охватили все — теорию хаоса и товарный фетишизм, китчевую архитектуру и бездонное искусство, компьютерную культуру, киберпанков, иронию, глобальную джентрификацию, литературу истощения и литературу восполнения. И когда мы сами истощались, то восполняли силы во дворе, потягивая швабское вино средь нескончаемого зноя.

Конечно, были и проколы — так и не приехал Анри Мансонж, хотя когда мы позвонили в его кабинет, то нам ответили, что он уехал. Объяснений никаких не поступило, но в программе его имя оставалось как знак его отсутствия. Удачной заменой и бальзамом на душу и тело после доставленных природой мук явилась шумная прогулка по реке на лодках. Ночами было слишком жарко, чтобы спать (а, впрочем, на конгрессах уж кому уж так охота?), слишком жарко, чтобы бриться. На четвертый день, когда светило вновь зажглось во мглистом небе, как — ну почему бы не сказать: как яркий, но не надраенный до блеска щит (хоть в Шлоссбурге сей троп — сравнение — не очень уважали), пришло спасение: с нами оказался Басло Криминале.

Приехал он в такси, без спутников, в одном из голубых своих костюмов с отливом, с хорошо уложенными волосами, вытирая лоб. Когда он вышел из машины и поднимался по ступенькам, приветствовать его собралась, возможно, не такая уж большая, но восхищенная толпа. Я вдруг увидел, как он изнурен; походка не была уже такой пружинистой, во всем облике ощущалась утомленность. Позже я узнал, в чем дело. Во франкфуртском аэропорту, где оказался в трудном положении Отто Кодичил, как прежде, до него, другие, Криминале потерял багаж. «Люфтганза» изобрела принципиально новый способ авиационных путешествий, новый самолет без крыльев, который, никогда не покидая землю, мчит по рельсам, ибо его тянет паровоз. Люди простодушные могли бы назвать его поездом, но ему

присвоен номер авиарейса, пассажиру вручается посадочный талон для пересечения границы, стюарды подают еду, приготовленную в микроволновых печах. Криминале на обратном пути из Лос-Анджелеса, будучи человеком, с необычной пересадкой справился успешно. Вещам же его — неодушевленным, немым предметам — это оказалось не по силам. И ныне они либо возвращались в Лос-Анджелес, либо были взорваны антитеррористическим отрядом как несопровождаемый багаж.

Я смотрел на Криминале, и мне было жаль его; и стало еще больше жаль его и всех нас тоже, когда я узнал, что в чемодане кроме дорогих костюмов и изысканных рубашек, так или иначе заменимых, были и тетради, содержащие его труды последних нескольких недель, набросок нового романа, следующего за «Бездомьем». Туда-обратно полетели сердитые звонки: аэропорт докладывал, что ничего не найдено. Криминале удалился в ярости наверх в свой номер; от организаторов мероприятия я узнал, что он слагает с себя все последующие обязательства — лекции в Белграде и Мачерате, получение почетной степени в Стокгольме, посещение дипломатических приемов. Он решил остаться в Шлоссбурге, близ своего немецкого издателя, на столько времени, сколько займет возврат потерянного багажа, что потребует, весьма возможно, много дней, если вообще его удастся возвратить. Обеспокоившись за Криминале, я вдруг обеспокоился и за себя. Было нас не так уж много — три десятка человек, за завтраком, обедом, ужином мы собираемся все вместе, и все время избегать его я явно не смогу.

Первым делом я подумал, что пора отсюда уезжать, но что-то не позволило. Теперь, когда он вновь был в поле моей видимости, когда вновь писал роман, во мне проснулось любопытство. Мне захотелось выяснить, что с ним происходит, что он собирается делать, какие мысли посещают его в эти дни. В конце концов я предпочел стратегию Илдико. Пусть Криминале пребывает на переднем плане, что он очень любит,— я буду на заднем, оставаясь незаметным, как всегда. Поэтому когда позднее в тот же день он появился снова и взошел на подиум в готическом зале, чтобы выступить с программной лекцией, которая именовалась просто-напросто «Ситуация постмодернизма», я присутствовал на ней, держась в тени, в самом темном уголке последнего ряда.

Начал он достаточно серьезно, слагая песню из имен, которые всегда звучат в подобных случаях: Хабермас и Хоркхаймер, Адорно и Альтюссер, Де Ман и Деррида, Бодрийар и Лиотар, Делез и Гваттари, Фуко и Фукуяма. Он размышлял обо всем том, что в наше время взбадривает мыслящие умы,— о конце гуманизма, смерти субъекта, о закате метаповествований, об исчезновении личности во времена, когда везде и всюду симулякры, о бездонности истории, исчезновении референта, о культуре пастиша, о конце реальности и прочем. Затем его манера стала более личностной, тон — более ироничным; в Бароло меня все время поражало его поведение, для философа - на удивление личностное. Он нам напомнил широко известную собственную фразу: в такие времена и сама философия может быть лишь «формой иронии».

Когда он заговорил об этом, я почувствовал, что он чем-то взволнован. Может быть, потерей чемодана с рукописью, может быть, присутствием перед ним такого множества восточноевропейских собратьев. В какое-то мгновение мне подумалось — возможно, даже моим собственным присутствием; не раз на протяжении выступления мне казалось, что он глядит на меня — пристально и как-то вопросительно. Ситуация постмодернизма, говорил он, — это не просто посттехнологическая ситуация, феномен позднего капитализма, закат наррации или как там еще называют это толкователи. Более всего, сказал он, смахивает это на положение, в котором сейчас находится он сам,— с нарушенными после перелета биоритмами, напичканный предложенными в самолете едой и развлечениями, в культурном шоке, с затуманенным рассудком, тучным телом, лихорадочными, давящими мыслями, с чувствами, не соответствующими времени и пространству, лишенный багажа, привычного имущества.

«Какой из этого возможен вывод? — обратился наконец он к нам,

донельзя взмокшим в этом зале, где было не продохнуть.— Лейбниц, хороший человек, сказал однажды, что основной вопрос философии таков: почему скорей есть нечто, чем нет ничего? Нам больше повезло, мы доказали, что он был не прав. Теперь мы можем честно заявить: «ничего» гораздо больше, покажите же мне «нечто». Вот перед вами я, теоретическое «ничто», пресловутый «умерший субъект». Я проделал три тысячи миль по миру, где «чего-то» очень мало, чтобы прочесть вам лекцию из глубины бездушной души моего «ничто» о положении «ничто», как я его понимаю. Поэтому, пожалуйста, друзья,— особенно восточноевропейские друзья, еще со всеми этими вещами не знакомые,— позвольте мне от себя лично пригласить вас в ситуацию постмодернизма! А теперь спасибо за внимание, и я готов ответить на парочку вопросов». Озадаченные слушатели стали задавать вопросы, а я выскользнул из зала.

Чуть позднее с балкона своей комнаты я глянул вниз и там увидел Криминале — как обычно, в окружении почитателей; он вытирал вспотевший лоб, его костюм был явно слишком теплым для такого зноя. Он дошел до деревянной балюстрады и остановился; почитатели образовали плотное кольцо. Криминале благородно выпрямился и, казалось, устремил свой взор прямо на солнце. Что происходило? Как я тут же понял, ничего особенного. Все участники были при камерах, и Криминале просто им позировал. Я соскользнул по лестнице и вышел, чтобы совершить спокойную, как я надеялся, бодрящую прогулку среди романтической природы и подобрать вопросы к интервью, которое я собирался взять перед обедом у румынского участника. Регулярный парк сменился вскоре толстыми деревьями и дикой порослью, отлогая неровная тропинка вела вниз к реке.

За поворотом на грубовато сделанной скамье сидела пара. Тоже знакомая романтичная картина: он и рядом с ним она. Он — Криминале в том же, несколько уже обвисшем голубом костюме,— тепло беседовал с одной из самых привлекательных участниц семинара, русской, то и дело нежно сжимая ее руку. Она вся трепетала перед ним, он к ней склонялся и кивал. В его манерах вновь сквозила сексуальная бравада. Вспомнив о стратегии Илдико, я изменил было маршрут, пошел между деревьями, чтоб обойти их стороной. Русская увидела меня сквозь ветви. «Глядите, журналист»,— промолвила она. «Прошу прощения,— сказал я,— вышел прогуляться». «Идите сюда,— пригласила она.— Мы здесь просто сравнивали наши микрокомпьютеры». «В самом деле?» — произнес я. «У этой дамы немецкий, а у меня американский»,— бросил Криминале, измеряя меня взглядом. «Что ж, желаю всяческого удовольствия». И я пошел извилистой тропинкой вниз.

«Погодите-ка»,— окликнул Криминале. Я обернулся: он поднялся и пристально смотрел на меня. «Извините, но мне показалось,— произнес он,— что мы с вами встречались где-то...» «Вероятно»,— согласился я. «Да, да,— сказал он.— В Бароло, потом в Лозанне». «Я действительно там был». «Вы были влюблены в Илдико Хази,— произнес он торжествующе.— Ну что ж, вполне естественно. Такое пылкое создание». «Я и не знал, что вы заметили»,— сказал я осторожно. «Теперь я точно знаю, кто вы,— заявил он.— Знаю от Валерии Маньо. Вы — тот молодой британец, который хочет сделать из моей жизни историю?» «Хотел,— ответил я.— Потом пришлось эту идею бросить». «Вы так легко бросаетесь моей жизнью? — сказал он, глядя на меня.— Однако! Надеюсь, что не Отто Кодичил тому причиной?» «Нет, не Кодичил,— ответил я.— В конечном счете деньги». «И только? — удивился он.— Конечно, это важно, но это не все. Надеюсь, я важнее денег».

Знали б вы, подумал я, ловя его пронизывающий взгляд. «И вот теперь вы здесь»,— сказал он. «Чистая случайность»,— ответил я. «Вы считаете, случайность в самом деле так чиста?» — проговорил он. «Я имел в виду, что мы здесь оказались вместе волею судеб. Я здесь, чтоб написать статью для одного журнала про По-Мо». «А что это — По-Мо?» — спросил он. «Постмодернизм»,— ответил я. «А-а, это то, что после Мо,— кивнул Криминале.— И зачем это им всем? Что, нету женщин? Не хватает

выпивки?» «Здесь у них имеется и то, и это»,— ответил я. «А мы, значит, снова встретились случайно». «Абсолютно»,— подтвердил я. Он подчеркнуто любезно повернулся к русской, терпеливо ждавшей. «Милая Евгения, может быть, продолжим как-нибудь в другой раз? — предложил он.— Мне нравится вести серьезные беседы с этим молодым человеком. Встретимся в холле через полчаса и сделаем, о чем договорились». «Конечно, Басло»,— согласилась русская, вставая. «Нет-нет, я собирался идти брать интервью»,— поспешно сказал я. «Успеете,— ответил Криминале, и его тяжелая рука легла мне на плечи.— Погуляем вокруг озера».

Большое, сумрачное, в окружении лесов, оно было творением не одной природы. На островах и мысах высились руины, в большинстве своем специально созданные. Вода была зеленая, стоячая. Среди водорослей плавали лениво гуси-лебеди; когда мы подходили, из подроста слышалось жужжание сердитых мух. «Пожалуй, замысел вашей передачи был действительно не так уж и хорош,— промолвил Криминале.— Человек неинтересен, интересны только его мысли... Но ведь невозможно, нереально показать такие вещи с помощью сменяющих друг друга маленьких картинок!» «Вы правы»,— отозвался я. «К тому же,— продолжал он,— никому не хочется, чтобы его изучали без его ведома. Хоть там, откуда я родом, я к этому привык, мне удивительно. Ведь существуют принятые нормы поведения». «Мы прощупывали почву: хватит ли материала, чтобы сделать передачу,— ответил я.— Хотели углубиться внутрь истории, чтобы понять — а есть ли там история на самом деле». «Ну и как? — спросил он.— Вижу, нет?» «Не такая, как хотелось бы».

«Да? — сказал он.— Может быть, присядем? Интервью уже не состоится, значит, у вас есть немножко времени?» Он указал на каменную обомшелую скамью, тонувшую в траве у самой кромки озера. Мы сели. Криминале снял пиджак и снова вытер лоб. Он вел себя со мною очень дружелюбно, более, чем я заслуживал, настойчиво изображая в то же время дело так, как будто я был виноват. Конечно, я был виноват; на самом-то деле я никогда не одобрял лавиниевских косвенных методов расследования, но я был молод и изголодался по работе, хоть всегда со страхом думал, что наступит миг, когда придется признаться Криминале, что мы делаем о нем передачу. Но мне теперь казалось, что это Криминале не имеет тех моральных основ, какие он присваивал себе. «В Бароло, если б вы попросили, я, может, и помог бы,— говорил он.— А теперь вот — нет. Если ваша передача не удастся, то разочарован я не буду. Моя жизнь не настолько интересна, чтобы я заслуживал такую честь,— в основном это цепь мелких неурядиц». «Не согласен,— возразил я.— Я считаю ее очень интересной».

Криминале взял из дорогого портсигара сигару, предложил и мне. «Ну и жарища,— бросил он.— Так вы считаете, что это интересная история? И что же вы узнали?» «Много всего»,— сказал я, беря сигару. «Да? — промолвил Криминале, аккуратно поднося мне зажигалку.— А с кем вы говорили? С людьми, нарисовавшими не слишком привлекательный портрет?» «В общем, да,— ответил я.— Например, с Гертлой». «Она женщина завистливая и упрямая. Меня к таким влечет,— заметил он.— Строго между нами говоря, у меня всегда были проблемы с женщинами». «Мне порядочно известно и об этом». «Вы много сделали,— сказал он.— Вы умно поступили, познакомившись с Илдико Хази. И, может быть, теперь вам ясно, почему я не рассчитываю сохранить надолго свою репутацию»,— проговорил он как-то очень бодро. «В общем, да»,— сказал я. «И что же вы выяснили в результате ваших журналистских разысканий?»

«Ну, что партия, КГБ, номенклатура пользовались вашими счетами для всяческих афер на Западе»,— сказал я. «А-а, недостающие миллионы,— отозвался он.— Меня это не слишком волновало. Деньги для меня не так уж много значат. А они, эти партийцы, любили капиталистические игры, почему же было не позволить им, быть может, именно таким путем они чему-то научились». «Вы работали на партию и доносили на людей, что были за границей, через Гертлу». «Она так сказала? — отозвался Криминале.— Это не совсем так. Я играл роль двустороннего канала. Я передавал

что нужно в обе стороны. Об этом прекрасно знали в целом ряде мест. Я всегда мог принять и передать послание. Такие личности были необходимы. Вы не представляете, какими сложными бывали эти игры». «Значит, вы на самом деле никого не предали?» — спросил я. «Совесть у меня чиста,— ответил Криминале.— Я мог бы вовсе потерять ее, но этого со мною не произошло». «А как насчет Ирини?»

Тяжело дышавший со мной рядом на скамейке Криминале снова вытер лоб. «Да, я был лишен возможности с ней быть,— сказал он.— История вмешалась в нашу жизнь и отняла ее у меня». «История? Не понимаю, как такое удается абстрактным существительным». «Тем не менее это так,— ответил Криминале.— Безличные силы могущественней воплощенных в том или ином лице». «Вы, безусловно, могли что-то предпринять,— сказал я.— Вы были влиятельны, у вас везде были друзья». «Когда повсюду хаос, то никто не в силах ни на что влиять,— ответил Криминале.— Надь обладал влиянием — его взяли и застрелили. Вы думаете, вы смогли бы сделать больше?» «Я не знаю и не представляю». «Зачем вы приехали? — спросил он.— Это журналистский заговор? Вы хотите меня в чем-то обвинить?» «Нет,— ответил я.— Я правда здесь совсем случайно». «Совершенно невзначай,— сказал он.— Стало быть, вы собираетесь рассказывать эту историю».

«Да нет,— ответил я.— Не собираюсь». Он взглянул на меня озадаченно. «Тогда чего вы от меня хотите?» «Абсолютно ничего,— ответил я.— Разве что цитату о По-Мо». Он замолчал, как будто этот вариант встревожил его больше противоположного. «Простите, если я веду себя неблагодарно,— наконец заговорил он,— но я знаю журналистов, сам принадлежу к ним. Они, как тайная полиция, записывают все, потом в один прекрасный день... Журналист, чтоб преуспеть, должен быть чуть-чуть нечестным». «А философ?» Криминале поглядел на озеро, потом ответил: «Интересный вы поставили вопрос. Я думаю, что да. Помните, философ — это просто клоун мысли. Он обязан представляться мудрым, ему назначена такая роль. Каждая эпоха, каждая идея требуют, чтобы он дал доступный пониманию портрет реальности. Он пробует, обдумывает, подбирает инструменты мышления. Но он не отличается от остальных. Замаранный историей, в конечном счете он такой же человек, как все. Возможно, мысль предает помимо его воли».

«Так что́ же предает, мысль или человек?» — спросил я. «Еще один необычайно интересный вопрос,— заметил Криминале, но не ответил, только пристально смотрел на воду, где кишели водоросли.— Простите, а вы сами как считаете?» «Я вспомнил одну фразу, где же я ее прочел, не то у Джорджа Стайнера...» — сказал я. «Возможно, если вы его читали»,— отозвался Криминале. «Он сказал, что крупные ученые-философы бывают крупными предателями». «Крупными предателями,— повторил он, глядя на меня с иронией.— Вы это про меня? Поймите, в пятьдесят шестом году я был молод и неправильно прочел историю — довольно непростую книгу. Поверьте, это так легко, и вы этого тоже вряд ли избежите. Но одно, мой друг, я хорошо усвоил — не существует никакого будущего. Будущее — это то, что мы выдумываем в настоящем, дабы навести порядок в прошлом. Не живите ради будущего — только угодите не в тот лагерь, сблизитесь не с тем, с кем надо. Я совершил обычную ошибку — думал, мне известно, что должно произойти. Вы тоже ее совершите».

«Но вы-то ошибаетесь публично,— возразил я.— Вы философ, вас читают, верят вам». «Я написал большие книги, верно, что-то сделал в философии, еще, как вам известно, сочинял романы,— произнес он.— Ну и что теперь? Не стану же я рвать их оттого, что, глянув на часы, увидел — они показывают не то время. Все книги таковы. Знаете, если бы мои интимные дела сложились хоть чуть-чуть иначе, в пятьдесят шестом году я перебрался бы на Запад. А потом в Америку и там писал бы те же книжки. Тогда вы говорили б о предательстве? Вы ставили бы под сомнение слова? Я совершил ошибку, разделенную со мною миллионами. На том и порешим, и возвращаться к этому не будем. Это не предательство». «Вы не

просто недопоняли историю,— сказал я.— А Ирини?» «Ну, позвольте вам заметить — так как вы, конечно, ничего не знаете об этом,— что иногда — а может быть, всегда — любовь и дружба делаются невозможны. Если бы вы сорок лет вели двойную жизнь, то поняли б меня».

«Двойную жизнь?» «Конечно,— подтвердил он.— В тогдашней нашей жизни нормой была ложь. Неверная эмоция, неверный жест — и все, вы выдали себя. Но если вы умели лгать, если публично вы режим поддерживали, в частной жизни вам разрешали думать по-другому. Если вы им позволяли пользоваться вашей репутацией, то вас в полицию не вызывали. Если вы отстаивали их историю, они вас не преследовали за вашу иронию. У нас была культура циников, мы были подлы и продажны, но такой был уговор. Эти люди питали слабость к грандиозным политическим идеям, им нравилась Утопия, им нравилась тотальность. Пролетарская революция — с ума можно сойти! Я вел более возвышенную жизнь, я был лучше. Но цинизм проникает всюду, даже и в любовь». «И в философию»,— заметил я. «Возможно,— согласился он.— А, вот вы что хотите от меня услышать. Осуждение моей работы, порочной, как мой мир. Нет, не согласен. Полагаю, опыт жизни в скверном мире тоже стимулирует раздумья».

«Мне пора,— сказал я, поднимаясь.— У меня на самом деле интервью». «Нет, подождите.— Он взял меня под руку.— Уж слишком вы легко хотите ускользнуть. Я объясню насчет предательства. *Все мы* предаем друг друга. Иногда со зла или от страха. Иногда от равнодушия, порой из-за любви. Случается, ради идеи или политической необходимости. Бывает, просто не найдя весомой нравственной причины этого не сделать. Сами вы не такой?» «Надеюсь, нет»,— ответил я. «Вы не согласны, что сейчас кругом одни предательства? Что снова наступили времена «j'accuse [1], j'accuse». «Что-что?» — не понял я. «J'accuse, отец со мною был жесток, я был не нужен матери. J'accuse, он посягал на мою сексуальную свободу, делал мне намеки. J'accuse, я его любовница, и он мне должен целое состояние». Съездите в Америку. Триста миллионов голых «эго», все с претензиями. Даже знаменитым и богатым нравится быть жертвами. То, что с ними вытворяли их родители, это кошмар какой-то, у них вообще могла бы не задаться жизнь. Нет, Ницше прав: на рубеже эпох предательство повсюду. Чтобы стать героями наставшей, мы должны покончить с прошлой. Еще он говорил, что каждый раз, когда мы пробуем творить самих себя, наше одиночество лишь возрастает. Поэтому моя история, быть может, и не столь уж далека от вашей».

Но это было бы слишком просто. «Прошлое должно ответить,— сказал я.— В вашей истории творились подлинные преступления». «Да, несправедливости творились,— отозвался Криминале,— а сейчас? Вы говорите, что вы представитель мира массовой информации». «Уже не так,— ответил я.— Обнаружилось, что я скорее человек вербальный, чем визуальный». «Я не об этом,— сказал он.— А о том, что вы живете в эпоху средств массовой информации, в эпоху симуляции, как все здесь выражаются. В эпоху, когда нет идеологии, одна гиперреальность. Побывайте-ка в Нью-Йорке, в этом Бейруте западного мира. На улицах полно грабителей и террористов, женщины от злости бесятся, живут все для себя. Вы сидите в изумительных апартаментах с дивными картинами на стенах где-то наверху, в то время как внизу, на улице, кого-то убивают из-за наркотиков и наслаждений. Реального и слишком мало, и одновременно слишком много. Повсюду дикие фантазии, все жаждут сильнодействующих иллюзий. Жизнь — кино, развязка — смерть, истории все нереальны. Даже философы мыслят в отрыве от реальности, они описывают мир, в котором нет таких понятий, как нравственность, гуманизм, индивидуальность. Я знаю, что моя эпоха была безнравственной. А ваша?»

«Помните вашу размолвку с Хайдеггером?» — отозвался я. «И что же?» «Вы сказали, что его ошибка заключалась в убеждении, будто мысль может быть выше истории и оставаться чистой. Ну а если нет, то что

[1] Я обвиняю *(франц.)*.

тогда?» «Конечно, если вы предпочитаете так думать, мысль продажна, и ни один из нас не прав,— ответил Криминале.— Тогда, конечно, нет нравственности, нет ничего реального, нет философий, мифов, нет искусства. Мир пуст, как утверждает кое-кто, повсюду хаос, произвол. Нас как личностей не существует, мы начинаем все с самого начала, с нуля. Нет Криминале, не на кого возлагать вину, вообще нет никого. Но это ваши трудности, а не мои. Простите, мне пора идти, я потерял свой багаж. Но зато я повстречался с этой милой русской, которой нравится ходить со мной по магазинам. Ну, как говорят, до встречи». Он встал, надел пиджак и двинулся извилистой тропинкой через заросли Я презирал его и восхищался им. Я ненавидел его и любил. Я был и оскорблен, и очарован. Когда он говорил, мне по-прежнему хотелось слушать.

Побеседовать мне больше с ним не довелось. Вечером он был на семинарском ужине. Прогулка по магазинам ему явно удалась. На нем был легкий очень дорогой костюм с иголочки, изысканная новая рубашка, новые же золотые запонки. Несмотря на наш с ним разговор, а может быть, благодаря ему — или благодаря общению с русской — Криминале пребывал в отличном настроении. Он вновь обрел былую форму, русская сидела за столом с ним рядом, касаясь иногда его руки. Я прошел мимо них, направляясь к угловому столику. «В России слишком толстые кондомы, вот беда,— сказал он.— Вам необходима экстренная помощь Запада». Потом я видел, как он говорил и говорил, по своему обыкновению, конечно, перепархивая от Платона к Грамши и от Фрейда к Фукуяме. Почтительные сотрапезники внимали, как всегда, безмолвно. Больше я его не видел.

Справившись у портье, я узнал, что вещи Криминале еще не нашлись. Понятно было, что скоро он не уедет, материала я уже набрал достаточно, а избегать его в дальнейшем было невозможно. Рассудив так, я в то же утро покинул Шлоссбург и улетел домой. Я накропал свою статейку, она вышла в приложении про По-Мо, и потому в то лето в коттеджах Прованса все болтали о постмодернизме. Потом я вновь задумался, не написать ли мне о Криминале. Я пообещал хранить молчание, но теперь я думал не о нем одном. Беседа в Шлоссбурге наполовину изменила мои взгляды. Он сказал мне, что его история, возможно, не столь отлична от моей, хотя его, похоже, завершалась примерно там, где моя только начиналась; вот об этом я и размышлял.

История же Басло Криминале завершилась приблизительно через неделю после окончания Шлоссбургского семинара. Так как он, вернувшись в Санта-Барбару, штат Калифорния, погиб. Его сбил велосипедист в шлеме и в наушниках «Сони уокмен», который был, как видно, так заворожен какой-то кульминацией оргазма на вновь вышедшем хите Мадонны, что не заметил великого философа, рассеянно шагавшего тропинкой по зеленой университетской территории. Край шлема этого парнишки угодил философу в висок; его доставили в прекрасную больницу, но в сознание он так и не пришел. Лучшее, что можно здесь сказать,— что он скончался с карточкой на лацкане,— поскольку он, конечно же, участвовал в работе конференции на тему «Есть ли у философии будущее?», которая тотчас прервала свою работу, отдавая дань уважения покойному великому мыслителю.

Некрологи вам, наверное, запомнились — обстоятельные и, как правило, весьма почтительные. Путаница, окружавшая его обычно, сохранилась; называлось несколько различных дат и мест рождения, давались очень противоречивые объяснения его карьеры, славы, политических воззрений, идеологической позиции. Была отмечена его широкая известность, много было сказано о значимости сделанного им в литературе. О философии — поменьше: что она была одновременно прогрессивной и туманной. «Король философов умер, кто же теперь король?» — вопрошал заголовок статьи, посвященной преемству. Очень мало сообщалось о личной его жизни — только в самом общем виде. И нигде не выражалась прямо мысль о «глиняных ногах». И все же тон был осторожным, словно худшее еще могло открыться.

Некто, знавший его лучше прочих, написал статью, которую опубликовала лондонская «Таймс». «Родился он в Болгарии, имел австрийский паспорт, счет в швейцарском банке, но, возможно, не был предан ни одной из стран. (Остро́, подумал я.) Без сомнения, он был крупнейшим из ведущих европейских философов послевоенного времени, но временами не без слабостей. Он был гениальным мыслителем и охотником за женщинами. Он был многими любим за обаяние и представительность и заводил друзей в верхах повсюду в мире; дружбу с ними он порой эксплуатировал обычнейшим для жителей Центральной Европы образом, но знавшие его близко умели забывать такие вещи и прощать. Однажды он дал знаменитое определение философии как «формы иронии», и это качество мы будем и дальше находить в его трудах, которым, вероятно, суждено бессмертие». То были единственные реальные намеки — ежели это действительно были намеки — на грядущую беду. Тем не менее в нескольких американских газетенках проскользнули слухи, будто его гибель не была случайной, будто бы он стал помехой для восточноевропейских реакционных сил. Но, как известно, мы живем во времена теорий заговоров, кое-кто предпочитает думать, что все всегда — не то, что оно есть, а заговор каких-то внешних сил.

Через неделю в СССР произошел переворот, направленный против Горбачева и реформ — газеты называли это «тремя днями, которые потрясли современный мир». На телеэкране было хорошо заметно, как дрожали руки возглавлявшего переворот Геннадия Янаева, когда он объявлял о взятии им на себя чрезвычайных полномочий и о «болезни» Михаила Горбачева, изолированного в Крыму на летней даче. Дрожали не одни янаевские руки — целая эпоха, целое направление истории (кстати, *моей* истории,— а может быть, и вашей тоже), целая обойма обещаний и полуоформленных надежд, похоже, тоже сотрясались. Даже кое-кто из тех, кто сделал смелый шаг за пределы старого мира-тюрьмы, преисполнился сомнений и боязни, видя, что время поворачивает вспять. Казалось, представления об обвинении и признании, о вине и предательстве опять становятся с ног на голову.

Но три дня спустя перевороту пришел конец — благодаря решимости и мужеству одних, некомпетентности и разногласиям других. Ушли из жизни двое из его руководителей, позднее еще некоторые. Далее наступила смутная пора бросания вызовов и покаяния арестованных, заявлявших, что они заблуждались, что были обмануты другими, что в тот день отсутствовали, что совершили историческую ошибку. Я видел записи их выступлений — вроде бы они говорили без принуждения, при этом почему-то все они казались невиновными, людьми из более простого мира. Никто не научил их валить вину за случившееся на своих родителей, дискриминацию, группу управления и планирования или пассивное курение. Когда они говорили «я», это звучало как признание своей вины. Совершив ошибку, они не отрицали этого. После их падения снова повалились с пьедесталов памятники, возведенные за наше долгое столетие. Высокий черный фаллический Феликс Дзержинский загремел со своего столба под окнами Лубянки. Рухнул Сталин, вверх ногами был перевернут Ленин, покинул постамент и Карл Маркс со втянутою в плечи головой.

Через три недели после путча я побывал еще на одной конференции, в Норвиче (Англия) — «чудесном городе», гласила вывеска при въезде (и хотелось, чтобы после долгой, утомительной дороги по болотам и вересковым пустошам, в жару он таким и оказался). Это была самая внушительная конференция того лета: шесть с половиной сотен преподавателей английского из университетов всей Европы собрались в построенных в 60-е бетонных бункерах университета Восточной Англии с целью основать истинно европейскую ассоциацию. Большинство из Европейского сообщества, некоторые из стран Восточной Европы, в высшей степени довольные уже одним своим присутствием. Выступали Джордж Стайнер, Фрэнк Кермоуд. Шеймас Хини читал свои стихи, а три британских романиста — главы из недописанных романов, сами еще не ведая, чем они закончатся. На

сей раз выступил и я, в небольшой секции под названием «Писатель как философ». Пригласили меня выступить в последнюю минуту. Предметом моей речи — безусловно, актуальным в связи с его гибелью — был, конечно, Басло Криминале.

Честно говоря, мне совершенно не хотелось появляться там. Как вы знаете, в недавнем прошлом довелось мне побывать на слишком многих мероприятиях такого рода, и — хоть, может, вы и не поверите — на торжественные сборища научных деятелей меня никогда особо не тянуло. Я уже было решил, что откажусь, но тут случилась одна вещь, изменившая мои планы. За несколько дней до начала этого конгресса мне пришло по почте маленькое странное письмо с венгерской маркой, набитое газетными вырезками. Конечно, я не мог прочесть их — они были на венгерском, одном из самых непонятных в мире языков,— но, судя по названиям и фотоснимкам, это были вышедшие в Будапеште некрологи Басло Криминале. К ним прилагалось маленькое рукописное письмо. Оно гласило: «Вот и нет нашего великого философа. Надеюсь, что теперь тебе захочется написать о нем. Тебе про него известно, может быть, не так уж много, но больше, чем значительному большинству тех, кто живет на Западе. Теперь, как до меня дошло, ты будешь говорить о нем на большом конгрессе в Норвиче. Надеюсь, выступление будет удачное. Не забывай, он был хороший человек — конечно, чересчур податливый, я говорила тебе,— но всегда он делал все, что мог. Я тоже собираюсь на конгресс. Мне очень хочется тебя увидеть, и я думаю, что в Норвиче ты не найдешь гуляша. Ты остался хоть немножко венгром? Я надеюсь, да. Я так старалась научить тебя им быть. Любовь + поцелуи от Илдико Х.».

Конечно, я был очень рад письму от Илдико и в то же время удивлен и несколько заинтригован. Во-первых, я не представлял, где она раздобыла мой домашний адрес. Правда, она много времени трудилась над моим бумажником и там могла его найти. Но с тех пор, продвинувшись по службе, я переселился в Айлингтон — так глубоко, что не могу и передать вам, до чего мы презираем Камден. И к тому же я не представлял, откуда она знает, что я зван на конференцию. Ведь обратились ко мне поздно, я даже не выразил согласия, в заблаговременно составленной программе я не значился. Правда, когда мне позвонили и попросили выступить, то сказали, что меня порекомендовал венгерский делегат, назвав меня одним из нескольких людей в Британии, способных говорить о Криминале. Может быть, такие слухи ходили ныне в будапештских барах и на рынках. Я был озадачен, но одной проблемой стало меньше. Я снял трубку, набрал номер Норвича и сообщил автоответчику, что приглашение я принимаю.

На мой взгляд, университетский кампус — место странное, вневременное замкнутое пространство, отъединенное от серо-бурых городских кварталов сочное зеленое пятно, отдельный мир, который вроде бы не слишком связан с повседневной историей. Все это напоминало то чудно́е счастливое время вне времени, когда вместе с Илдико мы наслаждались жизнью в Бароло, пока не были изгнаны из рая и низвергнуты в реальность. Но здесь был странный рай. В недавнем прошлом посреди заросшей буйной зеленью речной долины некий архитектор-пре-постмодернист стал выливать бетон, и на траве в шахматном порядке выросли жилые корпуса и тяжеловесные учебные башни, символизирующие массовость, монументальность, вечность. Возможно, кто-то чувствовал себя здесь дома, но не я. Теперь это была уже история — белый цемент, постепенно покрывавшийся щербинками, сереющий от времени, совсем как те преподаватели английского, которых я увидел на приеме по случаю открытия конференции. Несколько сотен их теснилось меж шлакобетонных стен; они взирали друг на друга озадаченно, как будто прежде не осознавали, что принадлежат к столь многочисленному виду; сжав свои папки, они изучали друг у друга карточки участников, потягивали пенистый болгарский рислинг и болтали чрезвычайно громко. Я пробирался сквозь толпу мимо поджарых деконструкторов и упитанных структуралистов, феминисток с ног до головы в джинсе и яппи-посткультуралистов, мимо большущих книжных лавок и длин-

ных столов издательств, мимо стендов, на которых трепетали сообщения о дальнейших конференциях, везде разыскивая Илдико. Повсюду были признаки чего угодно, но следов Илдико я не нашел нигде.

Каждое утро я проверял почтовый ящик в коридоре; ее ячейка — «H» — удобно помещалась близ моей, «J». Их разделяла лишь пустая «I». Илдико не появлялась: ее папка и карточка участницы, билетик на экскурсию и приглашение с золотым обрезом на прощальный ужин — маленькие знаки внимания, которые нам любезно оказывают на таких мероприятиях,— остались не востребованы. Не было ее, конечно, и на выступлении вашего покорного слуги, которое, по правде говоря, прошло весьма удачно и собрало хоть небольшую, но довольно заинтересованную аудиторию. Оно доставило мне самому большое удовольствие. Как я уже сказал, я человек вербальный, а не визуальный. Криминале в Шлоссбурге был совершенно прав насчет того, что маленький мерцающий экран никоим образом не может выразить плод деятельности ума. А вот слова — до некоторой степени,— возможно, могут. Я не ученый, и, конечно, знал я его не настолько хорошо. Читал его я фрагментарно, видел мимолетно, и я не был теоретиком литературы. Далеко не все мне было ясно, но мне было что сказать.

Что я говорил? Я ни слова не сказал, как мог бы год назад, ни про его таинственность, ни про его обманы или же предательства. Говорил я о его творчестве — о великолепной прозе, прежде всего о «Бездомье», о замечательной драматургии, о продуманнейших философских построениях. Благодаря своим поездкам я узнал полезные слова (такие, как Фуко и Деррида, Хоркхаймер и Хабермас), открывающие путь к суровым академическим сердцам. Я указал на историческое место Криминале, охарактеризовав его не как философа периода холодной войны и атомного шпионажа, а как мыслителя времен теории хаоса и видео, рок-музыки и «Сони уокмен». Я говорил о нем на самом деле как о Выдающемся Мыслителе Эпохи Гласности. Никто лучше его не выразил, заметил я, проблемы современного мышления, никто так не сумел сказать о гибели субъекта и о кризисе письма, о самоуничтожении и почти безмолвии постгуманистической эпохи (в академических аудиториях всегда воспринимают этот жребий как вполне естественный). Я говорил о том, что Криминале свойствен был незаурядный дар иронии, своеобразный мостик для преодоления противоречий и той пустоты, которую оставил всем нам мир. Я намекнул (но лишь туманно), как еще на одну из форм иронии, на то, что его собственное «я» не слишком цельно — голова в небесах, ноги в грязи,— и на разрыв между мышлением и исторической необходимостью; подобная ирония, сказал я, часто поражает нас у модернистов и постмодернистов.

Когда потом я, собрав свои бумаги, вышел из сумрачного зала, ко мне подошла темноволосая, небольшого роста женщина и робко предложила выпить вместе кофе из пластиковых чашечек. Я поглядел на ее грудь, как делается в мире конференций, и из карточки узнал, что передо мной профессор Людмила Маркова из Велико-Тырнова, Болгария. Собственное имя — места, а не дамы — заставило меня тотчас же согласиться. Дама увела меня в какое-то гораздо более веселенькое, выдержанное в постмодернистском духе здание, откуда открывалась недурная панорама, и мы расположились с ней в кофейне под зеленой сенью. «Да, вы прочли очень неплохую лекцию, на мой взгляд, вполне деконструктивную,— сказала мне мисс Маркова.— Беда только, что ничего-то вы не понимаете». «Очень может быть,— ответил я.— Я вижу, что вы из Велико-Тырнова, его родного города. Вы его знали?» «Мне слишком мало лет для этого,— отрезала мисс Маркова,— но вы правы, он действительно родился там, в семье металлиста, во времена террора». «Его помнят там?» «Не очень хорошо,— ответила мисс Маркова.— Его отец поддерживал нацистов и был после войны расстрелян как фашист. После этого семья жила не слишком счастливо. Мать заплатила, чтоб он смог поехать в Будапешт и жить там по-другому. Я думаю, что больше он не возвращался».

«Вы считаете, что это как-то объясняет его книги, его взгляды?» —

спросил я. «Конечно,— отвечала мисс Маркова.— Никто Болгарию не понимает, слишком маленькая мы страна, каких-то восемь миллионов. Никто не думает о нас, за нами закрепилась отрицательная репутация, мы постоянно чья-нибудь игрушка. Но Криминале — наш, он боролся за свое существование в мире сил, остановить которые не в состоянии никто. Он родился среди хаоса, жил среди хаоса. Ждал хаоса, писал о нем. Он видел хаотичность, присущую всему на свете — разуму, истории. Вы помните, что главная его книга называется «Бездомье». В жизни ему уцепиться было не за что, он нигде не чувствовал себя в безопасности. Он не заигрывал с небытием. Ему было известно, что это такое. Хаос для нас — не теория, мы в нем живем. Нельзя сказать, что мы от Криминале без ума, но он очень болгарский писатель». «И это то, чего не понял я?» «О, ваша лекция — такая же, как и все лекции, там все о вас и ничего о нем. Вам нужен Криминале, но не наш, а ваш». «Он общий»,— отозвался я. «Да не совсем,— сказала мисс Маркова.— Вот вы толкуете про кризис, а имеете в виду какую-нибудь смерть субъекта или трудность понимания какой-то книги. Вы говорите о конце «я», однако же оно у вас вполне приличное, костюмчик ладный и все прочее. Вы говорите об отчаянии, бедствиях с такой верой и надеждой! Вероятно, вы не видите, какие семена вы сеете».

«Я не совсем вас понимаю»,— отозвался я. «Да что здесь с вами всеми происходит? — сказала мисс Маркова.— Зачем вам конец гуманизма, великая новая общность? Приехали бы как-нибудь в мою страну — такую славную и до того унылую! Ничто не действует, вновь наступает хаос, мы не Европа и не можем жить так, как живет Европа. Вы видите, что происходит в Югославии — кстати, это не страна, а просто очертания на неверной карте, ну или в России, где угодно. Но вы, должно быть, слишком заняты в вашем занятом благополучном мире, чтоб приехать и увидеть, какова жизнь на самом деле». «Я должен зарабатывать, как и все люди, на житье-бытье».— ответил я. «Конечно, где ж вам видеть жизнь, когда вы зарабатываете на житье,— заметила мисс Маркова.— Ну, в общем, очень неплохая лекция, вот это, если позволите, единственное замечание. Где вы ее опубликуете? Пообещайте, что пришлете экземпляр, а то я ее так и не увижу». «Вряд ли я буду ее публиковать, ведь я же не специалист по Криминале». «Опубликуете,— сказала Маркова.— Пришлите экземпляр, а я раскритикую вас — не беспокойтесь, очень дружески. Ну ладно, не хотите ли пойти послушать этих грозных феминисток?»

Почему бы нет? Лекции все продолжаются, и новые интересные идеи, новые интересные лица сменяют друг друга. О Марковой я позабыл, а Илдико так и не увидел. Все бумаги, предназначенные для нее как для участницы, так и лежали в ее ячейке, когда мы разъезжались из Норвича в так называемый обычный мир. Я не увидел ее там и больше с той поры не видел по сей день и не могу представить, что произошло. Возможно, что-то задержало ее в Лондоне; в британской торговле в это лето наблюдался резкий спад, и все магазины были забиты уцененными товарами. Может быть, в последнюю минуту она вспомнила, как равнодушна она к выступлениям на конференциях, и предпочла остаться в Будапеште. Может быть, вмешалось что-нибудь еще, она кого-то встретила, ну, например, за ленчем и прельстилась подвернувшейся возможностью побывать в какой-нибудь другой стране. Я сел, чтобы ответить на ее письмо и выяснить, в чем дело, но увидел, что оно без обратного адреса.

Мне стало непонятно, зачем она вообще его послала, и я снова прочитал его, ища подсказки. Перебрал еще раз вырезки. Там был один туманный намек, но что он означает или означал, мне точно так и не известно. Рядом с неким недоступным для меня венгерским текстом помещалась фотография, привлекшая мое внимание. Это был прекрасный летний снимок Басло Криминале, сделанный, наверное, лет пять назад, по крайней мере шевелюра его была темнее и пышнее, дорогой костюм — иного, нежели сейчас, покроя, галстук шире. Он вышел только что из желтого такси, судя по всему, в Нью-Йорке, где-то в Сохо или Гринич-Виллидже, поскольку, судя по витринам за его спиной, там были главным образом

художественные галереи. В фотоснимках многое случайно, и их читать куда трудней, чем книги. Но главное — если там было главное,— что он держал большое фото в рамке, одно из своих эротических ню. Обнаженной моделью — я узнал по кое-каким знакомым мне деталям — послужила Илдико. Она же, только очень дорого одетая, повисла на руке у Криминале, тепло улыбаясь в камеру. А у него был такой вид — как в Шлоссбурге,— как будто бы он всем себя дарил.

Да, фотографии читать непросто. Но было видно: эти двое явно счастливы друг с другом («Правда, они счастливы? Так уже было,— вспомнил я Лозанну,— когда он оставил Гертлу и ушел к Сепульхре»). Может, Илдико затем мне и прислала это — показать, что Криминале был намного ей дороже, чем я мог подумать? А что, если причина куда более венгерская? Вероятно, она сообщала мне, что люди, которые были когда-то вместе счастливы — как мы,— потом порой обходятся друг с другом странным образом, случается, друг друга предают? Затем я с изумлением подумал вот о чем. В Будапеште Илдико подчеркивала, что ни разу не была на Западе и я везу ее туда впервые. Но нью-йоркский снимок явно сделан был задолго до нашей с ней поездки. Все это казалось полным некоего загадочного смысла, как и многое в истории Криминале. Быть может, суть была в другом — не в снимках, не в письме, а в самом том факте, что она вообще мне написала. Потому что письмо заставило меня поехать в Норвич, выступить там с лекцией и так начать рассказывать историю Басло Криминале. И если этого она хотела — что ж, прием сработал и, как видите, работать продолжает.

Вот мы и подошли ко дню... к тому, конечно же, когда я сел и начал вспоминать историю Басло Криминале, безусловно, не к сегодняшнему, когда в этом изменяющемся мире я ее заканчиваю, и, само собою, не к тому дню, когда выдастся у вас и время, и желание ее прочесть или деконструировать. Возможно, стоит сообщить здесь еще несколько недавних, если не последних новостей. Потерянные Криминале вещи, насколько мне известно, так и не нашлись, и это значит, что утеряны следы романа, начатого им после «Бездомья». Сериал о Выдающихся Мыслителях Эпохи Гласности снят так и не был и, я думаю, не будет. «Эльдорадо телевижн» не смогло преодолеть так называемую планку качества и в октябре 1991-го утратило свои особые права вещания на Австралию. «Нада продакшнз», изведя на связанный с философом проект тьму средств из нескольких источников, канула в небытие, из коего, наверно, судя по названию, и возникла [1]. Венская же «Штаатсопер» процветает, особенно после того, как побывала в городе Лавиния, которая, замечу, поступила очень правильно, устроившись работать в Мюнхене в Европейский телевизионный союз. Роз, судя по телеэкрану, прикладывает руку к «Позднему шоу». Я видел ее имя в титрах передачи, посвященной церемонии вручения «Букера» за 1991 год, которую смотрел на этот раз в некомфортабельном комфорте своего дома-бездомья.

Что касается Еврообмана и прочего, все оказалось так, как говорила Брукнер. На высоком ощетинившемся флагами тринадцатом этаже Берлеймона было принято официальное совместное решение о том, что — в ситуации, когда неясно, что принесет нам 1992 год, в преддверии непростых переговоров на высшем уровне в Маастрихте, объединения валют и наступления новой эры, ввиду того, что забурлила вся Восточная Европа, и так далее — о некоторых небольших финансовых проблемах прошлого лучше позабыть. Отто Кодичил дал некоторый повод для злословья, что отнюдь не нанесло ему ущерба, а возможно, и пошло на пользу в Вене, где он по-прежнему преподает, а может быть, уже и не преподает своим студентам. Его книга «Эмпирическая философия и английская загородная усадьба», вышедшая в свет в этом году, несколько взбудоражила оксбриджские умы. На данное издание можно возложить ответственность и за значительный наплыв туристов в Британию; по-видимому, людям в самом деле

[1] Nada - ничего *(исп.)*.

интересно повидать места, где думают другие люди. Насколько я понимаю, Герстенбаккер после завершения своего большого анонимного труда подыскивает себе место в каком-нибудь из европейских университетов, где услужливые ассистенты делали бы для него то, что он сам с такой самоотверженностью делал для других. Знаменитая колонка краснобая Монцы в «Стампе» неизменно пользуется успехом; его трактовки в духе позднего марксизма таких вещей, как фильмы Дэвида Линча или возвращение миниюбок, привлекают общее внимание. Работа Гертлы Риверо в Аргентине приобретает большую известность и как авангардистское открытие, и как надежная защита от инфляции.

Таланты Козимы не были-таки отвергнуты Евроцентром. В городе бесконечных отлагательств результаты ее разысканий в самом деле угодили под сукно, но сама она при этом поднялась на новую ступень в своей еврокарьере. По ее собственным словам, подобное мошенничество — просто интермедия в программе европейских бюрократов, а она теперь взлетела гораздо выше. Служа при кабинете заместителя председателя (Жана-Люка Вильнёва), она стала отвечать за множество вещей, от коих зависело, успешно ли пройдет 1992 год — год повсеместных выборов и сдвигов в мировом масштабе, Олимпийских игр в Барселоне, «Экспо-92» и севильских празднеств по случаю великого открытия Колумба, обнаружившего как раз пять веков назад Новый мировой порядок. Неудивительно, что в это время, когда Испания переживает бум, а Португалия вступает в должность председателя Европейского сообщества, центром внимания становится Иберия. Главы государств вскоре соберутся в Лисабоне, и можете не сомневаться, я там буду.

Я подошел к вопросу, обсуждать который по причинам в общем-то вполне понятным мне не очень хочется. Я про отношения с Козимой, которые становятся все лучше. Сейчас я езжу по Европе и заскакиваю к ней довольно часто. Она сняла прекрасную (хотя и скудно меблированную) квартиру в старом Лисабоне, под замком Св. Георгия с прекрасным видом на реку Тахо и славный неоклассический город Помбал. Теперь я вижу, что по отношению к Козиме во многом был не прав — но тогда я был не прав отнюдь не только в этом отношении. Сейчас, например, я совсем не против черных кожаных штанов или сурово-стеснительных повадок. Что до свойства Козимы подозревать повсюду заговоры (в чем она, казалось мне, перегибала палку), то теперь я смотрю на него иначе; теории заговоров возникают потому, что люди составляют заговоры, так же, как интриги существуют потому, что люди интригуют, а вымыслы — поскольку люди постоянно что-то измышляют, хотя бы для того, чтоб придать жизни тот или иной порядок, воображаемый, однако же необходимый. И я теперь согласен с Козимой, что наши с ней миры, мой мир — книг и современных мыслителей и ее — мир власти и мошенничества, в конечном счете не настолько друг от друга далеки. В смутном, зыбком мире Эпохи гласности несхожие явления взаимосвязаны, взаимодействуют, взаимообусловлены гораздо чаще, чем я представлял себе. Я это вижу даже на своем примере.

Но не стоит думать, будто бы обрывочные эпизоды и крупицы мудрости — это все, что вынес я из своих бестолковых и способных сбить с толку кого угодно поисков Басло Криминале. Ну как бы это вам объяснить? Проблемы дюжинного молодого человека, не слишком преуспевшего ни в жизни, ни в любви, довольно мало знающего о былом, живущего всецело в настоящем, не алчного, однако вынужденного зарабатывать на хлеб, недооценивать не стоит. Времена меняются, и я считаю, что мы все живем меж двумя разными мирами — старой горькой человеческой историей с изрядной долей зла и преступлений и мягким, словно не имеющим касательства к истории, щадящим нас настоящим. Всегда кажется, что время, в котором мы живем, названия не имеет, но ведь всех нас что-то делает, во всякую эпоху мы ведем борьбу с какими-нибудь призраками. И кто-то говорит, что мы живем в период оживления, в эпоху ускорения, в новые времена. Ну что же, я готов — недурственная евроличность в зеленой ветровке и кроссовках «Рибок».

Однажды жизнь меня свела с хорошим и знаменитым человеком, который был, почти бесспорно, плох. Он пришел откуда-то когда-то, чтобы рассказать одну историю, а я хочу вам рассказать другую. Он был писателем, а я — читателем, хотя, читая его, я не мог отделаться от ощущения, что это он меня читает. Он — патриарх, творивший современную культуру, я — один из стада ее потребителей. Когда он говорил, то апеллировал к великим державам; когда я пытался слушать, я слышал только это; вы знаете, что наше время — время шума. Он — монумент, я — голубь в парке. Он принадлежит к закончившейся эре, я же — к той, что только началась. Какое-то время я преследовал его, но, честно говоря, выискивать оставленные грязные следы — не лучший способ жить. Я не могу сказать, что прекратил совсем разыскания, связанные с Басло Криминале, возможно, потому, что, как он заявил, его история — в каком-то смысле и моя. Порой я думаю: а если бы пришлось, смог бы я или подобный мне найти в себе бóльшие нравственные силы, чем нашел — или не нашел — в решающий день он? Я знаю: в лучшем случае это сомнительно, в худшем же — напрасная иллюзия, которую питает каждое новое поколение, покуда не столкнется со стоящей перед ним задачей. Если бы история (которую теперь мы называем стилем жизни) вдруг призвала нас и потребовала нашей подписи или заставила взять некоторое обязательство, то я, возможно, подписал бы что угодно, как и большинство из нас. Насколько я вижу (хотя, по правде сказать, вижу я не очень далеко), не многие из нас выработали в себе такую внутреннюю стойкость, чтоб не уступить, не сдаться, не переметнуться. Конечно, я всегда был бы терпимым, прагматичным, снисходительным, скептическим, добросердечным и открытым современным либералом. Я бы ничего не принимал на веру и не почитал бы неизменным, никакой идеологии, философии, социологии, теологии не отдавал бы предпочтения перед другой. И потому жизнь для меня была б спектаклем, ярмаркой, бесконечным телешоу, где все — забавное или гротескное, эротическое или отвратительное, героическое или непристойное, сентиментальное или постыдное — есть допустимый взгляд на мир и где случиться может что угодно. Не было бы ни великой мудрости, ни вопиющей лжи. «Что мул, что профессор — оба скотина». Так, если я не ошибаюсь, говорят в Аргентине.

■

Антиэлегии середины века

Переводы с испанского и польского **БОРИСА ДУБИНА**

От переводчика

Стихи живут непрямыми, бывает — даже перпендикулярными линейному смыслу связями. Что общего между тремя публикуемыми ниже вещами трех разных поэтов?

Первое, что, конечно, почувствует читатель,— схожесть стиха, вернее — его размера. Это нерифмованный пятистопник (по русскому обычаю — ямб), а у этого метра — свой смысловой шлейф. В нем слышен неторопливый шаг задумавшегося, интонация известной отрешенности от сугубо личных волнений и признаний при внятном драматизме общей, подытоживающей мысли. Драматизме в том числе в буквальном значении слова: это чаще всего стих драмы (скажем, шекспировской или следующей ей пушкинской) либо отстраненно-драматизированного монолога — вспомним Броунинга. Видимо, если говорить о русской поэзии, именно эта мужественная интонация стиха, эта объективная, эпико-драматическая оптика понадобились в свой переломный срок Блоку, Ходасевичу или Кузмину. А для переведенных здесь авторов камертон был задан общими для всех них и по-своему близкими каждому английскими именами (к уже упомянутым добавлю Элиота и — узнанного через английские переводы — Кавафиса). В окружении английской речи каждый из них — странников и изгоев — провел не один год, и благодарную дань англоязычной словесности отдали все, переводя и изучая ее, в том числе — в Соединенных Штатах (или, как Сернуда, в Великобритании). Эту медитативную поступь стиха и его, в данном случае, особый, «иноземный» призвук переводчику хотелось как-то передать.

И вот почему: все три приводимые вещи созданы вне родины. Пас указывает на Венецию, как Милош — на Францию, в самом тексте, Сернуда же писал свою «Реку», видимо, в Кембридже или после Кембриджа, где с 1943 по 1945 г. работал. Этот факт — не побочное, анкетное обстоятельство. Мир каждого стихотворения находится как бы на границе, соединяющей — в мысли, в памяти поэта — разные пространства. Если разворачивать смысл дальше, то видишь, что сталкиваются — но и отделяются друг от друга здесь два мироздания. Одно — это, переносно говоря, «Европа», а другое — некий «иной мир» (у Милоша он прямо так и называется «тот свет»). Все три поэта строят свои стихи на мотивах гибели, могилы — и предвосхищаемого нового рождения. Безумный хоровод, пляска смерти, обморочная фантасмагория цепенеют и тают в них на некоей световой грани. Тогда и начинаешь понимать, что сталкиваются здесь не просто регионы географии, а целые периоды истории. Датировка стихов, колеблющаяся вокруг 1950 года, символична: мы, вместе с их авторами,— посреди и на распутье века, как бы на повороте времен, в конце и вместе с тем перед началом...

Я бы назвал жанр публикуемых стихов антиэлегическим. Добавлю, что лучшие из «элегий» завершающегося столетия («дуинезские» Рильке, «северные» ахматовские, «римские» Бродского, «бьервильские» Карлеса Рибы или «европейская» Ханса Кароссы), по-моему, тоже таковы и на этом несоответствии эпического взгляда и романтической жанровой этикетки и строятся, а у Ольги Седаковой погребальная элегия прямо переходит в реквием по эпохе. Элегик сокрушается о прошлом, не в силах от него оторваться. Но грустит он, Нарцисс, может быть, не столько о минувшем или об ушедших, сколько о так и не настигнутом, снова ускользнувшем себе, о том, что не может ни врасти во время, ни одолеть его. Это на время он в настоящей обиде, с ним — в разладе и вражде. Опыт и самоощущение переведенных здесь поэтов — иные; иная, при всей горечи, интонация их стихов. Вслушаемся в нее.

ЛУИС СЕРНУДА

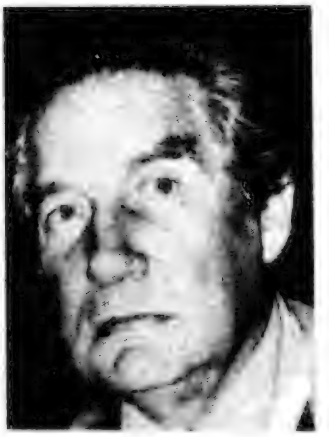
Закатная река

Пройдя по галерее, полной свежих
И будущим звенящих голосов,
Тропинкой мимо старой мукомольни
Спускаешься к реке — к береговым
Строеньям цвета янтаря и пепла
И праздным лодкам, ждущим летних дней
В затоке меж сухими камышами
Вдоль вязов нестерпимой красоты.
Все стихло, поглощенное минутой
Молчанья и покоя. Только дрозд
Коленцем будоражит гладь заката.
Дрозд — без затей, не то что человек,
Поющий для безвестного другого,
Чтоб стать осмысленным наречьем рода,
Сознаньем, не угасшим в толчее
И спешке душ. Бесстрастье, отрешенность,
Тот высший миг, который зреет сам,
Как плод на ветке,— ни к чему всем прочим
И лишь поэту суждены, чей труд —
Искать единство в общем распыленье,
В расколотой вселенной остальных.
Не сновидением ведóм поэт,
А скрытой правдой, тайной сердцевиной
Подземного огня. Пускай иной
Торгует по углам пустыми снами,
Чтобы очнуться, только умерев,
Обобранным... Что пользы человеку
Жизнь выиграть, а душу погубить,
Когда его душа дороже мира?
Но невостребованным остается
Смысл тех трудов, в которые поэт
Вложил любовь к бесчисленным живущим,—
Не ту, что ищет, на беду себе,
То гиблой славы, то постыдной чести,
А ту, что ждет лишь одного — любви —
И в ней самой таит свою награду.
Когда-то прежде люди находили
Спасенье в доме, книгах и друзьях.

Но рухнул дом, молчат немые книги
И не помогут старые друзья.
Век большинства!.. Оно владеет миром,
Не отведя поэту и угла,
Как будто мертвому между живыми.
Скупее мачехи к нему земля
И соки, пот и кровь до капли выжав,
Изгнаньем и забвеньем воздает.
Но тратя дни, отпущенные смертным
На оправданье, время ширит ров
Не нынешней, так завтрашней могилы.
Привыкнув к человечьим гекатомбам
И Царство Божие не ставя в грош,
Ловкач политик верит только в беса.
И голос правды нынче — рев толпы,
Величье — соучастье в грязной сделке,
А волшебство затоптано в пыли.
Желанный плод теперь — сплошная горечь,
И беглый луч захлестывает тьмой.
В безмолвной беготне за кругом круг
Мир с каждою весной все ближе к смерти,
И все, на чем ни остановишь взгляд,—
Сквозит напоминаньем о кончине.
Но пусть обезнадёжена надежда,
Она опять по жилам гонит сок —
И в марте снова, робко и упрямо,
Светлеет колокольчик на холме,
Опустошенном холодом и вьюгой...
Земля ли, воздух ли дают цветку
Окраску, очерк, аромат и тонкость?
Так даже легче, без корней. Земля
Уж слишком много требует, а воздух
Гостеприимнее к земным росткам,
В их темной вере тянущимся кверху
Дорогой света. Важно лишь, во что
Мы верим и откуда наше знанье —
Краеугольный камень поколений,
Воздвигших верой то, что выше их,
И тем живых, чего глаза не видят.
Ведь вере очевидность ни к чему:
Она слепа, людская наша вера —
Тень разума, дарящая покой.
И если речь поэта не слышна,
Как знать — не к лучшему ли для поэта?
По слову человека узнают,
Но лишь в молчанье постигают Бога.
С закатом, уступившим пышноцветье
Звериному неистовству зари,
Ты обладаешь только тем, что отдал,
И луч откладывает свой клинок
На этот миг вне сроков и пределов,
Чертой деливших мир на день и ночь.
Миражный ветер в вязах шелестит
Опавшею и свежею листвою.
Дрозд задремал. И ни одна звезда
Еще не опустилась к тихим водам.

■

ОКТАВИО ПАС



Маскарад на рассвете

Над шахматной доскою площадей —
поблекшие предутренние звезды.
Ладьи мерцают, высятся слоны,
штурмуя призрачные королевства.
Какие пешки после прежних воинств!..
Лоснясь, колышет мутная вода
слегка заплесневелые утехи:
подгнивший плод вчерашней пылкой страсти,
обглоданное месяцем лицо,
ненужный катыш скомканной надежды,—
все, что осталось от припасов дня,
объедки наших торопливых празднеств.

И умирающий открыл глаза.
Свет, размочаленный неплотной шторой,
к тому, кто сам почти что отошел,
доходит взглядом — не глядит, а глянет:
глаз, повторяющий отображенья
над гибельною кромкой, пустота
стеклянных бездн, алмазная могила,
зеркальная утроба для зеркал.

Оливия, его голубоглазка,
лианы струн под белизною рук,
сверкающая арфа водопада
и беззащитность под волной до самой
зари, где вновь постель, копна белья,
художества воды на грязной стенке
и чье-то тело за спиной, как встарь
жующее угрозы и попреки,
и тошнотворность вымытых небес.
Зевает явь, зеркаля по углам
свой наизнанку вывернутый ужас.

А замурованный в себе опять
тканину мыслей ткет и распускает,
сковыривает струпья, по складам
раскладывает имя так и эдак,
но вместо склада все один разлад,

и давит ношей ношеное имя.
Он роется в себе, ища себя,
а докопавшись, столбенеет с воплем:
кто тут? И, как фонтанная струя,
вопрос взметается, круглясь бутоном,
но никнет, подсеченный в полный рост,
чтоб немо рухнуть с обморочной точки
об стену обломившимся клинком.

Былая укротительница молний
и та, скользнувшая нежней, чем тень,
по блещущему жалу гильотины;
спустившийся с луны оригинал
с букетом самых свежих эпитафий;
фригидка, ненасытными ночами
шлифующая каменную плоть;
подросток, приютивший в переносье
голодного и хмурого орла
одной и той же неотвязной мысли;
нагое древо об осьми ветвях,
которое любовь разит, багрянит
и пепелит на каждой простыне;
затворник, хоронящийся в печалях;
покойница, торгующая телом,
чтоб с первым петухом вернуться в гроб;
убитый, поджидающий убийцу;
тот, кто утратил тело или тень,
тот, кто клянет себя, и тот, кто ищет,
спешит и не находит,— все они,
живые трупы, на краю мгновенья
оцепенели. Время на распутье,
день в нерешительности.
Пробудясь
в привычной тине, город разлепляет
глаза — и снова те же вымпела
и высь окаменевшего полета!
Уроненное в воду ожерелье...
А конница Святого Марка мчит
вдоль зыбких перламутровых строений,
зеленая, спускается к лагуне
и скачет морем прямо в Царьград.
Знобит громады столбняка и камня,
а редкие живые в этот час...
Но утро вламывается с размаху,
сминая разом корчи и зевки.
Раскатом смеха брызнули осколки,
и вот он, ножевой удар луча.

Венеция, 1948

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

Вопрошание

Эти стихи, написанные в январе-феврале 1954 года, для печати не предназначались. Почти через двадцать лет я обнаружил их в старых бумагах.

Где б вы ни были в эту минуту, друзья,
И тоска ли вас мучает, радость ли полнит,—
Чашу терпкого, черного цветом вина,
По обычаю Франции я подаю вам.

Из края этих шлюзов и лебедок,
Скрещенных трасс и зимней полумглы
Вином и дымом трубки я тянусь
К вам, ожидая вашего ответа.
Скажите, если там запрещены
И страх, и взгляд, и общее нам слово,
Скажите мне, как в полночь говорят
Самим себе, когда вокруг — лишь полночь,
Стук ходиков да посвист поездов:
Вы вправду верите, что тот ваш мир —
Ваш дом? Что потаенная планета,
Которую по телу гонит кровь
За кругом круг, не зная передышки.
Что та планета трудится в ладу
С тем, что вокруг вас? Или ею движет
Лишь скрытый, горький, ежечасный ропот,
Вскипевший крик, задушенный смешком,
Мысль арестанта, что уткнулся в стену,
А видит дол: красуются дубы
В разгаре лета, поспешает ракша,
И мартынок над плесом ворожит?..

Мы вместе верим в глубине души,
Что час пробьет и, приумножив силы,
Вы распрямитесь в настоящий рост,
Свободны от сегодняшнего тягла,
Что надо мхом и трещинами плит,
Над памятью и вашей переменой —
Отлетом стай, когда в следах копыт

Хрустит ледок,— что надо всем над этим
Вам горним светом выпадет пройти,
Огнем наполнив паруса с зарею,
Когда туман редеет и встают,
Роняя медь с волос, архипелаги.

И не затем я через пепел зим
К вам возвращаюсь безыскусной речью,
Чтобы вселять смятение: печаль,
К примеру, называть сестрою жизни
И проч., и проч. Еще в нас сердце бьется.
Срок не прошел. И если наше слово
И впрямь давно и глубоко срослось
С корою лип и цветом апельсина
Да так, что не разделишь,— это значит,
Что мы должны надежду отстоять.

Чем я могу помочь здесь? Только словом.
Вещь непростая: говоришь «заря»,
А с губ уже срывается эпитет
«Розовоперстая» — и ты в Элладе,
И снова боги — солнце и луна.
Вот-вот сам Посейдон шагнет навстречу
С серьгою в ухе и со свитой нимф,
Моторкой круто вспахивая воду.
Озерами и сосняками в Альпах
Бредешь — и в каждой трещине скалы
Мерещатся ворота, прямо в пекло
Распахнутые (где он, мой вожатай?)...

А что пространство? Физика — и только?
Ньютоновский застывший адамант
Или эйнштейнова неуловимость —
Движенье и движенье? Глупо корчить
Всезнайку да не знать, но хуже — знать,
А мыслью оставаться в позапрошлом.

Свались одетым в реку — ну и тяжесть,
Свинец в ногах, как будто это сон.
Вот так и с нами. Гнемся под парчою,
В мишурном пурпуре тысячелетий
И с бархатною маской на лице.
Играем, классики, все те же роли.
А я твержу, что это мир чудес
И вечной молодости нам в подарок.

Я с этой чашей обращаюсь к вам:
Всего лишь голос на гигантской сцене —
Против закрытых глаз и горьких губ,
Против молчанья, рабьего молчанья.

■

ЭЛИНАН ИЗ ФРУАМОНА

Стихи о Смерти

Перевод со старофранцузского СЕРГЕЯ БУНТМАНА

От переводчика

«Стихи о Смерти» написаны в самом конце двенадцатого века. Если к тысячному году христианский мир ощущал скорое наступление конца времен, Второе пришествие Христа казалось близким, а всеобщее искупление — неотвратимым, то через двести лет после рокового рубежа тысячелетий человек вполне ощущал перспективу долгого существования земных царств и их учреждений, а это не могло не повлечь за собой и новый образ мыслей, новое представление о категориях человеческого бытия.

К концу двенадцатого века радикально меняется монашеская жизнь Запада. Разрозненные монастыри объединяются в огромную империю с центром в Бургундии, в аббатстве Клюни. Примеру двенадцати братьев бенедиктинцев, построивших там в 910 году небольшой храм, последовали сотни и сотни монахов во Франции, в Германии, в Испании, в Италии, в Британии, а в самом Клюни в XI веке был возведен невиданных размеров собор — крупнейшее сооружение романского искусства. Тридцатиметровой высоты свод поддерживали колонны, чьи капители были украшены сценами из Писания. Над западным входом — Христос во Славе и двадцать четыре старца Апокалипсиса — Небесный суд. Если на ранних романских фресках изображение Христа было заключено в «мандорлу» — символ гармонии в виде овала или чечевицы, то теперь Христос, грозный судия, оценивающий дела человека, восседает на троне. Если в одиннадцатом веке изображение того момента, когда человек оказывается перед лицом смерти, нисколько не напоминало «небесный трибунал» — чаще всего это было восстание из гроба, появлявшееся и на купели,— то столетие спустя западный фасад храма в Клюни — его Христос во Славе и двадцать четыре старца Апокалипсиса — уже ставит христианина перед выбором: прийти к покаянию или не прийти.

Смерть теперь уже не просто переход к жизни вечной и избавление от земных напастей. И факт крещения не гарантирует отпущения грехов после смерти. Необходимо успеть искупить их до кончины. Но как? Воинские подвиги во имя веры — один из путей к спасению. Рыцарские романы и эпические поэмы много об этом говорят, но реальный кризис крестовых походов в конце двенадцатого века уже заставляет сомневаться в верности такого пути, во всяком случае, примеров служения Господу мечом становится все меньше и меньше, они настолько редки, что приравниваются к деяниям святых — недаром последний крестоносец тринадцатого века французский король Людовик IX будет канонизирован. Другой путь к спасению — монашеская жизнь. Но и здесь намечается кризис.

Христос, восседающий среди ангелов и апокалипсических старцев и с высоты трона вглядывающийся в лицо мирянина,— еще и земная иерархия, спроецированная на иерархию небесную. А не наоборот. Это оправдывает существование монашеской империи Клюни. И бывшие клюнийские монахи, поднявшиеся на папский престол,— еще одно свидетельство могущества ордена.

Но именно в двенадцатом веке появляется и ниспровергатель империи Клюни. Бернар Клервоский [1] становится настоятелем обители Сито (отсюда название

[1] Св. Бернар (1090—1153) — теолог и реформатор, основатель аббатства Клерво.

ордена — «цистерцианцы») и провозглашает еще не вполне оформившиеся строгие ее правила: возврат к бедности, к евангельскому поведению, отрицание праздности и роскоши, равенство монастырей в противовес жесткой иерархии. Обители цистерцианцев не украшены ни скульптурами, ни рельефами, геометрически суровые капители колонн, обнаженные стены монастырей располагают к глубокому аскетизму.

Вот в такой обители и принял постриг автор «Стихов о Смерти» (1160(?) — 1230(?). Сохранились свидетельства того, что в молодости Элинан был плодовитым трувером. Какое конкретное событие привело его в аббатство Фруамон — неизвестно. Элинан первым из поэтов выбирает своим адресатом саму смерть и создает первую большую песнь о смерти, перенеся одну из форм куртуазной лирики в сферу чисто духовную. Элинан изобретает для этого специальный инструмент — строфу из двенадцати восьмисложных стихов, зарифмованных *аабаабббабба*, строфу, известную теперь как «элинанова».

В «Стихах» Элинана смерть не только адресат. Она одновременно и посланец поэта. Она должна предупредить и друзей, и врагов, и светских властителей, и князей церкви о своем грядущем неотвратимом появлении. Поскольку именно физическая смерть каждого человека становится важнейшим событием, а Страшный суд — судом над каждой душой в отдельности, время надежд и ожиданий ушло, необходимо раскаяние в собственных грехах, и чем раньше оно наступит, тем лучше. Элинанова Смерть слепа и беспощадна. И нужно непременно успеть повернуть свою жизнь к раскаянию, оттого так и спрессована мысль в «Стихах о Смерти», оттого — жесткий, иногда задыхающийся темп, внезапные остановки, риторические переломы внутри каждой из пятидесяти строф.

Последнее произведение одного века часто становится первым для века следующего. Так случилось и со «Стихами о Смерти». Множество подражаний, использование приема — это реакция непосредственная и поэтическая. Но в «Стихах о Смерти» монаха двенадцатого века уже слышатся мотивы идей, преобразовавших западное христианство в последующем столетии: сквозь белые одежды цистерцианца проглядывают черно-белые рясы доминиканцев и серовато-коричневые — францисканцев. Нищенствующие ордена сделают еще один шаг назад к простой и суровой жизни апостолов.

Возрождение и Новое время забыли Элинана, хотя его влияние можно обнаружить в произведениях последующих эпох. Вновь открытые и изданные в прошлом веке «Стихи о Смерти» заняли прочное место в антологиях французской поэзии. Впервые переведенные на русский язык, они публикуются в конце века двадцатого, через восемьсот лет после того, как были написаны в обители Фруамон, недалеко от французского города Бове.

I

Смерть, что меня манком сманила
И тело бросила в горнило,
Где зло изыдет жаркой влагой,
Ты тщетно палицей грозила:
Никто не повернул правила,
Не поднял ввысь иного стяга.
Смерть, страх перед тобою — благо,
Но кто воздержится от шага
У края собственной могилы?
Засим, простился я с отвагой
И со страстей хмельною брагой:
То не нагреть, что не остыло.

XXIV

Смерть, ты, свои являя знаки
На теле старого рубаки,
Таишь их в свежести лица
Сластолюбивого гуляки,
Охотника и забияки,
Что мнит тебя прогнать с крыльца.
Пусть он удачлив до конца,
Пусть зверь выходит на ловца,
Пусть кони мчатся и собаки,
Ты от плеча и до крестца
Мечом разрубишь гордеца,
И сгинет тень его во мраке.

XXVIII

Что́ совершений трудный плод?
Смерть в одночасье все сметет,
Старанья наши попирая.
Что́ вожделений алчный пот?
Смерть в одночасье куш сорвет,
Проворно кости сотрясая.
Смерть обессловит краснобая,
Пред нею шут падет, рыдая,
Смерть тучи в небе соберет,
И станет плащ из горностая
Грубей, чем ряса власяная,—
Смерть все поделит, все сберет.

XXIX

Что́ красота, что́ самовластье,
Что́ честь, что́ воинское счастье
Пред смертью, скорый суд вершащей
И в ясный день, и в день ненастья,
Равно в своей могущей власти
И страх, и гордость предержащей?
Презревший Смерть для Смерти слаще:
Забывши страх, он прочих чаще
Скрывается во смертной пасти.
Того, кто тело холил вяще,
Оденет Смерть во прах смердящий:
Чем плоть нежней, тем злей напасти.

XXX

Смерть учит (кто в сем ложь узрит?),
Что все едино: честь и стыд —
Для иссыхания и тленья.
Смерть знает, что земля сгноит
И тех, кто сытостью был сыт,
И тех, кто был ленив от лени.
Смерть бережет от прегрешенья
Святого в пору искушенья —

Для брюха своего растит.
Смерть хрен съедает, как варенье,
А хлеб, как горькие коренья;
Смерть, все пожрав, на всех смердит.

XXXI

Смерть — необъятная кошница,
Смерть — беспощадная десница,
Что всех уводит за собой.
Смерть шьет одежды из драницы
И земляные плащаницы,
Смерть всех сведет в единый строй,
Смерть вора выдаст с головой,
Смерть для раба найдет покой,
Смерть короля сгноит в темнице,
Смерть всем за все воздаст с лихвой,
Смерть сытого пошлет с сумой,
Смерть жаждущему даст напиться.

XXXII

Смерть любит простоту и ясность,
Смерть губит всякую пристрастность,
Смерть судит всякую вину,
Смерть тайну обратит во гласность,
Смерть слабостью накажет властность,
Смерть гордеца сгноит в плену,
Смерть праздной сделает войну,
Смерть пустит по миру казну,
Смерть обратит покой в опасность,
Смерть уксус предпочтет вину,
За спаржу выдаст белену,
В монастыре посеет страстность.

XXXIII

Смерть примирит любые ссоры,
Смерть разрешит любые споры,
Смерть вмиг очистит поле брани,
Смерть охранит от оговора,
Смерть ложный крест предаст позору,
Смерть даст по чести подаянье,
Смерть волка отличит от лани,
А доброе вино от дряни,
От тернья — розу, хлеб — от сора;
Смерть видит все: и род, и званье —
Смерть выбирает наказанье,
А мы послушны приговору.

XXXIV

Смерть, жалок тот, кто слишком смел,
И жальче, кто тебя презрел
И вожделел одной услады:
Всему земному есть предел.
Не тот богат, кто все имел —
Ведь Смерть и смех лишит отрады;
Безумец вопиет: «Не надо
О смерти думать, будем рады
Куску, что каждый съесть успел.
Какая душу ждет награда
В могиле тленной, полной смрада?
Ничто — вот смертный наш удел».

XXXV

Ошибка та была зачата
Наукой древней, что когда-то
Мы философией считали.
Ее гнилые постулаты
Лишили грех благой расплаты
И власть у Господа украли.
И коль верны ее скрижали,
Блаженны те, что пировали,
Несчастны те, что жили свято.
Итак, одну мы жизнь снискали
И душу тотчас потеряли —
Живем и мрем, как поросята.

XXXVI

Коль жизни нет иной, пускай
На этом свете будет рай
Для всех желаний нашей плоти.
Что ж, наслаждения познай,
Достойной жизни не алкай
И дух топи в водовороте.
Пусть, как отшельник в темном гроте,
Монах Сито живет в заботе —
Свой горький хлеб ему отдай!
Живешь ты в праздности иль в поте,
Едино все в конечном счете,
Коль смерть — ничто и мира край.

XLI

Смерть, ты разишь благим мечом
Того, кто палкой и бичом
Чинит неверную расправу.
Тому ты станешь палачом,

Кто лишь в страдании чужом
Находит для себя забаву.
Какая страшная отрава
Смутила власть, смутила нравы,
Жестокость сделала добром?
Ведь ныне тот стяжает славу,
Кто кожей ближнего кровавой
Пол устилает, как ковром.

XLIV

Всяк человек — Господня тварь —
Что ж, справедлив Небесный Царь,
Иль нет в нем нищему поруки?
Бессилен правый, как и встарь:
Ведь даже Петр — святой ключарь —
Нерона не обрек на муки,
Хоть тот во злобе и докуке
Все греб, что только плыло в руки,
И прятал в потаенный ларь.
Святой же, Божьей вняв науке,
Не ведал праздности и скуки —
Остался, как и был, рыбарь.

XLIX

Все одного исхода ждут:
Идти на смерть, потом на суд;
И могут только те спастись,
Что к покаянью путь ведут,
Порвавши кокон грешных пут,
И душу устремляют ввысь.
До смерти к Богу обратись:
Молись потом иль не молись —
Все суд Господень будет крут.
Ты, корабельщик, берегись
И в море выйти не стремись,
Коль ветром парус не надут.

L

Господь! Зачем же всяк стремится
Телесной радостью упиться,
Несущей духу яд и тленье
И не могущей долго длиться?
За то воздастся нам сторицей
Без жалости и промедленья:
Мгновенно было наслажденье,
Но бесконечно искупленье,
И горько будет расплатиться.
Сгинь, роскошь! Сгиньте, искушенья!
Уж лучше есть в уединенье
Свой черствый хлеб и чечевицу!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ К РУБРИКЕ

Этой публикацией журнал открывает новую рубрику. Читатель, который не полагается на всякого рода предисловия, вступления и т. п. и уже просмотрел следующие далее страницы, наверняка понял суть замысла: дать портрет крупного автора в нескольких проекциях, глазами разных людей, каждый из которых и сам по себе авторитетная величина. В случае удачи (в отборе «моделей» и их «портретистов», в переводах и т. д.) такой подход был бы, думаю, интересен сам по себе своим материалом. И все же дело не только в нем.

Прежде всего подчеркну, что «заглавные» фигуры, о которых дальше пойдет речь — а вслед за Борхесом предполагаются портреты Антонена Арто и Готфрида Бенна, Томаса Стернза Элиота и Константина Кавафиса, Бруно Шульца и Фернандо Пессоа, Хосе Лесамы Лимы и Пауля Целана, Рене Шара, Франца Кафки, Поля Клоделя и других,— не то чтобы вовсе не известны читателям, но в круг нашего постоянного внимания, в мыслительный обиход, кажется, не вошли. К каждому из них и к представляемым ими литературным мирам как-то не подступиться с привычной нам по школе, текущей критике, расхожему литературоведению оптикой. Слишком слабы навыки восприятия такой словесности в ее собственной проблематике, подробностях, языке, не хватает слов, ходов мысли, чтобы в этот круг войти, повседневно существовать в нем, жить этой — во многом все-таки еще «другой» для нас, современной — реальностью. Приходится признать, что мы эту реальность по большей части не прожили, не продумали, не высказали.

Но как раз поэтому мне кажется, невозможно да и творчески бесперспективно попросту брать и пересаживать этих действительных, а не мишурных властителей умов на Западе в нашу нынешнюю почву как готовых и отдельных — каждый сам по себе — «классиков». Нужна иная перспектива, другая «рамка» их понимания. И, может быть, нужнее и полезнее попытаться воссоздать саму рабочую атмосферу их исторического восприятия в разных языках и культурах, увидеть, как вокруг них и по их поводу, в подходах к ним складываются литературный рельеф и климат завершающегося столетия. Уж если продолжать метафору «пересаживания», то переносить хотелось бы с живой землей. Важна именно «экологическая» общность словесной, мыслительной, «переживательной» культуры XX столетия формирующейся в постоянных взаимодействиях, на многоязычных перекрестках, во всемирных столицах и немыслимых закоулках Культуры с ее внутренними связями поверх календарных времен и государственных границ, перекличками родственных умов в творчестве, в публичных выступлениях, переписке, с постоянными взаимообменами внутри «незримого семейства» поэтов, прозаиков, драматургов, которые в конечном счете и составили цвет своего времени, воплотили уходящий век в себе самих, выговорили его на созданном ими для всех нас языке.

Почему рубрику открывает именно Хорхе Луис Борхес, и происходит это в номере, отведенном проблематике конца века, пространно аргументировать, кажется, уже не надо. Вторая половина столетия прошла для западной литературы — и не только для собственно прозы, но и для представлений о реальности и фантастике, роли автора и читателя, границах жанров и т. д.— во многом под знаком Борхеса. Но о его подытоживающей век (а может быть, и тысячелетие?) роли лучше, наверное, скажут публикуемые ниже эссе.

Б. ДУБИН

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Воспоминание и три сна

Перевод с испанского ***БОРИСА ДУБИНА***

СИМОН КАРВАХАЛЬ

На ферме в девяностых мой отец
Встречал его. Они не обменялись
И дюжиной скупых, забытых слов.
Отец потом припоминал лишь руку:
Всю кожу левой, с тыльной стороны,
Бугрили шрамы от когтей... В хозяйстве
Занятие у каждого свое:
Один — объездчик, а другой — табунщик,
Тот — молодец орудовать арканом,
А Карвахаль был здешний тигролов.
Бывало, тигр повадится в овчарню
Или во мраке вдруг заслышат рык —
И Карвахаль пускается по следу.
Он брал с собой тесак и свору псов.
В конце концов они сходились в чаще.
Он уськал псов. Огромный желтый зверь
Кидался из кустов на человека,
Чья левая рука сжимала пончо —
Защиту и приманку. Белый пах
Зверь открывал, внезапно ощущая,
Как сталь до самой смерти входит внутрь.
Бой был неотвратим и бесконечен.
И гибель находил один и тот же
Бессмертный тигр. Не стоит поражаться
Уделу Карвахаля. Твой и мой —
Такие же. Но наш извечный хищник
Меняет лики и названья — злоба,
Любовь, случайность или этот миг...

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС (JORGE LUIS BORGES; 1899—1986) — аргентинский поэт, прозаик, переводчик. Автор тринадцати поэтических сборников, в том числе: «Создатель» («El hacedor», 1960), «Золото тигров» («El oro de los tigres», 1972), «Сокровенная роза» («La rosa profunde», 1975), «История ночи» («Historia de la noche», 1977). Его перу принадлежат также книги рассказов и эссе: «Вымышленные истории» («Ficciones, 1944), «Сообщение Броуди» («El informe de Brodie», 1970), «Книга песка» («El libro de arena», 1975). По-русски произведения Борхеса публиковались в книгах «Из современной аргентинской поэзии» (М., 1982), «Проза разных лет» (М., 1984), «Поэты Аргентины» (М., 1987), «Сочинения» (3 тт., Рига, 1994), на страницах «ИЛ» (1984, № 3; 1988, № 10; 1990, № 3; 1990, № 12), в Библиотеке «ИЛ» вышел сборник рассказов «Юг» (1984).

ЗЕЛЕНЬ КИПАРИСА

У меня есть враг. Как он проник ко мне в дом ночью четырнадцатого апреля 1977 года, не знаю. Ему пришлось одолеть две двери: одну, тяжелую, на входе и другую — в скромной квартире. Он зажег свет и оборвал мой кошмар, из которого помню теперь только сад. Не повышая голоса, приказал встать и одеться. Конец был предрешен, место казни — неподалеку. От страха я молча повиновался. Он был ниже, но крепче меня, ненависть делала его еще сильней. За долгие годы он совсем не переменился, разве что в темную шевелюру закралось несколько седых волос. Его переполняла сумрачная радость. Он всегда ненавидел меня и вот, наконец, убьет. Кот Беппо глядел на нас из своей вечности, но даже лапой не шевельнул, чтобы мне помочь. Не шелохнулись ни синий обливной тигр в спальне, ни чародеи и духи в томах «Тысячи и одной ночи». Оставаться совсем одному не хотелось. Я попросил разрешения взять книгу. Библия была бы слишком. Рука выхватила из двенадцати томов Эмерсона один, наудачу. Чтобы не шуметь, мы спустились по лестнице. Я считал ступеньку за ступенькой. И заметил, что он старается не прикасаться ко мне, словно боится заразы.

У дома на углу Чаркас и Майпу ждала карета. Церемонным, но беспрекословным жестом мне приказали войти. Возница знал дорогу и тут же хлестнул коня. Путь был долгим и, как легко понять, молчаливым. Я боялся (а может быть, надеялся), что он не кончится никогда. Ночь стояла лунная, ясная, без малейшего ветерка. Кругом — ни души. Вдоль приземистых домов по обе стороны дороги тянулась глинобитная изгородь. «Уже Юг»,— подумал я. Высоко в темноте маячили башенные часы; ни цифр, ни стрелок на циферблате не было. Ни одной улицы мы, сколько помню, не пересекали. По неисчерпаемому примеру элеатов я не чувствовал ни страха, ни страха перед страхом, ни страха перед страхом этого страха, но, когда дверца распахнулась, при выходе чуть не упал. Мы поднялись по каменным ступеням. Над заботливо подстриженными газонами густо темнели деревья. Он подвел меня к одному и приказал лечь на траву навзничь, раскинув руки крестом. Лежа, я разглядел вдали капитолийскую волчицу и тут же понял, где мы. Деревом смерти стал для меня кипарис. На память сама собой пришла знаменитая строка: Quantum lenta solent inter viburna cupressi [1].

Я вспомнил, что слово lenta здесь означает «гибкая», но зелень моего дерева гибкостью не отличалась. Хвоинки были одинаковые, жесткие, глянцевитые, неживые. На каждой виднелась монограмма. Я почувствовал тошноту и слабость. Но понимал: только собрав все силы, я смогу спастись. Спастись сам и, может быть, погубить его. Одержимый злобой, он уже не смотрел ни на часы, ни на чудовищные кроны. Я выпустил из рук свой талисман и ухватился за траву. В первый и последний раз надо мной блеснул клинок. И тут я проснулся; левая рука цеплялась за стену комнаты.

«Странный кошмар»,— подумал я и опять нырнул в сон.

Утром я обнаружил среди книг брешь: тома Эмерсона, взятого с собой во сне, на месте не было. Дней через десять мне передали, что недавно мой враг ушел ночью из дома и пока не возвращался. И не вернется. Замурованный в моем сне, он так и будет с ужасом открывать для себя под невидимой луной этот город со слепыми часами, мишурными вечными деревьями и другими подробностями, которым нет ни имени, ни конца.

[1] Ты посмотри, как гибка, сплетясь с кипарисом, калина *(лат.)*.

© Alianza Editorial, S. A.

СОН, ПРИСНИВШИЙСЯ В ЭДИНБУРГЕ

На рассвете мне приснился сон, от которого я не в силах отделаться и в котором попытаюсь разобраться.

Ты уже зачат. На пустынном горизонте — что-то вроде пыльных классов, а может быть — пыльных складов, и в этих классах или складах — параллельные ряды школьных досок длиной в километры или тысячи километров, на которых выведены мелом буквы и цифры. Сколько досок всего — неизвестно, понятно только, что их много и одни уже исписаны, а другие — почти чистые. Двери, как в Японии, раздвижные, они — из поржавевшего металла. Само строение круглое, но таких гигантских размеров, что со стороны кривизна незаметна и стены кажутся прямыми. Придвинутые друг к другу доски — много выше человеческого роста и доходят до гладкого оштукатуренного потолка, среднего между белесым и сероватым. Слева на каждой доске — слова, следом за ними — цифры. Слова размещены друг под другом, как в словаре. Первое слово — Аре, название реки в Берне. За ним — арабские цифры; составленное ими число огромно, но не бесконечно. Оно с точностью показывает, сколько раз в жизни ты увидишь эту реку, сколько раз в жизни прочтешь ее название на карте, сколько раз в жизни о ней подумаешь. Последнее слово, кажется, Цвингли, оно слишком далеко. Еще на одной бесконечной доске написано neverness [1], и рядом с иноземным словом тоже стоит цифра. В этих значках — вся твоя жизнь.

Каждую секунду какой-то ряд цифр обрывается.

Ты исчерпаешь число раз, отпущенных тебе на вкус имбиря, но жизнь еще не кончится. Исчерпаешь число, отпущенное на гладкость стекла, но какое-то время будешь жить. Исчерпаешь число отведенных тебе ударов сердца и только тогда умрешь.

БУДУЩИЙ СОН

Что увидит во сне непредвосхитимое будущее? Что Алонсо Кихано останется Дон Кихотом, даже не покидая своего села и библиотеки. Что минута перед пробуждением Улисса может быть богаче поэмы о его трудах. Увидит целые поколения, слыхом не слыхавшие имени Улисс. Увидит сны куда отчетливей сегодняшней яви. Увидит, что мы в силах сотворить любое чудо, а не делаем этого, поскольку в воображении оно гораздо реальней. Увидит миры такой мощи, что трель одной-единственной тамошней птицы может убить человека. Увидит, что забвение и память — действие воли, а не вмешательство или прихоть случая. Что можно смотреть всем телом, как во тьме померкших миров — своих ослабевших глаз — мечтал Мильтон. Увидит мир без машин и без этой хрупкой машины — нашего тела. Жизнь — не сон, но, как писал Новалис, может когда-нибудь дорасти до сна.

[1] Несбыточность *(англ.)*.

МОРИС БЛАНШО

ЛИТЕРАТУРНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ: «АЛЕФ»

Борхес говорит, что уже одна идея бесконечности способна подорвать мир. А Мишо зовет эту врагиню человека на помощь и пишет об «отрицающем движение всего конечного» мескалине: «Ничто так не успокаивает, как сосредоточенность на бесконечном».

Подозреваю, что бесконечность Борхеса почерпнута из литературы. Не хочу сказать, будто ясностью сознания он обязан чьим-то книгам. Но готов допустить, что опыт литературы сродни тем парадоксам и софизмам, которые сторонящийся их Гегель называл «дурной бесконечностью».

Истина литературы покоится на ошибке бесконечности. Мир, в котором мы живем и который проживаем, по счастью, ограничен. Несколько шагов — и комната кончается, несколько лет — и кончается жизнь. Но представим, что, внезапно ослепнув, мы заблудились в этом внезапно померкшем, замкнутом пространстве. Что географическая пустыня превратилась в пустыню библейскую. Теперь, чтобы ее пересечь, не хватит ни четырех шагов, ни дюжины дней: понадобится несколько поколений, вся история человеческого рода, куда там — еще больше... Для человека меры и размеренности комната, пустыня и мир — это пространства, замкнутые в строго определенных рамках. Для человека пустыни и лабиринта, который посвятил себя ошибке пути, с неизбежностью превосходящего длиною жизнь, то же самое пространство окажется воистину бесконечным, хотя — и особенно если — он знает, что это не так.

Идея становления

Ошибка и факт движения, которое не в силах оборваться никогда, превращает конечное в бесконечность, но особенную. Из конечного, но замкнутого пространства всегда остается надежда выйти, тогда как бесконечная протяженность — темница безвыходная, почему любое помещение, абсолютно лишенное выхода, и становится бесконечным. В пространстве заблудившегося прямых линий нет; он никогда не следует из пункта А в пункт Б, ниоткуда не выходит и никуда не приходит, у него нет ни точки следования, ни точки отбытия. Еще не отправившись, он отправляется снова и снова и, не добираясь до цели, опять впадает в бесконечное повторение. В этом абсурде возврата без ухода и начинания путем повтора и состоит загадка «дурной вечности», которой соответствует «дурная бесконечность»: в обеих, как можно предположить, кроется идея становления.

Борхес, человек до мозга костей литературный (иначе говоря, понимающий мир так, как это узаконено литературой), восстает против дурной вечности и дурной бесконечности — единственного, в чем нам позволено сомневаться, пока не наступает великий переворот, именуемый экстазом. Книга для Борхеса — это мир, а мир — книга. Казалось бы, вот и успокоение тревог о смысле мира. Если в разумности сущего еще можно сомневаться, то уж написанная нами книга — а особенно сноровистая словесность наподобие детективных романов, где на самые сложные вопросы припасены самые простые ответы,— проникнута разумом и оживлена всеупорядочивающей силой по имени дух. Но если мир — это книга, то и всякая кни-

МОРИС БЛАНШО (MAURICE BLANCHOT; род. в 1907 г.) — французский писатель, критик, эссеист. Автор романов «Аминадав» («Aminadab», 1942), «Безумие дня» («La folie du jour», 1973) и др.; многих работ о литературе, философии, эстетике, вошедших в книги «Литературное пространство» («L'espace littéraire», 1955), «Письмена краха» («L'écriture du désastre», 1980). В «ИЛ» напечатан перевод повести М. Бланшо «При смерти» (1993, № 10).

Эссе о Борхесе «Литературная бесконечность. Алеф» вошло в сборник «Предстоящая книга» («Le livre à venir», 1959), по которому выполнен перевод.

га — это целый мир. А подобная бесхитростная тавтология влечет за собой самые чудовищные последствия.

Прежде всего, исчезает начало отсчета. Мир и книга бесконечно и вечно отсылают к своим отображениям. Загадочная власть зеркал, беспредельная и ослепительная многоликость — световой лабиринт, которого, по сути, нет,— вот, собственно, и все, с чем каждый из нас, теряя почву под ногами, остается после всех попыток понять.

И еще одно. Если книга — это возможный мир, то придется признать, что в книге мира скрыта не только сила созидания, но и гигантская сила подлога, надувательства, притворства, без которой — и тем очевидней, чем эта сила потаеннее — ни одно искусство не живет. «Вымыслы», «Уловки» — таковы, вероятно, самые честные титулы, которых может удостоиться литература. И упрекать Борхеса за то, что он пишет рассказы, не заслуживающие никакого другого наименования, значит, упрекать его в излишней искренности, без которой перед нами была бы, увы, самая грубая мистификация (в его развоплощенном небе, заметил бы Борхес, горят звезды Шопенгауэра и Валери).

Применительно к духу, к литературе такие слова, как надувательство и подлог, огорошивают. Нам кажется, что подобный подлог слишком очевиден, что это, пусть даже всемирное, надувательство затеяно ради истины, может быть, недоступной, но почитаемой, а многими и любимой. Кажется, что в мысли о коварстве таланта нет ничего особенно страшного: ведь сам-то шарлатан, пусть даже всемогущий, бесспорно существует, а потому дальше углубляться незачем. Борхес же сознает: опасное достоинство литературы — не в том, что она внушает веру в великого создателя мира, а в том, что благодаря ей ощущаешь присутствие в мире какой-то чуждой, бездушной и безликой силы. Ему близко сказанное о Шекспире: «Он походил на любого из нас во всем, кроме одного: он походил на любого». Во всех писателях он видит единого — единственного Карлейля, единственного Уитмена, каждый из которых, по сути, никто. Он узнает себя в Джордже Муре и в Джойсе (а мог бы назвать Лотреамона или Рембо) — авторах, включавших в свои книги страницы и героев, созданных другими, ведь главное — это литература, а не литераторы, а главное в литературе — то, что она, помимо чьей бы то ни было личности и в каждой написанной книге, остается неисчерпаемым единством единственной книги и утомительным повторением их всех.

Когда Борхес предлагает вообразить современного французского автора, по своему разумению создающего страницы, которые с буквальной точностью воспроизводят две главы «Дон Кихота», этот абсурд абсолютной памяти — всего лишь то самое, чем занимается любой переводчик. Вещь в переводе существует на двух языках; в выдумке Борхеса две вещи существуют на одном языке, но в их мнимой общности без действительного единства перед нами, по сути, лишь поразительный мираж бесконечного удвоения возможностей. Однако если есть полный дубликат, то оригинал — и даже его первоисточник — уничтожается. Тогда доскональнейшим образом переведенный и скальки-рованный в книге мир утратил бы всякое начало и конец, обратясь в конечный и безграничный шаровидный том, который пишут все и куда вписан каждый. Это был бы уже не наш мир, это был бы — или лучше сказать, будет? — мир, извращенный до бесконечной суммы своих возможностей. (Такое — может быть, чудесное — извращение представляет собой Алеф.)

Литература — не простая обманка. Это опасная власть идти до самого конца, до бесконечного умножения воображаемого мира. Разница между реальным и нереальным, бесценная привилегия реальности — в том, что в реальности не так много реального и доля его возрастает, только если мы опровергаем и отдаляем нереальность постоянным трудом опровержения, того опровержения, которое и составляет смысл любого труда. Именно эта недостача реальности, это стесывание, истаивание пространства позволяют нам двигаться из пункта А в пункт Б по счастливому кратчайшему маршруту. Но предел неопределенности — суть воображаемого — как раз и не дает господину К. достичь Замка, как вечно не дает Ахиллесу догнать черепаху, а может быть, и человеку из плоти и крови — нагнать самого себя в точке, где его смерть обратится наконец во что-то абсолютно человеческое и потому — незримое.

Перевод с французского
БОРИСА ДУБИНА

ПОЛ ДЕ МЭН

МАСТЕР НАШИХ ДНЕЙ: ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Зрачки его познали, опустев,
Что знанье умножает нереальность
И зеркала — лишь зеркало зеркал.

У. Б. Йейтс

Издав с 1923 года не одну замечательную книгу стихов, рассказов и критических эссе, аргентинец Хорхе Луис Борхес по-прежнему куда известней в Латинской Америке, чем в Соединенных Штатах. По отношению к переводчику Джона Пила Бишопа, Харта Крейна, Э. Э. Каммингса, Уильяма Фолкнера, Эдгара Ли Мастерса, Роберта Пенна Уоррена и Уоллеса Стивенса это явная несправедливость. Однако, судя по всему, его ждет у нас тот же энтузиазм, который он вызвал во Франции, где критика следит в первую очередь именно за ним и где его превосходно переводят. Ряд книг Борхеса, включая заботливое издание его последнего сборника «Создатель» и новый выпуск уже публиковавшихся по-английски в 1962 году «Лабиринтов», недавно увидел свет и на английском языке. Англо-американская критика ставит его в первый ряд ныне живущих авторов, но до сих пор, насколько знаю, недалеко продвинулась в его истолковании. Это понятно. Борхес — писатель сложный, найти ему место на литературной карте не так легко. Попытки комментаторов сравнить его с кем-то из их ближайшего окружения удачи не принесли, и сам его литературный авторитет только добавляет неразберихи. Вместе с Кафкой и нынешними французскими экзистенциалистами Борхеса зачастую относят к моралистам, бунтарям против своего века. Отсюда — куча нелепостей.

Действительно, Борхес, особенно вначале, не раз писал про обманщиков. Во «Всемирной истории низости» выведена по-своему симпатичная вереница ловкачей. Но Борхес не делает из их низости моралистической темы; ни малейших обвинений в адрес общества, человеческой природы или судьбы в его рассказах нет. Как нет и безответственного взгляда Лафкадио, этого ницшеанского героя Андре Жида. Надувательство взято здесь как эстетический принцип, как способ построения вещи. С литературной точки зрения без этой низости, представленной в самой своей сути, его выдумки потеряли бы стержень. Перед нами сменяются разные миры — хлопковые плантации берегов Миссисипи, южные моря под гнетом пиратов, Дальний Запад времен первопоселенцев, нью-йоркское дно, японские дворики, арабская пустыня и т. д.,— и все это расплылось бы в бесформенности, не находись в центре повествования обманщик и самозванец.

Хороший пример — фантастические эссе на литературные темы тех же лет, что «Всемирная история». Построенные на стилистических ходах эрудированной критики, они читаются как что-то вроде Эмпсона, Полана и журнала ПМЛА, вместе взятых, но куда более лаконичное и хитроумное. В эссе о переводчиках «Тысячи и одной ночи» Борхес приводит впечатляющий перечень цитат, из которого видно, как один перелагатель за другим безо всякой жалости обуживали, надставляли, перекраивали и уродовали оригинал, приспосабливая его к требованиям литературы и нормам морали — своей и своих читателей. Перерастающий в полный каталог человеческих прегрешений перечень завершает безупречный Энно Литтман, чей перевод 1923—1928 гг. скрупулезно следует первоисточнику: «Подобно Вашингтону неспособный лгать, он, увы, не может похвастать ничем, кроме немецкой честности». Его перевод, на суд Борхеса, наихудший. В нем нет богатства литературных ассоциаций, которые и придают языку других — бесчестных — переводчиков глубину, силу, многозначность, одним словом — стиль. Чтобы создать стиль, художнику приходится надевать маску двойного обманщика.

Казалось бы, все так. Кто не знает, что без дьявольских чар дело поэта не обходится и что истории о добродетели не в пример скучнее историй о грехе? Только ценой насилия над собой можно предпочесть «Опасным связям» «Новую Элоизу», а в самой «Элоизе» вторую часть — первой. При таком повороте тема обмана у Борхеса — не более чем воплощение эстетизма рубежа веков, предсмертный хрип романтической агонии. Или того пуще: все его творче-

---

ПОЛ ДЕ МЭН (PAUL DE MAN; 1932—1983) — американский литературовед. Автор работ об образном языке новейшей литературы «Аллегории прочтения» («Allegories of Readings», 1979), «Слепота и озарение» («Blindness and Insight», 1971), «Сопротивление теории в литературной науке» («The Resistence to Literary Theory», 1982).

Перевод статьи о Борхесе «Мастер наших дней» выполнен по журнальной публикации («New York Review of Books», 1964).

ство — результат морального разочарования, спасающегося в стилистических арабесках. Так вот, все это не имеет ничего общего с природой писателя, раз и навсегда присягнувшего стилю. Как ни озабочен Борхес человеческим уделом, его заботы абсолютно далеки от грубо прозаической трактовки литературы у Сартра, от моральной одержимости Камю или хваленых мыслительных глубин немецкого экзистенциализма. Скорее перед нами непрерывный рост обостренной до предела, чисто поэтической сознательности.

Новеллы, составляющие ядро всего написанного Борхесом,— вовсе не моралистические притчи или параболы в духе Кафки, с которым его часто и понапрасну сравнивают. Еще меньше в них — от психологического анализа. Самое неточное — сопоставлять их с философской новеллой XVIII века. На сцену здесь тоже выходит не реальный опыт, а мысленное допущение, не ждем ведь мы от «Кандида» той же психологической проницательности или непосредственности переживаний, как от «Госпожи Бовари». Борхеса скорее стоит читать с установкой на вольтеровскую повесть, чем на роман XIX века. Однако и от своих предшественников в восемнадцатом столетии Борхес в корне отличается: предмет его новелл — порождение авторского стиля, и в этом он не только решительный постромантик, но и не менее решительный постсимволист. Герои Борхеса — создания автора, его прототипы, как их миры — прототипы его своеобразной поэзии или в высшей степени стилизованной прозы. Тон, среда могут меняться, но у самых разных его рассказов — одна и та же отправная точка, одна и та же структура, та же кульминация и развязка. Внутренняя сила, объединяющая четыре этих момента, и составляет неподражаемый стиль Борхеса, равно как и его комментариев к этому стилю. Его новеллы — это рассказы о стиле, которым они написаны.

В центре каждой, как уже говорилось, обман. «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» описывает абсолютно фантастический мир полностью выдуманной планеты. Впервые о ней узнают из справочника, который, в свою очередь, есть всего лишь подложное переиздание Британской энциклопедии. Ирландец из новеллы «Форма сабли», недостойный персонаж, кончивший предательством человека, спасшего ему жизнь, выдает себя за собственную жертву, чтобы вызвать интерес к своему рассказу. Герой «Сада расходящихся тропок» — китаец, работающий в Англии времен первой мировой войны на немцев и находящий высшее удовлетворение в усложненной до лабиринта хитрости. Их преступления — это, по существу, плагиат, лицедейство, шпионаж, когда герой выдает себя за другого, подставляя обманчивую видимость на место реальной сути. Одна из лучших ранних новелл Борхеса повествует о подвигах религиозного самозванца Хакима, скрывающего лицо под золотой маской. Здесь символический смысл надувательства предельно ясен: в завязке рассказа Хаким — красильщик, иначе говоря, раскрашивает в яркие и красивые тона все, что по происхождению тускло и неприглядно. Этим он сродни художнику, придающему непобедимую привлекательность тому, что по природе ее не имеет.

Красота, стало быть, начинается с удвоения. Писатель создает другое «я», отчужденную изнанку собственной личности, как бы зеркальное подобье. В этом отделенном и перевернутом «я» добродетели и пороки оригинала любопытно преображаются, меняются местами. Позднее Борхес протокольно воспроизвел этот опыт в тексте под названием «Борхес и я»... «Зная болезненную страсть» другого Борхеса «к подтасовкам и преувеличениям», автор мало-помалу срастается со своей поэтической маской, которая разделяет его предпочтения, «но с таким самодовольством, что это уже походит на роль». Утрата себя в созданном образе неотделима для Борхеса от вершин поэзии. Сервантес достигает их, выдумав Дон Кихота и став им; Валери — сотворив господина Тэста и превратясь в него. Двойственность художника, величие и ничтожество его призвания неразрывно и подспудно связаны для Борхеса с темой подделки. Вероятно, полней всего об этом сказано в новелле «Пьер Менар, автор «Дон Кихота». Творчество и жизнь выдуманного писателя воссозданы здесь преданным биографом. По мере развития сюжета в некоторых деталях проступает что-то знакомое: средиземноморская обстановка, актерствующий, зажиточный и снобистский кружок, кажется, вызывают в памяти конкретного человека, и при сообщении, что начинающий Менар опубликовал сонет в журнале «Раковина», всякий читавший Валери тут же угадывает прообраз. (Несколько ранних стихотворений Валери появились в этом журнале Пьера Луиса, хотя и чуть раньше, чем Борхес датирует менаровскую публикацию.) Но когда мы, чуть позже, узнаем, что Менару принадлежит инвектива против Валери, так же как вопиющее стилистическое преступление — он переложил «Морское кладбище» александрийским стихом, тогда как Валери много раз подчеркивал, что сама суть знаменитой поэмы — ее пятистопник,—

то уже не сомневаемся: перед нами — перевернутое «я» Валери, иначе говоря — господин Тэст. Однако ситуация еще более усложняется несколькими параграфами ниже. Менар вынашивает курьезный замысел наново — и буквально! — воссоздать «Дон Кихота». И когда Борхес предлагает нам внимательно сличить два слово в слово совпадающих отрывка из романов, одного — сервантесовского, а другого — принадлежащего Пьеру Менару (он же господин Тэст, он же Валери), игра выходит на такой уровень сложности — иронии, пародии, переклички и полемики,— что ее вряд ли вместишь в этот неизбежно краткий комментарий.

Поэтическое изобретение начинается с двойничества, но им не исчерпывается. Двойственность писателя — особая (напомню красильщика в «Хакиме из Мерва»), ведь его выдумки наделены чертами реальности, а потому могут, в свою очередь, повторяться в других образах. Они как бы отражаются в зеркалах, для которых предыдущая псевдореальность — лишь отправная точка в построении *собственных* миров. Писателем движет богохульная страсть: он хочет наделить рукотворное — божественным бытием. Поэтому его двойственность перерастает в множественность образов, по очереди отражающих друг друга. Скажем, в «Тлёне...» обкраденную энциклопедию еще и подделывают: в нее вводится ложная отсылка к вымышленной земле Укбар, которую выдают за часть реального мира. Беря это описание выдуманной страны за *свою* отправную точку, следующий фальсификатор (ксати, миллионер-расист из южных штатов) с помощью группы подозрительных экспертов выпускает в свет уже полную энциклопедию несуществующей планеты Тлён, чья псевдореальность не уступает по масштабам нашему миру, а потом — и следующее переработанное и дополненное издание под титулом Orbis Tertius, но уже не по-английски, а на одном из языков Тлёна.

Все новеллы Борхеса построены по этому принципу зеркальных отражений, хотя выдумки каждый раз с дьявольской изобретательностью обновляются. Иногда мы так и остаемся с зеркальным двойником, как в финале «Формы сабли», когда Винсент Мун открывает свое подлинное лицо обманщика, а не героя только что рассказанной им истории. Но в большинстве новелл перед нами — целая перспектива, анфилада отражений. В «Теме предателя и героя» мы имеем дело:

1) с реальным историческим фактом — предводитель группы заговорщиков предает товарищей и должен быть казнен;

2) с вымышленным рассказом о похожем случае (хотя и в перевернутом виде) — драмой Шекспира «Юлий Цезарь»;

3) с еще одним историческим фактом, повторяющим вымысел,— исполнение приговора строится по шекспировскому сюжету, чтобы выглядеть правдоподобным зрелищем;

4) с раздосадованным историком, который пытается разобраться в курьезном переплетении истории и вымысла, выдумывая, в свою очередь, ложную теорию об архетипических мотивах в историческом процессе;

5) с самим Борхесом, историком куда более проницательным (или, лучше сказать, с его перевернутым «я», частью обманенным в легковерном историке, а частью — восстанавливающим истинный ход событий).

В других рассказах — «Бессмертный», «Заир», «Смерть и буссоль» — усложнение заходит так далеко, что его, по сути, становится невозможно описать, не повторив дословно.

Подобная множественность отражений для Борхеса — высшее достоинство литературы. Все, чем он в словесности восхищается, обязательно содержит этот элемент. Литература завораживает его эффектом зеркала: елизаветинской пьесой в пьесе. Шахразадой, в одну из ночей вдруг начинающей слово в слово пересказывать «Тысячу и одну ночь». По Борхесу каждый зеркальный образ стилистически превосходит свой оригинал, как окрашенная ткань красивее грубой, отклоняющийся перевод богаче оригинала, а менаровский «Дон Кихот» сложнее сервантесовского. Следуя этому принципу до конца, поэт сможет достичь предела — стройного образа реальности, включающего весь мир, искусно претворенный и усовершенствованный создавшим его воображением. Выдуманный мир Тлёна — одно из таких достижений. Они у Борхеса не раз повторяются; на самом деле, вокруг этого центрального образа строятся все его новеллы. Он может обернуться стройным рядом философских законов, образующих мысленную вселенную Тлёна, а может — фантастическим миром человека, награжденного (и заклейменного) чудовищным даром абсолютной памяти, человека, наизусть помнящего «очертания южных облаков утром тридцатого апреля 1882 года», как и «сбившуюся конскую гриву, отару на вершине, каждый оттенок огня и каждую частичку пепла» (новелла «Фунес, чудо памяти»). Может беспредельно раскинуться, как безгранично усложняющийся лабиринт,

он же — бесконечная книга, в «Саде расходящихся тропок», а может до предела съежиться, сжаться до одной точки в одном доме, где открывается разом весь мир («Алеф»), или единственной, самой по себе ничтожной монеты, которая «вмещает мировую историю со всей ее бесконечной цепью причин и следствий» («Заир»). Каждая такая точка, каждая сфера целостного видения символизируют всякий раз окончательную, полную и ложную развязку непобедимой тяги поэта к гармонии.

Триумфальность этих поэтических миров — в их всеобъемлющей и упорядоченной цельности. Трудней, но и нужнее для понимания Борхеса — осознать их обманчивую суть. Отражения, конечно, удваивают явь, но в корне и тайком меняют ее временную природу, даже если — и особенно когда — достигнуто, как в менаровском «Дон Кихоте», полное подобие. Время реального опыта кажется непрерывным, но беспредельным, однако непрерывность эта опять-таки ужасает, поскольку безостановочно выталкивает в неведомое будущее. Наш так называемый «реальный» мир напоминает пространство: так же устойчив, так же беспорядочен. Упорядочивая этот хаос усилием мысли, как Борхес — волей к стилю, можно достичь определенного порядка, но ценой связности, ценой пространства, которые только и придавали нашему хаотическому миру единство. Теперь вместо бесконечной массы сущего перед нами конечное число отдельных звеньев, между которыми невозможно установить связь. Обитатели неисправимо поэтического мира Тлёна, созданного воображением Борхеса, «не согласны, будто что-то изолированное в пространстве может длиться во времени. Восприятие дыма на горизонте, затем — выжженного поля, а затем — полуистлевшего окурка, ставшего причиной пожара, считается образцом произвольного сближения идей». Стиль у Борхеса становится актом, вносящим порядок, но разрушающим целостность: он преображает эмпирическое единство в каталог разрозненных фрагментов. Отсюда нелюбовь Борхеса к style lié, соподчинению, и симпатия к тому, что в грамматике именуется паратаксисом, соположением, то есть к простому перечислению предметов друг за другом. Отсюда же его предпочтение барочного стиля, который, говоря словами из предисловия 1954 года ко «Всемирной истории низости», «беззаботно исчерпывает (или стремится исчерпать) собственные возможности». Стиль — это зеркало, но не зеркало реалистов, ни на минуту не позволяющее забыть о его же, зеркала, нереальности,— это зеркало, создающее то, чему подражает.

Может быть, именно потому, что Борхес — блистательный мастер, его зеркальный мир до такой степени, хоть и не без всегдашней иронии, зловещ. Оттенки ужаса от разбойничьих утех «Всемирной истории» до предельно мрачного и безысходного мира позднейших «Вымышленных историй» меняются, и в «Создателе» насилие еще безнаказанней, еще чернее, еще ближе, на мой взгляд, к атмосфере родной борхесовской Аргентины. В новелле 1935 года обманщик Хаким у него провозглашал: «Наша земля — простая ошибка, неуклюжая пародия. Зеркала и деторождение отвратительны, поскольку приумножают и узаконивают эту ошибку». Это утверждение повторяется потом у Борхеса не раз и делается все понятней. Оставаясь метафорой стиля, зеркало обретает роковую силу — мотив, сквозной для всей западной литературы, но в борхесовской версии особенно богатый и сложный. В его первых вещах зеркало искусства отображало бегство от нашего мира, где поток времени навсегда теряется в безликой пустоте бесконечности. Стиль — как и метафизика — это попытка достичь бессмертия. Но подобный порыв обречен. Говоря словами одной из любимых борхесовских книг, «Гидриотафии» Томаса Брауна (1658), «нет противоядия от опиума Времени, делающего временным все на свете»... И дело, вопреки расхожему мнению, совсем не в том, что борхесовский Бог играет с поэтом ту же шутку, что поэт — с реальностью: Бог — не король мошенников, задумавший соблазнить человечество иллюзией бессмертия. Поэтический порыв, при всей его противоречивой двойственности, неотъемлем от человека и отличает именно человека. Но Бог выходит на сцену как сила самой реальности — в обличье смерти, означающей поражение поэта. И это главная причина, почему насилие в новеллах Борхеса вездесуще и неотвратимо. Бог — на стороне хаотической реальности, и стилем его не одолеть. Он похож на чудовищный лик Хакима, когда с того срывают маску и перед нами предстают черты, изуродованные проказой. Самое страшное — умножение зеркал, потому что каждый новый образ еще на шаг приближает нас к этому лику.

По мере того как Борхес стареет и слепнет, эта конечная встреча смутной тенью ложится на все им написанное (не затрагивая, пожалуй, лишь одного — ясности языка). Даже если из последнего зеркала на нас глянет лик Бога, поэзии дальше пути нет. Отчасти это напоминает ситуацию кьеркегоровского

«эстетика». Разница лишь в том, что Борхес не идет на отказ от поэтического призвания, чтобы ринуться навстречу реальности, и это придает страницам «Создателя» сумрачное величие, так не похожее на прозрачность и блеск прежних рассказов. Чтобы осмыслить всю сложность душевного состояния мастера в последние годы, нужно оценить его труд в целом и с самого начала, увидев в нем отражение судьбы поэта как такового, зеркало его удела. Для этого необходим перевод первых книг Борхеса и серьезный критический анализ, достойный этого замечательного писателя.

Перевод с английского БОРИСА ДУБИНА

ДЖОРДЖ СТАЙНЕР

ТИГРЫ В ЗЕРКАЛЕ

Нынешняя мировая слава Хорхе Луиса Борхеса неминуемо сопровождается у его читателя тайным ощущением потери. Такое бывает, когда долго и бережно хранимая частица мира — сумрачная громада «Артурова трона» в Эдинбурге, увиденная с одного-единственного места, из задних комнат шестидесятого номера в гостинице «Плезенс», или 51-я улица Манхэттена, благодаря высоте и свету в окнах моего зубного врача вдруг блеснувшая каньоном расплавленной бронзы,— короче говоря, когда что-то редкостное, видимое внутреннему взору, и лишь ему одному, становится общедоступным зрелищем для туристских орд. Многие годы блеск Борхеса был подспудным сокровищем, достоянием немногих избранных, передавался шепотом на ухо, и приверженцы знали друг друга в лицо. Многие ли слышали о первом опусе Борхеса — обработке греческих мифов, написанной по-английски в Буэнос-Айресе, когда автору было всего семь? А о созданном в 1907 году сочинении номер два, явном предвестии будущего — переводе на испанский сказки Оскара Уайльда «Счастливый принц»? Сегодня же слова, что «Пьер Менар, автор «Дон Кихота» — одно из величайших чудес человеческой изобретательности и что в этой лапидарной притче сошлись едва ли не все грани застенчивого борхесовского дара, превратились в общее место. Но у многих ли есть первое издание сборника «Сад расходящихся тропок» (Буэнос-Айрес, «Сур», 1941), где этот рассказ появился на свет? Еще каких-то десять лет назад знание, что под псевдонимом Бустос Домек скрываются Борхес с его верным соавтором Адольфо Биоем Касаресом или что Борхес вместе с Делией Инхеньерос опубликовали богатейшую по материалу книгу о древнегерманской и англосаксонской словесности (Мехико, 1951), было маркой высшей пробы, знаком глубокой эрудиции, паролем для посвященных. Эти сведения ревниво хранились в тайне, передавались с бесконечными предосторожностями, разыскать их было не проще, чем стихи, новеллы и эссе Борхеса, давно исчезнувшие, бесследно разошедшиеся или опубликованные под чужим именем. Помню, как один из первых знатоков борхесовского творчества в начале пятидесятых показывал мне в задних подвалах одной книжной лавочки в Лисабоне борхесовский перевод «Орландо» Вирджинии Вулф, его предисловие к аргентинскому изданию «Превращения» Кафки, опубликованное 8 февраля 1942 года в газете «Насьон» важнейшее эссе об искусственном языке, изобретенном Джоном Уилкинсом, и редкое сокровище — «Пространство надежды», книжечку небольших эссе, вышедшую в 1926-м, но волей самого Борхеса никогда больше не переиздававшуюся. Эти мелочи преподносились мне со скрытым превосходством. И поделом. Я прибыл к сокровищнице слишком поздно.

Перелом произошел в 1961 году. Борхес разделил с Беккетом международную премию книгоиздателей «Форментор». Годом позже на английском появились «Лабиринты» и «Вымышленные истории». Посыпались почести. Итальянское правительство присвоило Борхесу звание Коммендаторе. По рекомендации Андре Мальро президент де Голль произвел прославленного коллегу французского министра и мастера мифов нашего времени в кавалеры Ордена литературы и искусства. Внезапно став знаменитостью, Борхес объехал с лекциями Мадрид, Париж, Женеву, Лон-

---

ДЖОРДЖ СТАЙНЕР (GEORGE STEINER; род. в 1929 г.) — американский прозаик, критик, эссеист французского происхождения. Автор многих работ о духе и языке современной эпохи, собранных в книгах: «Конец трагедии» («The Death of Tragedy», 1961), «Экстерриториальность» («Extraterritorial», 1971), «После Вавилонского столпотворения» («After Babel», 1975), «Явь во плоти» («Real Presences», 1989). Эссе «Тигры в зеркале» переведено по публикации «New Yorker», 1970.

дон, Оксфорд, Эдинбург, Гарвард, Техас. «Уже в довольно зрелом возрасте,— вспоминает Борхес, – я вдруг узнал, что множество людей во всем мире почему-то интересуются моими книгами. Как ни удивительно, многие мои вещи переведены на английский, шведский, французский, итальянский, немецкий, португальский, на некоторые славянские языки, на датский. Я не перестаю поражаться этому, поскольку помню, как опубликовал одну из книг году, кажется, в тридцать втором и к концу года выяснилось, что распродано всего тридцать семь экземпляров». Но тут скрывались свои плюсы: «Каждый из тридцати семи был конкретным человеком – с собственным лицом, собственной семьей, он жил на вполне определенной улице. Скажем, две тысячи распроданных экземпляров – это все равно что ни одного: две тысячи — слишком большое число, его так просто не представишь... Гораздо лучше, когда их семнадцать, а еще лучше — семь». Предоставляю знатокам оценить символическую роль каждого из названных чисел, как и всего их каббалистически убывающего ряда, для борхесовских сюжетов.

Теперь эти тридцать семь экземпляр сменились поточным производс Критические комментарии к Борх интервью с ним, воспоминания о ем. ен веденные ему специальные выпуски журналов и издания его сочинений множатся изо дня в день. Сборник критических, биографических и библиографических штудий, выпущенный в 1964 году парижским журналом «Л'Эрн», уже стал антикварной редкостью. Воздух дрожит от заглавий «Борхес и «Беовульф», «Воздействие европейского кино на повествовательную ритмику позднего Борхеса», «Загадочный интерес Борхеса к «Вестсайдской истории» («Я смотрел ее много раз не отрываясь»), «Подлинные истоки названий Тлён и Укбар в новеллистике Борхеса», «Борхес и «Зогар» и т. д. и т. п. Борхесовские воскресные чтения прошли в Остине, проведены семинары в Гарварде, гигантский симпозиум, как будто предугаданный Кафкой в романе «Америка», отгремел в университете Оклахомы. Свидетелем обожествления своего двойника, о котором он писал в новелле «Борхес и я», на торжествах присутствовал сам автор. Планируется издавать особый борхесовский журнал. Первый номер, естественно, украсят зеркала и лабиринты, а также — тигры, затаившиеся в глубине этих зеркал, вернее – в их молчаливых стеклянных лабиринтах.

Вслед за профессорами хлынули подражатели. Многие авторы, включая многих студентов с хорошим слухом, обучились воспроизводить магическую поступь его прозы: перемену тона, когда Борхес одергивает сам себя, невообразимо запутанные отсылки к литературе и истории, которыми переполнены его страницы, чередование прямых и точных фраз с загадочными и уклончивыми. Ключевые образы и геральдические знаки борхесовского мира вошли в литературный обиход. «Я устал от лабиринтов, зеркал, тигров и прочего Тем более что сегодня так пишут многие... Этим и полезны подражатели. Они излечивают тебя от твоих литературных хворей. В конце концов думаешь: если теперь это делает каждый, то стоит ли продолжать мне? Пусть берут другие, пусть пользуются». Но речь не о простых подделках.

Загадка в том, что своеобразные повороты чувств, нерасторжимо переплетенные у Борхеса с самой его манерой чувствовать, манерой совершенно особой, получили такой широкий и непритворный отклик. Как и у Льюиса Кэррола, сны одиночки переросли у Борхеса в сдержанный и настойчивый призыв, на который читатели всего мира ответили, узнав в нем себя. В наших улицах и садах, в юркнувшей из солнечного пятна ящерке, в наших библиотеках и винтовых лестницах забрезжило что-то от борхесовских снов, при всей неповторимости, потаенности, а порой и лунатичности самих истоков его воображения.

Как поразительно личный образ мира покидает зеркальный застенок, в котором зачат, и переходит в совершенно другое сознание? Кажется, понятно, а попробуйте это описать (подавляющая часть огромной критической литературы о Кафке так и остается чистейшими и беспомощными словесами)... Ясно, что выход Борхеса на просторы воображения был бы невозможен без его строгой верности родным местам и без широчайших языковых познаний. Но одного этого мало. Зашифрованное каббалистическим кодом, написанное, можно сказать, симпатическими чернилами, отмеченное высоким безразличием неподдельной скромности, его обращение пересекло в ненадежной бутылке семь морей (морей на борхесовской карте куда больше, но число их всегда делится на семь) и достигло любых берегов. В мир «Вымышленных историй» смогли войти все — включая читателей, в жизни не слыхавших о его наставниках и старых товарищах – Лугонесе, Маседонио Фернандесе, Эваристо Каррьего, и тех, для кого буэнос-айресский пригород Палермо и традиции поэзии гаучо — пустой звук. Я бы рискнул сказать, что директор Национальной библиотеки Аргентины – сегодня самый своеобразный из писателей Северной Америки. И эта

экстерриториальность — может быть, самая важная его черта.

Борхес — гражданин мира. Частью это связано с обстоятельствами его юности, эпохи между 1914-м и 1921-м, когда он жил в Швейцарии, Италии и Испании. Частью — с фантастической способностью к языкам, которой обладал с детства. В английском, французском, немецком, итальянском, португальском, англосаксонском и древнескандинавском Борхес — у себя дома, как, разумеется, и в испанском, всегда насыщенном аргентинскими реалиями. Борхес, как и другие потерявшие зрение писатели, с кошачьей ловкостью передвигается в звуковом мире бесчисленных наречий. Вот он, в своей незабываемой манере, рассказывает, что чувствовал, подступаясь к англосаксонскому:

Спустя пятьдесят поколений
(пропастей, отведенных временем
человеку)
на берегу далекой большой реки,
неизвестной драконам викингов,
я воскрешаю шершавые, неподатливые
слова,
которые (некогда ртом, а сегодня —
прахом)
складывал во времена Мерсии
и Нортумбрии,
прежде чем стать Хейзлемом
или Борхесом...

Благословен лабиринт
бесконечных причин и следствий,
что на пути к тому зеркалу,
где никого не увижу или увижу
другого,
мне даровал созерцать
зарю языка.

«И прежде чем стать Борхесом»... в мастерстве, с которым Борхес проникает в разные культуры, скрыта тайна его, в буквальном смысле слова, перевоплощений. В «Deutsches Requiem» рассказчик превращается в Отто Дитриха цур Линде или, лучше сказать, он и есть нацист Отто Дитрих цур Линде, приговоренный военный преступник. Исповедь Винсента Муна под названием «Форма сабли» — классический образец богатейшей литературы на ирландские темы. В другой новелле Борхес надевает маску Ю Цуна, в прошлом — преподавателя английского языка в Hochschule Цандао, или Аверроэса, великого исламского комментатора трудов Аристотеля. Каждой такой перемене соответствует своя убедительная обстановка. Но за всеми этими масками — Борхес, автор, который находит радость в ощущении себя чужеземцем и тайком примешивает это чувство даже к собственному прошлому: «Не исключено, что среди моих предков были и евреи, но я не уверен. Девичья фамилия моей матери — Асеведо; эту фамилию могли привезти в страну португальские евреи, а может быть, и нет... Слово «acevedo», вероятно, происходит от падуба — acebo, он и необязательно еврейское, хотя много евреев носят фамилию Асеведо. Трудно сказать». По Борхесу, и гений старых мастеров, скорей всего, связан с этой же примесью чужого: «Не знаю почему, но я всегда чувствовал в Шекспире что-то итальянское, еврейское; думаю, англичане восхищаются им как раз за это, за непохожесть на самих себя». Дело тут не в сомнительном происхождении или странной фантазии. Дело в главном — в понимании писателя как гостеприимца, как человека, чья задача — оставаться доступным для бесконечного множества неведомых сил, держать двери своего временного владения открытыми всем ветрам:

С португальских Борхесах едва ли
что знаю — о растаявших во мраке
родах, что мне тайком былые страхи,
пристрастья и привычки передали.
Уже несуществующие звенья,
почти что недоступные для слова,
они — сама незримая основа
теченья дней, и праха, и забвенья.

Эта открытость, это пренебрежение ко всяческой косности сказываются и в фантастической эрудиции Борхеса. Считай мы ее «попросту своеобразным розыгрышем» или нет — без этого скопления библиографических отсылок, осколков философии, литературных цитат, каббалистических соответствий, математических и филологических шарад нам никогда не понять, в каком мире живет автор. Проницательный французский критик заметил, что в эпоху, когда читательское невежество ширится день ото дня и даже наиболее образованные ограничиваются вершками богословия и классической словесности, эрудиция сама по себе выглядит чем-то фантастическим и сюрреальным. В молчаливом всеприсутствии передвигаясь по своим владениям — от обрывочных писаний ересиархов IX века до алгебраических формул барочной эпохи, а дальше — к викторианским многотомникам о фауне Аральского моря, Борхес создает некий антимир, особое замкнутое пространство, в котором его ум может без помехи допускать любые предположения. Тот факт, что цитируемые тексты и мозаика отсылок представляют собой чистейшей воды вымысел — честь этой находки Борхес делит с Набоковым, а оба они, скорей всего, идут от флоберовских «Бувара и Пекюше», — как ни парадоксально, только удесятеряет наше ощущение первопроходцев. Пьер Менар, на секунду обретая плоть

и убедительность, встает перед нами из выдуманного каталога своих «зримых трудов»; в свою очередь, каждая позиция этого каталога напрямую соотносится с общим смыслом притчи. И кто рискнет усомниться в правдоподобии «трех версий предательства Иуды» после сообщения Борхеса, что Нильс Рунеберг — отметим «рунический» корень его фамилии — опубликовал в 1909 году «Den Hemlige Frälsaren», но не знает книги Эуклидиса да Куньи («Os sertoes»,— тут же подхватывает читатель), где сказано, что для «ересиарха из Канудуса Антониу Консельейру добродетель «была почти нечестивостью»?

Конечно, этот эрудированный монтаж цитат проникнут юмором. А еще, вслед за Паундом,— стремлением удержать в памяти все, оставить письменный инвентарь классической цивилизации Запада в эпоху, когда подавляющая ее часть перезабыта или опошлена. По сути, Борхес — хранитель музея, собиратель отвергнутых мелочей, переписчик древних истин и пустых выдумок, скопившихся на чердаке цивилизации. В этом хитроумном многознании есть свои комичные, даже чуть-чуть шутовские оттенки. Но и свой глубочайший смысл.

Борхес обладает или, вернее, пользуется каббалистическим образом мира — ключевой метафорой существования, усвоенной, вероятно, уже в 1914 году в Женеве, когда он прочитал роман Густава Майринка «Голем» и подружился с эрудированным не по летам Морисом Абрамовицем. Метафора, в общих чертах, такова: мироздание — это гигантская книга, все в ней, любая ее частица, имеет свой смысл. Мир — это огромный алфавит. Физическая реальность, события истории, создания человеческих рук — лишь знаки вечного послания. Нас завораживает неистощимое переплетение смысловых оттенков: каждая его нить — это пульс отдельной жизни, чей общий исток Борхес в своей загадочной и поразительной новелле называет именем «Алеф». Рассказчик обнаруживает эту непостижимую ось мироздания октябрьским вечером в грязном подвальном углу дома Карлоса Архентино на улице Гарай. Речь идет о пространстве пространств, каббалистическом круге, центр которого — всюду, а окружность — нигде, о колесе из видения Иезекииля и о безмолвной птичке суфийской мистики, которая каким-то чудом заключает в себе всех птиц: «Потом у меня закружилась голова и потекли слезы, потому что я своими глазами смотрел на тайну и домысел, чье имя разворовано всеми, но которого не видел никто: непостижимое мироздание».

У Вселенной, которую «иные именуют Библиотекой», есть несколько примечательных особенностей. В ней содержатся абсолютно *все* книги — не только уже написанные, но и каждая страница и каждый том из тех, что еще предстоит написать, и даже — это, пожалуй, самое важное — из тех, что могли, но никогда не были и не будут написаны. Перетасовываясь, буквы всех известных и утерянных алфавитов, всех типов письменности могут сложиться в любую из мыслимых идей, любую строку или прозаический пассаж прошлого, настоящего и будущего. В Библиотеке, понятно, содержатся и все существующие, исчезнувшие и еще не возникшие языки. Борхес, как можно видеть, одержим много значившей для лингвистических фантазий каббалы и Якоба Беме идеей о том, что в основе языков человечества лежит один первоначальный и тайный язык, не затронутая вавилонским смешением Ursprache. Стоит вместе с поэтами-слепцами кончиками пальцев скользнуть по живой нити слов — испанских, русских, арамейских слов, звуков китайского пения,— и въяве чувствуешь мягкую силу исполинского потока, бьющего из единого средоточия, въяве ощущаешь слитое изо всех букв, изо всех буквенных сочетаний всех языков мира последнее слово — сокровенное имя Бога.

В открытости Борхеса — глубоко прочувствованная стратегия воображения, искусство никогда не терять ощущение ветра, веющего из сердцевины вещей. Приводя вымышленные заглавия, придуманные ссылки, никогда не существовавшие труды и их авторов, Борхес попросту перетасовывает осколки реальности, строя иные возможные миры. Множа отголоски, играя словами, он переходит с языка на язык, словно поворачивает калейдоскоп и высвечивает другую часть окружающей стены. Как и беспрестанно цитируемый им Эмерсон, Борхес верит, что его образ мира, целиком перевоплотившегося в символ, ободряет душу: «Из неустанного лабиринта снов я вернулся к себе домой, в свою темницу. Благословляю ее сырость, благословляю этого тигра, благословляю путеводную паутинку света, благословляю свое старое больное тело, благословляю этот камень и мрак». Для Борхеса и трансценденталистов любой звук и любая мелочь несут в себе весь мир.

Из этой сновидческой логики — а Борхес не раз спрашивает себя, не снимся ли мы вместе с нашими снами кому-то другому,— родилось несколько самых изобретательных и своеобразных новелл во всей западной литературе. Каждая из них: «Пьер Менар», «Вавилонская библиотека», «В кругу развалин».

«Алеф», «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» — миниатюрный шедевр. Их лапидарное совершенство — совершенство поэмы — создает своего рода замкнутый мир, замуровывающий читателя, но открытый бесчисленным отголоскам. Некоторые притчи Борхеса в страничку величиной — «Рагнарёк», «Все и ничто», «Борхес и я» — можно, вместе с кафкианскими, отнести к считанным победам, достигнутым в схватке с этой опаснейшей формой. Напиши он лишь «Вымышленные истории», Борхес и тогда остался бы одним из немногих настоящих сновидцев в мировой литературе после По и Бодлера. Но он, как всякий первостатейный мастер, добился большего: он раздвинул горизонты нашей памяти.

Однако при всей широте избранной формы и впечатляющем богатстве литературных отзвуков есть в ткани борхесовского искусства и заметные прорехи. Лишь в одной из новелл — в «Эмме Цунц» — Борхес создал действительно живую женщину. В остальном его женщины — всего лишь туманные предметы мужских фантазий или воспоминаний. Но и применительно к мужчинам Борхес жестоко укрощает свое воображение повествователя. Обычно мужчины у него меряются силой в схватке. На этом фоне даже мирные встречи выглядят столкновением между «я» рассказчика и назойливой тенью «другого». Третий чаще всего дается намеком, в воспоминании, как мгновенный промельк,— его видят краем глаза. Пространство, в котором действуют борхесовские фигуры, принадлежит мифу, а не социуму. Если какое-то историческое место или событие у него в рассказе и возникает, то нечаянно, как во сне. Отсюда — призрачная, леденящая пустота, входящая во многие тексты Борхеса, как в раскрытое ночное окно. Эти прорехи, эта подчеркнутая избирательность воображения объясняют, на мой взгляд, и борхесовское неприятие романа.

Борхес не раз возвращался к этой проблеме. Незрячему автору, писал он, приходится сочинять в уме, как бы в один присест, почему он и выбирает короткую форму. Напомню, что главные новеллы стали появляться у Борхеса после несчастного случая в декабре 1938 года. Кроме того, Борхес считает, что роман, как и предшествовавшая ему эпопея, отжили свой век: «Роман как форма, скорее всего, исчезнет, неизбежно исчезнет, а рассказ, я думаю, нет... Он куда древнее». Рассказчик, скитающийся по дорогам мира, северный skald или conteur степей, человек, чья слепота, как правило, свидетельствует о ясности ума и полноте чувства,— вот кто воплощает для Борхеса представление о писателе. Чаще всего он произносит как заклинание всеобъемлющее имя Гомера. Но, может быть, романный жанр подразумевает именно то, чего Борхесу недостает. Ведь в центре едва ли не всех произведений большой формы — полнокровные образы женщин и их отношения с мужчинами. Неизбежную общую рамку для них составляет общество. Борхеса зачаровывает теория бесконечно малых, математическая логика (см. его эссе «Аватары черепахи»). Роман же по большей части требует инженерного расчета, прикладной математики.

Особая изысканность работы порой приводит Борхеса к известной вычурности, к барочной нарочитости. Она поражает, но иногда ей, может быть, недостает воздуха. Тонкие оттенки и точеные формы его изделий нередко выглядят посторонними в неуемном беспорядке жизни. Борхес признавался, что считает английскую литературу, включая североамериканскую, «несомненно богатейшей в мире». Он и в самом деле чувствует себя в ней на удивление по-свойски. Но круг его англоязычных избранников на редкость странен. Самые близкие ему фигуры, излюбленные маски его собственного «я»,— это Де Куинси, Роберт Льюис Стивенсон, Г. К. Честертон и Редьярд Киплинг. Спору нет, это крупные мастера, но скорее каких-то боковых линий. Борхес справедливо напоминает об органных отзвуках в прозе Де Куинси, о самодисциплине и экономности средств в рассказах Стивенсона и Киплинга. Чужаком в этом перечне выглядит, пожалуй, Честертон, однако стоит вспомнить, что без «Человека, который был Четвергом», не было бы борхесовской любви к шарадам и высоким интеллектуальным забавам, и все становится на место. Но ни одного из перечисленных авторов не отнесешь к тем, кто своей природной энергией питал историю языка или чувства говорящего на нем народа. И когда Борхес утверждает, что Сэмюэл Джонсон — писатель более английский, чем Шекспир, этот абсолютный произвол режет ухо. Держась подчеркнуто в стороне от ходульности, фанфаронства и крикливых идеологических претензий многих современных литераторов, Борхес нашел для себя такое средоточие, которое — как в мистическом круге из трактата «Зогар» — дальше всего от центра.

Борхес и сам чувствует уязвимость своей позиции. В недавнем интервью он обмолвился, что хочет писать безо всяких хитростей, совершенно непритязательные рассказы о сильных героях и прямых поступках. Простая схватка на ножах всегда завораживала Борхеса. В первых и лучших новеллах он несколь-

ко раз брал за основу легенды о поножовщиках из буэнос-айресского пригорода Палермо, о лихих набегах гаучо и солдат с пограничных застав. Он с красноречивой гордостью вспоминает своих воинственных предков: деда, полковника Борхеса, сражавшегося с индейцами и погибшего в годы революции; прадеда, полковника Суареса, возглавившего кавалерийскую атаку перуанцев в одном из последних больших боев с испанской королевской армией; двоюродного деда, бившегося в первых рядах освободительной армии генерала Сан-Мартина:

> Вот зачернели дротики напавших
> на свежий след. Сжимаются в кольцо
> ухмылки смерти, крупы, верховые,
> разметанные гривы... Вот он, первый
> удар железа, распоровший грудь,
> наваха, увязающая в горле.

Коротенький рассказ «Злодейка» — лучшая иллюстрация к сегодняшнему Борхесу. Двое братьев делят одну женщину. Потом старший убивает ее, чтобы не губить дружбу. Теперь у них новая забота: «необходимость ее забыть». Борхес сравнивает эту виньетку с первыми рассказами Киплинга. «Злодейка» — вещь небольшого размера, но абсолютной точности и редкой силы. Как будто Борхес после долгих странствий по языкам, культурам и мифологиям вернулся к себе домой и нашел Алеф в соседнем дворике.

В замечательном стихотворении «Хвала тьме» не без иронии обыгрывается идея своеобразной справедливости: слепнущему надо было познать все книги на свете, чтобы потом забыть лишнее. Борхес говорит там о дорогах, ведущих его к тайному средоточью:

> Эти дороги — отзвуки и следы,
> женщины и мужчины, смерти
> и воскресенья,
> ночи и дни,
> бдения и кошмары,
> каждый миг прожитого тобой
> и всего пережитого миром,
> датский несокрушимый меч
> и арабский месяц,
> деяния мертвых,
> счастье взаимности, найденные
> слова,
> Эмерсон, снег и столько всего
> на свете!
> Теперь их можно забыть. Я иду
> к моему средоточью,
> к окончательной формуле,
> к зеркалу и ключу.
> Скоро узнаю, кто я.

Нелепо даже пытаться распутать на словах этот последний смысловой узел — полное слияние с собой на самом дне зеркала. Но как бы там ни было, оно немыслимо без свободы. В одной хитрой сноске Борхес как-то высказался в защиту цензуры. Писатель работает намеком, метафорой, и цензура заставляет его оттачивать орудия ремесла, использовать их с умом. Борхес хочет этим сказать, что громогласные писания в защиту эротической и политической эмансипации, сходящие сегодня за поэзию и прозу, не имеют ничего общего с настоящей свободой. Освобождающая роль искусства — в другом: в его уникальной способности видеть сны наперекор миру, создавать *иные* миры. Большой художник — разрушитель и зодчий одновременно. Его сны подрывают недолговечную и халтурную реальность окружающего, чтобы возвести на ее месте новую. В 1940 году Борхес обращался к «тени» Томаса Де Куинси со словами:

> Пусть острову станут оградой
> сплетенья твоих кошмаров.

Кошмары, сотканные Борхесом, существуют теперь на многих языках, но это, как правило, кошмары другие — тонкие, изобретательные. Все они — неотчуждаемое достояние автора, но богачами из них возвращаемся мы.

Перевод с английского БОРИСА ДУБИНА

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР

БОРХЕС, ИЛИ ЯСНОВИДЕЦ

В сказаниях самых разных народов встречается архетипический образ слепого поэта.

Вспомним индуса Вальмики, легендарного автора «Рамаяны», у чьих босых ног копошатся муравьи, похожие на бесчисленные поколения людей, вспомним скандинавских скальдов, певцов, зачастую лишенных зрения, как и греческие рапсоды, навсегда слившиеся для нас со своим великим прототипом — слепцом Гомером.

© Editions Gallimard, 1989

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР (MARGUERITE YOURCENAR; 1903—1987) — бельгийская писательница; с 1947 г. жила в США. Автор исторических романов «Воспоминания Адриана» («Memoires d'Hadrien», 1951; рус. пер. 1984), «Черная магия» («L'œuvre au noir», 1968; рус. пер. «Философский камень», 1984), нескольких сборников рассказов «Восточные новеллы» («Nouvelles orientales», 1963; одна из них «Последняя любовь принца Гэндзи» напечатана в «ИЛ», 1991, № 7) и др.

Лекция о Борхесе — последнее публичное выступление писательницы — была прочитана 14 октября 1987 г. в Гарвардском университете и переведена по книге «Глазами странника и чужеземца» («En pèlerin et en ètranger», 1989).

Вспомним рембрандтовский портрет Аристотеля в Метрополитен-музее, на котором философ, созерцатель природы и человеческого общества, учитель и наставник Александра Македонского, человек с безотказным зрением, с грустью кладет руку на голову изваянного Гомера, слепого бродяги.

И поместим рядом с этим образом, скажем, фотографию Фердинандо Скьянны 1983 года «Рука Хорхе Луиса Борхеса», где виднеющаяся из рукава современного пиджака и сорочки кисть «читает» бюстик Юлия Цезаря и, наверно, отпечатывает в памяти мельчайшие черты императорского облика с такой скрупулезностью, как мало кто из посетителей музея, наделенных двумя глазами.

Не примите мою формулу «Борхес, или Ясновидец» за простой парадокс.

Всякий из нас владеет миром и собой, опираясь на пять чувств. Зрение — одно из трех, от которых мы больше всего зависим. Однако многие из нас себя не видят. Огромное большинство людей никогда не видит себя. Благородная скромность Борхеса объясняется тем, что он себя видит, и видит таким, каков есть: единственным и вместе с тем похожим на каждого. Но большинство не видит и окружающих, как не видит мира. Он видит и то, и другое.

Нам мешают лень, предрассудки, да просто нежелание видеть. Правы индусы, причисляя «экаграту», внимательность, к высшим способностям разума... Я не хочу сказать, что для ясновидения и мудрости достаточно физической слепоты, но по мере утраты зрения они и вправду растут. Вместо того чтобы стать предметом поэтических ламентаций, слепота оборачивается способностью *видеть* мир в более широком смысле, чем это принято, и *вглядываться в себя* пристальней, чем случается многим...

* * *

Ясновидец... Визионер... Я хотела бы противопоставить здесь эти слова, которые обычно путают.

Ясновидящий, в самом прямом смысле слова, *видит*. И если он, как Борхес, слеп, то видит внутренним взором, опираясь на воспоминания о том, что впитали его глаза раньше, беря в подмогу воспоминания живших до него предков и дополняя увиденное всем, чем его способен дополнить разум (не столько воображение, сколько именно разум). Не ограниченное обычными возможностями зрачка, это видение разворачивается скорей во времени, но, конечно, и в пространстве, что, впрочем, едва ли не то же самое. Можно назвать его беспредельным зрением, как богословы говорят о беспредельном разуме. Борхес приводит такой пример: «Путь человека от рождения до смерти образует во времени незримый рисунок. Божественное сознание воспринимает этот рисунок весь разом, как мы — треугольник». Речь здесь не о *смысле* («Вряд ли у мироздания есть какой-то однозначный смысл»), а о перспективе.

В Средние века это называли visio intellectualis, умным зрением. Визионер же, как и человек галлюцинирующий, скорее видит мир упоенным взглядом. Он идет от более сложной, пестрой, многоликой реальности, чем большинство людей. Его дар возводит над нею то великолепные, то опасные постройки из своих мифологизированных комплексов, либо риторические ансамбли из выученного в школе или услышанного вокруг, общих мест, порою дающих начало откровениям. Ценимый Борхесом Сведенборг, по-моему, чаще всего предается наваждениям именно этого толка и лишь в самых редких случаях, вырванных из жизни, а не из книг, добивается на минуту подлинного ясновидения. Теряя высоту, такими же связанными рапсодиями нередко опьяняется Блейк. Горделивая скромность Борхеса не позволяет ему выходить за пределы видимого собственными померкшими глазами или воспоминаний о виденном когда-то вживе и отраженном теперь в зеркалах, которых он боится и к которым тянется. Он не сочиняет. И не бредит.

Он нашел в себе мужество увидеть в слепоте благо. Уверена, она доставила ему не меньше горя, чем большинству потерявших зрение; отзвуки этого иногда слышны:

> Все будто расколдованное. Снова
> Луна уже не будет так ясна
> И так дремотен сад. Теперь луна —
> Лишь зеркало, где тень пережитого...
> ...но в ком достанет сил,
> Чтоб научиться ремеслу забвенья?
> С тобой покончат розою одной.
> Убьют одною дрогнувшей струной.

Но самообладание отличало Борхеса с давних пор. В рассказе «Другой» старый поэт, сидя на скамье у Чарльз-ривер видит рядом восемнадцатилетнего Борхеса-студента, который тоже когда-нибудь окажется Борхесом-стариком («иным и прежним»). «Слушай,— говорит он ему.— К моим годам ты почти полностью потеряешь зрение. Будешь видеть только желтое марево с проблесками и тенями. Не бойся. Никакой трагедии в подступающей слепоте нет. Представь себе долгий летний вечер».

На самом деле, вспоминая, что самым важным для Борхеса событием в жизни было открытие словесной гармонии англосаксонской речи или фило-

софии Шопенгауэра, понимаешь: этот литератор, этот эрудит утратил вместе с книгами целый мир. Вдумаемся в извлеченный им из этого урок: «Каждый писатель и каждый человек должны видеть во всем случившемся с ними, даже в крахе, позоре и беде, своего рода орудие или предмет искусства и обращать происшедшее на пользу. Все это дается нам ради одного: мы обязаны его преобразить, создать из наших ничтожных обстоятельств что-то вечное или приближающее к вечности».

* * *

...Хочу подчеркнуть, что у Борхеса едва ли не целиком отсутствуют две темы. Одна из них — всеобщая или почти всеобщая, другая, по меньшей мере, очень распространена. И все-таки обе занимают в борхесовских произведениях самое скромное место.

Одна — это любовь. Лишь в самых ранних стихах, овеянных ностальгией по бедным кварталам старого Буэнос-Айреса, встретишь порой беглое упоминание о женщине, всегда неназванной, всегда смутной, глухое сожаление о ее уходе, еще реже — о минуте радости, воплощенной в увядшем и по-прежнему безымянном цветке. И ни разу — о любви счастливой, торжествующей, как и о срыве в безумие, в отчаяние. Борхес и сам признает это в двустишии из «Музея», двух грустных строчках, автор которых, высказываясь от первого лица, тем не менее укрывается за двойным алиби — именем вымышленного белорусского поэта из несуществующей антологии и ученым французским заголовком «Сожаление Гераклита»:

> Меняло обличья тело и лишь одного не знало:
> чтоб раз хоть Матильда Урбах в моих руках застонала.

Под видом безмятежной литературной игры две эти строчки, кажется, говорят о большем — о недостижимой любви и, может быть, не слишком пылком ее поиске. Единственный рассказ, в сюжет которого как будто входит любовь, это «Ульрика». В заснеженной Англии под средневековый вой волков стареющий Борхес бредет через пустошь со встреченной накануне юной норвежкой, которая, отдавшись ему в «Северной гостинице», отправится дальше на север. «Время текло как песок. Век за веком длилась во тьме любовь, и образ Ульрики в первый и последний раз был моим». При всей меткости деталей рассказ напоминает сон, а в «образе Ульрики», кажется, слились родовые мечты северянина Борхеса. В аргентинских, еще более реалистических новеллах сильная и предельно обобщенная женщина — почти всегда обитательница борделя. Маленькая индеанка в «Мужчине из Розового кафе» — наставница юного героя, хотя не поощрила его даже поцелуем; дело женщины — толкнуть мужчину на убийство, помочь ему в этом или — тем же ножом — убить себя. Собственный характер есть, пожалуй, только у Эммы Цунц из книги «Алеф» — целомудренной, сухой и холодной работницы с фабрики, проходящей через насилие и бесчестье, чтобы отомстить за отца. Но и она осталась бы мелодраматической простушкой, не надели ее Борхес несокрушимой гордостью — лучшим, что он может предложить нарушителям закона в своих рассказах...

Патриотическая или политическая лирика в наследии любого поэта, как правило, выветривается первой. Борхесовским стихам это практически не угрожает.

В первый период пероновского царствования (1946—1955) Борхеса не арестовывали, как Викторию Окампо. Его лишили скромного поста служащего в районной библиотеке, в насмешку назначив смотрителем на птичьем рынке, однако ничто из этого не вошло в его стихи и прозу. Падение диктатора после забастовок в провинции Кордова внушило ему всего лишь несколько прекрасных строк, дышащих, может быть, слишком доверчивой радостью первых дней освобожденья. Из двух других обращенных к родине стихотворений одно с нежностью вспоминает о годах буэнос-айресской юности, а другое славит мужчин, чьей судьбой и трудом стала Аргентина. В нем снова воскресает пронесенный поэтом через всю жизнь пылкий культ тайных героев забытых войн: его прадеда, полковника Суареса, убитого в Хунине на рубежах с Перу и вошедшего в разноречивые легенды, по которым он, верхом на коне, видимый в белой накидке издалека, подставил открытую грудь дротикам индейцев, обеспечив своим безмолвную победу без единого выстрела; катящего на смерть в карете генерала Кироги, павшего жертвой вероломного диктатора Росаса и нашедшего-таки свою гибель, гротескного призрака в сопровождении банды конных, отправленных на тот свет вместе с ним; деда писателя, полковника Борхеса, убитого двумя пулями на уругвайской границе; думавшего прожить «совсем иначе, среди статей, параграфов и книг» законника Лаприды, после разгрома настигнутого в болоте солдатней того же Росаса— одного из предков Бо-

рхеса, как и сам Лаприда,— и чувствующего «наваху, увязающую в горле».

Воины прошлого века с выхваченной из ножен саблей преследовали память Борхеса, как и суровые саксы и датчане, с которыми он считал себя связанным через другого прадеда — выходца из северной Англии Хейзлема. Эти мужчины первого тысячелетия виделись ему неукротимыми, говорящими «на языке зари», потрясающими «кормильцем воронов» топором, великодушными, как их вождь, который пожелал сопернику прожить этот день счастливо, потому что вечером он его убьет, хладнокровными, подобно королю, обернувшемуся на мостике корабля среди шквала и разгрома: «Что там рухнуло у меня за спиной?» — «Норвегия, господин»,— и все-таки способными на суровое сочувствие.

Брунанбург, 937 год

Рядом с тобой — никого.
В эту ночь я убил человека.
Он был храбрый и рослый, из славного рода Анлафа.
Меч вошел ему в грудь, немного левей середины.
Он рухнул на землю и стал ничем, вороньим кормом.
Напрасно ты его ждешь, неведомая подруга.
Его не доставит корабль,
бегущий по желтым водам.
Напрасно твоя рука
будет шарить в утренней дреме.
Постель холодна.
В эту ночь я убил человека
под Брунанбургом.

Вторичное воцарение Перона в 1972 году стоило Борхесу отставки. Когда-то поэт обращался к Богу: «Я не жил, не оставь меня судьбой». Как и слепота, отставка стала для него не бедой, а новым опытом:

почтенной старости меня лишив,
почетных званий, кафедр, протоколов
и росчерков в бесчисленных бумагах —
анналах пыли,—
и возмещающих забвенье книг,
послав великодушное изгнанье,
нежданный случай, юную удачу
и гордость каждого мужчины — риск.

В «Подобье» (единственном рассказе, где впрямую фигурирует Перон) бродящий от селенья к селенью мужчина в черном носит при себе гроб с восковой куклой, внушая простакам, что он — Перон, а она — его жена Эвита, собирая мелочь и пропитание, которые ему жертвуют, и каждый вечер зажигая свечи перед тем, что сельчане принимают за набальзамированное тело умершей. Но в финале Борхес напоминает, что подлинный диктатор и его жена ничуть не более правдоподобны, чем этот проныра со своей куклой — «точные символы той же выморочной эпохи. Ни напяливший траур не был Пероном, ни его кукла — Эвой Дуарте. Но и сами Перон и Эва были не просто Пероном и Эвой, а кем-то безвестными (их тайное имя и настоящее лицо так никто никогда и не узнал!), разыгрывая для легковерных сердец предместья свою топорную мифологию».

Всякий хоть сколько-нибудь искушенный в беспрестанных перипетиях и почти неисчерпаемой сложности мира рано или поздно испытывает перед Историей смешанное чувство ужаса и абсурда. Они друг друга не исключают, но, не ослабляя ни одного, к обоим мало-помалу добавляется третье — чувство всеобщего надувательства, в котором волей или неволей участвует каждый...

La vida es un sueño, жизнь есть сон. С этим согласится любой. Об этом давным-давно говорили Кальдерон, Шекспир и Пиндар. Борхес тоже рассказал нам историю, может быть — невыдуманную, где его враг, теперь уже бессильный и больной старик, которого он впустил из жалости, достает револьвер: «— Я убью тебя, и ты ничего не сможешь поделать.— Нет,— отвечает Борхес,— одно я все-таки могу.— Что? — Проснуться». Его гость — сон. Но если такова и вся жизнь, то, может быть, смерть — это пробуждение? Как всегда у Борхеса, крайности сходятся и меняются местами. И жизнь и смерть — лишь частицы в книге песчинок.

Перевод с французского БОРИСА ДУБИНА

ЛЕОНАРДО ШАША

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ БОРХЕС

В определенном — чисто борхесовском — смысле Борхес этого хотел. Его настойчивые просьбы о забвении, его разговоры о желании не существовать, быть забытым, о нежелании оставаться Борхесом должны были рано или поздно — надо знать журналистов! — привести к открытию: Борхеса не существует. Вот как подхватывает эту новость газета «Монд»: «По мнению правого ар-

© Sellerio editore Palermo, 1985

гентинского журнала «Кабильдо», Хосе Луиса Борхеса не существует. В своем последнем номере журнал утверждает, что на самом деле Борхеса целиком и полностью создали несколько писателей, в том числе Леопольдо Маречаль (ныне покойный), Адольфо Биой Касарес и Мануэль Мухика Лайнес, для воплощения созданного ими персонажа нанявшие второстепенного актера Акилеса Скатамаккью. Именно этот актер, по утверждению редактора журнала, играет роль *несуществующего Борхеса* для масс-медиа. Шведская королевская академия, присуждающая Нобелевские премии, похоже, раскрыла мистификацию, в результате чего *лже-Борхес* остался без премии, уточняет аргентинский журнал, не ведая, что создает Ажара. Но зачем?»

Выражение «создать Ажара» восходит к нашумевшей во Франции истории Ромена Гари, когда после его смерти стало известно о шутке, которую он, и не думая шутить, сыграл с французской интеллигенцией: наделив своего молодого родственника Поля Павловича псевдонимом Эмиль Ажар, Гари опубликовал под его прикрытием четыре собственные книги, и, поскольку никто не догадывался, что они написаны им, большой успех этих книг связывали с появлением нового писателя, громко заявившего о себе. Примечательно, кстати, что достославная газета невольно способствует небытию Борхеса, называя его в своей заметке Хосе Луисом, вместо того чтобы оставить ему первую часть имени, которым он был крещен (возможно, в церкви Сан-Бенито да Палермо, давшей название одному из районов Буэнос-Айреса — району Палермо, вспоминаемому Борхесом с неизменной любовью) и под которым известен,— Хорхе. Можно было бы пройти мимо этого маленького ляпсуса, но дело в том, что на собственный вопрос: зачем аргентинскому журналу выдумка о небытии Борхеса? — «Монд» отвечает так, как сам журнал, явно задавшийся одной целью — породить сенсацию, был бы не в состоянии ответить. Ответ этот сводится к следующему: сообщение о том, что Борхеса не существует, — вымысел из разряда типичных вымыслов Борхеса, начало и завершение борхесовского мира, основа борхесовского круговорота, борхесовской системы. Кое у кого, вероятно, даже возникнет подозрение, что автором мифа о небытии Борхеса может оказаться сам Борхес и что этот миф — своего рода кратчайший путь к безвременному небытию. Действительно, если мы на мгновение захотим убедить себя в том, будто поверили открытию, что Борхеса не существует, а существует всего-навсего актер Акилес Скатамаккья (с таким именем — Акилес Скатамаккья — самое место в комедии дель арте!), приглашенный компанией писателей на роль вымышленного персонажа по фамилии Борхес, сделать это нам помогут в качестве веских доказательств многие письменные и устные высказывания Борхеса. Мало того, среди борхесовских высказываний вполне возможно раскопать некое количество фраз, как бы вырвавшихся из груди Акилеса Скатамаккьи, порой через силу играющего навязанную ему роль Борхеса. Нет ничего проще, чем на основании ряда косвенных улик устроить судебное разбирательство и вынести приговор, а уж тем более на основании всех доказательств собственного небытия, которые предоставил сам Борхес!

Несколько лет назад я назвал Борхеса *теологом-атеистом*. Следует добавить, что речь идет о теологе, соединившем теологию с эстетикой, растворившем в эстетической проблеме проблему теологическую, превратившем ее «разговор о Боге» в «разговор о литературе». Мир создан не Богом, его создали книги. И процесс создания продолжается, глубинный, хаотичный. Все книги ведут к Книге — единственной, абсолютной. На этом пути книги представляют собой как бы все новые и новые «акциденции» по отношению к «субстанции», в которую они вольются и которая станет Книгой («substantia sive deus» [1], говоря словами Спинозы); и пока не произойдет слияние, сплав, каждая книга будет допускать вариации, изменения, воспринимаясь по-разному в разные эпохи, разными поколениями читателей, каждым отдельным читателем, а также при каждом новом прочтении одним и тем же читателем. Книга есть не что иное, как сумма точек зрения на книгу, сумма интерпретаций. Из суммы книг, заключающих в себе эти точки зрения, эти интерпретации, в конечном счете сложится Книга. Следовательно, какая разница, десять ли, двадцать книг написал человек по имени Хорхе Луис Борхес или не написал ни одной, если к тому же неизвестно, что именно он действительно написал?

Да будет так же и с нами!

Перевод с итальянского
ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

ЛЕОНАРДО ШАША (LEONARDO SCIASCIA; род. в 1921 г.) — итальянский писатель, автор романов, повестей, рассказов, исторических очерков. В «ИЛ» напечатаны его повести «Сова появляется днем» (1962, № 4), «Палермские убийцы» (Библиотека «ИЛ», 1982), рассказ «Смерть Сталина». Эссе «Несуществующий Борхес» взято из книги «Маленькие хроники» («Cronachette», 1985).

[1] Субстанция, или бог *(лат.)*.

ЭРНЕСТО САБАТО

РАССКАЗЫ ХОРХЕ ЛУИСА БОРХЕСА

Археология

Расположенные в хронологическом порядке произведения писателя подобны городам, воздвигнутым на развалинах прежних. Появляясь на наших глазах, они, населенные людьми одной расы, несут в себе нечто неумирающее, некую вечную протяженность, хранимую древними преданиями, теми же закатами, неизменными страстями, похожими глазами и лицами.

Сейчас, в связи с выходом книги «Вымышленные истории, 1935—1944» («Сур», Буэнос-Айрес), стоило бы заняться археологией и проследить, какие древние мифы скрываются в глубине новых напластований. При раскопках произведений Хорхе Луиса Борхеса обнаруживаются вещи совершенно различные: манускрипты ересиархов, игра в труко, Кеведо и Стивенсон, заметки о танго, математические доказательства, Льюис Кэрролл, апории элеатов, Франц Кафка, критские лабиринты, буэнос-айресские пригороды, Стюарт Милль, Де Куинси и красавцы в широкополых шляпах. Несходство их мнимое. Это все те же занятия метафизикой в разных обличьях: партия в труко может обернуться бессмертием, библиотека окажется вечным возвращением, парень из Фрай-Бентоса станет оправдывать Юма. Борхесу нравится запутывать читателя: едва тот решит, что читает детектив, как оказывается лицом к лицу с Богом или лже-Василидом. Сила воздействия произведений Борхеса, начиная с самых первых, в одном и том же: кажется, что в рассказах, составляющих эту книгу, материя воплотилась в совершенную форму, а возможное стало действительным. Влияние Борхеса на самого себя представляется неодолимым. Неужели он обречен и впредь заниматься плагиатом собственных произведений?

О «Пьере Менаре»

В предисловии к испанскому изданию «Эстетики» Кроче Мигель де Унамуно говорит о долгой жизни произведения: «Появившись на свет, творение искусства живет, и ценность его возрастает с годами, поскольку, обретая новые поколения зрителей, оно получает частичку души каждого».

Возможно, вернее было бы вместо *возрастает* сказать *изменяется*. Случись катастрофа, несущая человечеству нищету и невежество, обесценятся все произведения искусства, погибнут втуне богатства души Леонардо, платоновские диалоги, острота ума Беркли: нельзя увидеть в романе ли, в картине или в философской системе больше разума, больше души, чем имеешь сам.

Но даже без катастроф человечество постоянно меняется, и вместе с ним — произведения прошлого и фигуры истории. *Будущее порождает прошлое;* Сервантес, написавший Дон Кихота, не тот же, что сегодняшний Сервантес; тот был искатель приключений, жизнелюб и беспечный весельчак; сегодняшний — академичный, постаревший — как нельзя более подходит для школьных учебников и антологий. То же самое с Дон Кихотом. Его образ может казаться как смешным, так и возвышенным, в зависимости от эпохи, от возраста читателей, от их одаренности.

Пропасти между реальностью и вымыслом нет. Сегодня Сервантес столь же реален — или столь же нереален, — как Дон Кихот. В конце концов мы не знаем ни одного из них, и нам неизвестно их действительное, во плоти и крови, существование или несуществование. И в то же время можно сказать, что мы знаем их обоих, мы обладаем литературными сведениями о них, сведениями, содержащими массу предположений и допущений. Строго говоря, Дон Кихот менее вымышлен, поскольку его история последовательно и связно изложена в книге, чего не скажешь об истории Сервантеса.

Борхес и приключенческий роман

В предисловии к «Изобретению Мореля» Биоя Касареса Борхес сетует, что в романах, именуемых психологическими, свобода оборачивается полным произволом: преступники убивают из сострадания, влюбленные оставляют друг друга из-за любви, — и доказывает, что точность существует лишь в романах приключенческих. Думаю, что замечание справедливое, хотя и не могу расценить его как критику, — это скорее определение. Только в некоторых приключенческих романах — по преимуще-

---

ЭРНЕСТО САБАТО (ERNESTO SABATO, род. в 1911 г.) — аргентинский писатель и художник. Автор романов «Туннель» («El Túnel», рус. пер. «ИЛ», 1988, № 6), «О Героях и могилах» («Sobre heroes y tumbas», рус. пер. 1990) и др., сборников эссе о литературе, морали и политике. Статья «Рассказы Хорхе Луиса Борхеса» переведена по журнальной публикации («Sur», 1945).

ству в детективах, первым создателем которых был Эдгар По,— есть та точность, что достигается системой простых законов, наподобие действующих в геометрии или механике; но эта точность предполагает отказ от собственно человеческих черт. Если в человеческой действительности существуют Сюжет или Закономерность, они должны оказаться необыкновенно сложными, чтобы быть очевидными.

Необходимость и точность присущи логике и математике. Но как применять их в психологии, если они не охватывают даже физической реальности? По словам Рассела, физика математична не потому, что мы много знаем о внешнем мире, а потому, что знаем очень мало.

При сравнении любого из лабиринтов книги «Вымышленные истории» и лабиринтов Кафки бросается в глаза различие: лабиринты Борхеса напоминают о геометрии или шахматах, подобно парадоксам Зенона, порождают тревогу интеллектуальную, вызванную абсолютной ясностью элементов, вводимых в игру; кафкианские лабиринты, напротив, представляют собою темные переходы, бездонные, непостижимые, они приводят в отчаяние, и это — отчаяние кошмаров, идущее от полной невозможности постичь природу вступающих в игру сил. Первым лабиринтам присуща некая внечеловечность, вторые, возможно, пугают именно человеческими свойствами. Детектив Эрик Леннрот — не человек во плоти. Он символ, марионетка и следует с закрытыми — или с открытыми — глазами Математическому Закону, не оказывая ему ни малейшего сопротивления, как не сопротивляется гипотенуза при доказательстве теоремы Пифагора. Он тем и привлекателен, что не может сопротивляться. У Кафки тоже царит неумолимый Закон, но он совершенно неизвестен; герои Кафки пребывают в тревоге, поскольку подозревают о существовании чего-то подобного, они сопротивляются, как человек, единоборствующий с ночными кошмарами, они вступают в борьбу с судьбой. Они привлекательны именно этим, напрасным, сопротивлением.

Геометричность

В рассказе «Смерть и буссоль» поражают фантастические имена; знакомый и в то же время нереальный город; невероятная бесстрастность поведения персонажей. Но это не недостатки, а свойства прозы Борхеса, если считать, что его привлекает именно геометрия целого, а не его составляющие, необходимые, но второстепенные. При доказательстве теоремы не важны обозначения точек или сегментов, латинские или греческие буквы, используемые для этого: истина доказывается не для данного треугольника, а для треугольника вообще. Необязательно даже, чтобы он был правильно начерчен, и едва ли не лучше, чтобы не был, дабы не впасть в заблуждение, что верный вывод зависит от верного чертежа; Геометрия тем и замечательна, что неправильные чертежи не мешают ей прийти к верным результатам. Понятно, что, так или иначе, без чертежа не обойтись, и преступлениям Реда Шарлаха должно где-то найтись место. Но сделать город реальным значило бы совершить ошибку, это значило бы поставить доказательство теоремы в зависимость от точно выполненного чертежа. Поэтому город оказывается неопределенным: с чертами конкретными и в то же время абстрактными, с любыми распространенными во всем мире именами: это Буэнос-Айрес настолько обобщенный, что годен для геометрии, а не только для географии либо истории. Рассказ мог бы начинаться словами: *«В некоем городе X...»*

Скажу иначе, Борхес занимается алгеброй, а не арифметикой (как Валери, когда пишет об *Эдмоне Тэсте* или о *Леонардо*). «Чудо памяти» из Фрай-Бентоса с таким же успехом мог оказаться уроженцем Калькутты или датчанином. Борхесу мешает непременное ограничение, литературная условность: давать точные имена персонажам и местам действия. Не имея возможности называть своих героев *альфа, эн* либо *каппа,* он делает их как можно менее здешними, отдавая предпочтение далеким венграм и, в последнее время, многочисленным скандинавам.

Лейбниц

Детективный рассказ в строгом смысле, так, как его понимает Борхес, представляет собой доведенную до абсурда важную проблему рациональности жизни. Рассказ вообще представляет собой царство случайности и vérités de fait [1], в то время как рассказ детективный — это, по преимуществу, царство необходимости и vérités de raison [2]. Детектив, создающий стройную логико-математическую схему из множества несвязанных событий осуществляет Лейбницев идеал истинного знания. При этом лишь одно остается неизвестным: уж не создал ли нашу Вселенную Творец с ментальностью Эдгара По?

[1] Правда факта *(франц.)*.
[2] Правда разума *(франц.)*.

О бессмертии

В рассказе «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» Борхес возвращается к теме бессмертия: «Все люди в головокружительный миг совокупления суть один человек. Все люди, повторяющие некую строку Шекспира, *суть* Уильям Шекспир».

Двадцать лет назад, в стихотворении «Труко», он написал замечательные строки:

> ...и вот уж нынешние игроки
> копируют забытые сраженья
> и воскрешаются за ходом ход
> роды давным-давно истлевших предков... [1]

Я хочу продолжить мысль Борхеса: повторение забытых сражений означает, что «в незнакомой стране», где обитают короли и валеты, разыгрываются заново старинные приключения, там клинок в тех же обстоятельствах вновь убивает того же короля. В карточной вселенной все повторяется.

Возможно, и мы все — колода карт, которую тасует кто-то нам неизвестный. И возможно, сражения, составляющие игру, повторяются вновь и вновь.

Метафизические игры

Философы Венской школы утверждают, что метафизика — одно из направлений фантастической литературы. Это утверждение, огорчительное для метафизиков, на руку Борхесу. Его книга изобилует метафизическими играми: им создана онтология труко и теология преступника из предместья; воплощением его Реальности могут оказаться Библиотека, Лабиринт, Лотерея, Сон, Детективный Рассказ; а история и география — всего лишь перспективные уменьшения во времени и пространстве неких topos uranos [2], некоей вечности, управляемой неким Великим Библиотекарем.

Теологические игры

В «Трех версиях предательства Иуды» Борхес говорит нам — и мы верим этому,— что для Нильса Рунеберга его истолкование роли Иуды — ключ к разгадке главной тайны богословия, оправдание и погибель его жизни. Следует добавить: возможно, за него он отправится на костер.

Для Борхеса же, напротив, подобные рассуждения являют собою «легкомысленные, праздные занятия для равнодушных или кощунственных умов». С той же радостью или с той же печалью, характерными для всякого безверия, Борхес излагает тезисы Рунеберга и их опровержение, защищает их или опровергает и, естественно, не отправится на костер ни за то, ни за другое. Борхеса восхищает человек, способный разделить *все* мнения, что соответствовало бы некоей своеобразной версии монизма. Однажды он собирался написать рассказ о богослове, который всю жизнь борется с одним ересиархом, опровергает его учение и в конце концов отправляет его на костер. После смерти он видит, что ересиарх и он сам — один и тот же человек. Так и Иуда в каком-то смысле отражение Иисуса.

Но, насколько я понимаю, Борхес не пошел бы на костер, отстаивая этот монизм. Поскольку он еще и дуалист, и плюралист.

Теология Борхеса — это игры неверующего, это предмет изящной словесности. Как объяснить в таком случае его восторг по поводу Леона Блуа? Нет ли здесь ностальгического восхищения верою и силой? В то же время мне всегда бросалось в глаза пристрастие Борхеса ко всяческим куманькам и красавчикам с кинжалом на поясе.

Вера

У Борхеса отсутствует вера?

Разве неверующие не обречены некоему Аду?

Разве этот Ад не сам Борхес?

Борхесианство

Хорхе Луис Борхес создал в нашей литературе парадигму языковой отточенности, краткости, изящества, величественности и упорядоченности.

Как и все первооткрыватели, Борхес обречен на последователей и подражателей. Я хочу сказать, что они станут имитировать его причуды, воспроизводить его ошибки, повторят и усугубят его недостатки.

Национальность Борхеса

Как жаль, что Борхес не чех или что-то в этом роде. Сколько почитателей нашлось бы у него в Аргентине! А сколько толкователей!

Но если хорошенько подумать, это большая удача.

Конец разглагольствований

Вы, Борхес, ересиарх буэнос-айресских предместий, латинист воровского арго, воплощение совокупности биб-

[1] Здесь и далее — переводы стихов Б. Дубина.

[2] Небесных селений *(лат.)*.

лиотекарей, редкостная смесь Малой Азии и Палермо, Честертона и Харрьего, Кафки и Мартина Фьерро.

Для меня, Борхес, Вы прежде всего — Большой Поэт.

А затем: своевольный, гениальный, нежный, скрупулезный, немощный, великий, победительный, дерзкий, робкий, неудачливый, великолепный, несчастный, ограниченный, ребячливый, бессмертный.

Перевод с испанского
В. КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ

ДЖОН АПДАЙК

ПИСАТЕЛЬ-БИБЛИОТЕКАРЬ

Сейчас происходит запоздалое признание Северной Америкой таланта Хорхе Луиса Борхеса. В 1964 году издательство Техасского университета выпустило двухтомник этого аргентинского фантаста, критика, поэта и библиотекаря: «Dreamtigers» [1] (перевод с испанского Милдред Бойер и Гарольда Морланда) и «Новые расследования, 1937—1952» (перевод Рут Л. С. Симмс). Эти переводы и «Вымышленные истории», изданные «Гроув пресс», составляют три объемистые книги Борхеса на английском языке. Существуют также «Лабиринты», вышедшие в «Нью дирекшнз» и прекрасный сборник избранных произведений в различных переводах. А в 1965 году издательство Нью-йоркского университета опубликовало книгу о Борхесе: «Борхес — творец лабиринтов» Аны Марии Барренечеа (перевод с испанского Роберта Лима).

Четыре года назад, когда Борхес разделил с Сэмюэлом Беккетом международную премию книгоиздателей, здесь он был известен лишь нескольким испанистам. Горстка стихотворений и коротких рассказов, разбросанных по антологиям и журналам. Сам я к тому времени читал лишь «Сад расходящихся тропок», впервые опубликованный в «Эллери куинз мистери мэгэзин» и с той поры сделавшийся излюбленным рассказом сборников детективов. Хотя по яркости и интеллектуальному уровню рассказ выходит за рамки жанра, его можно читать, не подозревая о том, что он создан гигантом мировой литературы. Прочесть Борхеса всерьез меня побудило замечание, сделанное молодым румынским критиком, который, обойдя молчанием современную французскую и немецкую беллетристику, превозносил Борхеса тоном, которым прежде говорил лишь о Кафке. Аналогия с Кафкой напрашивается сама собой, и мне любопытно, разойдутся ли книги Борхеса, опубликованные университетскими и авангардными издательствами, у книготорговцев так же мгновенно, как книги Кафки, изданные в тридцатых годах коммерческой фирмой Кнопфа? Речь идет не о выдающемся мастерстве Борхеса. Самая скупая его заметка неотразима. В его вымыслах виден ум, который скорее встретишь в философии и физике, чем в литературе. Более того, тем, кого влекут головоломки размышления как такового, он дает подлинное наслаждение. Речь идет о том, сумеют ли обрушившиеся на нас сейчас труды всей жизни Борхеса (он родился в 1899-м и с юных лет был деятельной и заметной фигурой в аргентинской литературе), смогут ли его книги с их явно выраженным своеобразием вывести американскую беллетристику из тупика, куда ее завело самолюбование и откровенная халтура.

Повествовательное новаторство Борхеса порождено ясным осознанием литературного кризиса. При всей своей скромности и умеренности он предлагает своего рода коренной пересмотр литературы. Необычайная лаконичность его стиля и его всеобъемлющий дар (кроме стихов, эссе и рассказов, он писал детективные романы и даже сценарии, переводил со многих языков, был издателем, преподавал) приводят к странному выводу: он кажется человеком, для которого литература не имеет будущего. Мне не дает покоя мысль, что этот ненасытный читатель сейчас практически слеп.

Постоянное общение с книгой придает разнообразным произведениям Борхеса необычайную фактуру. Его рассказам присуща сжатость доказательства: в статьях ощутимы тревога и напряженность вымысла. Почти во всех эссе сборника «Новые расследования 1937—1952» содержатся действительные разыскания, открытия того, что было тайным. Он

---

[1] «Тигры из сна» (*англ.*).

ДЖОН АПДАЙК (JOHN UPDIKE, род. в 1932 г.) — американский писатель, автор романов, значительная часть которых переведена на русский язык, в том числе «Кентавр» («The Centaur», 1963, «ИЛ» 1965, № 1—2), «Давай поженимся» («Marry me», 1977; рус. пер. «ИЛ», 1979, № 7—8), в «ИЛ» печатались также его повести, рассказы и эссе.

Статья о Борхесе переведена по журнальной публикации («New Yorker», 1965).

ищет и находит скрытые вехи истории: тот момент, когда (в Исландии в 1225 г.) летописец впервые отдал дань восхищения врагу, тот стих, в котором (у Чосера, в 1382 г.) аллегория уступила место реализму. Его притягивает неясное, забытое: Джон Уилкинс, в XVII веке создавший ab nihilo аналитический язык; Дж. У. Данн, в XX веке предложивший причудливую теорию времени; Лайамон, поэт XIII века, обреченный на одиночество в промежутке между гибелью саксонской культуры и рождением английского языка. Там, где некие тайны уже не существуют, Борхес видит их. Его эссе о классике испанской литературы, сатирике и стилисте Франсиско де Кеведо начинается так: «Подобно всякой другой истории, история литературы изобилует загадками. Ни одна из них не волновала и не волнует меня так, как странная ущербная слава, выпавшая на долю Кеведо». Его же эссе о Лайамоне кончается словами: «Ни один человек не знает, кто он на самом деле, утверждал Леон Блуа. Лучшим символом такого совершенного незнания предстает этот забытый человек, отметавший свое саксонское наследие с саксонским пылом и оказавшийся последним саксонским поэтом, никогда не осознавшим этого».

У Борхеса все неизбежно превращается в тайну. Его афористичный стиль и энциклопедическое богатство аллюзий создают странную освещенность, готическую атмосферу, в которой самые ясные и знаменитые авторы выглядят несколько зловеще. Его эссе о Бернарде Шоу начинается словами: «В конце XIII столетия Раймунд Луллий (Рамон Льюль) вознамерился разрешить все тайны мира с помощью сооружения из разновеликих вращающихся концентрических дисков, подразделенных на сектора, заполненные латинскими словами». Кончается оно тоже весьма знаменательным и неожиданным замечанием: «[Экзистенциалисты] разыгрывают разочарование и тоску, но в глубине своей потакают человеческой гордыне и потому аморальны. Творчество Шоу, напротив, дает чувство освобождения. Чувство, которое рождают учение Стои и саги Севера».

Суровые суждения и подкупающие парадоксы Борхеса не ограничиваются одной литературой. В «Комментарии к 23 августа 1944 года» Борхес размышляет о противоречивой реакции своих знакомых фашистов на занятие Парижа союзниками и заканчивает его смелым рассуждением:

«Не уверен, надо ли объяснять изложенные выше факты. Но их, пожалуй, можно бы истолковать следующим образом: для европейцев и американцев существует некий — единственно возможный — порядок; тот порядок, который прежде носил имя Рима, а ныне является культурой Запада. Долгое время быть нацистом (разыгрывать пышущее энергией варварство, разыгрывать из себя викинга, татарина, конкистадора XVI века, гаучо, краснокожего) невозможно ни в интеллектуальном плане, ни в моральном. Нацизму, подобно преисподней Эриугены, присущ порок ирреальности. Для жизни он непригоден; люди могут лишь умирать ради него, лгать ради него, убивать и лить кровь ради него. Никто в сокровенном уединении своего «я» не может желать его торжества. Осмелюсь высказать такой парадокс: Гитлер хочет своего поражения. Неосознанно Гитлер содействует войскам, неотвратимо готовящим его гибель, как птицы с металлическими когтями и гидра (которые не могли не знать, что они чудовища) таинственным образом содействовали Геркулесу».

Улавливать едва заметное сходство, прослеживать философские генеалогии — излюбленное интеллектуальное упражнение Борхеса. Из круга своего обширного чтения он выделил несколько связанных образов, параллелизм которых в кратком пересказе обладает силою свежей мысли. «Быть может, всемирная история — это история нескольких метафор. Цель моего очерка — сделать набросок одной главы такой истории» — пишет он в «Сфере Паскаля» и приводит на неполных четырех страницах двадцать с чем-то примеров изображения сферы, «центр которой везде, а окружность нигде». Это перечисление похоже на заговор — начатый Ксенофаном, который с ликованием заменил человекоподобных богов Греции вечной и божественной Сферой, и завершенный Паскалем, который, определяя природу как «бесконечную сферу», сначала написал, а потом зачеркнул слово «effroyable» — «устрашающая сфера». Многие генеалогии Борхеса прослеживают вырождение: он замечает возвеличивание *ничто* в эволюции как теологии, так и славы Шекспира; он видит, как сменяющие одна другую версии индийской легенды о Будде лишают поэму жизненности. Он наблюдает в произведениях Леона Блуа раз от разу все более безысходные толкования фразы из Святого Павла: «per speculum in aenigmate» («гадательно, сквозь стекло»). Сам Борхес время от времени обращается ко второму парадоксу Зенона — к никогда не происходившему состязанию Ахиллеса и черепахи, формальному доказательству regressus in infinitum [1] — и приходит

[1] Возвращение к бесконечному *(лат.)*.

к выводу, что оно «чудовищно» (если воспользоваться его излюбленным прилагательным): «Существует понятие, искажающее и обесценивающее другие понятия... речь идет о бесконечности... Нам (неразличимому разуму, действующему в нас) пригрезился мир. Мы увидели его плотным, таинственным, зримым, протяженным в пространстве и устойчивым во времени; но стоило допустить в его здании узкие и вечные щели безрассудства, как стало понятно, что он лжив».

Борхес не поднимается над иррациональным; он сам захвачен им. На его страсти к знанию лежит отсвет безумия. В «Кафке и его предшественниках» он обнаруживает в разных притчах и историях Зенона, Хань Юя, Кьеркегора, Броунинга, Блуа и лорда Дансейни предвестье манеры Кафки. Он приходит к выводу, что каждый писатель сам создает своих предшественников: «Написанное им преображает наше понимание прошлого, как преображает и будущее». Это довольно рациональное суждение принадлежит Т. С. Элиоту, на которого Борхес ссылается в сноске. Но сам Борхес идет дальше: «При этом не имеет значения, идет ли речь об одном человеке или о нескольких». Эта фраза, мне думается, выражает не столько мысль, сколько ощущение Борхеса. Это смешение отчужденности и экстаза пребывания вне времени Борхес описывает в своем самом честолюбивом эссе, «Новое опровержение времени». Именно благодаря этому ощущению он понимает человеческую мысль как продукт единого разума, а человеческую историю как огромную магическую книгу, которую можно читать на манер каббалистов. Он высоко оценивает фантастические рассказы раннего Г. Дж. Уэллса, утверждая, что «они, подобно образам Тесея или Агасфера, должны врасти в общую память рода человеческого», и надеясь, «что они будут размножаться в пределах своей сферы и переживут и славу того, кто их написал, и язык, на котором были написаны».

Как литературного критика Борхеса отличают тонкий ум и умение чувствовать. Американскому читателю этих эссе будет приятно увидеть, какое большое место в них уделено англоязычным писателям. Борхеса, следующего испанской литературной традиции красноречия, привлекают сновидческая и галлюцинаторная особенности североамериканского, немецкого и английского письма. Он ценит Готорна и Уитмена за явную нереальность их творений и испытывает особую нежность к английским писателям своего детства. Гиганты fin-de-siècle и эпохи короля Эдуарда, чья слава уже несколько поблекла, всякий раз заново потрясают Борхеса, когда он перечитывает их:

«Читая и перечитывая Уайльда, я заметил факт, кажется, упущенный из виду самыми ярыми его приверженцами. Простой и очевидный факт состоит в том, что соображения Уайльда чаще всего верны... Он... остался человеком восемнадцатого столетия, снисходившим порой до игры в символизм. Как Гиббон, Джонсон или Вольтер, он был остроумцем, наделенным, кроме того, чрезвычайной здравостью суждений».

Восхищенные высказывания Борхеса о Шоу и Уэллсе были цитированы выше. К слову об Уэллсе и Генри Джеймсе. Благотворным потрясением было обнаружить, что оценка этих писателей Борхесом обратна общепринятой: он пишет о «печальном и безысходном, как лабиринт, Генри Джеймсе», которого считает «куда более сложным, чем Уэллс, хотя и гораздо меньше наделенным теми замечательными добродетелями, которые принято соединять с классикой». Но из писателей этого поколения для Борхеса нет никого дороже, чем Честертон, в котором он прозревает под внешним доктринерским оптимизмом характер, схожий с Кафкой: «Честертон стремился не быть Эдгаром Алланом По или Францем Кафкой, однако что-то в замесе его «я» влекло его к жути — что-то загадочное, неосознанное и нутряное. Честертон... не потерпел бы обвинения в том, что он мастер кошмаров... тем не менее он неотвратимо предается чудовищным предположениям». Многое в творчестве Борхеса, напоминающее Кафку, на самом деле унаследовано от Честертона. И как критик, и как художник он служит связующим звеном между постмодернистским настоящим и красочными, щедрыми, отринутыми премодернистами.

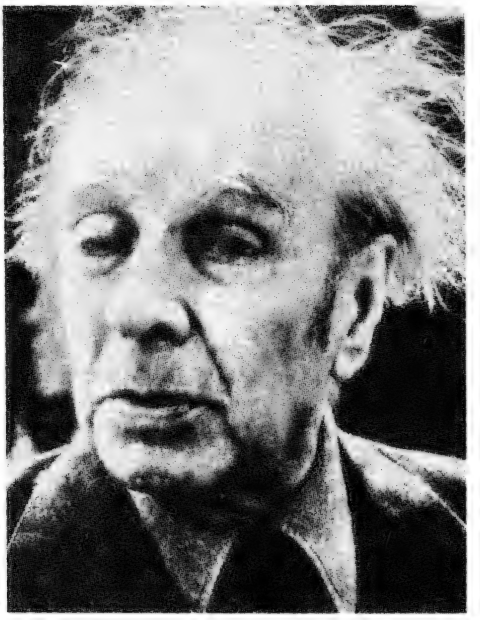
О самих модернистах, об Йейтсе, Элиоте и Рильке или Прусте и Джойсе он, во всяком случае в «Новых расследованиях», говорит мало. Паунд и Элиот, замечает он мимоходом, «свободным переплетением анахронизмов» «пытались создать иллюзию вечности» (что если и справедливо, то не так уж существенно), а Валери восхищает Борхеса не столько своим творчеством, сколько как личность. Валери, по словам Борхеса,— «символ человека, бесконечно внимательного к любым мелочам» (это уже похоже на восхваление). Эти эссе изобилуют вставными тонкими изречениями: «Бог не должен быть богословом»; «юмор... исключительно искра, блеснувшая в разговоре, а не пассаж, закрепленный на письме»; «влюбиться — значит возвести на пьедестал бога, склонного к ошибкам». Но их тексты не носят

просветительского характера. В то время как, скажем, довольно экспериментальные суждения Элиота вносят некую новизну в традицию литературной критики, непроницаемые построения Борхеса кажутся эксцентричными особенностями самой традиции. Его эссе я бы назвал запечатанными. К ним применимо борхесовское определение стихотворений Кеведо: «вещи из слов». Они построены как лабиринты и, подобно зеркалам, отражаются одни в других. Часто повторяются прилагательные или фразы, излюбленные Борхесом характерные выражения, определяющие тайну, загадку или «сокровенное незнание». Из огромного круга чтения им выделены немногие обжигающие мысли. Те же самые притчи, те же цитаты встречаются снова и снова; пространный пассаж Честертона повторяется трижды.

То, что в одном месте появилось как фраза: «Одна литература отлична от другой, предшествующей или последующей, не столько самим текстом, сколько манерой прочтения», в другом вырастает в рассказы — «Пьер Менар, автор Дон Кихота», где современный автор реконструирует «Дон Кихота» и, несмотря на то, что оба текста совпадают буквально, они читаются совершенно различно. Судя по интервью, которое Борхес дал в 1960 году в Буэнос-Айресе, этот рассказ был написан самым первым. Широко известный поэт и критик, он обратился к беллетристике с робостью. Вот что он сам говорит об этом:

«Я знаю, что рассказы — наиболее ценная часть моих литературных трудов, однако в течение многих лет я не отваживался их писать. Я думал, что рай беллетристики закрыт для меня. Однажды со мной произошел несчастный случай. Я оказался в больнице, где перенес операцию. Не знаю, расстался ли я окончательно с этой эпохой, со временем, о котором я не могу вспомнить без содрогания, с бессонницей, жаром и ужасной неуверенностью. Если бы после операции и невероятно долгого выздоровления я решился бы написать стихотворение или эссе и они бы не удались, я бы убедился, что утратил способность мыслить. Я решился попробовать нечто другое, сказав себе: «Я напишу рассказ, и если ничего не получится, это ничего не будет значить, потому что никогда прежде я рассказов не писал. Так или иначе, это моя первая попытка». Так я начал писать рассказ... Он получился, за ним последовали другие... и я понял, что не потерял способности мыслить и что теперь я могу писать рассказы. С тех пор я написал их довольно много».

...Напряженность, скопившаяся на



полях уже написанных книг Борхеса, требует чистых страниц; сквозь тексты его эссе можно разглядеть неистовое воображение автора и его гордую, стоическую, едва ли не жестокую мужскую натуру.

«Dreamtigers», собрание заметок, очерков, поэм, апокрифических цитат, по-испански носящее название «El Hacedor» («Создатель»), хронологически следует за периодом создания беллетристических произведений, которым, в свою очередь, предшествовало появление эссе. Это, откровенно говоря, литературная смесь, написанная старым человеком, с нежностью посвятившим книгу умершему недругу, поэту-модернисту Леопольдо Лугонесу, который, как и Борхес, в свое время был директором Национальной библиотеки.

«Гул площади остается позади, я вхожу в библиотеку. Кожей чувствую тяжесть книг, безмятежный мир порядка, высушенное, чудом сохраненное время... Размышления обрываются у дверей его кабинета. Вхожу, мы обмениваемся условными теплыми фразами, и вот я дарю ему эту книгу... Все это выдумали моя самонадеянность и тоска. Верно (думаю я), но завтра наступит мой черед, наши времена сольются, даты затеряются среди символов, и потому я не слишком грешу против истины, представляя, будто преподнес ему эту книгу, а он ее принял».

В эпилоге повторяется то же предчувствие собственной смерти:

«В жизни моей было прочитано много книг, а событий случилось немного. Вернее сказать: немного более достойных памяти, чем философия Шопенгауэра и музыка английской речи».

...В совокупности стихи и проза сборника «Dreamtigers» проливают некоторый свет на самые сокровенные стороны личности Борхеса: его религиозные воззрения и его эмоциональную жизнь. Физическая любовь, если она вообще появляется в его произведениях, кажется далекой, наподобие древней религии. «[Шекспир] решил, что достигнет цели, исполнив простейший обряд человеческого общежития, и в долгий июньский день принял посвящение в объятиях Анны Хэтуэй». И Гомер вспоминает, как «в сумрачном подземелье его ждала женщина — первая, ниспосланная ему богами, а он искал ее по галереям, похожим на каменные силки, и лестницам, уходящим во тьму». В «Dreamtigers» два стихотворения посвящены женщинам — Сусане Сока и Эльвире де Альвеар,— но оба представляют собой панегирики, выдержанные в тоне высокопарной привязанности, и ничем не отличаются от стихов, посвященных друзьям-мужчинам, скажем, Альфонсо Рейесу и Маседонио Фернандесу. Это диаметрально противоположно гомосексуальности; женственность, с которой поэт ни в коей мере не идентифицируется, ощущается как нечто отдаленное, принадлежащее другой, не мужской, вселенной. У Борхеса есть два очерка, которые, будь они написаны другим автором, были бы окрашены некоторой эротической теплотой и женственностью. В одном Борхес пишет о Хулии, «всегда грустной» девушке с «подобранной фигуркой», в которой он чувствовал «какую-то, совсем не похожую на страсть, силу». Прогуливаясь с нею вместе, ему как-то пришлось рассказать ей о зеркалах, «вызвав позднее, в тридцать первом, настоящую галлюцинацию». Борхес понимает, что она больна: вместо своего отражения в зеркале она видит его. В другом он пишет о Делии Элене Сан-Марко, с которой расстался как-то на перекрестке, их разделила «река людей и машин». Больше они не виделись, а через год она умерла. Вспоминая обыденность их прощания, Борхес делает вывод, что все мы бессмертны. «Ведь если души не умирают, в их прощаниях и впрямь неуместен пафос».

Неверно было бы видеть в Борхесе писателя-атеиста. В своих произведениях он часто обращается к Богу, и далеко не всегда иронически или, напротив, как человек, признающий многих богов.

> Бог создал сны, дарящую во мраке
> Ночь и зеркал немые отраженья,
> Давая нам понять, что мы — лишь тени.
> Лишь прах и тлен...

Он всерьез мечтает о бессмертии. Смерть — это «зеркало, где никого не увижу или увижу другого». Одна из множества интересующих его тайн — это все, касающееся Христа, и его трогает, что «профиль еврея, встреченного сейчас в подземке, мог принадлежать Спасителю; руки, совавшие из кассы сдачу,— те же, которые римский солдат пригвождал к кресту». Но мы чувствуем, что он принимает эти возможности почти кощунственно; для него они отделены от содержательной и этической сторон исторического христианства. Он отказывается от мысли о загробной жизни: «...как перестали бы доверять всепониманию Бога, который поддерживал бы рай или ад». Он вспоминает о христианской апологетике для оправдания странностей своего рассуждения. Он пишет: «Те, кто заранее отвергает все сверхъестественное (я всегда считал себя принадлежащим к этой корпорации)...» Поскольку христианство в Борхесе не умерло, оно спит в нем, и его сон прерывист. Борхес привержен дохристианскому героизму, стоицизму, «учению Стои и сагам Севера», суровым повадкам гаучо, отображенным в аргентинской народной поэме о Мартине Фьерро. Борхес как бы до-христианин, а память о христианстве наполняет его предостережениями и ужасом. Он европеец во всем, кроме отстраненности, с которой рассматривает европейскую цивилизацию как нечто совершенно чуждое — нагромождение реликвий, вселенную книг, от которой нет ключа. Эта отчужденность, возможно, частично объясняется географической отдаленностью. Извилистыми путями он каждый раз возвращается сквозь пространство и время домой:

> Я, родина, искал тебя в руинах
> Окраинных бездонных вечеров,
> В репье, ветрами пампы занесенном
> На лестницу...
> . . . . . .
> В двуцветном флаге над щипцом
> казармы,
> В заношенных легендах о ноже
> И винной стойке, в тысячах закатов,
> Ушедших и осиротивших взгляд.

Возможно, Латинской Америке, уже давшей нам абсолютный скептицизм Машаду де Ассиса, предназначено возродить образцы мышления античной Греции. Борхесовское ненасытное и в какой-то мере праздное чтение, его экуменическое, сомнительное и неутешительное богословие, стремление решить заново самые простые, казалось бы, философские вопросы, его терпимость к собственным и чужим суевериям, его робкая и печальная благодарность женщине и его равнодушие к миру психологическому и социальному, где женщина властвует, его почти восточная скромность, одиночество, венчающее его жизнь, его

скромная гордость — все это созвездие стоических достоинств, нашедших отражение в южном полушарии, кажется извращенным и пугающим.

...Вершина творчества Борхеса — его короткие рассказы. Заканчивая обзор книг Борхеса, я хотел бы рассказать о двух моих любимых рассказах.

«Ожидание», рассказ из второго его большого сборника — «Алеф», переведен Джеймсом Э. Ирби и опубликован в книге «Лабиринты». Это редкость среди борхесовских œuvre — рассказ, где не случается ничего невероятного. Один бандит спасается от мести другого в северозападной части Буэнос-Айреса. После нескольких недель одиночества и безвестности он обнаружен и убит. Эти события описаны во всех подробностях обыденной обстановки. Назван даже номер дома, где живет герой (4004 — Борхесова формула безмерности), детально описано близлежащее окружение.

...Внутреннее действие рассказа состоит в превращении полностью лишенного воображения героя в волшебника. Перечитав рассказ, чувствуешь, насколько тщательно подготовлено это превращение. Рассказ представляет собой замечательную движущуюся вереницу теней; а самые лучшие среди них те, что были упомянуты выше, оказавшиеся убийцами,— «(в его кошмарах они виделись отчетливее)». Скобки, разумеется, заключают философский момент: здесь неопределенность реальности противопоставлена относительной ясности и простоте того, что представляет себе наш разум. Это противопоставление так же четко прослеживается на реалистическом уровне рассказа, где описана погода, рассветный час, атмосфера комнаты, ощущения проснувшегося, угроза и решительность вошедших, стоявших «понурившись, будто под тяжестью оружия». Идя от искусственной реальности гангстерских фильмов и романов и вплетая в структуру сюжета свое сверхтонкое ощущение нереальности, Борхес изобразил жестокий эпизод из жизни преступного мира в каком-то отношении убедительнее, чем Хемингуэй. Все помнят, что в «Убийцах» Оле Андерсон тоже отворачивается к стене. Вряд ли Борхес намеревался дать свой вариант хемингуэевской классики. Если же намеревался, то его высокое сочувствие и глубочайшее внимание к второстепенным явлениям обогатили тему. В эссе о Готорне Борхес говорит, что аргентинская литература склонна к реализму; его собственное богатейшее воображение привито к родному стволу.

Рассказ «Вавилонская библиотека» из сборника «Вымышленные истории» полностью фантастичен, но опирается на опыт библиотекаря. Каждый, кто бывал в книгохранилище большой библиотеки, легко узнает эмоциональную атмосферу, утомительное ощущение неисчерпаемого и механически упорядоченного хаоса, образующего Борхесову мифическую вселенную, состоящую из огромного, возможно, бесконечного, числа шестигранных галерей с широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами. В каждом шестиграннике двадцать полок, на каждой полке тридцать две книги, в каждой книге четыреста страниц, на каждой странице сорок строчек, в каждой строке восемьдесят букв. Почти всегда эти буквы расположены хаотично и беспорядочно. Безымянный рассказчик «Вавилонской библиотеки» развертывает перед нами историю философских спекуляций, предпринимаемых людьми, которые живут в этом неколебимом и непостижимом космосе, снабженном для их удобства спиральными лестницами, уборными и лампами («Неяркий свет, который они излучают, никогда не гаснет»).

Чудовищная и в то же время комическая модель Вселенной содержит полный спектр философских школ — идеализм, мистицизм, нигилизм.

...Аналогии с христианством изобретательны и не содержат наскучившей сатиры. Рассказчик поверяет нам: «Мне не кажется невероятным, что на какой-то книжной полке Вселенной стоит всеобъемлющая книга; молю неведомых богов, чтобы человеку — хотя бы одному, хоть через тысячи лет! — удалось найти и прочесть ее». Но самого его утешает лишь «изящная надежда», что, если пуститься в путь в каком-либо направлении, по прошествии веков можно убедиться, что книги Библиотеки повторяются в том же беспорядке, который, будучи повторенным, становится порядком. А вокруг в непостижимом хаосе проглядывают лишь крохотные искорки смысла, сочетания букв: «О Время, твои пирамиды», «Причесанный гром» или «Гипсовая судорога».

Такого рода сочетание юмора и отчаяния, тема оправдания и недосягаемости напоминают Кафку. Но «Замок» гораздо человечнее, это книга более личная и невротическая; фантастический мир вымысла Кафки — это отражение тревог героя-рассказчика и без него не обладает связной структурой, не несет сообщения. Вавилонская Библиотека, напротив, несокрушима. Научно, математически сконструированная, она, безусловно, переживет и слабый голос

рассказчика, и всех своих библиотекарей, число которых уже уменьшилось в результате, как мы узнаем из сноски, «самоубийств и легочных заболеваний». Мы движемся вслед за Борхесом по ту сторону психологии, по ту сторону человеческого и сталкиваемся в его произведении с миром атомизированным и пустым. Возможно, со времен Лукреция не было поэта, в такой мере ощущающего человека случайностью космоса.

Как мы должны понимать его? Можно только восхищаться и стремиться превзойти сжатость его прозы, тонкость его образов, смелость его мысли. Подхватывая последние отзвуки чудесного в английской литературе у Уэллса и Честертона, позволив бесконечности наполнить и преобразить свою фантазию, он вознес вымысел высоко над землею, где до сих пор разыгрываются и наши романы, и короткие рассказы. Тем не менее, устрашающе обширные области истины остаются за гранью его видения. Хотя население Библиотеки каким-то образом пополняется и «естественные потребности» предусмотрены, нет упоминания ни о еде, ни о совокуплении — да и в самом деле, о них нечасто говорят в библиотеках. Я ощущаю у Борхеса удивительный подтекст: нереальность естественных наук и бессмысленно повторяющаяся история превращают мир за стенами библиотеки в необитаемый вакуум. Литература — это европейская империя, приумноженная за счет переводов из отдаленных королевств, это сейчас единственный мир, который в состоянии приютить и поддержать новую литературу. Разве это так уж удивительно? Разве Элиот не рекомендовал сорок лет назад, в критической статье об «Улиссе», чтобы новые романы пересказывали старые мифы? Разве величайший из современных романов, «В поисках утраченного времени», не посвящен писательству как таковому? Разве не написано множество книг как варианты на темы Гомера и Библии? Разве Сервантес не перелагал Ариосто, а Шекспир — Холиншеда? Борхес намеренно доводит эти намеки до логической крайности: взгляд на книгу как, в целом, на произведение дублирующее, не имеющее границ, податливое, полное ярких красок, изобилующее тайнами, возможно, священное. Как человек создал в городах свое окружение, границы, проблемы и враждебность которого заслоняют естественный мир, так и писатель создает поддельную вселенную, способную поддерживать жизнь. Действительно, традиционный роман как прозрачная имитация человеческого окружения имеет вид «не то усталый, не то расстроенный». Хотя скрытое сообщение Борхеса может казаться ироничным и кощунственным, структура и метод его произведений, совершенно неподражаемые, отвечают глубокой потребности современной литературы — потребности поверить в реальность вымысла.

Перевод с английского
В. КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ

■

НОРМАН О. БРАУН

ДИОНИС В 1990 ГОДУ [1]

Размышляя сегодня о крахе «реального социализма» и не соглашаясь с теми, кто говорит о триумфе либерального капитализма или о «конце истории», мы неизбежно оказываемся перед вопросом: какими должны быть основания постмарксистской политэкономии будущего? Означает ли очевидный триумф капитализма, что потребление пришло наконец в оптимальное сочетание со способностью капитализма производить товары, или нам необходимо заново определить, в чем на самом деле состоят потребности человека?

В моей первой, пожалуй, слишком смелой, но не очень зрелой постмарксистской работе «Жизнь против смерти» (1959) я полагал, что найду у Фрейда то, чего недоставало у Маркса. Во фрейдовском анализе патологических влечений я усматривал тогда основу для постмарксистской критики капитализма. В 15-ой главе «Презренный металл» речь шла об удивительном открытии Фрейда, объяснившего любовь к деньгам анальной регрессией. Из моего марксистского прошлого я вынес здоровое предубеждение против накопительства. Представьте же себе мой восторг, когда я наткнулся на статью Шандора Ференци «Онтогенез любви к деньгам», которая заканчивалась бессмертной фразой: «Суммируя все сказанное выше, можно заключить, что деньги — это всего лишь лишенное запаха, высушенное, доведенное до блеска Дерьмо». «Всего лишь» — это преувеличение меня совершенно подкупило. Позднее у Теодора Адорно мне попалась эпиграмма: «В психоанализе истинны только его преувеличения». Теперь эта фраза представляется мне краеугольным камнем дионисийской эпистемологии.

Мой поворот к Фрейду оказался необратимым: удивительно, однако, куда он меня завел. Моя книга «Тело любви» (1966) начинается словом «Фрейд...» и оканчивается словами «...ничего кроме поэзии». Похоже, что сознательная переориентация на Фрейда привела в конце концов к сокрушительному обвалу категорий традиционной рациональности (подчинившей себе и Маркса и Фрейда), к той осыпи всех опор рационализма, которую Ницше окрестил «дионисийством». Уже в последней главе «Жизни против смерти», не вполне отдавая себе отчет, что за этим стоит, я говорил о «дионисийском сознании» как о «возможном выходе».

Что же в действительности означает изменить Фрейду (или Марксу) и встать под знамена Диониса? Прежде всего, это предполагает отказ от псевдонаучной позы, от клинической отстраненности, исчисляющего рационализма. Это предполагает признание того, что безумие — универсальное состояние, а не отличительный признак особого «класса» сумасшедших.

В самом деле, безумие — феномен не столько индивидуальный, сколько общественный, ибо все мы узники одного корабля, части единого тела. Безумие вплетено в ткань жизни, и, чтобы жить с ним, мы должны полюбить его. Оттого-то и следует воздавать ему почести, славить его как божество. «Величайшие для нас блага,— говорит Сократ в «Федре»,— возникают от безумия, при условии,— прибавляет он,— что оно дается нам от бога».

Итак, «Дионис, божество безумия,— он же и смерть» (Гераклит). С тех пор, как я впервые прочел «По ту сторону принципа наслаждения» Фрейда, мною овладела мысль, что Жизнь и Смерть, Эрос и Танатос — ключевые понятия для размышлений о человеческом поведении и о «психоаналитическом смысле истории». Вместе с тем мне уже давно было очевидно, что на столь глубоком уровне понимания, где оно обретает форму мифа или метафоры, фрейдовскую «теорию инстинкта», необходимо подвергнуть мифологизации в терминах дионисийства, точнее, в терминах диалектики инстинкта, а не его дуализма. Иначе говоря, мифологизации по Гераклиту, а не по Эмпедоклу. Упрямо и до конца настаивая на «дуалистической теории, в соответствии с которой инстинкт смерти, раз-

© 1991 by The Regents of the University of California.

[1] Из книги «Apocalypse and/or Metamorphosis».— Los Angeles — Oxford, 1991. В основу текста положена лекция, прочитанная в калифорнийском университете Санта-Крус 3 октября 1990 г.

рушения и агрессии всегда сосуществует с Эросом», Фрейд с готовностью возвращается под сень мышления досократиков и даже указывает своего прямого предшественника — Эмпедокла, понимавшего мир как непрерывную битву, в которой два вечно конфликтующих начала, Philia, Дружба, и Neikos, Вражда, попеременно одерживают верх друг над другом.

Таким образом, по милости любви и смерти мы снова оказываемся в мире, рождающем праметаформы. Выбор между Жизнью и Смертью, между Гераклитом или Эмпедоклом вновь становится жизненно важным, повернувшись новой гранью сегодня, в 1990 году. Только теперь — это весь мир, возбужденный явлением дионисийских ростков новой жизни в Восточной Европе, повторяющей по-новому и в более широких масштабах западноевропейские дионисийские игрища 1968 года,— уже «скоро, совсем скоро,— гудит хор в «Вакханках» Еврипида,— весь мир затанцует».

Только в 1990 году впервые было расслышано свидетельство нашего собрата, такого же странника на Дионисовых путях, Жоржа Батая. Батай оказался настолько безумен, что еще в 1947 году предложил дионисийскую интерпретацию другого поворотного момента в истории XX века. «Трумэн, казалось, вслепую творил предназначенное — во исполнение последнего потаенного апофеоза. Скажут, что только сумасшедший может вычитывать такие смыслы в планах Трумэна и Маршалла. Но я и есть сумасшедший».

Мастерски используя подходящий к случаю запрещенный прием, Батай дарит нам ценное свидетельство, подтверждающее необходимость переоценки фрейдистской революции с позиции дионисийства. В его рассуждении одинаковую важность обретают и стиль, и идеология, и предмет.

В 1939 году, когда всю жизнь сопровождавшее его навязчивое стремление к насильственной смерти очистилось и преобразилось ввиду разразившейся войны, Батай пишет «Ликование перед лицом Смерти» с характерным эпиграфом из Ницше «И все это — я, и таким я и останусь: голубь, змея и свинья», с заключительной «Медитацией по Гераклиту», открывающейся словами «Аз есмь война»,— и этот манифест с беспримерной непринужденностью и легкостью охватывает и покрывает то пространство, по которому я с такой мукой полз в свое время в «Теле Любви». Как тут не вспомнить цитату, которой Фрейд заключает «По ту сторону принципа наслаждения»: «Хромая, мы должны дойти туда, куда не можем долететь».

Батай помог мне заново сформулировать, в чем состоит различие между дуализмом Фрейда и (дионисийским или гераклитовым) принципом единства противоположностей. И Батай, и Фрейд идут вспять, снова оказываясь в поле досократовских мифологем, оба вынуждены заново повествовать о происхождении жизни — затем, чтобы объяснить феномен избыточной сексуальности человека, чтобы придать необходимый вес и значимость разнообразным и загадочным, подчас внушающим страх явлениям, объединяемым под именем мазохизма.

Фрейд формулирует суть своего учения в поистине досократовском афоризме: «Целью жизни является смерть». Он строит миф о происхождении жизни как о возбуждении изначально гомеостатического состояния материи; того самого уравновешенного состояния, к которому все формы материи, живой и неживой, затем стремятся вернуться. Подчеркивая и выделяя значение энтропии, «стремление одушевленной материи вернуться в неодушевленное состояние», Фрейд возводит ее в космический принцип. Важность энтропии подкрепляется определением принципа наслаждения с точки зрения потребности в сохранении гомеостаза: «Удовольствие определенным образом связано с уменьшением, понижением или полным уничтожением существующего количества возбуждения... в психическом аппарате...». Очевидно, что все формы активного (до буйства) или чрезмерного удовольствия он отвергает как непродуктивные или патологические. Добрый буржуазный принцип самосохранения, милый разумный аполлонический принцип умеренности — вот что ставит он во главу угла. В этом, как осознал впоследствии сам Фрейд, и состоит ирония: принцип удовольствия, которому Лукреций поклонялся как dux vitae, водителю жизни, поставлен на службу инстинкту смерти. Он превращается, по словам Фрейда, в принцип нирваны, нивелирующий жизненную энергию, сводящий ее по возможности на более низкий уровень. В основе такого представления лежит характерная для XIX века фиксация на различии между одушевленной и неодушевленной «материей», усугубленная характерным для fin de siécle общим разочарованием в жизни и травматическим опытом первой мировой войны.

> Наигравшись, усни. Наскитавшись в морях, возвращайся.
> После битвы — покой, после жизни успение — счастье.

Фрейд считал, что совершает коперниканскую революцию, демонстрируя,

что человеческое «я» не является хозяином в собственном доме. Однако революция эта остается незавершенной, покуда мы не подчиним «я» другому хозяину, дионисийскому началу — чрезмерности: Ницше называл это «опьянением». И нужно было, чтобы пришел Батай, безумец и распутник, и бросил вызов гомеостатическому принципу наслаждения, дав иное определение жизни и наслаждению. Следуя линии Гераклита, Батай говорит, что человек страдает не от необходимости подавлять стремление к смерти, но от избытка жизни. Вот где начинает работать дионисийский принцип чрезмерности, блейковский принцип изобильности. Сам принцип наслаждения заключает в себе противоречие: нет такой вещи, как до-вольство, полное насыщение воли, достаточное количество. Напротив, есть врожденное стремление к излишеству, превозмоганию (горению), преувеличению. Поэтому в конечном счете нам не остается ничего, кроме поэзии. Нельзя жить, не предаваясь воле воображения, не приукрашивая жизни, которая, в свою очередь, изобильна и своевольна. Способность воображения идет не от помрачения ума, а служит проявлением одного из фундаментальных принципов мироустройства...

Фрейд в свое время рассматривал возможные способы распределения и расходования сексуальной энергии на примере функционирования классического (замкнутого) экономического строя. Батай добавляет к этому еще энергию биологическую, солнечную, космическую, и также — ту взрывную человеческую энергию, которая движет развитием экономики и заставляет человечество последовательно продвигаться от палеолитического собирательства к промышленной революции прошлого столетия, и к тому, что за этим последует в будущем. Движение энергии на поверхности земли — в формах, относящихся к политэкономии или геофизике, социологии, истории или биологии,— все это манифестация того вселенского брожения, фонтанирующего изобилия, которое следовало бы чтить как божество, и даже славить как Бога. Перед лицом вызывающих священный ужас явлений сама наука становится религиозной.

> В убожестве кельи, постигнув Фавора свеченье,
> Огарок задул метафизик и бросил ученье.

В полном согласии с «Телом Любви» и с пренебрежением ко второму закону термодинамики Батай усматривает в гераклитовом огне совершенную метафору вселенского единства — вечного творения и вечного разрушения — блейковского тигра, огнем объятого. Не могу удержаться, чтобы не процитировать здесь сочинения, перед которым преклоняюсь: «Природа — гераклитов огонь, утешительный, как Воскресение». Его автор, Джерард Мэнли Хопкинс, иезуит и поэт, единым мановением уничтожает пропасть между христианством и досократовским язычеством. Гёте, светлейший гений «западной цивилизации», писавший в духе (и в подражание) одного из величайших гениев ислама, суфия Хафиза из Шираза, дионисийца, певца опьянения и неукротимой страсти, враз преодолевает в своем «Западно-восточном диване» расстояние между «Востоком» и «Западом»:

> Все живое я прославлю,
> Что стремится в пламень смерти.

Певец жизни, тоскующий по смерти в огне, Гёте — суфий, Гёте — ученый. Любовь — это огонь; поэтому Рай и Ад суть одно и то же. Сатана — первородный суфий, матрица идеального монотеиста, взыскательный любовник. Проклятый Богом, он облачается в проклятие как в ризы радования, предпочитая вечное разделение, согласно воле своего возлюбленного, тому союзу, к которому стремится его сердце. Почему же так редко встречается эта мистика, это дионисийство,— то, что Батай называл «апофеозом мимолетности», а Гёте — «законом Stirb und Werde», умирания для того, чтобы жить?

Заслуга Батая состоит в том, что он показал связь между мистикой и экономикой. В 1949 году, в своей работе «Проклятая часть», он обозначил контуры постмарксистской политэкономии, нужду в которой мы ощутили так остро только теперь. В действительности, основные идеи были опубликованы им даже раньше — в небольшой статье «Понятие потребления», вошедшей в антисталинский марксистский журнал «Критик сосиаль», издававшийся Борисом Суварины в 1933 году.

В предпринятом Батаем анализе понятия стоимости ключевым моментом стало смещение традиционной марксистской концепции «прибавочной стоимости» благодаря соединению ее с дионисийской концепцией жизни как избытка энергии во Вселенной. Прежде всего, ревизии подверглось само понятие «излишков»: если мы не делаем различия между необходимым расходом и расходом избыточным, расточительством, если существует прямая необходимость расточительства, что же можно считать «излишком», «прибавочной стоимостью»? Таким образом, в фокусе

внимания оказывается не способ производства, а способ непроизводительного расточительства, т. е. никакой нуждой не обусловленное, буйное, неистовое потребление.

Подобная точка зрения освобождает нас от необходимости считать «рост» самоочевидной целью развития любой экономической системы; а также — от необходимости рассматривать «спрос», т. е. озвученные рынком желания, как безусловный индикатор истинных потребностей человека. Ящик Пандоры оказался открыт. Впрочем, он всегда был открыт: просто мы закрывали на это глаза. Но отныне мы не можем пользоваться моделью Маркса, где «базис», движимый в своем развитии экономической и технологической необходимостью, противопоставлен «надстройке», выражающей интересы правящего класса. То же самое относится и к философии истории, где Маркс исходит из разделения классов на те, которые производят прибавочную стоимость, и те, которые играют в игры: в войну, религию, искусство. Батай демонстрирует, что социальная структура вообще создана для игр, а не для производства. И если Фрейду повсюду мерещился компромисс вечно враждующих Танатоса и Эроса, то Батай полагает, что Танатос и Эрос — одно целое.

Опираясь на анализ частного случая, Фрейд извлек из темноты человеческое бессознательное, препарировал иррациональные движения души. Батай делает выводы о происхождении и функционировании социальности на основе анализа церемонии одаривания, potlatch.

«Потлач — от potlatch (дарение) — праздник, праздничная церемония индейцев северо-западного побережья, которая проводится для демонстрации богатства и повышения социального статуса. Устраивающий празднество энергично и изобретательно уничтожает свое имущество и одновременно богато одаривает всех присутствующих, что предполагает в будущем ответные дары, превосходящие нынешние».

Впервые церемонию потлача описал в конце XIX века Боас. Затем в 1920-е годы Марсель Маусс увидел в ней трансформацию архаического акта одаривания, к которому прибегали первобытные люди для установления отношений взаимопомощи и солидарности, служившего, по его мнению, прототипом современной контрактной системы.

Развивая идеи Маусса, Леви-Стросс в 1940-х годах рассмотрел системы табу, связанные у примитивных народов с установлением интимных и родственных отношений, и пришел к выводу, что все они основывались на первобытной практике предлагать в подарок женщин. В 1970-е годы Маршалл Салинз опубликовал книгу «Экономика каменного века», где концепция Маусса была несколько модернизирована и адаптирована к системе англо-американской антропологической школы. Все интерпретаторы усматривали в первобытном институте одаривания организующий принцип человеческого общежития. Вместе с тем его противопоставляли современной контрактной и товарообменной рыночной практике — эгоистической и накопительской...

Батай полагает, что в ритуале потлача задействована не природная агрессивность, но стремление к смерти — потребность в потере, растрате, подчинении; потребность *жертвовать*, разрушать. Власть — это способность терять. Богатство долго копится, чтобы разом быть принесенным в жертву в самозабвенном соревновании за престиж. Во время потлача вожди готовы расстаться с чем угодно, лишь бы бросить достойный вызов сопернику, унизить его. В результате соперничества ответные подарки становятся все обильнее; чтобы добиться равенства, дарящий должен не только «отдарить» соперника, но и обязать, «связать» его «властью подарка», вынудить к еще большему ответному дару. Экономика, расточительство, сексуальность — все слито воедино в этом обряде.

В одном из племен потлач называли «убиванием богатства». Убивали рабов. Вожди жгли свои хижины. Орнаментированные медные бруски, бесценное сокровище, дробили на куски или сбрасывали в море. Рассматривая этот случай, Батай отмечает безусловное «попадание» психоаналитической интерпретации, открывающей архаическую связь между экскрементами и украшениями, между ценным и бесполезным, между анальным характером и садизмом. В Меланезии даритель, складывая к ногам вождя-соперника бесценные дары, называет их словом, обозначающим экскременты.

Ситуация одаривания превращается в мазохистскую игру с огнем, в русскую рулетку, где на кон ставят состояние или жизнь. В «Фейерверк тщеславия». Рут Бенедикт в книге «Культурные стереотипы» отмечает, что у индейцев северо-западного побережья «манипуляции с собственностью... во многих отношениях выглядят пародией на нашу экономическую систему».

* * *

Сегодня, когда переосмысление экономической теории вдруг стало насущной задачей, Батай подсказывает нам, что корень проблемы — не в производ-

стве изобилия и даже не в его распределении, но в потреблении и в непроизводительном расточительстве. Как нам быть с прибавочной стоимостью, с избытком, который мы производим? Что в действительности человеку нужно?

В «Проклятой части» Батай отходит от традиционного марксистского понимания способов производства. Человеческие жертвы у ацтеков, исламский джихад, медитации буддистов в тибетских монастырях так же, как и потлач — все это равноценные способы «изведения», «проматывания» богатства. Все они демонстрируют связь между необходимостью потребления излишков и религиозными институтами. «Религия — это приемлемый для общества способ потреблять, вернее, уничтожать производимые им излишки». Связь эта знаменательным образом отражается в понятии «жертва» — как будто предполагающем, что единственно правильный способ обращения с нажитым богатством — избавиться от него. Как будто существуют божества, которым оно изначально предназначается. Как будто религия является по существу массовым мазохистским действом...

Капитализм оказался более динамичным, то есть более дионисийским, чем социализм. По самой своей природе он должен время от времени выходить из-под контроля: энергия, бьющая через край, использует любую возможность, чтобы получить прибавочную стоимость. В этом — смысл свободного предпринимательства. Мы можем мазохистски сетовать на действие неподконтрольных нам сил, но саморазрушительный, разорительный процесс будет продолжаться. Смерть и Дионис возьмут свое, хотим мы признавать их власть или нет... Призывы к сдерживанию роста, установлению границ развития тонут в общем разноголосом хоре дионисийского шабаша новых времен. Мы отказываемся признать божественность безумия, тешим себя иллюзией, будто человек — разумное (аполлоническое) существо. Но уже развязаны силы не производства, а разрушения и расточительства, и их не повернуть вспять.

До сих пор остается открытым вопрос, какую пользу нам может принести более трезвый взгляд на природу человека, будь то психоаналитическое восприятие или дионисийское сознание. Излишек, говорит Батай, должен быть истрачен, в согласии с потребностью или вопреки ей, с триумфальным результатом или с катастрофическим. И не так-то просто, что бы там ни думали оптимистично настроенные буржуа и клирики, отделить триумф от катастрофы или уклониться от того и другого, выбрав «комфорт». Наш мир был, есть и будет «огонь неугасимый». Он никогда не станет безопасным, никогда не превратится в пасторальную картинку безмятежности и благоденствия, luxe calme et volupte Бодлера, утопический образ, оживленный Маркузе в его «Эросе и цивилизации». (Отблески этого блуждающего огня упали на страницы последней главы «Жизни против смерти», обезобразив их содержание.) Напряженное противостояние удовольствия и боли — это социальное изобретение, которое стало двигателем экономики.

Однако необязательно питать иллюзии о наступлении мирного или просто «лучшего» будущего, чтобы распознать веления времени, требования, которые к нам в данный момент предъявляет Эрос. Человечество стоит перед необходимостью выработать новый способ потребления, и это опять заставляет нас задавать все тот же вопрос: что же в действительности человеку нужно? Между появлением Фрейда и кризисом капитализма существует скрытая связь. «В сокровенной тишине наливается яростью новая правда» (Батай).

Новая правда, да никтоже ее избегнет, состоит в пришествии расточительных масс, в приходе новой эры, обозначенной Джойсом в «Поминках по Финнегану» тремя буквами: H. C. E., Here Comes Everybody, «Все Уже Пришли». Это — правда идеологии социализма («равнение на массы») и капиталистической реальности. Аскетичные интеллектуалы (и я в их числе), воспитанные на трудах Г. Маркузе, заклеймили массовое потребление как «регрессивную десублимацию», которую якобы контролирует правящий класс с целью «скупить на корню» любое потенциальное революционное выступление. Маркузе, говоря таким образом, мог еще совмещать утопический политический радикализм с сознанием собственной культурной элитарности, ибо святое сердце радикализма нетленно пребывало в великих произведениях искусства.

Однако, когда «Все Уже Пришли», высоколобым интеллектуалам приходится воссоединяться с остальным человечеством. Канцелярская кнопка становится нужна в наши дни не меньше поэзии. Начинается новая эра. Придется нам, как говорил Еврипид в «Вакханках», подчиниться приговору простого человека. Зависимость мировой экономики от массового потребления, вторжение голоса масс, требующих производства потребительских товаров и нарушающих раз и навсегда определенные планы Центрального Комитета,— это самые радикальные, самые веселые со-

бытия из произошедших за последние годы (1988—1990). «А что, те, кто его производят, его не потребляют?» («Поминки по Финнегану»). «Все Уже Пришли», и это значит, что человечество готово оставить детскую эдипову игру так же, как массы славян оставили решать загадку прибавочной стоимости своим хозяевам.

Назревает нечто новое в мировой истории, нечто новое своей апокалипсической новизной. А что, если наши общественные и экономические уклады начнут наконец со всеобщего согласия отражать новое понимание общежития — что все мы члены одного тела? А вдруг мы сможем сообща обратиться к проблеме перепроизводства и потребления излишков? Поскольку не остается иного способа покончить с чудовищной несправедливостью распределения, с бесконечными попытками восстановить каждого в естественных правах.

Любой экономический уклад строится на принципе взаимозависимости. Дионисийская энергия свободного предпринимательства и свободного рынка, церемония потлача у индейцев племени квакиутль — все это брутальные формы взаимозависимости, обратившейся во взаимную агрессию и негативную соревновательность. При таком устройстве жизни единственным выходом для жаждущих самопожертвования становится пристрастие к вредным привычкам, и вся экономическая жизнь начинает волей-неволей концентрироваться вокруг путей наркобизнеса.

Напряжение сил Эроса, перед которым склонялся Фрейд, может создать новые формы индивидуальной щедрости, коллективного выражения радости. Например, такие, каких нам не приходилось видеть со времен постройки собора в Шартре или аббатства на Монт Сен-Мишель. Приношение даров, первичное проявление дионисийской чрезмерности открыто обрело бы наконец возможность явить свою подлинную жертвенность, а не подавлялось бы и не выламывалось, пытаясь приспособиться к тесным узам основного порождения нашего общества — самоутверждения.

Коллективное ликование смогло бы тогда найти выход и выражение в карнавальных феериях, не омраченных обидой угнетенных, возмущением отверженных, осуждением неимущих.

Исключив Бога из системы научного постижения вселенной, изгнав Его из научно управляемой экономики, человечество столкнулось лицом к лицу с малоприятными дионисийскими проявлениями собственной природы. Книга Рене Жирара «Насилие и Священное» (более известная, чем сочинения Батая) предлагает нам заглянуть в уже открытый Батаем ящик Пандоры, чтобы, хорошенько попугав, вернуть в лоно религии; папе Иоанну Павлу II она пришлась по душе.

После того, как Бог умер — тот внешний, потусторонний Бог, которому мы в мазохистском упоении уступили всю славу, повторяя: Non nibis, Domine,— «не нам, Господи, не нам»,— ну не жуткий ли ритуал? После победы в бою армия-победительница ханжески слагает с себя ответственность за братоубийство, утверждая, что то была рука Божия. После того как Бог умер, Любовь призывает нас обратиться к Вещам Этого Мира. К «безусловному великолепию материальных вещей» (Батай). Батай остается верен марксистскому материализму; он размышляет о связи между блейковским Раем и утопическим обетованием заменить «правительство людей» на «правительство вещей».

Любовь призывает нас обратиться к мирским вещам, а капитализм, подобно Богу, производит их в беспрецедентном разнообразии и великолепии. Под их напором рухнула Берлинская стена. В этом неизведанном новом мире массы движутся подобно странникам и поучаются, странствуя. Вещи, удивительным образом отстраненные, становятся тенями. Наука наслаждения, которая, как сказал бы Рескин, не имеет ничего общего ни с наукой производства, ни с наукой накопления, все еще пребывает в будущем.

Батай утверждает, что все сущее существует, чтобы быть потребленным,— мысль трудная для понимания с точки зрения консервативного аполлонического принципа «всего в меру». Мы не умеем потреблять и потому тратим столько энергии на задержание экскрементов или накопление денег. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб...» (Книга пророка Исаии, 55, 2). Наслаждаться — это, собственно, и есть потреблять; потребление есть способ общения существ: истинное потребление неотделимо от дионисийской ярости, «огня пожирающего».

«...Все становится проницаемым, все открывается до конца и в бесконечность между теми, кто поглощает самозабвенно. Но это не имеет значения; ярость высвобождается и гуляет без границ по мере того, как нагнетается жар».

«Образ тигра приоткрывает нам истинную природу того, что такое поедание» (Батай). «...поедать и быть съеденным; это есть единство, поскольку желание выходит за пределы всякой меры» (Рейсбрук Удивительный, фламандский мистик XIV века; но оригинал следует искать у Еврипида. Дионис ест мясо сырым).

Все это метафоры, но они помогают охватить телесность во всем ее многообразии, в той реальности взаимодействия воплощенных жизненных начал, которую заслоняют толпы призраков, шепчущих о наслаждении, о лишенном боли удовольствии.

Метафоры эти касаются и таких «бестелесных» вещей, как книги. Если мы сделаем еще шаг на пути к пониманию, то начнем, вслед за Мильтоном, видеть в общении с книгой прикосновение к Святым Дарам, в постижении прочитанного — потребление драгоценной крови, залога жизни вечной. Сделав еще один шаг, можно усмотреть в таинстве Евхаристии акт каннибализма. Дионисийская мысль отважно берет на себя ответственность за подобную интерпретацию. Книга воспламеняет читающего. Смысл чтения — в новом акте творения, в извержении поэзии; смысл — это всегда прибавочный смысл, экстрагированный излишек: через-чрезмерность, сверх-многочисленность.

Быть — значит быть уязвимым. Батай не заслуживал бы никакого внимания, если бы не пронзил нас насквозь осколками своего дионисийского откровения.

«Рана несовершенства и неполноты открывает меня, вскрывает, выворачивает. В общении друг с другом отдельные существа, обретают жизнь, одновременно ее теряя. Судьба смертных — постоянно балансировать на грани, на краю самих себя. На неровном, рваном краю».

В эротическом мистицизме «Рая и Ада» Блейка Батай находит ключ к созданию новой экономической науки:

«...Везде и повсюду одна часть существ плодоносит, а другая — пожирает, и пожирателю всегда представляется, что плодоносящий содержится у него в цепях, но это не соответствует истине, он поглощает только часть сущего, а ему кажется, будто он может пожрать все.

Но и плодоносящий не был бы плодоносящим, если бы пожирающий не поглощал, подобно морской пучине, все излишки того, что, наслаждаясь, он порождает.

Меня спросят: «Не Единый ли Бог плодоносит?» Я отвечу: «Только в сотворенных существах и человеке Господь действует и пребывает».

И эти два вида людей всегда существуют на Земле, и всегда между ними непрекращающаяся вражда: а кто попробует примирить их, может так разрушить само мироздание.

Религия это попытка примирить их.

Мазохистская любовь к правде выталкивает нас на путь познания, и в конце его нам открывается трудная истина: наш собственный мазохизм. Наука наслаждения — это одновременно и наука умирания (вот этого не знал Рескин). Как наверное сказали бы досократики, общее начало всякой жизни — рост, приводящий к переизбытку, а переизбыток, в свою очередь, приводит к растерзанию и к потере.

> Дай мне в избытке, чтоб от пресыщенья
> Мой аппетит зачах и умер наконец...

Феминизм раз и навсегда осудил Фрейда за то, что тот настаивал на связи мазохизма с женским характером. В мистике и в эротике рана — всегда обозначение женщины. Но можно ли вообще утверждать, что кто-то из нас полон, целостен? У каждого есть своя рана, своя первичная травма. «Рана незавершенности вскрывает меня».

Бодрийар упрекал Маркса в том, что он «фетишизировал» труд, назвав его основным отличительным свойством человека. Можно было бы дополнить эту критику деконструкцией, эротизацией (по Фрейду) самого понятия «труд». Я уже писал о возвращении в мир любования игрой, о «человеке играющем», который преобразует самую природу труда, приводит его в чувство, возвращает к жизни. О том, как близки друг к другу и лексически со-общаются труд, натуга, бремя, потуга, беременность, труд любви и любовь к труду. В игре, в труде женщины обращаются в мужчин, и мужчины — в женщин. Вспомним Джона Донна, «К Возлюбленной, ожидая ее в постели»:

> Так что же, госпожа, Вы медлите у ложа,
> Усердие и страсть ждут своего венца;
> Покуда труд любви не усмирил сердца,
> Агония моя с родильной мукой схожа.

Согласно мистическому учению церкви Моравских братьев, называвших себя Unitas Fratrum, Раны Христа,— это Его лоно, в котором спасенные получат второе рождение. Уроженка г. Вифлиль, штат Пенсильвания, чадо Моравской церкви, Хильда Дилитл (H. D.) оставила в 1911 году все что имела и последовала за Эзрой Паундом. В Европу. В объятия психоанализа. И в Лондоне, в 1943 году, она слушала, как некто читал будто из ее детства:

> Раны Христовы
> Раны Бога
> Раны Красоты
> Раны Благодати
> Раны Нищеты
> Раны Миролюбия...

И это продолжалось без конца. И в этом было то самое одаривание, которое Чарльз Уильямс называет

«щедротами»,— кротость, щедрость, смирение, милосердие — традиционные женские дары. Дары, которые, в свою очередь, делают женщину в патриархальной семье первым, лучшим, самым желанным подарком. Подарком отравленным (вспомним ящик Пандоры). Платон учил, что цель этого — «рождать в красоте». Данте было обещано, что, если он не устрашится зрелища «смертных порываний», ему можно будет присутствовать при успении Беатриче и произнести: «Любовь, Истинный Бог наш, прими душу рабы Твоея, и да исполнится воля Твоя». Как бы в воспоминание о сказанном Девой Марией: «Се, раба Господня; да будет мне по слову Твоему». Душа самого Данте при этих словах должна обрести как бы женские черты, стать матерью Любви.

Здесь, в первой канцоне «Convivio», говорит Чарльз Уильямс, уже содержится мысль о смертном материнстве Бога, развернутая в заключительной части «Рая». Тейяр де Шарден в книге «Вечная женственность» показывает, как далеко может зайти в этом направлении христианская мысль XX века.

Развитие феминистской теории с ее интересом к чрезмерностям, расторжениям, растерзаниям и ранам поставило всех нас, включая самих феминистов, лицом к лицу со смертью. Джессика Бенджамен в книге «Узы любви», сводя воедино рефлексию Батая и «Историю О.», пишет: «Мы — как острова, соединенные, но и разделенные морем смерти. Эротика — опасное путешествие по этому морю».

После Фрейда культуру, во всех ее взаимосвязях и проявлениях, общих и частных, необходимо рассматривать как бесконечный поиск modus vivendi между Танатосом и Эросом. «Эротизм в своей жестокости приводит к нищете, требует сокрушительных жертв». С чем же мы остаемся? Спиноза предостерегает: не осмеивай, не оплакивай, не порицай, но — понимай.

* * *

Политэкономию необходимо дополнить теорией жертвы, причем жертвы священной. Безусловное великолепие материальных вещей доступно лишь новорожденному чувству религиозного восхищения — как у Блейка, утверждавшего, что все живет и все живущее свято. Если массы твердо и сообща обозначат свое присутствие на сцене мировой истории, появится новая религия, и она вытеснит прежнюю, которой заправляли специалисты по части общественного потребления. Вряд ли такой религией станет обожествление Природы. Потребление не может не быть жертвенным, потому что жертва не может не быть кощунственной. Фрейд хорошо чувствовал «противоречивый смысл пра-слов»: слово «sacer» означает и «sacred» (священный), и «accursed» (проклятый). Потому в акте священнодействия должны быть ярость и надрыв, сокрушение всех границ.

«В любой осязаемой реальности, у любого живого существа необходимо найти, где совершилась жертва, где осталась рана. До каждого существа можно дотронуться только там, где оно поддастся и уступит. У женщины это — под платьем; у Бога — на глотке жертвенного животного» (Батай).

Человеческая культура — тоже жертва. Такова правда Актеона: раненый олень прыгает выше других. Культуру создает героическое неистовство. Вспомним жизнь Джордано Бруно или Джимми Хендрикса.

Нам не дано заглянуть в будущее. В нынешней ситуации зрение замутняется новизной чувства и мнимыми развлечениями. Блейк назвал бы их призраками удовольствий. Массы оглушены и ослеплены телевидением, пропагандирующим жизненный стиль богатых знаменитостей, предлагающим призрачное участие в зрелищах расточительства. Массы болельщиков переживают имитированную агонию, вымышленный триумф. Демократия сведена к массовому голосованию за «сделанных» прессой «звезд». Призрачен хлеб, и призрачны зрелища. Невозможно определить, установился ли этот недобросовестный порядок временно, как бы в междуцарствии, или таков конечный выбор. Великий Инквизитор сказал, что зрелища могут насытить. Адепт Диониса считает, что Великий Инквизитор ошибся.

Неизвестно, способно ли море коллективного разума поглотить все индивидуальные эксцессы. Дионисийскому сознанию не нужно ни правящего класса, ни божественного козла отпущения. Оно питается мощью коллективной энергии. Батай считает, что на стадии изобилия христианство остается позади, но Блейку так не казалось. Как утверждал Ницше, центральная тяжба мироздания — это Дионис против Христа.

Сам Батай так и не преодолел зависимость от христианской педагогики в ее отношении к садомазохизму, страдающему слуге. «Я открываю глаза и обращаю взор на мир, в котором я ничего не значу, пока я не ранен, не разодран на куски, не принесен в жертву... и в котором божество, подобно мне, либо терзает нас, либо само раздираемо на части, либо разит, либо само сражено, в котором оно — тоже жертва». Для всех, кро-

ме мистиков, жаждущих совершения в своих телах конечного апофеоза, христианство остается религией замещений, косвенного искупления.

Возможно, что и дионисийские истины человек может воспринять только на дистанции, в проекции, в образе козла отпущения, божественного или человеческого. Реальность может оказаться нам не по зубам. И мы можем, как когда-то Иов, возопить, что она выше нашего понимания.

Дабы созерцать чрезмерное, нужно отождествиться с чрезмерностью жизни во всей полноте. Материалисты должны прийти к пониманию того, что Спиноза называл «интеллектуальной любовью к Богу». Мы не знаем, как далеко род человеческий может в этом подвинуться. Но несомненно был прав Спиноза, соединяя в своей «Этике» мистическое откровение и «необходимый порядок всех вещей природы», и прав стократ, абсолютизируя коммунистический принцип: «Люди, говорю я, не могут желать для сохранения своего существования ничего лучшего, как того, чтобы все таким образом во всем согласовались друг с другом, чтобы души и тела всех составляли как бы одну душу и одно тело...» (Этика, IV, 18).

Однако Спиноза ошибался, считая, что стремление к «совместному существованию» может преобразовать всех в одно мистическое тело. Как сказано в Писании, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Научному воображению философа XVII века было недоступно представление об энергии как о саморазрушающейся, саморастрачивающейся сущности. Все мы участвуем друг в друге. Нас разделяет море смерти, и оно же нас соединяет. В жизни ближнего мы сходим на нет и умираем, в смерти ближнего живем и насыщаемся ею.

Перевод с английского Н. КИГАЙ

■

Ю. КАГРАМАНОВ

КАКОЕ, МИЛЫЕ, У НАС ТЫСЯЧЕЛЕТЬЕ НА ДВОРЕ?

Что понятие энергии выше научного воображения, свидетельствует и то, с какой виртуозностью ведет свою тему семидесятисемилетний (к моменту написания публикуемой статьи) Норман Оливер Браун, один из последних могикан старого, исполненного настроениями «бури и натиска» авангарда. Философ и поэт, в свое время разделивший увлечение левой интеллигенции последовательно марксизмом и фрейдизмом, отстаивает воззрение, которое с небольшой натяжкой можно назвать религиозным и которое сам он определяет как дионисийство.

Известно, что Диониса вызвал из элизиума языческих теней Ницше. Бог вина, «с улыбкой вечного веселья на устах», бог исступленных плясок и «ночных» страстей, как никто другой способен, по мысли немецкого философа, до основания потрясти «духовно омертвелый» (заформализованный, омещанившийся) европейский мир, «царство счастливых пигмеев». Как и вся философия Ницше, возрожденное им дионисийство таило в себе опасности, в полной мере оцененные лишь потомством; что же касается современников, то у многих из них оно породило странное чувство обновления — потому странное, что напоминало о вещах, старых как мир. Вот, к примеру, как об этом писал тогда Вяч. Иванов: «Обаяние Диониса сделало его властителем наших душ и ковачем грядущего... Зазеленели луга под весенним веянием бога... Мы почувствовали себя, и нашу землю, и наше солнце восхищенными вихрем мировой пляски... Мы хлебнули божественного вина, и стали сновидцами».

В вихрях XX века дионисийская тема то слабела, то вновь усиливалась, порою в весьма компрометирующем ее контексте, пока наконец едва ли не вовсе замерла на какое-то время. Но вот наступил 1968 год. Университеты Европы и Америки стали местом совершенно необычного бунта: призванное способствовать приращению наук, студенчество вдруг пожелало сбросить «оковы разума», более того, освободить от них общество. Законом жизни стало для них «безумство желаний», поэзия экстаза, несовместимая с такими скучными вещами, как порядок и мораль. Глядя на них, незримо улыбался древний бог, увенчанный виноградными гроздьями: все основные черты «дионисийского» мирочувствия были налицо —

И беспощадные восторги,
И тёмный гроб земного дня...

Лучше других это понял дотоле малоизвестный, а теперь оказавшийся в числе главных идейных «заводил» «студенческой революции» Норман Браун, утверждавший в своих статьях, что «дионисийство» есть наиболее адекватный термин для выражения «нового стиля чувствований».

«В 1968 году,— писал Браун в 1986-м,— мир был поставлен вверх дном и казалось, что поэтическое воображение может прийти к власти». На деле же в который раз взял верх «принцип реальности». Это, однако, вовсе не означает, что тогдашние студенты потерпели полную неудачу: начатая ими культурная революция за минувшие годы весьма существенно, чтобы не сказать радикально, изменила состав воздуха, которым мы все дышим. Более того, как видно из статьи Брауна, поэтическое воображение «образца шестьдесят восьмого года» и сегодня не отказалось от притязаний, выходящих за сферу культуры.

В 1968-м экстаз претендовал на то, чтобы быть политикой. В 1990-м он стремится стать экономикой.

Подобно Осирису, египетскому предшественнику Диониса, подобно самому Дионису, современный «западный человек» (а в той мере, в какой остальной мир вестернизован, можно сказать также: современный человек) разорван на части. Одна из них живет в «дневном», назовем его так условно, мире, требующем собранности, деловитости, расчетливости. Другая — в «ночном», допускающем и поощряющем индивидуальный каприз, некое духовное бражничество. (Конечно, есть немало людей, живущих только в «дневном» мире, и есть люди — богема, разного рода маргиналы,— которые могут себе позволить жить только в «ночном»; но, вероятно, более всего характерно именно раздвоение.) На первый взгляд, здесь «нормальная» — потому что привычная — антитеза работы и досуга, производства и «удовлетворения потребностей». На самом же деле здесь именно два разных мира, каждый из которых вращается вокруг собственной оси.

«Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть». И это не просто красивая фраза. Х. Ортега-и-Гассет в «Размышлениях о технике» убедительно показал, что, в отличие от животного, человек удовлетворяет свои так называемые естественные потребности (ест, пьет, обогревает себя и т. д.), чтобы поддерживать в себе жизнь, у которой есть *свои* смыслы и цели, не совпадающие или, во всяком случае, лишь частично совпадающие с тем, что диктует ему утроба. Отсюда необыкновенная гибкость человека, доброволь-

но способного обречь себя на голод и холод, в пределе – на смерть.

И та могучая «система жизнеобеспечения», которая зовется современной цивилизацией, строилась не только и даже не столько ради «удовлетворения потребностей», сколько ради того, чтобы «создать условия» для какой-то «разумной» и «справедливой» жизни (где в человеке «все будет прекрасно»). То есть она явилась своего рода производным от мифа о прогрессе, необходимым, как его «обоз» или «матчасть».

Увы, «разумной» и «справедливой» жизни — в том объеме, в каком о ней мечтали — не сложилось даже в самых благополучных уголках планеты. Миф о прогрессе не то, чтобы развеялся, но сильно поблек, а вера в человеческий разум опасно истончилась. Между тем, «производное» само должно быть обеспечено человеческим персоналом, имеющим что-то общее с теми людьми, которые однажды вызвали его к жизни, то есть способным хотя бы к минимальной аскезе, умеющим работать «с настроением» и рассчитывать свои действия наперед, иногда на много лет (без такого расчета, без плана современная цивилизация рухнула бы в самом скором времени). А что нашептывает «ночное» сознание? Что будущее не сулит ничего хорошего (ибо «ящик Пандоры открыт», как замечает Браун), что важно только то, что происходит «здесь-и-сейчас» и потому каждый преходящий миг должен быть по возможности «насыщен».

Когда Браун говорит «есть только поэзия», он пытается склеить разорванного на части Осириса.

С точки зрения Брауна, следующего в этом вопросе, как и в некоторых других, за известным теоретиком сюрреализма Жоржем Батаем, экономическая система по сию пору сохраняет слишком серьезное выражение лица; пора дать волю сидящему в ней шаловливому Эросу (по учению Платона, управление государством и домом, а следовательно, и хозяйством не обходится без участия Эроса), дабы всем стало ясно, что главное — это не производство и не распределение (скучная «забота о справедливости»), но потребление. Не «удовлетворение потребностей» (что на Западе давно уже не является проблемой, если говорить о естественных потребностях), а бездумное расточение произведенного, разбазаривание, прожигание, проматывание, профукивание, просвистывание, развеивание по ветру. Какой-нибудь чудаковатый герой Э. Т. А. Гофмана, не умеющий дорожить вещами, вероятно, может служить в этом смысле примером.

Впрочем, вообразив нечто грубо-материальное, скажем, праздник в рабле зианском вкусе, устроенный для угождения обжор и сладострастников, мы, наверное, тоже не пойдем против желания Брауна. Главное для него – лишить экономическую систему хотя бы части ее рациональных смыслов (совсем обойтись без них она, очевидно, не может), заменить их ир-рациональными, «поэтическими» в широком значении слова. Угрюмая сосредоточенность на производстве должна уступить место бездумной (и безумной) радости потреблять (в брауновском смысле). «Аскетическим интеллектуалам», к которым Браун относит и себя, пора перестать «критически мыслить» хотя бы в этом аспекте и уважить «простого человека» (common man), лучше чувствующего дух времени (знакомый момент «наступания на горло» самому себе, не раз продемонстрированный различными представителями художественного авангарда в уходящем столетии!).

Остановиться бы на этом Брауну, и можно было бы только констатировать счастливое совпадение его мыслей с «идеологией» Мэдисон авеню (центр рекламной индустрии в Нью-Йорке). Увы, по совокупности всех его соображений Браун для Мэдисон авеню все-таки не подходит. Слишком уж он философ. Слишком чувствует всю глубину бытия (хотя и не чувствует его высоты).

Там, на глубине, радость не существует отдельно от боли; как и другие противоположные понятия (антиномии), они «связаны концами». Это знал Гераклит, чья метафора огня заключает в себе, на взгляд Брауна, фундаментальный онтологический смысл: жизнь есть горение, но ее неизбежный финал – сгорание; да и самый процесс «горения» дает человеку ощущения сразу и радости, и боли. Даже очень прозаическое, как будто бы, слово «потребление» Браун заставляет работать на свою концепцию: в английском языке to consume означает «потреблять», но также и «расточать», и «истреблять огнем» (в русском языке этот аспект передается словом «прожигать»). Потребляя, человек тем самым как бы разжигает огонь, который рано или поздно должен истребить и его самого. Жизнь неизбывно трагична, как ни трудно с этим примириться разного рода утопистам, делает вывод Браун. И чеканит свой афоризм: «быть значит быть раненым» (это напоминает К. Н. Леонтьева: «все болит около древа жизни»).

Вот от чего хотел уйти Ницше – от ощущения бытия как боли, как раны. Это сразу заметили его русские почитатели: Ницше увлекается эстетической стороной дионисийства, не прозревая за ним религиозной тайны; оттого опьянение божественным хмелем Вакха-Диониса сменяется у него холодной «волей к власти». Брауновское дионисийство, напротив, в основе своей страдальческое и жертвенное. Браун помнит, что Дионис, подобно Осирису, был растерзан на части. И у него (Брауна) есть сильное чувство единосущия всех людей («мы все — части одного тела»).

Вместо «воли к власти» мы видим у него стремление расточить себя, «проиграть», закласть самого себя в угоду тому, кого древние называли «Венчанным Гроздьями» (мне

только не нравится употребляемое им слово «мазохизм»: оно вводит в узкие рамки психологии то, что является онтологическим по сути). Хотя и эстетизм у Брауна тоже сильно выражен. Самое жертвенность получает у него оттенок «игры», в которой можно только проиграть, но участие в которой должно быть вопросом престижа (хочется назвать такую позицию джентльменской, как ни мало уместно это слово, коль скоро дело касается миросозерцания). Браун, наверное, знает, что слово «престиж» образовано от латинского praestigiae, «призраки», «обман», и родственно латинскому же preastigiator, «фокусник, иллюзионист». Вряд ли сегодня где-то считается престижным проигрывать в какие бы то ни было игры, скорее наоборот. Но коль скоро престиж — вещь настолько призрачная, фокусническая, то, может быть, не так уж трудно вызвать к жизни другой призрак, сотворить другой фокус, прямо противоположный по духу? Во всяком случае, Браун именно к этому клонит, призывая возжечь «Костер тщеславий» (Bonfire of the Vanities — вероятно, намек на роман Т. Вулфа; а, может быть, и на Vanity Fair, «Ярмарку тщеславия» Теккерея) — чтобы ярче разгорелись они? Чтобы сгорели?

Но и в брауновском дионисийстве отсутствует нечто очень существенное, более того, самое важное — чаяние «ликующего возврата» из сени смертной. И это, конечно, не случайное «упущение». Хотя Браун и преодолел, как он сам пишет, свое марксистское и фрейдистское прошлое, не все он сжег из того, чему поклонялся. Да, он преодолел однобокий рационализм, «увидел», что мир — это Лик, а не конструкция, и воспринять его как целое можно только на уровне метафоры и мифа. Но Лик предстал Брауну лишь в своем материальном отражении; материализм он преодолеть не сумел, да, видимо, и не пытался. Брауну ведомы многие тонкости того, что именуется духом, но самый дух в его понимании пребывает в плену у материи, не находя для себя никаких оснований вне ее. Гераклит, на которого хочет опереться Браун, столкнувшись с чисто материалистической интерпретацией своего учения, рассердился бы не на шутку. Ведь это именно в его, Гераклита, лице европейская философия впервые возвысилась до усмотрения духовной реальности (Логоса), как дающей основание реальности физической, а не наоборот. И гераклитовские антиномии, так привлекающие Брауна, не есть просто констатации некоторых явлений психофизической жизни. То, что радость и боль, любовь и смерть связаны друг с другом,— не странная причуда материального мира, но тайна, имеющая недоступное человеку разрешение.

Две нити вместе свиты,
Концы обнажены...

И касаются те концы миров иных. Как хорошо сказал, как раз по поводу Гераклита, С. Л. Франк, в антиномиях человеческая мысль доходит «до состояния *умудренного, ведающего неведения* — того неведения, которое есть высшее и сполна адекватное ведение».

Вязкий материализм не дает Брауну вырваться за пределы фрейдовской концепции Эроса и Танатоса, превращающей две таинственные двери, ведущие в недоступный нам мир, в глухие стены. Сооруженная таким образом темница обречена была на недолговечность. Человека нельзя заключить в естество, какие бы усилия для этого ни прилагались; ему там будет душно, и он непременно будет «выглядывать» из него. Как мог бы сказать Данте (один из любимых писателей Брауна), человек пребывает в мире, как лодка, вытащенная на берег, когда одна половина ее лежит на песке, а вторая — в воде. Если бы было иначе, у нас не было бы Моцарта.

С другой стороны, Браун поторопился сжечь то, без чего обойтись никак нельзя, и не только в узко практическом смысле,— «традиционную рациональность». Фрейд, открыв темную глубину души, «нижнюю бездну» Ивана Карамазова (об открытии можно говорить лишь в рамках истории науки ибо художественному мышлению, например, открытое Фрейдом в общих чертах было известно давным-давно), слегка ужаснулся тому, что увидел, и, проигнорировав «верхнюю бездну», стал упирать на механизмы рациональности, названные им «репрессивными». Естественно, что рациональность, понятая не как земное отражение, пусть зачастую и искаженное, Божественного Логоса, а как некий аналог функций, относящихся к полицейскому участку, не может вызывать больших симпатий. В то же время Фрейд правильно указал, в рамках психологии, на необходимость гомеостаза, известного равновесия между инстинктивными движениями и силами разума. Брауну же претит само понятие «гомеостаз», симметрично противное «эк-стазу», он философ с ярко выраженным «направлением», не терпящим полутонов и компромиссов. Он готов выносить рациональность лишь в той мере, в какой последняя «обслуживает» поэтическое безумие, которое одно только и придает смысл всей человеческой деятельности.

Лютер сказал: человек ищет Бога, как пьяный мужик — качаясь из стороны в сторону.

Со времен Средневековья в европейском сознании обозначился определенный перевес в сторону рациональности: пример в этом смысле показали монастыри, за которыми последовал и «мир». С течением времени мирская аскеза и мирская рациональность совместными усилиями вылепили житейский тип, хорошо известный благодаря художественной литературе XIX века — расчетливый, деловитый, с «младых ногтей» педантично следующий «правилам жизни» (щедринский «мальчик в штанах»). Утрата, хотя

бы частичная, прежних смыслов, коими питалась рациональность, не могла не вызвать реакцию, качок в противоположную сторону — бездумного (и безумного) «воссоединения» с собственным естеством. Во многих отношениях Ницше явился подлинным провозвестником этого «нового стиля чувствований», достаточно точно названного им дионисийством.

Мир, однако, не стоял на месте все то время, что прошло после Ницше. Кто бы ни появлялся на просцениуме, круг сцены продолжал медленно вращаться — в итоге совершилась полная перемена декораций. Я сейчас имею в виду материальное окружение — оно теперь совершенно иное, нежели в начале XX века. Хромой Гефест, над которым привыкли смеяться олимпийцы и который сам слегка стыдился своего «низкого» ремесла, на сей раз превзошел себя, создав материальную основу для цивилизации, в технико-экономическом отношении далеко ушедшей от всех, до сих пор имевших быть. Фактически мы теперь живем в окружении «второй» природы, «организованной», в значительной мере подменившей первую.

В том дионисийстве, которое проповедовали Ницше и его последователи на пороге нашего века, еще много было книжно-ностальгического. Перед глазами у них еще была сплошная Эллада: оливковые рощи, тропинки, проложенные в дебрях скалистых ущелий, козлоногие сатиры, опоясанные змеями вакханки, хмельные шествия, оглашающие воздух дифирамбами... [1] Нынешнее дионисийство уже не нуждается в архаической символике; оно входит в жизнь «весомо, грубо, зримо», опираясь на реальности сегодняшней культуры: автобаны, по которым можно проехать с безумной скоростью; витрины, уставленные горками товаров, которые можно не только потреблять, в банальном (не брауновском) смысле, но и, допустим, раскидать их, въехав прямо в витрину на автомобиле (если не в жизни, то хотя бы в кино); концерты рок-музыки, больше похожие на языческие радения, чем на концерты, ибо на них ходят не столько «слушать музыку», сколько затем, чтобы всего себя вывернуть наизнанку.

Тем удивительнее сходство сегодняшнего дионисийства с античным. Та же наблюдается жажда экстаза, то есть, по смыслу слова, «выхождения из себя», то же выпадение из времени, бесцельное растворение в стихиях мира сего. И «радость жизни», и ее «ярость» концентрируются на текущем мгновении — перегруженное, оно взрывается хриплым криком, без которого не обходится современная эстрада (ниша, где, пожалуй, наиболее полно проявляет себя новоявленное дионисийство и где оно стихийно воспроизводит даже некоторые элементы древнего ритуала): «я есть», «я здесь-и-сейчас», и в то же время — «меня нет», «я с вами», «я во всем» (судорожное самоутверждение и одновременно — «истощение», «опустошение» своего «я» ради чего-то другого). К ликованию примешиваются горечь и страх: за «радостью жизни» открываются «недра смерти». Браун предпочитает (вслед за Джессикой Бенджамен) выражение «море смерти». Пусть будет так: у моря тоже есть недра. Массовое сознание, в той мере, в какой оно фактически (если не формально) отпало от христианства, сегодня нематериалистично по преимуществу: «гроба тайны роковые» так же волнуют его, как волновали они пастухов и земледельцев, собиравшихся на свои радения в оливковых рощах Эллады. «Простой человек» в этом смысле чутче иных представителей философской и художественной элиты. В своей материальной «густоте» он ощущает, хотя бы в слабой степени, и некоторую свою «прозрачность» (термины Св. Григория Паламы), пронизанность токами, выводящими его за пределы земного существования.

Современное дионисийство — явление, по-видимому, стихийное, а это значит, что, «по большому счету», нет никого, кому можно было бы поставить его в вину, ниже в заслугу. И все-таки совсем без виновников не обошлось: кто-то ведь развязал Эолов мешок, откуда стихии вырвались на волю. Геродот утверждал, что Гомер и Гесиод «научили эллинов богам»; должно быть, это надо понимать так, что Гомер и Гесиод окультурили, «очистили» религиозные верования, органически складывавшиеся в продолжение многих веков. Современные певцы дионисийства, от Ницше до Брауна, как представляется, не столько «научили» кого-то богам, сколько способствовали, силою философского авторитета, высвобождению архаических верований, — в их «неочищенном», не окультуренном виде,— ранее скованных формами высокой религии и высокой культуры. Вяч. Иванов заметил, что дионисийство не связано жестким образом с определенной культурой, по своему характеру оно универсально — следовательно, может возродиться там и тогда, где и когда для этого созданы условия.

И все-таки: сколько веков прошло с того момента, как умолкли последние дифирамбы в честь «бога плясок и слез»? Впору задать пастернаковский вопрос: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Всякое время нуждается в самоидентификации, наше — более всех остальных. Кто мы (человечество) на шкале времен — сильно «продвинутые» или еще страшно «отстающие»? Гипноз «прогресса» не рассеялся окончательно и мешает трезво оценить ситуацию. Нет, конечно, прогресс налицо во многих областях, а вместе с тем мир захлестывают мощные регрессивные движения. Власть высокой культуры над массовым сознанием утрачена и, вероятно,

[1] Эпигонское дионисийство, пытающееся вернуть песням земли их изначальную крепость, «забористость», и сегодня процветает в литературе. Один из свежих тому примеров — роман Ивана Оганова «Песнь виноградаря осенью» («Новый мир», 1993, № 1, 8; 1994, № 2).

надолго – не стоит питать иллюзии на сей счет. Верх одержал примитив. В наш век необычайных технических достижений (самое яркое, хотя тоже не бесспорное выражение прогресса) сам создатель техники, человек, будто пятится в прошлое.

Впрочем, и уровень развития техники представляется высоким только потому, что мы привычно судим от исходного. Если бы можно было увидеть, к чему приведет в конечном счете технический прогресс, то при сравнении с этим будущим «прекрасным новым миром» (для нас – абсолютно чужим и потому столь же мало привлекательным, сколь и, по-видимому, неотвратимым) оказалось бы скорее всего что в техническом отношении мы еще не так далеко ушли от каменного века. Со всеми нашими атомными станциями и компьютерами. А с другой стороны, нынешнее материальное окружение бесконечно грубее, элементарнее (хотя и «удобнее») мира природы (созданного «руками» несопоставимо более тонкого и хитроумного Творца), в который человечество было погружено еще в XIX веке. А раз так, то нет ли здесь корреляции между элементарностью материального окружения и примитивностью религиозных и культурных «запросов»?

То же дионисийство, как бы его ни украшали мэтры начала и конца нашего века, довольно примитивная, если сравнивать его, например, с христианством, натуралистическая в своей основе религия, связанная с архаическими тризнами, заканчивавшимися возлияниями и разнузданием половых страстей. Это, правда, не исключает того, что в нем были и глубокие интуиции – чувство связи между смертью и половой силой относится к их числу. Мы знаем также, что на почве, унавоженной дионисийством, выросла греческая трагедия, без Диониса не было бы Эсхила (самое слово «трагедия», означающее «песнь козлов» или «песнь о козлах», выдает ее «подлое» происхождение). Но будем помнить, что у греков классического периода было сильно развито «аполлонистическое» чувство гармонии, защищавшее их от напора хтонических (от земли идущих) страстей. Там, где такой защиты не было, дионисийство представало, по словам самого же Ницше, как «отвратительное смешение сладострастия с жестокостью».

Сколь ни тягостно с этим соглашаться, но, может быть, есть некоторая правда в словах Ницше, утверждавшего, что дионисийство необходимо, как вихрь, который произведет очистительное действие в «пустыне нашей переутомленной культуры». В отличие от Брауна, замкнутого на том, что мы имеем в настоящем, Ницше смотрел в будущее: он верил, что Дионис вновь уступит первенство Аполлону. Повторяю, это была преимущественно эстетическая точка зрения. С точки зрения религиозной главное в Дионисе (как, еще прежде, в Осирисе) было преодоление натурализма изнутри самого натурализма, чаяние воскрешения, понятого как новое рождение «в недрах смерти», иначе говоря – предчувствие Христа.

Христианство «отняло» у греков чувство гармонии, переместив ее в родные ей пенаты – на небо (и оставив земле лишь отражение ее), а с другой стороны, оно вобрало то «пафосное» (слово, если я не ошибаюсь, употреблявшееся греками преимущественно в негативном смысле), что было в дионисийстве и что греки исключали из «древнего» обихода – одновременно страждущее и страдальческое,- очистив его и преобразив. У Брауна получается, что христианам просто не хватает смелости взглянуть в лицо правде, какова-де состоит в том, что бытие человека есть *бессмысленная*, по сути, жертва неведомо кому или чему. Честертон на это ответил бы, что по-настоящему увидеть что бы то ни было можно лишь в свете того, на что нельзя смотреть.

Современное дионисийство сталкивается с тем фактом, что событие Христа у ж е б ы л о. И, может быть, оно именно потому и доходит до крайностей, зачастую поистине отвратительных (и весьма далеких, кстати говоря, от того мировоззренческого «джентльменства», которое проповедует Брауну), что испытывает – хотя бы очень смутное, хотя бы подсознательное – чувство вины. И, может быть, чем сильнее это чувство, тем настойчивее пытается оно отпить от соленых вод, закрывая глаза на то, что христианство не только позади, но и впереди – для тех, кто готов до него «дотянуться». В конце концов, исторически «Венчанный Гроздьями» явился как «эпизодический персонаж» на пути к «Венчанному Терниями». Тому, Кто сказал о Себе: «Я есмь истинная виноградная лоза».

■

АЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ

КУЛЬТУРА И ПРЕСТУПЛЕНИЕ

О чем говорят и о чем стараются не говорить в конце XX века

Может быть, и не надо особенно вникать. В конце концов, можно ведь прожить без компьютера и без знания иностранных языков; точно так же можно жить с тем, что конец XX века был, дескать, эпохой «постмодерна», «интертекстуальности» и «исчезновения реальности». Разве это такой уж пустяк — реальность? А говорят, что исчезает. И плюрализм, то есть неизвестно, кого слушать. Одни уверяют, что нам уже хорошо, а в XXI веке будет еще лучше; другие уверяют, что хуже вообще уже не будет; и так далее. Третьи, как П. Слотердайк, вообще настаивают на том, что необходимо «демобилизовать цивилизацию»: она чересчур разогналась, и притом потеряла управление. Может быть, и это тоже не впервые сказано, и еще у Руссо было что-то подобное; но как бы то ни было, всё бурлит и всех лихорадит на переломе веков.

И, однако же, эти волнения и лихорадки, очевидные в публицистике, литературе, кино и прочих искусствах, похожи на толчею волн, когда под ними — большая глубина. Ситуация всех поздних и переломных этапов всегда такова — много пряного, парадоксального, двусмысленного, истеричного, с сумасшедшинкой. Дела идут в стеснении, в сомнении. То, что было, вроде бы завершено, но как-то не насовсем; то, что будет, возможно, уже наступает, но как-то неявно, и даже не наверняка.

Все повторяют столетней давности мысль Ницше: когда люди живут музеями, юбилеями, собирают прошлое, хотят помнить и почитать бывшее, то это означает, что сами они не живут. У них нет «сегодня». Есть ли у них «вчера»? Есть ли «завтра»? Самыми актуальными писателями оказались опять-таки Джойс, Пруст и Т. С. Элиот. Недолговечное «возвращение к пройденному», мимолетный revival, оживление великих имен (еще раз Макс Вебер, еще раз Хайдеггер...) — это модус существования мысли.

В Англии развита традиция «биографии замечательных людей». Там умеют описывать жизнь выдающегося индивида со вкусом, с проницательностью, с иронией — и недаром только там пишутся некрологи, которые следует считать произведениями литературы. Традиции британской биографии и британского некролога вышли из незыблемой крепости британского позитивизма, с его строгим требованием «уважать факты и воздерживаться от теорий». «Англичанин-мудрец» (именно так он именуется в русской «Дубинушке») давно пришел к выводу, что теории — вещь ненадежная, и лучше не давать им воли, а не то можно превратиться в каких-нибудь немцев или, на худой конец, французов.

Требование обуздывать теории оказалось достаточно анахроничным и экзотичным для того, чтобы стать модным после «конца истории». Прелюбопытно, что прибежищем грандиозных космологических фантазий становится в конце XX века... внеакадемическая физика и генетика, то есть внебрачные отпрыски естественных наук. Гуманитарий же скорее мечтает о том, чтобы приблизиться к идеалу британского джентльмена: быть знатоком фактов и не умствовать впустую. Бесполезно заговаривать с академическими гуманитариями о «духовной ситуации конца XX века»: они полагают, что эпоха «последних вопросов» закончилась с Гегелем, а сегодня следует не выдумывать разные глупости, а заниматься делом, то есть фактами. Истинный знаток — вот кто на вес золота: тот, кто доподлинно знает, какие парики носил маркиз де Сад. И, слава Богу, не умствует. Умствовать бесполезно.

Эпоха информации явно неблагосклонна к попыткам «больших обобщений» и ссылается на то, что такие попытки имеют обыкновение оборачиваться «идеологиями»; а уж это хуже всего. Таков специфичный симптом именно нашей поздней цивилизации (другие поздние цивилизации как будто любили именно «умствования»). Наша поздняя цивилизация как бы опасается того, что какой-нибудь любитель теорий и обобщений начнет забираться слишком глубоко...

Поздняя цивилизация Запада (к которой и Россия пытается примкнуть — правда, неловко и с большим опозданием) старательно и экспансивно демонстрирует свою «открытость», способность и готовность к исследованию чего угодно, свое бесстрашие перед какими угодно неприятными истинами о себе самой. Но, заметьте, без «излишних обобщений». Пока речь идет о неприятных, скандальных, ужасных фактах, она замечательно словоохотлива и откровенна: ирландские и прочие террористы, СПИД и «новый расизм» суть ходовые блюда интеллектуального Макдональдса. А вот если кто попытается «чрезмерно обобщать», то его, конечно, не накажут так уж прямо и грубо, но он будет ощущать себя примерно как советский литератор или художник, которому власти с укоризненными вздохами намекают, что не надо бы «отрываться от жизни»... Странные бывают консонансы. Кто бы мог подумать, что между джентльменом и партийным секретарем найдутся точки соприкосновения?

Положим, когда такие глупости происходили в коммунистическом царстве, то это было от страха. «Оторваться от жизни» означало в СССР «залезать куда не положено». Но чего может бояться западная цивилизация после того, как исчезла «угроза с Востока»? Откуда это ощущение, что там не хотят залезать куда-то туда, куда «не положено»; и чтобы другие не залезали? Может, это вообще

наваждение и психоз российского жителя — подозревать, что и там тоже куда-то не пускают, о чем-то умалчивают, что-то утаивают?

Да ничего не утаивают! Саморазоблачаются до неприличия! Так называемая диагностика цивилизации расцветает пышным цветом к 1990 году, особенно во Франции и Германии. Разумеется, закаленные британские умы и здесь идут своим путем, и, в своем неистребимом недоверии ко всему «несолидному» и «легковесному», не приемлют этого континентального поветрия. И по-своему они правы: в диагностике есть нечто пикантное, но, соответственно, двусмысленное, нервозное и сомнительное.

Современная диагностика цивилизации — это тот самый продукт эпохи, о котором можно сказать, что если бы его не было, то следовало бы его выдумать. Среди немалого числа «звезд» абсолютным чемпионом является, без сомнения, Жан Бодрийар. Его небольшая книжка 1992 года «Иллюзия конца» — это подведение итогов и смотр интеллекта. В центре внимания стоит, как легко догадаться, концепция «конца истории».

Подобно тому, как «галантные аббаты» XVIII века изящно играли перед рафинированной публикой опаснейшими мыслями, Бодрийар заводит остроумную игру с апокалиптической идеей «конца времен». Не будем говорить о том, кто был первым, это не важно; важно то, кто гроссмейстер. Бодрийар — несравненный мастер двусмысленных игр ума, способного увлекательно и занятно обрисовать проблему тупиковости и «ирреальности» западной цивилизации, попавшей, как говорят, во власть своего всемогущества и покинувшей орбиты истории, смысла и разума. Нет, это не безвкусные кошмары Шпенглера, не депрессивные пророчества Оруэлла. Двусмысленная прелесть новой диагностики в том, что она набрасывает виртуозным пером контуры такого тупика, где, оказывается, можно очень мило проводить время. Конечно, нам то и дело становится не по себе, но зато читатель время от времени чувствует себя в занятном лабиринте с аттракционами, откуда и уходить не хочется. Бездна мастерства и ума потрачена нашими славнейшими мыслителями на то, чтобы как можно элегантнее, глубокомысленнее и занимательнее не ответить на прямые вопросы.

Еще Канетти заметил, что с нашей историей как будто случилось что-то в какой-то момент: она сделалась «ненастоящей». Но Канетти имел в виду совершенно определенные катастрофы XX века. Диагностика же гонит от себя тягостные, неразрешимые славянские «последние вопросы». Бодрийар пишет, что у истории уже не осталось сил и средств даже покончить с собой. Воцаряется «радикальная неопределенность», l'indétermination radicale. Не будет более ни гуманизма, ни антигуманизма, ни Бога, ни безбожия, ни свободы, ни рабства. Будет «третье», запредельное. Так нас пугают, утешая, и ободряют, отнимая надежду.

Мыслители, отличающиеся артистизмом и интуицией, никогда ничего не доказывают; они, собственно говоря, лишь «утверждают». Опровергать же недоказуемое нелепо. Можно «осуждать» и «клеймить» — но и это зачастую оборачивается конфузом. Так что лучше просто оставить их в покое.

«Художники мысли» (сегодня это Бодрийар, Слотердайк, Глюксман и другие) — трудная публика, и следовало бы в самом деле приравнять их к художникам как таковым, которые никогда ничего не «доказывают», но иной раз «внушают».

Что производит впечатление в диагностике 1990-х годов, так это довольно скептическое отношение к «историческим» (как обычно говорят в официальном порядке) переменам в России и Восточной Европе. Вероятно, философская элита, наряду с наркоманами и слабоумными, принадлежит к той немногочисленной части населения, которая отнеслась к исчезновению мировой «системы социализма» без всякого энтузиазма и не увидела в этих событиях ничего «исторического».

Что касается Бодрийара, тот с особенной охотой указывал на экс-коммунистический мир, когда говорил о нереальности и «выморочности» новейшей исторической фазы. Все эти как бы реформы и вроде бы угрозы реформам, эта «перестройка», и «переход к демократии», и «укрепление консервативных сил» — всё это какое-то ненастоящее, как и появление новых «самостоятельных государств» на месте бывших рабов и сателлитов, или странная как-бы-рыночная экономика, прорастающая сквозь директивную. Даже тогда, когда здесь льется самая настоящая кровь, как в Закавказье, Боснии или Москве, это всё какое-то «не такое»; подлинная история — она другая, а тут что-то имитированное, симулированное. Бодрийар полагает, что тому причиной сама ситуация эпохи коммуникаций. Человечество не живет, не гибнет, не идет вперед, не отступает назад. Оно перешло к виртуальному существованию, как на экране. Труп убитой коммунистами свободы был извлечен из-подо льда, выставлен на всеобщее обозрение, чтобы ее вспомнили; однако оттаявшая покойница не могла оказаться отрадным зрелищем ни для кого.

Разумеется, самое существенное в подобных артистических выходках на пороге нового века — это не то, что выговаривается, и даже не то, что подразумевается между строк (и обозначается интонациями, позами и жестами), а то, о чем стараются никак не говорить, никак не давать знать. Если в доме не говорят о веревке — значит, в этом доме что-то плохое с ней связано.

Не говорят о проблемах культуры XX века. То есть отделываются замечательными альбомами, антологиями, энциклопедиями, из которых мы с точностью узнаем массу подробностей, положим, об отношениях Пруста с матерью и о разных других вещах, но если нам хочется не только знать массу фактов, но и понимать суть процессов, то нам придется трудно. «Медиатеки» могут завалить нас изобильным и роскошным потоком информации о чем угодно, словно специально для того, чтобы мы захлебнулись и перестали задавать дурацкие вопросы «зачем» и «почему». Нам открыты все пути — то есть для того, чтобы узнать массу интересного о комплексах и синдромах, о предках и вкусах, о манерах и чудачествах Эйнштейна, Джойса или Хайдеггера, и этого нам хватит на всю оставшуюся жизнь. Но никто, в самом деле никто просто не возьмется говорить всерьез о том, что же случилось с людьми и их головами

в XX веке, почему они стали по-новому, по-особенному думать, писать, ощущать. С грациозной жестикуляцией нас могут угостить парочкой банальностей о «западном духе» и «восточном духе», о «либидо», урбанистической культуре, распаде ценностей. Приличия соблюдены. Но создается такое впечатление, что изощренные, компьютеризованные, специализированные, искушенные (в чем только не искушенные) науки о культуре — о литературе и искусстве прежде всего — ведут с нами эти свои восхитительные хороводы прежде всего ради того, чтобы мы тоже не прекращали бы приплясывать и двигаться в общем ритме, чтобы не останавливались бы, не задумывались бы: что же случилось?

Разумеется, никогда так не бывает, чтобы все были как в тумане. Есть проницательные головы, которые думают о том, что случилось в XX веке и что происходит сейчас. Но кто, кроме специалистов, знает о живущем в Париже философе Эмиле Чоране? Кто, кроме любителей, слышал о молодом русском писателе Викторе Пелевине? В том-то и дело, что избыток информации начал играть роль цензуры. В 1900 году можно было разобраться, кто есть кто среди двух десятков национальных литераторов или философов. А когда их две тысячи? Так складывается то, что называется ситуацией неразличимости, Unterscheidungslosigkeit. Она очень кстати появилась. Впрочем, все исторические ситуации — в политике, культуре, экономике — всегда как будто знают, когда есть в них нужда: всегда приходят вовремя. Это люди не всегда угадывают, когда нужно родиться.

Культура конца XX века посредством избыточности информации и ограничения поля интерпретации достигает того, что скрывает от себя самой некоторые вполне возможные догадки о том, что с ней произошло, почему она такая, откуда она появилась. У нее как будто есть «страшная тайна», как в римских катакомбах, как в английском замке, как на берегу Колымы.

Конечно, не следует думать, что тут «заговор». Никто не крался под покровом ночи, чтобы составить дьявольский план — как не дать людям лучше понять самих себя. Все получилось «само собой», по логике вещей. Это и есть самое убедительное. Уж если все происходит «само собой» — так значит, и в самом деле тут нет ничего случайного, и иначе быть не могло.

Изумительно бойкое, красноречивое, артистичное «полумыслие» конца XX века, виртуозное владение арсеналами эрудиции, комбинирования, аллюзии, иронии (и в художественной деятельности, и в познавательной) — все это заменяет многим понимание и проникновение. И не то что не могут. *Не хотят.*

В культуре приблизительно столетней эпохи (она зримо вступила в свои права в 1900 году с появлением фрейдовой книги «Толкование сновидений») всегда речь шла о чем-то большем, чем просто «новая школа в психологии», или «новая школа в искусстве». Сюрреалисты прямо утверждали, что их дело — не еще один стиль, а переделка жизни на новых основаниях. Открытие Пикассо вовсе не в том, что он стал изображать кувшин одновременно спереди, сбоку и сверху. Джойс отличился вовсе не тем, что стал широко пользоваться «потоком сознания».

Да и Ницше ведь не сводится к тому, что произнес нечто воспаленное о «воле к власти» и каком-то «сверхчеловеке», что привело впоследствии к отвратительным недоразумениям. Речь шла о принципиально новой модели мира. Упорядоченная модель сократовско-декартовской сверхцивилизации, рациональное последовательное рассуждение по законам логики (причина и следствие, закон исключенного третьего и т. д.) были этой новой культурой сметены, как и не очень рациональные, но императивные, абсолютные предписания морали — а точнее, христианской морали.

Безумие, как и полагается всякому приличному безумию, имело свою систему. Приблизительно сотню лет продолжался перманентный бунт культуры против упорядоченных моделей мира — моделей, построенных на принципах различения явлений (А не есть В) и рациональной связи между явлениями (то есть переход от А к В лимитирован определенными условиями). Никаких этих условий, никаких различений! — провозгласила новая культура. Что угодно оборачивается чем угодно. Дважды два может обернуться не только пятирицей, но и сальной свечкой. Переходы и увязки ничем в принципе не лимитированы. Мир един, магически целостен, великолепен и ужасен. Рационалистам и моралистам там делать нечего.

Это, конечно, внушительное зрелище — «дух времени», Zeitgeist, который ведет за собой тех, кто готов сам идти, и тащит волоком, даже не замечая отчаянного сопротивления, не желающих подчиниться И притом не спрашивает о профессии и роде занятий; ему анкеты не нужны. Вот «имморалист» и «иррационалист» Ницше; вот Хайдеггер — вышедший из чистилища феноменологии созерцатель таинств Бытия и Ничто; вот философски настроенный ученый-физик Гейзенберг; и открытый вопросам эпохи классик Томас Манн; и динамичные, взрывчатые новаторы — Пикассо, Маяковский и другие. Почему-то мы до сих пор не готовы к мысли, что творцы времени делали одно дело — дело времени. За другими эпохами мы уже признаем право иметь общие парадигмы культуры. Картина мира в Средние века, в эпоху барокко — это уже не только признанный, но и абсолютно обязательный атрибут нашего понимания истории культуры. А вот наше собственное время как будто «какое-то не такое». Оно, в известном смысле, действительно «не такое», то есть во многом аномальное; а с другой стороны...

Анри Бергсон усматривал в основе реальности la durée, то есть некое «магическое» единство пространства и времени (их различение отменяется). Основываясь не на онтологических рассуждениях, а на данных науки физики, Эйнштейн сформулировал космологическую и философски значимую идею пространства-времени, Raumzeit. Гейзенберг открыл «отношение неопределенности», из которого следует, что элементарная частица, этот кирпичик мироздания, есть не обычный, разумно идентифицируемый объект (то есть некое А, не равное В), а нечто странное, даже «иррациональное», меняющее свою природу в зависимости от установки наблюдателя. То есть это и А, и В, в зависимости от условий. Ясперс, человек той же эпохи, говорит о «парящем духе», то есть разрабатывает концепцию духовной деятельности, в которой не

имеют силы принципы однозначного выбора и различения. Разве то, что думают Бергсон, Эйнштейн, Гейзенберг, Ясперс — это не разные варианты одной и той же парадигмы культуры, одного способа смотреть на мир?

Иначе говоря, автор спрашивает — без всякого утрирования и прочих штучек, — что общего между Эйнштейном, Максом Вебером и Кафкой? Тот, кто отвечает на этот вопрос пословицей «В огороде бузина, а в Киеве дядька», будет не совсем прав, то есть прав наоборот: парадигмы культуры XX века как раз и направлены на то, чтобы установить сущностную связь и неразделимость киевского родственника и огородной бузины. Связи между вещами, которые в рационально-моральном мире разделены, различены и противопоставлены друг другу — это именно и есть специальность XX века, от начала до конца, и не надо самонадеянно думать, будто в конце этого века кто-то сумел эти парадигмы усовершенствовать либо опровергнуть.

Но это все — только присказка к жутковатой «сказке». Уже и русские миллионеры почитают Кафку (я не сказал «читают», я сказал «почитают»). Уже пишутся истории искусств от Кандинского до Кабакова. Настораживающий нюанс великой эпохи заключается, однако же, в том, что рядом с революционерами, мучениками и виртуозами «новой первобытности» возвышаются, на страницах того же текста, могущественнейшие шаманы и мифотворцы всех времен и народов, то есть Ленин, Сталин и Гитлер. И это не просто возвращение Чингисханов и Наполеонов, совсем нет: новые маги и волшебники тотального волхвования создают, в отличие от прежних диктаторов, завоевателей и прочих азиатов, настоящие монументальные культурные проекты, куда входят: искусство и идеология, язык и мироощущение, психика и стиль жизни. В сущности, убийцы-благодетели XX века были самыми крупными деятелями культуры в истории человечества. Может быть, только цари-боги египтян и ацтеков могли бы с ними условно потягаться со скидкой на технические возможности. И возникает вопрос, который всеми обходится, которого боится совокупная больная совесть современной культуры. Вопрос о связи новой культуры с тотальными преступлениями целых народов и государств против себя самих и всего остального человечества.

Культура конца XX века, подобно всем наследникам и наследницам, не прочь как следует пожуировать, ибо живем-то один лишь раз; но, подобно прочим наследникам и наследницам, не желает особенно пристально рассматривать вопрос о том, откуда и каким образом взялся капитал, кто и какими путями заложил основы здания. И понятно: этот вопрос всегда опасен и неделикатен.

Мы восхищаемся революционерами мысли и искусства. Гиганты — такие, как Эйнштейн и Гейзенберг, Пикассо и Джойс, Фрейд и Пруст — заложили основы нового здания. Они отказались от «различающего» и «механического» мышления и стали иначе моделировать реальность. У нас до сих пор нет удовлетворительных обозначений для этой модели. В ней как бы есть воспоминания о древнейших, «докультурных» мифах: не назвать ли ее магической или шаманской? Через хаос, абсурд и «новую первобытность» они попытались приблизиться к более целостной модели, чем это было прежде, к тому, что можно назвать Ganzheitsdenken.

Тут же, рядом, вскипают адские «пузыри земли», то есть большевистские и нацистские мифы и утопии. Как это нас ни коробит, как ни оскорбляет, но и эти мифы говорят о целостности, призывают «новую первобытность», отменяют различения и оппозиции логики и морали и устанавливают «принцип неопределенности». Как нам теперь верить в то, что варвары XX века враждебны новой культуре, всякой культуре?

То есть вроде бы враждебны — преследуя и уничтожая поэтов и философов, отменяя буржуазную генетику или неарийскую теорию относительности. Но ведь изобилие фактов для того, наверное, и существует, чтобы можно было фактами проиллюстрировать что угодно. Писал же Маяковский «Я люблю смотреть, как умирают дети»; словно подсказывал большевикам, что надо бы устроить голод на Украине. Томас Манн отваживался размышлять о неразличимости «святого» и «бесовского». Опасные слова, опасные мысли.

Революционная культура XX века — это культура опасных мыслей, словно специально предназначенная для того, чтобы нечисть ловила ее на слове и тащила в ад. От отцов-основателей — Маркса и Ницше — идет то ли обновляющая, то ли опустошительная волна неверия в старые ценности различения и упорядочения, в расчлененные и упорядоченные модели мира. От Маркса и Ницше ведет начало революционная, разбойничья, авангардистская манера — смеяться над рационально устроенным миром разума и морали и конструировать свои магические вселенные (у Маркса — с помощью экономики и социологии, у Ницше — скорее интуитивно-антропологическим методом). Культура пошла по этим путям: она переходит на целостные модели, она отменяет все запреты на связи и превращения, она ищет Танатос за Эросом (Фрейд), она думает об «ауре» явлений и об их «непредвиденных смыслах» (Беньямин), об «отношении неопределенности» (Гейзенберг); она стремится к вседозволенности художника, к принципу «все годится», и так далее.

Образцом этой возвращающейся к истокам магически-мистериальной культуры было мышление Мартина Хайдеггера. Это — мышление о «большом целом», о «первоначальном». Мышление-утопия, мышление-эксперимент, в известном смысле сопоставимое с искусством Кандинского. Кандинский хотел, так сказать, видеть сразу все и не стремился отличать одно от другого. Большое и малое, психическое и физическое, видимое и слышимое — речь идет о «большом целом». К этому шел и Хайдеггер. В его лекциях о Ницше звучит мысль о том, что философия, собственно говоря, есть размышление об одном, всегда об одном и том же: «существующее в целостности» (das Seiende im Ganzen) есть предмет подлинного мышления, а не разъятый мир разума и морали. Это в самом деле магистральная идея философского творчества Хайдеггера.

Случайно ли именно он был одним из тех столпов мысли и искусства, которые в 1933 солидаризовались с гитлеризмом?

Это, конечно, не частный случай, и вооб-

ще не «случай» — в том смысле, что ничего случайного в грехопадении Хайдеггера не было. Нацизм и большевизм отталкивали от себя не только традиционалистски настроенную культурную элиту, но и авангардистские круги, своей дикостью и вульгарностью, своей чудовищной пошлостью и пошлой чудовищностью. Кто из современных исследователей отважился бы сопоставить духовный опыт «Доктора Фаустуса» и «Степного Волка» с циничными откровениями Геббельса? Какое искусствознание, какое литературоведение взяло бы на себя смелость рассматривать парадигмы революционной культуры не только на «чистом» фланге, но и на стороне красной и коричневой нечисти?

Эммануэль Левинас, еврей из Литвы и замечательный французский мыслитель, был одним из немногих умов, для которых эта связь между новой культурой и нечистью XX века была подлинной проблемой, а не поводом для манихейского противопоставления света и тьмы. «Дьявольщина заставляет думать» — произнес он, когда ему предложили высказаться о том, как он относится к «делу Хайдеггера». Для него, узника нацистского концлагеря, единственного уцелевшего из своей семьи, между le diabolique и penser была сложная и парадоксальная связь. Нельзя броситься в воды дорационального, альтернативного мышления — как бросились революционеры XX века — и остаться сухим. Невозможно иметь дело с духами бездны, ожидая от них вегетарианских наклонностей (впрочем, это неудачный троп — ведь Гитлер не употреблял мяса и был добр к животным). Хайдеггер мечтал об «иных основах мышления», об отказе от различающего сознания европейской культуры. И его, как и всех прочих, поймали на слове. Ему, как и всем нам, предъявили «неразличающее сознание», мифы о суперобщности людей, магический способ обращения с ценностями и идеями. Что ему было делать?

Элиас Канетти описал суть дьявольщины XX века в книге «Масса и власть», а Ханна Арендт — в «Происхождении тоталитаризма». В основном они сошлись. Для того, чтобы началась большевистская или нацистская реакция в сосуде общества, должна прежде всего произойти социально-психологическая компрессия. Выстроенное, многоэтажное, упорядоченное, расчлененное общество, каким оно было прежде, превращается, в силу определенных причин и факторов времени, в м а с с о в о е общество, и на этом повороте оно сильно рискует. Оно состоит из многих миллионов атомизированных, вырванных из стабильных связей и потерявших привязки к устойчивым группам индивидов. При этом распадаются все ценности — и на их месте воцаряются небывалые сверхценности. Даже последовательный эгоизм становится затруднителен — ведь эгоист должен последовательно преследовать свой личный интерес, а этот последний имеет ту же судьбу, что и кодексы классов (дворянская честь, буржуазная «честность»), и семейные идеалы, и все прочее, принадлежавшее обозримым, ощутимым, фактическим сообществам людей.

Остается Сверхсообщество, совокупное «пролетарское» либо «арийское» чудище, необозримое, бесформенное, всепроникающее «Мы» — и соответствующий набор мифов о реальности, о волшебном мире, в котором магия «Мы», воплощенная в вождях-шаманах, творит чудеса — разоблачает незримых врагов, создает мировые империи, обеспечивает благосостояние верных и гарантирует погибель «нечистых».

Эта ментальность, это мироощущение имеет свои святыни — среди прочего священные тексты, как труды Ленина и «Майн кампф» Гитлера. Тоталитарный миф (или мифы) — это составная часть новой магически-хаотической культуры — вероятно, не лучшая, но чрезвычайно красноречивая, и даже, пожалуй, ключевая часть. С ней, по-видимому, и связана «страшная тайна» эпохи. Если бы не дьявольщина, не было бы этого упадка сил, этой растерянности в конце века, этой неискренности и двусмысленности, этой демонстративной оголтелости и этого беспокойства — как бы не выдать спрятанный грех, Каинову печать.

Если нам говорят, что Ленин был сухой, рациональный безумец, опасный гений, готовый пожертвовать человечеством для подтверждения своей теории, человек-робот и расчетливый фанатик; если нам говорят разные известные вещи о Гитлере, о Мао и Сталине, то это все те же замечательные упражнения с фактами, балет эрудиции и чемпионат знатоков — но только не обобщение, не заглядывание внутрь проблемы. Кто бы они ни были, эти демоны века — фанатики или циники, (или то и другое вместе), роботы, параноики, сексуальные неудачники и прочее — главное не это, а то, что эта опасная, неуравновешенная, трудная публика, сливающаяся с преступным миром и богемой и невыносимая для приличных и порядочных людей, тоже принадлежит к тем, кто опрокидывал стены, сносил перегородки «правильного», системного мышления и создавал новое видение мира. Короче, это скандал. Конечно, нам хочется поскорее выкрикнуть, что Сталин, Гитлер, Лысенко — неучи и бездари; однако же Хайдеггер и Эрнст Юнгер таковыми не были.

В счастливом положении были Ж. Батай и Л.-Ф. Селин. Они позволяли себе в 30-е годы хладнокровно и вызывающе сопоставлять бандитский мир и разбойную душу тоталитаризма со стихией авангардной культуры, более того — усматривать во всякой большой культуре закваску оргии и убийства, сексуальных излишеств и всех прочих антиобщественных проявлений «дионисийского» человека, то есть сверхчеловека. Они были еще из того рода гигантов, которые шли ва-банк, как Бунюэль и Хармс, Джойс и Марсель Дюшан. Все они уже счастливо омузеены, объюбилеены, облеплены этикетками и растащены по кусочкам в двусмысленных танцах и играх сверхинформированной культуры современного недомыслия. Оно их побаивается, оно посиживается, пританцовывая. Оно не хочет — ни за что — прямо и всерьез задуматься о том, как рисковали великие, в какие ловушки пошли, какую ответственность на себя взяли.

Да и как это можно — обижать хороших людей? Это же обидно — такая связь культуры века с самым большим преступлением против человечества. Оскорбить память Томаса Манна! Надругаться над Эйнштейном! И все это после Освенцима! Оказавшись в этом патовом положении, мы волей-неволей слушаем проповеди маститых «друзей человека», гуманистов и поэтов капитализ-

ма — таких, как Бжезинский или Хайек. С каких только страниц, с каких только экранов, на Западе и Востоке, Севере и Юге, ни рассказывали нам о кошмарности и унылости, бесчеловечности и бездушности, мертвенности и застылости «казарменного социализма», о механичности и бюрократичности, мертвенности и бездушности немецкого нацизма и о массовых психозах вожделюбия и лояльности. И ради контраста — о восхитительной свободе, человечности и разумности демократического парадиза Запада. Одним словом, великую драму истории превратили в какой-то мюзикл, в поп-шоу, в дешевку — ценой в миллиарды. Небывалый еще исторический опыт разменяли на мировоззрение «мыльной оперы». Может быть, иначе и нельзя было? Может быть, человек еще не дорос до того исторического опыта, который он приобрел в XX веке? Но если до сих пор не дорос, так уж и никогда не дорастет. Сколько же можно прятать от него книги, факты и идеи, которые могут его слабую душу смутить?

Злые гении большевизма и нацизма подтолкнули — со своего адского конца — то историческое дело, которое развернуло судьбы и умы Европы и России в новом направлении. Это не значит ставить знак равенства между гениями мысли и творчества, с одной стороны, и демонами ненависти и истребления — с другой. Но — «дьявольщина заставляет думать». Большинство людей начинает думать только в результате того, что попадает в жестокую переделку. Мы и попали в переделку.

Мы прикоснулись к новым, альтернативным, «досократовским» началам мысли и культуры и начали изживать двухтысячелетнюю традицию дифференциального структурирования картины мира.

Вряд ли я, успевший немало лет прожить при тоталитаризме, смогу сказать ему спасибо. Но и дураком быть не хочется. Повесть о том, как хорошие, святые люди создавали большую культуру, а мерзавцы в начищенных сапогах эту культуру топтали и душили, пусть оставят для тех телепрограмм, которые я не смотрю.

Тоталитаризм — это великий опыт и страшная мистерия. Там все истины текут и парят. Там нет невиновности и виновности: виновные невиновны, а невиновные преступны. Там елка готова превратиться в сосну, а пшеница в рожь благодаря магии Лысенко. Там генералы умирают с кличем «Да здравствует Сталин!» от рук своих собратьев-коммунистов, которые, в свою очередь, тоже будут тянуть жребий в лотерее смерти.

Чтобы описывать смыслы и таинства этой оргии жизни, непосредственно переходящей в судороги смерти, недостаточно ни интеллекта «массовой культуры», ни даже «Критики чистого разума» Канта. Нужно иное, принципиально иное мышление, чтобы этот странный и чудовищный опыт осмыслить. Это иное мышление и начали создавать, наспех и лихорадочно, корифеи культуры XX века, от Фрейда до Хайдеггера. Что же произошло в конце века? Устали, или испугались, или убедились в безнадежности предприятия? Почему так полюбились «постисторические» игры и аттракционы, зачем мириться с доведенной до виртуозности стратегией страуса?

Раньше многие верили в то, что перспективы развития разума безграничны, и прогресс свое возьмет. Сейчас трудно верить в это, хотя еще кое-кто пытается. Зато внушает оптимизм тот факт, что преодоление глупости, близорукости и самообмана находит себе все новую почву и новые возможности приложения. Вероятно, безгранично прежде всего неразумие — но тогда и его преодоление не имеет конца и края. Это не так эффектно, как считаться «венцом мироздания», но тоже не так уж плохо.

■

СЕРЬЕЗНЫЕ ИГРЫ СО ВРЕМЕНЕМ И ПРОСТРАНСТВОМ

Знакомство нашей читающей публики с удивительным голландским художником Морисом Эшером (1898—1972) произошло, видимо, лет двадцать назад, когда в издательстве «Мир» вышли «Математические новеллы» и «Математические досуги» американского популяризатора науки Мартина Гарднера: книги были иллюстрированы гравюрами Эшера. Их можно встретить и в специальной литературе, доступной только профессиональным ученым, например, в книге Г. Заславского, Р. Сагдеева, Д. Усикова, А. Черникова «Слабый хаос и квазирегулярные структуры», поскольку, как считают авторы, «существует множество аспектов, в которых творчество Эшера вызывает исключительный интерес математиков, искусствоведов и дизайнеров».

Этот интерес породил за рубежом десятки книг, среди которых, пожалуй, самая знаменитая «Гедель, Эшер, Бах: нескончаемая золотая цепь» Д. Р. Хофстадтера. Он пишет: «Работы Эшера стимулируют деятельность интеллекта в большей степени, чем любые другие из когда-либо созданных художниками. Многие из его гравюр основаны на парадоксах, иллюзиях или неоднозначности. Математики были первыми среди почитателей его таланта, и это понятно, поскольку гравюры его часто несут в себе понятия математического толка — например, симметрии... Но в его работах всегда присутствует нечто большее, чем, скажем, просто симметрия. Они представляют собой скрытую идею, реализованную в художественной форме».

«Нескончаемую золотую цепь», связывающую логика Геделя, композитора Баха, художника Эшера, хотелось бы протянуть дальше — через творчество писателя Хорхе Луиса Борхеса. Если смотреть на работы Эшера сквозь призму рассказов великого аргентинца, то многие из них воспринимаются как иллюстрации к ним, хотя доподлинно известно, что Эшер чтил Достоевского и Толстого, а с романом «Война и мир» не расставался до последнего часа. Конечно, ни о какой иллюстративности не может быть и речи, можно говорить лишь о конгениальности живущих в одно время мастеров, как бы глядящих в одно и то же зеркало, в котором отражается бесконечность.

«Теперь я подхожу к непредсказуемому моменту моего повествования,— пишет Борхес в рассказе «Алеф»,— и признаюсь в своем писательском бессилии... Но как описать другим Алеф, чья бесконечность непостижима и для моего робкого разума?» Чтобы представить себе Алеф, «одну из точек пространства, в которой собраны все прочие точки», достаточно взять альбом гравюр и литографий Эшера и найти в нем «Картинную галерею», или «Бельведер», или «Относительность». Зеркала, лабиринты, бесконечность превращений («Превращения» — миниатюра Борхеса, «Метаморфозы» — гравюра Эшера), плоскость и объем, вечность, в которой неразделимы вчера, сегодня, завтра,— вот мир понятий и образов, которыми одинаково виртуозно оперируют писатель и художник, работая подчас на некоем пределе, за которым уже нет искусства. Как хочется иногда разбавить литературный концентрат рассказов Борхеса, эти бульонные кубики литературы, чтобы опять получились романы. Как — до головокружения — сопротивляется глаз даже трехмерности пространства на гравюрах Эшера, отказываясь находиться одновременно и снизу, и сверху.

«Рисовать — значит обманывать»,— любил повторять Морис Эшер. Конечно, для математика гравюра «Лента Мёбиуса II» (1963) — это прежде всего изображение геометрической поверхности, обладающей совершенно невероятным свойством: она имеет только одну сторону. Но неискушенному в точных науках зрителю Эшер кажется фокусником, на мгновение, по словам поэта, свернувшим землю в калачик.

Бесконечный бег рептилий на литографии «Рептилии» (1943), замкнутый круг их бега с неизбежной стадией плоскостного существования — тоже фокус, который может служить метафорой искусства, всегда работающего в режиме «в действительности не существует».

В миниатюре «Борхес и я» Борхес признался в склонности «к играм со временем и пространством». «Все мои работы — это игры, серьезные игры»,— говорил Эшер. Наверное, только играя, можно уверенно чувствовать себя в пространстве культуры. Поэтому на вопрос «Что снится спящему с гравюры «Сон» (1935)?» нужно отвечать не задумываясь: «Один из снов, описанных Борхесом».

Н. КАЗАРЦЕВА

[1] Цит. по: *Карл Левитин.* Геометрическая рапсодия. М., 1984, стр. 166.

■ Великобритания

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПАУЭЛЛА

Восьмидесятидвухлетний Инок Пауэлл считается самым эксцентричным философом, историком, политологом и общественным деятелем Великобритании. Его последняя книга не опровергает такую репутацию. «Развитие Евангелия» (издательство «Йейл юниверсити пресс») представляет собой новый перевод Евангелия от Матфея, выполненный И. Пауэллом, и обширный комментарий к нему. Исследователь несколько лет изучал древнегреческие тексты Нового Завета, после чего пришел к сенсационным предположениям и выводам.

Прежде всего, заявляет И. Пауэлл, первым было написано Евангелие от Матфея, а не от Марка, как принято считать. Некоторые повторы и логические несоответствия в Евангелии от Матфея свидетельствуют о том, что первоначальный текст подвергся значительным изменениям «с целью исправить содержание или, как минимум, изъять некоторые детали». Пожалуй, самое обескураживающее заявление И. Пауэлла касается гибели Иисуса Христа: обвинение в богохульстве, выдвинутое против Иисуса, объявившего себя «Сыном Божьим», могло исходить от древних иудеев, но в этом случае, согласно иудейским законам, виновного надлежало забить камнями. Распятие на кресте, напротив, могло быть осуществлено лишь древними римлянами — у иудеев подобный вид казни не практиковался,— однако обвинение римлян сводилось к подстрекательству к неповиновению властям.

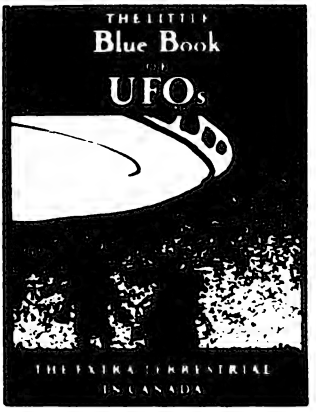
Столь неординарное мнение вызвало бурную реакцию среди историков и теологов всех мастей. Они упрекают И. Пауэлла в непоследовательности: если бы Иисус действительно был забит камнями, то Евангелия не только не скрыли бы этот факт, но и всячески его раздули — ведь это прекрасная возможность завербовать новых сторонников христианства, выставив в неприглядном свете помимо язычников-римлян и других конкурентов — иудеев. (Правда, пришлось бы отказаться от креста, а булыжник в качестве символа смотрелся бы странно.) Между тем еврейский мир осуждает И. Пауэлла за разжигание антисемитских настроений, а христианские священники отзываются об авторе крамолы как о безумце. Многие возражения и вовсе сводятся к незамысловатому принципу «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Правы же скорее всего те, кто полагает: Инок Пауэлл, как обычно, просто стремится вызвать горячую дискуссию. Любопытно, что инициатор столь крамольной дискуссии — образцовый христианин, далекий от атеизма.

Инок Пауэлл *(Журнал «Ньюсуик»)*

■ Канада

ТАК ГОВОРИЛИ ОСТРОСЛОВЫ

Находящееся в Ванкувере (провинция Британская Колумбия) издательство «Арсенал палп пресс» выпускает весьма любопытную серию под названием «Красные книжечки». Эти небольшие (7x10 см) 96-страничные книжечки представляют собой сборники острых, метких высказываний известных людей на какую-либо тему, причем в цитатах нередко присутствуют юмор и ирония. Опубликовано уже около двадцати сборников: о рок-музыке и политических партиях Канады, о спортивных командах и улитках... Книжечки называются «красными», но бы-



Обложка «Синей книжечки об НЛО»
(Каталог издательства «Арсенал палп пресс»)

вают и других цветов: о мужчинах — серая, о женщинах — розовая, об экологии — зеленая. Вот некоторые примеры-цитаты из книжечек:

О летающих тарелках: «Большинство людей верит в существование НЛО, но то же большинство думает, что большинство людей не верит в НЛО» (Стэнтон Т. Фридмен, уфолог).

О старости: «Секрет сохранения молодости прост: живите честно, ешьте медленно и никогда не говорите, сколько вам лет на самом деле» (Люсиль Болл). «Если прожить достаточно долго, то вас будут беречь и почитать — как старинное здание». (Кэтрин Хепбёрн).

О мужчинах: «Мужчины всегда готовы уважать то, что наводит на них скуку» (Мэрилин Монро). «Я люблю, когда мужчины ведут себя по-мужски — как сильные озорные мальчишки» (Франсуаза Саган).

О женщинах: «Меня называют феминисткой, как только я высказываю мысль, из которой ясно, что я — не подстилка» (Ребекка Уэст). «Женщина может обойтись без мужчины, как рыбка без велосипеда» (Глория Стайнем).

Об экологии: «Восемьдесят процентов загрязнения окружающей среды происходит из-за растений и деревьев» (Рональд Рейган).

О геях и лесбиянках: «Без них Голливуда просто не было бы» (Элизабет Тейлор).

О Канаде: «Я даже не знаю, на какой улице она находится» (Аль Капоне). «Права меньшинств всегда должны быть защищены, а богачей всегда меньше, чем бедняков» (Джон Макдональд).

О черном юморе в кино: «Я не молюсь, потому что не могу стоять на коленях — стрелки на брюках мнутся» (Йен Стерлинг, актер).

О политике: «Я давно говорила: никто не может стать кем-то, пока каждый из нас не станет хоть кем-нибудь» (Ким Кэмпбелл, бывший премьер-министр Канады).

А вот два ответа ныне покойного владельца хоккейной команды «Торонто мейпл ливз» Харольда Балларда. На просьбу спортивных журналисток провести репортаж из раздевалки после матча: «Пожалуйста, но тогда и вам придется раздеться». На вопрос, почему со стадиона убрали портрет английской королевы: «А какого черта, ведь она мне ничего не платит за рекламу. Да и потом ни в защиту, ни в нападение, ни в ворота королеву не поставишь».

■ Польша

КНИГИ ДЛЯ БОГАТЫХ

В варшавском отеле «Мариот» есть магазинчик с сувенирами, где можно купить книги в переплетах из кожи или шелка, книги, которые набирают и печатают исключительно вручную. Цена — от 900 тысяч злотых и выше.

Ничего подобного нет, кажется, во всей Европе. Например, томик стихов Марии Павликовской-Ясножевской «Королева бурь весенних» издан в переплете из розового натурального шелка, на нежно-розовой бумаге ручной выделки с запахом белых лилий (именно эти цветы любила поэтесса). «Огонь зеленых лун» другой королевы польской поэзии, Галины Посьвятовской, вышел тиражом 359 пронумерованных экземпляров. Переплет из натурального шелка. Запах ландышей, цветные фотографии из семейного альбома, а также факсимиле рукописей, помещенные в специальные конвертики из ценнейших сортов бумаги. Сонеты Гейне пахнут дорогим одеколоном (333 пронумерованных экземпляра напечатаны на неотбеленной бумаге, изготовленной, разумеется, вручную. Три оригинальные иллюстрации, выполненные методом цинкографии, прикрыты японской папиросной бумагой).

Скоро выйдет в свет двуязычное польско-латинское издание учебника о косметике, написанного Овидием. Книга будет представлять собой папирусный свиток, причем папирус изготовят именно так, как это делалось две тысячи лет назад. А письма Юлия Цезаря будут высечены на мраморных плитках.

Для тех, кому и эти изыски покажутся дешевкой, предлагается специальное издание (10 экземпляров) «Искусства любви» Овидия — кожаный переплет с серебряными застежками, которые украшены агатами, кораллами и бирюзой...

Около тридцати—сорока процентов «элитарных» книг покупают бизнесмены. Еще сорок процентов распродаются перед Рождеством: поляки, кажется, до сих пор придерживаются убеждения, что книга — лучший подарок. Однако не всякая книга... Содержание не имеет большого значения. Например, полное собрание сочинений Горация, выполненное одним переводчиком, первое подобное издание в Польше — с экслибрисом, нумерованное, тираж — 700 экземпляров, вышло в светлых и темных кожаных переплетах. Так вот, книги в темной коже пользуются успехом, а в светлой — не раскупаются.

Подобными экспериментами занимается издательство книг по искусству «Верум» в Кошалине. Его руководители утверждают, что издание «элитарных книг» означает замораживание капиталов, по крайней мере, на два года, и в результате приносит одни убытки — из-за инфляции. Впрочем, «Верум» спасается, выбрасывая на книжный рынок огромными тиражами дешевенькие брошюры типа: «Как купить машину», «Как распознать фальшивые банкноты». Их-то раскупают мгновенно.

■ США

ОТ СИМВОЛИЗМА ДО РОКА — ОДИН ШАГ

В 1963 году основатель и солист рок-группы «Дорз» Джим Моррисон написал письмо профессору Уолласу Фаули. В нем двенадцатилетний юноша благодарил исследователя французской литературы за перевод на английский всей поэзии Артюра Рембо: читать своего кумира в оригинале американскому поклоннику было трудновато. Четырнадцать лет

Джим Моррисон и Артюр Рембо
(Каталог издательства «Дюк юниверсити пресс»)

спустя, впервые услышав «Дорз», литературовед сразу же уловил в словах песен — а тексты писал Моррисон — эхо поэзии А. Рембо.

Ныне У. Фаули свел двух поэтов воедино в книге «Рембо и Джим Моррисон: Бунтарь в роли Поэта» (издательство «Дюк юниверсити пресс»). Прослеживая их пути, автор обнаруживает замысловатую, но несомненную симметрию в судьбах своих героев: оба провели жизнь бурно, и оба нашли в поэзии средство выразить свою личность, свободную и мятежную. Французский символист достиг этого уже к двадцати годам и умер молодым, но его стихами зачитываются и теперь. Взлет американского рок-музыканта также был стремительным, но и он успел «зажечь» целое поколение, продолжая очаровывать слушателей и читателей через два десятилетия после своей безвременной гибели в Париже.

Уоллас Фаули, автор и переводчик более тридцати книг, сумел увидеть общее, казалось бы, в несочетаемом: в европейской литературной традиции и американской рок-музыке и молодежной культуре конца XX века.

Сегодня, будь Джим Моррисон жив, он, пожалуй, снова поблагодарил бы профессора: на сей раз — за честь оказаться представленным рядом с крупным мастером прошлого.

■ Франция

ГДЕ ОТДЫХАЮТ ПИСАТЕЛИ?

Строго говоря, настоящие творцы не знают отдыха. А вот чтобы поработать над очередным произведением или вдохновиться на новое, они чаще всего отправляются в полюбившиеся края. Маргерит Дюрас постоянно, в течение многих лет, наведывается в Трувиль; Тахар Бен Джеллун ездит в Танжер; Анри Труайя переносит свой рабочий кабинет из Парижа в Луаре. Там, на лоне природы, можно просмотреть верстку биографии Бодлера, а потом отредактировать следующий роман. У Себастьена Жапризо лето тоже трудовое: нужно закончить книгу, и загородный дом с бассейном около Виши призван поспособствовать успеху. А Франсуазу Верни влечет морская стихия: Бель-Иль-ан-Мер — место ее ежегодной каникулярной стоянки.

Филипп Джьян, напротив, предпочитает гостить в разных уголках Европы, нацеливаясь сразу на несколько. Где он окажется на сей раз — в Лондоне, Риме или Лозанне,— он и сам точно не знает. Зато другой молодой автор, Александр Жарден, твердо знает, куда хочет: в Новую Каледонию. Своеобразный рекорд заграничных путешествий поставил Ив Бержер: он побывал в США 141 (!) раз. Очередная поездка, в штат Флорида, должна, по его замыслу, увенчаться литературным паломничеством на знаменитый Ки-Уэст — остров писателей. Самый экзотический вкус, пожалуй, у Бернара Клавеля: для него настоящее отдохновение — лыжная прогулка по заснеженному северу Канады при пятидесятиградусном морозе.

Единственное, чего чураются многие писатели, выбирая место для отдыха,— это многолюдье. Будь наш литератор хоть человеком-амфибией, на курортный пляж его не заманишь. Ведь там не то что книгу написать — имя свое на песке вывести негде.

По материалам газет «Глоб энд мейл ов Кэнада» (Канада), «Политика» (Польша), еженедельников «Таймс литерари саплмент» (Великобритания), «Стампа-Туттолибри» (Италия), «Нью-Йорк таймс бук ревью» (США), журналов «Ньюсуик», «Паблишерс уикли» (США), «Лир» (Франция) и каталогам издательств.

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ (MALCOLM BRADBURY; род. в 1932 г.) — английский романист, эссеист, критик, телевизионный драматург; профессор университета Восточной Англии, читает курс американской литературы. Автор сатирических романов «Не надо кушать людей» («Eating People is Wrong», 1950), «Шагом на Запад» («Stepping Westward», 1965), «Социолог» («The History Man», 1975), «Обменный курс» («Rates of Exchange», 1983); сборника эссе «Кто ты такой?» («Who Do You Think You Are?», 1976); книг и статей о современном состоянии романа: «Современный американский роман» («The Modern American Novel», 1984), «От пуританизма к постмодернизму» («From Puritanism to Postmodernism», 1988) и др. Роман «Профессор Криминале» вышел в Англии в 1992 году («Doctor Criminale». London, Penguin Books).

ЛУИС СЕРНУДА (LUIS CERNUDA; 1902—1963) — испанский поэт. После гражданской войны был в эмиграции в Англии; в шестидесятые годы — в США и Мексике. Автор книг лирики «Очертания воздуха» («Perfil del aire», 1927), «Реальность и желание» («La realidad y el deseo», 1936). В изгнании выпустил книги стихов «В ожидании зари» («Como quien espera el alba», 1947), «Отчаяние призрачной тени» (La desolacion de la quimera», 1962), сборники лирической прозы «Старик Окнос» («Ocnos», 1942) и «Вариации на мексиканскую тему» («Variaciones sobre tema mexicano», 1952), опубликовал работы о новейшей испанской истории и поэтической мысли в английской лирике.
В русских переводах стихи Сернуды издавались в книгах: «Западноевропейская поэзия XX в.» (М., 1977), «Из современной испанской поэзии» (М., 1979), «Жемчужины испанской лирики» (М., 1984). Публикуемое стихотворение переведено по тексту «Полного собрания стихотворений» («Poesia, completa», Barcelona, 1977).

ОКТАВИО ПАС (OCTAVIO PAZ; род. в 1914 г.) — мексиканский поэт, эссеист, критик, переводчик. Лауреат Нобелевской премии (1990). Автор поэтических книг: «Дикая луна» («Luna silvestre», 1933), «Они не пройдут» («No pasarán!», 1937), «Саламандра» («Salamandra», 1962), «Восточный склон» («Ladera este», 1969), «Возвращение» («Vuelta», 1975), «Песенное древо» («Arbol adentro», 1987), сборников эссе «Лабиринт одиночества» («El laberinto de la soledad», 1950); «Двойное пламя» («La llama doble»), «Путевых записок» («Itinerario», 1993) и др.
По-русски стихи О. Паса издавались в сборниках «Поэты Мексики» (М., 1975), «Перистые молнии» (М., 1988); лирика и эссеистика печатались в «ИЛ» (1970, № 6; 1990, № 1; 1991, № 1).
Публикуемое стихотворение взято из книги «Poemas 1935–1975». Barcelona, 1979

ЧЕСЛАВ МИЛОШ (CZESŁAW MIŁOCZ; род. в 1911 г.) — польский поэт, прозаик, переводчик. Лауреат Нобелевской премии (1980). С 1951 г. в эмиграции (во Франции и США). Профессор славянских языков и литератур в Калифорнийском университете в Беркли. Первые книги стихов Милоша выходили в Вильно в 1933—1936 гг. и в Варшаве в 1940 г. подпольно. Автор книг стихов: «Спасение» («Ocalenie», 1945), «Дневной свет» («Swiatło dzienne», 1953), «Город без названия» («Miasto bez imienia», 1969), «Где восходит солнце и куда садится» («Gdzie wschodzi słońce i kiedy zapada», 1974), «Гимн о жемчужине» («Hymn o perle», 1982); книги «Подневольный разум» («Zniewolony umysł», 1953); сборников эссе «Властитель мира» («Emperor of the Earth», 1977), «Сад познаний» («Ogród nauk», 1979), «Поиски родины» («Szukanie ojczyzny», 1992) и др.
В «ИЛ» стихи и проза Ч. Милоша печатались в 1991, № 5 и в 1992, № 8—9.
Публикуемое стихотворение переведено по книге «Стихотворения» («Poezje». Warszawa, 1983).

НОРМАН О. БРАУН (NORMAN O. BROWN; род. в 1913 г.) — американский философ, публицист и поэт. Автор книг о судьбах цивилизации «Жизнь против смерти» («Life Against Death», 1959), «Тело любви» («Body of Love», 1966), «Апокалипсис или метаморфозы» («Apocalypse and/or Metamorphosis». Los Angeles, University of California Press, 1991), откуда взята публикуемая статья.

КАГРАМАНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — публицист и литературный критик. Автор книг «Метаморфозы нигилизма» (1986), «Америка похищает Европу» (изд. АПН на английском, французском и немецком языках) и др. Статьи Ю. Каграманова печатались в журналах, «Вопросы философии», «Новый мир», «Иностранная литература».

ЯКИМОВИЧ АЛЕКСАНДР КЛАВДИАНОВИЧ (род. в 1947 г.) — культуролог, кандидат искусствоведения. Автор книг «Шарден и французское Просвещение» (1980), «Диего Веласкес и культура Испании» (1990), «Дебюты молодых художников восьмидесятых годов» (1991) и статей, публиковавшихся в периодике, в том числе в «ИЛ».

■ Переводчики:

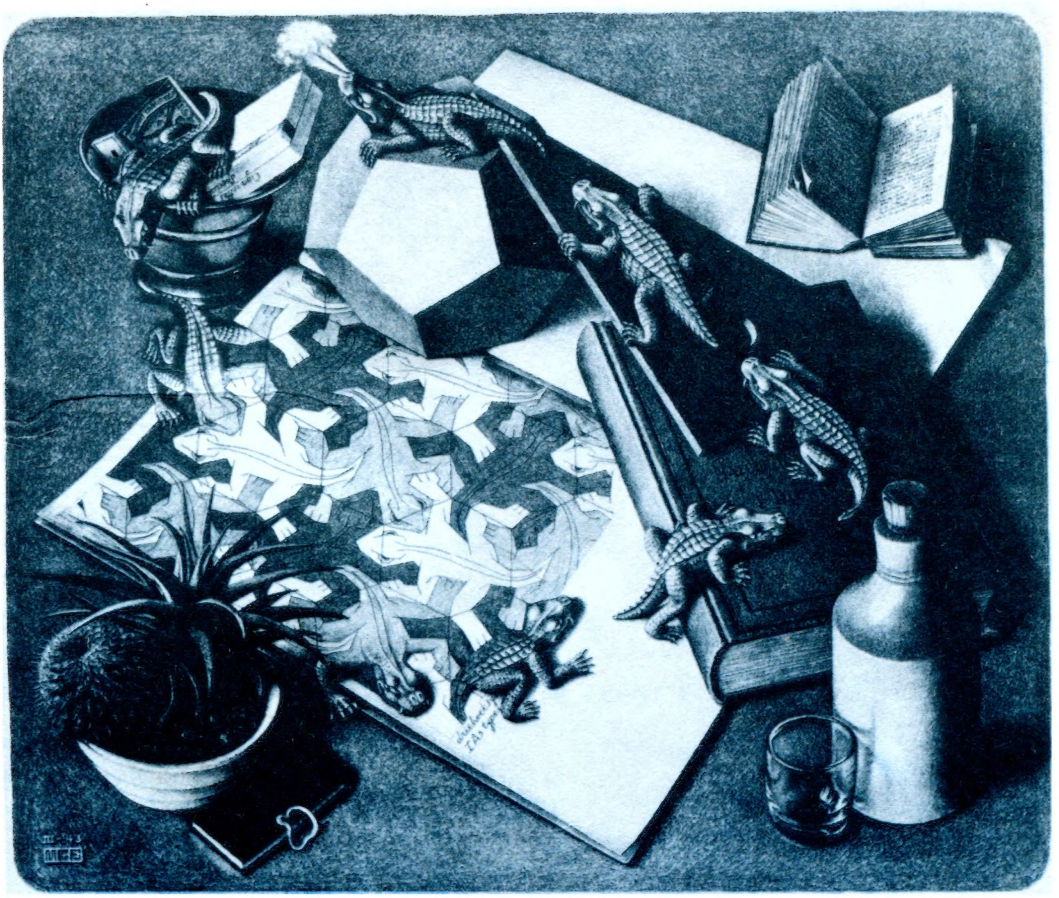
КУЗЬМИНСКИЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1964 г.) — литературный и кинокритик, переводчик с английского. Его статьи, рецензии, эссе публиковались в «Литературной газете», «Независимой газете», газете «Сегодня». В «ИЛ» напечатан его перевод романа Джона Фаулза «Волхв» (1993, № 7--9).

ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ (род. в 1956 г.) — литературный критик, переводчик с английского и японского языков. В его переводах публиковались романы Юкио Мисимы «Золотой храм» («ИЛ», 1989, № 5), Кэндзи Маруямы «Сердцебиение» («ИЛ», 1991, № 5), главы из книги Такэси Кайко «Все дальше и дальше» («ИЛ», 1986, № 3), роман английского писателя Т. Корагессана Бойла «Восток есть Восток» («ИЛ», 1994, № 8, совместно с И. Бернштейн и Л. Мотылевым), произведения Ясуси Иноуэ, Кобо Абэ, Такако Такахаси и др.

СТАВРОВСКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с итальянского и английского языков. В ее переводах печатались повести: В. Черами «Маленький человек», С. Бенни «Комики, напуганные войной» (обе совместно с К. Молочковской), Л. Шаши «Исчезновение Майораны», «Ведьма и капитан», «Рыцарь и смерть», рассказы Г. Паризе, новеллы А. Табукки («ИЛ», 1991, № 5), повесть Г. Д'Аннунцио «Леда без лебедя» («ИЛ», 1994, № 4), сценарий Ф. Феллини «Голос Луны» и др.

ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. В 1946 г.) -- переводчик с испанского и французского языков, автор статей по социологии культуры. В его переводах публиковались стихи испанских, французских, португальских и латиноамериканских поэтов: А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера. В «ИЛ» напечатаны переводы стихов Х. Л. Борхеса (1984, № 3, и 1990, № 2), М. Д. Мартинеса (1987, № 4) и др.

■



Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" -

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный **"ИНДЕКС"** с 500 000 ссылками, бесплатный **"ЕЖЕГОДНИК"** с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические **"ЕЖЕГОДНИКИ"**.

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последнем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.
Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.
"GREAT BOOKS" - "Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Оруэлла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA". Незаменимый справочник для всех, кто знает по-русски и читает по-английски.
CD-ROM, содержащий двухтомный инд... "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - "Britannica Discovery Library" в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.
"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.
"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. **Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.**

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма

"Мир Знаний",

эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

Телефон в Москве : (095) 161 07 75, 924 90 02
Факс : (095) 923 78 91
E.-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130—6545 «Иностранная литература», 1995, № 1, 1—256